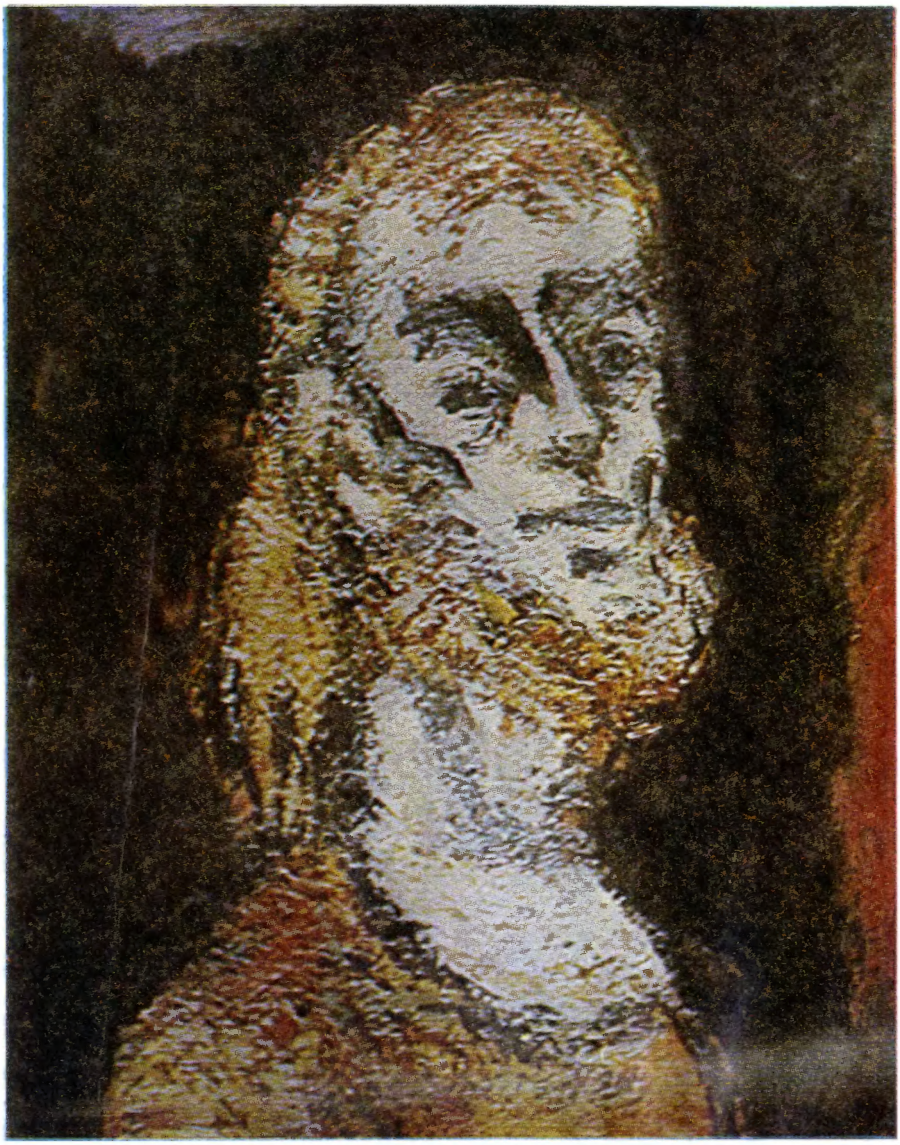
ISSN 0130 – 6545

4.1981

# ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



Вийон

*Цветные иллюстрации номера — работы чешского художника Л. Бауха*

# ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ С 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ». МОСКВА

4 Апрель 1981


## Содержание


ЭММАНЮЭЛЬ РОБЛЕС — Однажды весной в Италии *(Роман. Перевод с французского Ю. Жукова и Р. Измайловой)* 3

АЗАМ РАХНАВАРД ЗАРЬЯБ — Записки птицы *(Рассказ. Перевод с языка дари и вступление Д. Рюрикова)* 64

**Из каталонской поэзии**

ЖОЗЕП КАРНЭ, ЖОЗЕП-ВИСЕНС ФОЙШ, ЖОАН САЛВАТ-ПАПАСЕЙТ, ПЕРЕ КУАРТ, ПЕРЕ ЖИМФЕРЭ *(Перевод с каталанского Павла Грушко и М. Самаева. Предисловие И. Тертерян)* 79

ГАНС ФАЛЛАДА — Крестьяне, бонзы и бомбы *(Главы из романа. Перевод с немецкого Н. Бунина)* 90

**Литературные иллюстрации**

В. С. НАЙПОЛ—Флаг над островом (Фантазия для маленького экрана. *Перевод с английского В. Голышева. Предисловие Юрия Дашкевича)* 141

**Критика**

Д. ЛИХАЧЕВ, Ю. АНДРЕЕВ — Истоки и характер содружества братских литератур Европы 188

## Отклики, встречи, впечатления

**Дорогами наших привязанностей**

ТАТЬЯНА ТЭСС — Однажды у Иво Андрича 194
КОНСТАНТИН СЕРЕБРЯКОВ — Простота духа 199

## Интервью

Роже Гренье: «... счастлив, что отныне существую на русском языке» *(Беседу записала и перевела Лия Завьялова)* 205

## Публицистика

В. ХАЙНОВСКИЙ, Г. ШОЙМАН — Кампучия—гибель и возрождение (Сценарий документального фильма. *Перевод с немецкого М. Осиповой)* 210
ЖУЖА РАБ — Из лирического дневника *(Перевод с венгерского и вступление Т. Воронкиной)* 235

## Антирубрика

БЕРНАРД ШОУ — Деревенское сватовство (Маленькая комедия для двух голосов. *Перевод с английского Григория Бабенышева и Людмилы Биндеман)* 245

## К нашим иллюстрациям

Л. Дьяков — Ян Баух 256

## Наши гости

Н. Матяш — Хосе Агустин Гойтисоло (Испания) 257

## Среди книг

**Издано в СССР**

А. Зверев — По существу и без упрощений 259

**Издано за рубежом**

Лев Озеров — Тютчев по-болгарски ✦ А. Мельников — Свидетельствует австралийский писатель 261

## Из месяца в месяц

265

*На 1-й странице обложки: ЯН БАУХ (Чехословакия). Прага.*
*На 4-й странице обложки: ЯН БАУХ. Дорога Одиссея.*

© «Иностранная литература», 1981.

# ЭММАНЮЭЛЬ РОБЛЕС

# *Однажды весной в Италии*

РОМАН

*Перевод с французского Ю. ЖУКОВА и Р. ИЗМАЙЛОВОЙ*

В один из июльских дней 1944 года я сидел в баре римской гостиницы «Плаза» и, наслаждаясь уже четвертой или пятой рюмкой вермута (я только что вернулся с фронта из Тосканы), следил за каждым движением миловидной барменши с обнаженными плечами, уроженки Милана, на которую было приятно смотреть. Время от времени, облокотившись на стойку бара, я поглядывал и в коридор, где трое лейтенантов из 1-го полка стрелков-парашютистов, отозванного из Сицилии, ухаживали за свеженькими молодыми римлянками. С помощью двух элегантных дам по лестнице медленно спускался композитор Масканьи, автор «Сельской чести», единственный штатский, которого терпели в этом реквизированном для нас дворце; спутницы поддерживали старика с обеих сторон, словно он мог рассыпаться от малейшего толчка. У композитора была пышная седая шевелюра, обрамлявшая худое и нервное, землистого цвета лицо.

Я должен был написать статью для агентства, где числился специальным war correspondent[1], но никак не мог взяться за рассказ о наступлении американских бронетанковых войск, в котором накануне участвовал,— настолько был потрясен смертью друга капитана Питера А. Форбса, двадцативосьмилетнего атлета, убитого рядом со мной пулей в горло в ту минуту, когда мы оба вместе с несколькими пехотинцами примостились на танке и сразу почувствовали под ногами жар от мотора. Нет, у меня вовсе не было желания сменить бар (тут стояла невероятная духота и неприятно пахло эрзац-кофе) на свою угнетающе пустынную комнату. Я предпочитал, воспользовавшись случаем, пошептаться с барменшей, хотя ее это ничуть не волновало, так как она не знала ни слова по-французски.

— Крошка! — говорил я, протягивая к ней руку.

[1] Военным корреспондентом *(англ.)*.

**ЭММАНЮЭЛЬ РОБЛЕС — EMMANUEL ROBLÈS** (род. в 1914 г.)

Французский писатель, драматург, член Гонкуровской академии. Уроженец Алжира. Автор романов «Действие» («L'action», 1938), «Это зовется зарей» («Cela s'appelle l'aurore», 1952), «Везувий» («Vésuve», 1961), «Невидимое дерево» («L'arbre invisible», 1979) и др., пьес «Речь в защиту бунтовщика» («Plaidoyer pour un rebelle», 1965), «Открытое море» («Mer libre», 1965), сборников рассказов.

На русский язык переведены романы «На городских холмах», «Сирены», пьеса «Монсеррá», несколько рассказов.

Роман «Однажды весной в Италии» вышел в 1970 г. («Un printemps D'Italie». Paris, Éditions du Seuil, 1970).

И пытался объяснить, что она мне нравится, что у нее красивые плечи, губки и даже челка, прилипшая к ее узкому вспотевшему лобику. Она с улыбкой отстраняла мою руку.

— E prohibito di toccare! [1]

— Тем хуже, милочка!

Могла ли она знать, до чего трудно избавиться от некоторых воспоминаний — как смотрел тогда на меня капитан Форбс, с какой душераздирающей настойчивостью тщетно пытался мне что-то сказать, когда из раны его алым ключом била кровь? И что же он хотел сказать мне в тот миг, когда глаза его уже глядели в бездну, ужас которой я сам сейчас ощущаю?

Стоявший между бутылками маленький радиоприемник уже начал мурлыкать «Illusione, dolce chimera sei tu» [2], как вдруг раздался телефонный звонок. Бармен, изящный молодой человек в короткой белой куртке с погончиками из витого шнура, повернулся в мою сторону:

— Это вас.

— Меня?

— Да, синьор.

Я взял протянутую трубку. В продолговатом зеркале напротив я увидел двух офицеров инженерных войск, которые, смеясь, о чем-то спорили. Меня, должно быть, уже искали повсюду и теперь срочно требовали в контору гостиницы.

— Кто же требует?

Помню, что ответ проник мне в ухо словно струя ледяной воды и что я тотчас положил трубку. У другого конца стойки оба офицера продолжали смеяться, не обратив на меня никакого внимания. Только бармен с веселым удивлением поглядел в мою сторону.

— Тсс! — шепнул я, приложив палец к губам.

Зачем было меня беспокоить? Я ведь знал, что человек, который хочет со мной встретиться, умер, погиб и что этот телефонный звонок — всего лишь галлюцинация слуха, вызванная опьянением. И все же я сказал бармену:

— Призрак! Стоит только выпить лишнего, сразу же являются привидения!

Бармен недоверчиво покачал головой.

— Да вот послушайте, однажды вечером я малость перебрал и вдруг возникла передо мной моя матушка! Совершенно голая! С такими впадинами над ключицами, что там поместился бы и кокосовый орех!

Снова звонок. Я отказался подойти и мрачно затянул арию Орфея из оперы Глюка: «Призраки, маски, страшные тени...».

## 1

Сидя за рулем в маленьком черном «фиате» и внимательно обозревая дорогу, доктор Мантенья сказал:

— Скоро будет проверка.

Это сообщение вывело Сент-Роза из оцепенения. До сих пор он сидел, закутавшись в пальто (то было пальто сына доктора), подняв воротник, зябко засунув руки в карманы, и, глядя на мелькавшие километровые столбы, думал, что каждый из них, быть может, приближает его к печальной развязке. Печальной для него и для его спутника. Для спутника особенно, это уж точно. Укрывательство летчика союзников каралось смертью.

Справа и слева от дороги расстилались римские деревни, в бледном свете февральского утра напоминавшие один из тоскливых пейзажей Кирико, и впечатление это усиливали мелькавшие линии элект-

---

[1] Трогать запрещается! *(итал.)*

[2] «Иллюзия, ты — сладкая химера» *(итал.)*.

ропередач, вертикали телеграфных столбов, темные пятна крестьянских ферм, окутанных туманом. Низко над пропитанной водою землей летели какие-то птицы. Лицо доктора казалось сейчас моложе, словно надвигающаяся опасность освобождала его от груза усталости, забот и огорчений, а крепнущая энергия устраняла износ, накопившийся с годами. Вокруг — никого. Пустыня. Говорить нельзя, ибо скажешь слово — и вдруг появятся отовсюду вооруженные орды, хмельные от лютости, несущие смерть.

Сент-Роз чувствовал, как тяжелеет раненая нога. Казалось, что под повязкой тысячи тонких клыков вонзаются в рану. Он позволил себе единственное движение — протер запотевшее ветровое стекло. «Resistere per vincere!» [1] — гласила надпись, сделанная смолой на стене. Дальше к югу простирались поля, долины, горные цепи, где люди убивали друг друга, где рвущиеся снаряды вздымали в воздух фонтаны щебня. Все это так близко и так далеко! Его уверяли, что в Риме слышна канонада из Анцио. «Vincerà chi vorrà vincere!»[2] Справа промелькнуло полотнище, исчезло, потом появилась вереница кипарисов, устремленных в дождливое небо. Сент-Роз взглянул на руки доктора, сжимавшие руль, вспомнил крестьян, спасших его, давших ему приют, поддержавших его силы. Эти воспоминания его немного успокоили.

Он вновь представил себе просторную кухню, выложенную красной плиткой, связки луковиц, медные кастрюли над печью, свечи в нише перед фигурой святого, стол с овечьим сыром, бутылку, оплетенную соломой, дружеские лица этих простых людей, их живые, как у белки, глаза. Он вспомнил свежие простыни, бесконечно длинные ночи и скрип половиц, часы, которые громко отбивали время, людей, дежуривших по ночам под окнами и вдруг начинавших волноваться в темноте. Он вспоминал первые часы, проведенные на этой ферме, прилив радости, который он ощутил при мысли, что остался жив, наслаждение от первого глотка воды, вспоминал первую улыбку женщины, слова сочувствия: «Poverino! Che peccato! Com'e triste la vita!» [3]— блеск стеклянного кувшина, журчанье льющейся из крана воды. Немного позднее в рану попала инфекция. Начавшаяся лихорадка подорвала его силы, приступы страха внезапно настигали его, как хищный зверь в лесу. Больная нога лишала возможности сопротивляться, бежать и внушала неотвязную мысль о неизбежной ампутации. Мантенья разуверял его, но раз он вез его сейчас в Рим, то не для того ли, чтобы поручить заботам хирурга? Сент-Роза мутило при одной мысли, что он может стать инвалидом. Неужели он будет таким же, как те, от кого отворачиваются женщины, к кому они испытывают только жалость? Он вспомнил красавицу крестьянку, которая поднимала его с постели, чтобы перебинтовать рану, вспомнил, какое волнение охватывало его, когда она прижималась к нему своей упругой грудью, какое требовалось усилие, чтоб удержаться от искушения поцеловать эти свежие щеки, стиснуть в объятиях эту плоть, пахнущую ароматом полей, вольной жизнью! Боже, как он всякий раз сопротивлялся своему желанию, а между тем эти плечи, этот голос, запах этого тела, горячее, близкое дыхание усиливали его озноб, хотя она не отдавала себе в этом отчета и, поглощенная своим делом, ловко орудовала ножницами и бинтами, очищала рану легкой, проворной рукой. Но из уважения к гостеприимству и преданности своих благодетелей Сент-Роз жестоко подавлял в себе нежность и страсть, от которых весь трепетал. Ведь чтобы укрыть его от преследователей, тут дежурили день и ночь, наблюдали за дорогой, были готовы в случае тревоги спрятать его в другом потайном месте, в одной из силосных ям на ферме, и он стыдился своих нечистых помыслов —

---

[1] Сопротивляться, чтобы победить! *(итал.)*
[2] Побеждает тот, кто хочет победить! *(итал.)*
[3] Бедняга! Жаль его! Какая грустная жизнь! *(итал.)*

ведь люди вокруг него проявляли столько отваги, шли ради него на риск.

И сейчас, по дороге в Рим, в ожидании опасной проверки, Сент-Роз не мог не думать об этой женщине, вспоминал, как при одном ее появлении у него начинало стучать сердце, жаром охватывало тело, казалось, будто она — единственное прибежище в этом гадком и нелепом мире. Ему нравились ее длинные ресницы, смуглая кожа, черный пушок под мышками, пышная, распиравшая блузку грудь. Когда она уходила, он чувствовал, что теряет рассудок, ругал себя за излишнюю щепетильность. Сейчас подобные волнения остались уже где-то далеко, казались наивными. Он должен был приготовиться к испытанию, которое ожидало его за поворотом. Сент-Роз прилично говорил по-итальянски, но встреча на полицейской заставе все-таки его беспокоила из-за документов, которыми его снабдили и которые были поддельными, что, по его мнению, бросалось в глаза.

Наконец вдали, затянутой дождем и туманом, внезапно возник Рим. Словно в аквариуме плавали очертания куполов и башен, разбросанных среди синеватых громад современных зданий и темных пятен холмов. Постепенно в тумане стал вырисовываться черно-желтый массив, и Сент-Роз узнал купол собора святого Петра. В сумеречном свете город казался еще неприступней, а скудный зимний пейзаж городских предместий, подступавших к первым рядам домов, выглядел еще мрачнее. Можно было подумать, что это город на берегу застывшего моря — мертвый, обезлюдевший город, улицы которого погружены во мрак, а на уровне крыш тянется нечто вроде пены. Нигде ни дымка, ни движения. Иногда луч света рассечет тучи, остановится на двух-трех высоких фасадах и лишь усилит впечатление полной заброшенности и запустения. Сент-Роз созерцал это зрелище через ветровое стекло. Из-за лихорадки его бросало то в жар, то в холод, но какими-то короткими приступами, от чего все лицо его болезненно сморщивалось. Его левая нога была словно чугунная. Он увидел, как над деревьями взлетела птица, и стал напряженно следить за ее полетом. Колонна грузовиков с немецкими парашютистами, впереди которой цел грузовик, битком набитый немецкими офицерами, возвестила о себе долгим и настойчивым гудком. «Фиат» пристроился сбоку. Эти части, видимо, двигались к линии Густава или на фронт под Анцио.

— Обычно,— сказал Мантенья,— из-за налетов союзнических истребителей они едут ночью.

У всех этих людей в боевой форме, в касках с прикрепленными к ним ветвями были светлые, холодные глаза — точно кусочки льда, вправленные в глазницы. Очень молодые, атлетического сложения, они были похожи на хищных зверей, уверенных в своей силе, и Сент-Розу показалось, что некоторые из них смотрят на него иронически, словно догадываются, что он их поверженный враг. Шестнадцать грузовиков; на крышах кабин двух последних были установлены пулеметы, нацеленные в небо. От быстрого движения ветер колыхал ветви на солдатских касках, и казалось, что вся колонна, как ни удивительно, составляет одно целое с природой.

Начался дождь. «Фиат» миновал сосновую рощу и дорожный указатель, извещавший, что до Рима осталось пятнадцать километров, и подъехал к полицейской заставе. По сигналу машина остановилась посредине шоссе. Уже можно было видеть проволочное заграждение на обочине и немецкого жандарма с ружьем через плечо и медной бляхой на груди. Вереница автомашин терпеливо ждала, продвигаясь вперед короткими рывками в чаду выхлопных газов. Второй жандарм, такой же здоровяк, как и первый, отчетливо выделялся на темном фоне пустынной равнины. В случае опасности никакой надежды не было. Сзади уже подъехала следующая машина, загородив «фиату» выход. Сент-Роз забыл о своей ране. Концы пальцев у него око-

ченели от холода, ногти стали синими. Он чувствовал, что любая мелочь, любой жест обретают для него особый смысл, который его рассудок стремится молниеносно разгадать. К примеру, его встревожило уже то, что один из жандармов посмотрел в его сторону, а один из водителей скорчил недовольную мину и наклонился к соседу, как будто хотел его предупредить о чем-то очень важном.

— Говорите как можно меньше, Жак, и предоставьте действовать мне,— быстро сказал доктор.

Сент-Роз не возражал. Все существо его словно ощетинилось в трепетном напряжении с отчаянием и яростью лисицы, попавшей в капкан. Оставалось ждать, и только. Он не шевелился, но знал, что даже веки сомкнуть не сможет. Он видел итальянских полицейских, не спеша переходивших от машины к машине, и ему казалось, что все это происходит где-то под водой и перед его взором лишь медленно двигаются подводные пловцы.

Из-за бинтов Сент-Розу пришлось подвернуть брюки (также принадлежавшие доктору), и он внезапно почувствовал ненависть к своей ране, а потом сказал себе, что если их безрассудная затея провалится, спастись ему все равно не удастся, независимо от того, есть рана или нет. Он вытер лоб и щеки. Находясь у доктора — в последние дни тот приютил его в своем доме,— он прочел книгу, в которой описывалась знаменитая «ночь длинных ножей» в Мюнхене и уничтожение вожаков штурмовых отрядов. Когда вошли в камеру к Рэму в Штадельхеймской тюрьме, его застали по пояс голым из-за июньской жары. Увидев своих убийц, Рэм покрылся потом. Такая подробность поразила Сент-Роза, знавшего, что этот грубый солдафон был не робкого десятка. Значит, страх может возникать независимо от лихорадки или физической боли. Вот подошли итальянские полицейские. У Сент-Роза перехватило дыхание. Полицейскому, который остановился рядом, доктор молча протянул бумаги — свои и Сент-Роза, оценившего его невозмутимость. В то же время Сент-Розу казалось, что лицо этого полицейского с профилем дикой кошки, желтыми глазами и приплюснутым носом — это лицо его судьбы и что он слишком тщательно изучает его документы. Тревожно билось сердце, и Сент-Роз опасался, что эту тревогу можно прочесть на его лице. Бегло просмотрев документы доктора, полицейский о чем-то задумался, сощурив глаза и поджав губы.

— С ним произошел несчастный случай,— сказал Мантенья.— Перелом левой ноги. Везу его в поликлинику.

Полицейский, казалось, не слышал этих слов, настолько он был занят своими мыслями. «Я пропал»,— подумал Сент-Роз. Ему уже почудился свисток, сзывающий часовых, он мысленно увидел полицейских, окруживших «фиат». В конце концов его нервы не выдержали, он быстро повернул рукоятку, опустил стекло, и свежий деревенский воздух с силой ударил ему в лицо запахом влажной земли и горелого масла. Весь он согнулся, как боксер, готовый к ударам и к сопротивлению. С видом человека, пришедшего к окончательному выводу, полицейский прикусил нижнюю губу и посмотрел на бинты Сент-Роза. Доктор доверительно произнес:

— Увы! Придется ампутировать.

— Багажник! — прорычал полицейский.

Оказывается, тут выслеживали спекулянтов с черного рынка. Доктор послушно вышел из машины, чтобы открыть багажник. Закончив осмотр, полицейский угрожающе медленно вновь подошел к дверце автомобиля, поглядел на Сент-Роза, на его вытянутую ногу, не переставая покусывать губу, но на сей раз уже с видом человека, который вот-вот выскажет свое окончательное суждение и, даже не повысив голоса, разоблачит ваши подлые намерения, ваш цинизм. На миг Сент-Роз увидел вблизи эти спрятанные под густыми бровями глаза, во взгляде которых сквозило инстинктивное недоверие, свойст-

зенное охотничьей собаке с безошибочным нюхом. Тоненькие усики на морщинистом, с широкими ноздрями лице подчеркивали выражение злобной хитрости. Все другие персонажи, действовавшие за ветровым стеклом, походили на деревянных или восковых марионеток, которых медленно дергали за ниточки. Ни один из них не выглядел существом одушевленным. Реальными живыми людьми были только этот вооруженный до зубов субъект, казалось пытавшийся подавить насмешливую ухмылку, и он, Сент-Роз, который, затаив дыхание, ожидал, когда же кончится эта безнадежная игра. Доктор, сидевший с ним рядом, тоже превратился в марионетку, но как бы марионетку сломанную: грудь его почти лежала на руле, голова склонилась, а руки неподвижно застыли. В полях за спиной полицейского поблескивали лужи, отражая зимнее небо и словно отмечая границу свободного пространства, раскинувшегося до самого горизонта — того надежного убежища, куда достаточно проникнуть, чтобы очутиться в безопасности. Вдруг откуда-то из сосновой рощи на фоне глухого рокота моторов, работавших на малых оборотах, раздался голос:

— Avanti! [1]

Грузовик, плотно укрытый брезентом, тронулся в путь.

— Проезжайте,— сказал полицейский, возвращая документы.

Он отодвинулся, и бляхи на его груди заблестели. Потом движением плеча поправил ремень своего ружья и протянул руку к следующей машине. Сент-Роз почувствовал, что железный кулак, сжимавший его сердце, разжался. «Фиат» уже проскользнул среди других автомобилей, миновав одного из немецких жандармов.

— Странно он себя вел! Он что-то заподозрил?

— Может быть,— улыбнувшись, сказал доктор.— Возможно, он полагал, что под повязкой вы спрятали дефицитное продовольствие и что ваша раненая нога — всего лишь дешевый трюк, известный всем таможенникам в мире.

Через открытое окно свежий сырой воздух покалывал щеки. Доктор поехал не по той дороге, и они оказались вблизи Форума Муссолини, но проскочили его так быстро, что Сент-Роз не успел рассмотреть ни здания, ни статуи под деревьями. Доктор вернулся назад к мосту Мильвио, потому что на Форуме размещались подразделения итальянской полиции, в том числе недавно вернувшиеся на родину из Африки, которые проводили проверку более строго, чем дорожная полиция. Миновав мост, машина поехала по улице Фламинии, затем свернула на левый берег Тибра. Семь лет назад Сент-Роз провел в Риме несколько недель, он очень полюбил этот город, где сделал важное открытие — открыл самого себя. Он узнал здесь пылкий трепет сердца, которого не испытывал со времени первых детских увлечений. Но сегодня дома, площади, сады, деревья вдоль реки казались ему овеянными суровой печалью, словно их подстерегало большое несчастье. с безумным взглядом блуждавшее по улицам. Куда-то спешили женщины под зонтиками. Немецкая автомашина, вынырнув из пелены моросящего дождя, размывавшего очертания Дворца юстиции и Замка святого Ангела. выгрузила свое содержимое — солдат в касках с длинным полотняным козырьком, придававшим их облику нечто ястребиное,— и затем углубилась в маленькую улочку, будто навсегда нырнула в бездну. Два бледненьких мальчугана молча брели вдоль стены, один позади другого, глядя прямо перед собой.

Вскоре «фиат» свернул влево и остановился на маленькой площади, окруженной ветхими домами, перед небольшим старинным особняком, античный фасад которого облупился и осыпался от времени.

Пока доктор стучал в ворота, Сент-Роза снова начало знобить. Все кругом выглядело пустынным. В промежутках между домами

[1] Вперед! *(итал.)*

царил мрак и пахло погребом. Вскоре среди этого запустения по влажным, блестевшим от сырости плитам тихонько прошмыгнула на мягких лапках черно-белая кошка со светящимися глазами. Сент-Роз, глядя на нее, подумал, что чувство безопасности всегда обманчиво, что пока ничего еще не удалось добиться и ему надо быть начеку.

Когда «фиат» въехал во двор, Сент-Роза прежде всего поразила тишина — как в склепе или в шахте, тишина неподвижная, словно тяжелый занавес. Он взял свою трость, с трудом вышел из машины, отказавшись от помощи старого привратника, разом оглядел все три этажа палаццо с резными чугунными решетками на окнах. Полуразрушенные барельефы между окнами изображали львиные головы с круглыми и весьма свирепыми глазами, какие бывают у статуй.

## 2

Вслед за служанкой, дородной женщиной лет пятидесяти, они прошли в большую гостиную с зашторенными окнами, высокими зеркалами, громадной люстрой с хрустальными подвесками и стеклянными подсвечниками в виде сверкающего огнями букета, напоминавшего о пышных празднествах.

Женщина, ожидавшая их у камина, в котором горело толстое полено, была, по-видимому, маркиза Витти. Она сидела в кресле с наушниками, положив руки на пюпитр. Изящная, легкая мебель, картины, книги в позолоченных переплетах, серебряные светильники, нарядная обивка стен создавали вокруг обстановку уюта и покоя. Несмотря на свои семьдесят два года, маркиза выглядела очень бодро — прежде всего благодаря живым глазам и уверенной осанке человека неизменно деятельного, прошедшего в жизни через самые невероятные испытания, никогда не падавшего духом и теперь еще готового к превратностям судьбы, человека твердой воли и чуткого сердца. Одетая в темное, плотно облегавшее плоскую грудь платье с янтарными пуговицами, кружевным воротничком и манжетами, маркиза держалась очень прямо; на шее у нее на серебряной цепочке висел лорнет, которым она пользовалась при чтении. Волосы ее с изысканным кокетством были обвиты серой лентой более темного тона. Что касается грима, то маркиза осталась верна моде своей молодости, чем и можно объяснить набеленное лицо, густо нарумяненные щеки, подсиненные веки в мелких блестках. Сент-Роз подумал, что это, несомненно, натура яркая, незаурядная, она ворвалась в жизнь как стрела, и молодость ее была бурной, полной любовных приключений. Впрочем, он знал о ней очень мало, если не считать того, что маркиза была горячей поклонницей всего французского, не могла простить Муссолини, что он объявил Франции войну, и некогда состояла в переписке с Роменом Ролланом. От того же доктора Мантеньи он узнал, что она отказалась уехать со старшим сыном Козимо в свое поместье вблизи Витербо и жила в Риме с другим сыном — Луиджи и своей невесткой Сандрой. Еще одна подробность: Козимо и Луиджи — ее сыновья от первого брака с господином Павоне, богатым торговцем семенами, умершим лет сорок тому назад.

С улыбкой — а когда она улыбалась, ее лицо, как бумага, собиралось в мельчайшие складочки — маркиза сказала, что в целях безопасности Сент-Роз будет устроен на самом верхнем этаже. Там под крышей есть тайник, где в течение нескольких недель скрывались два еврея, которым в октябре после устроенной нацистами облавы удалось спастись.

Сент-Роз поблагодарил маркизу за то, что она сразу согласилась приютить его, едва только доктор Мантенья через доверенное лицо попросил ее об этом. Маркиза жестом дала понять, что благодарность тут излишня, и добавила, что пригласила к себе вечером одного приятеля, хирурга.

Сент-Розу снова пришлось рассказывать о своих боевых приключениях, о том, как восемнадцать бомбардировщиков «В-26» поднялись в воздух с аэродрома Вилласидро в Сардинии, совершили налет на крупное бензохранилище вермахта неподалеку от побережья севернее Рима, об успехе этой бомбардировки, несмотря на ожесточенное сопротивление зенитной артиллерии, и о том, что на месте бензохранилища, посреди мирной умбрийской деревушки, остался лишь гигантский столб черного дыма. Но два самолета были безнадежно повреждены, в том числе самолет Сент-Роза. Покалечил машину разорвавшийся под нею снаряд. Огонь распространялся так быстро, что командир в ларингофон отдал экипажу приказ оставить самолет. Без каски и без защитного жилета Сент-Роз выпрыгнул через бомбовый люк, который оставался открытым. Только повиснув на парашюте, он почувствовал, что ранен в ногу. Кровь струилась у него по ботинку, но Сент-Роз думал лишь о том, как бы ветер не отнес его далеко в море. Он не надеялся ни на свое mae-west[1], ни на уменье плавать. Другие парашюты снижались в небе, напоминая медуз. Но он не смог пересчитать их, так как был поглощен собственным приземлением и завопил от боли, когда раненой ногой тяжело стукнулся о поросшую кустарником землю недалеко от берега. И хотя он не видел волн, поскольку упал в густые заросли дрока, тем не менее слышал рокот набегавших морских валов. С окрестных полей подоспели крестьяне, которые были очевидцами этой драмы и теперь стремились опередить немцев. Они уложили в телегу двух уцелевших — Сент-Роза и Бургуэна, отвезли их на ферму и спрятали в соломе. К ночи приехали на мотоцикле для дознания немецкий сержант с солдатом, но крестьяне отвечали, что, должно быть, оба парашютиста вместе с другими утонули в море.

Потом розыски прекратились, волнение улеглось, и Бургуэн уехал на почтовом грузовичке в Рим. В Риме он знал одного старого скульптора, который готов был укрыть у себя Сент-Роза и, если понадобится, переправить через линию фронта. На всякий случай Сент-Роз запомнил его адрес. Но в последующие дни Сент-Розу стало хуже, и его пришлось перевезти в деревню к врачу.

— Господи,— сказала маркиза,— когда же кончится эта война?

И Сент-Роз подумал, что отныне ему часто придется рассказывать о пережитом, как он рассказывал сейчас и как рассказывал раньше крестьянам и доктору Мантенье, и что рассказ этот, в сущности, дает лишь самое приблизительное представление о том, что происходило. Никому не понять напряжения этих последних секунд перед прыжком вниз в пропасть, перед тем, как раскрылся парашют (кто мог поручиться, что он раскроется?), и этого полета с притупленным сознанием, словно в кошмарном сне, погружающем тебя в небытие. Он вспомнил последнее увиденное им лицо — смертельно бледное лицо одного из молодых стрелков, тело которого все еще продолжало дергаться сзади, на баке, куда он упал, хотя стрелок был уже мертв и вместе с объятой пламенем массой самолета неотвратимо падал в бездну. Сент-Розу приятно было сочувствие маркизы, от сострадания закрывшей глаза. Возможно, она поняла — она, так много пережившая,— что вся эта война — не более чем галлюцинация и что все эти мертвые — всего лишь загадки, разгадать которые поможет только терпение и любовь. Боже, как ему было жарко! Он выпил рюмку ликера, которую поднесла ему старая служанка София, ибо знал, что алкоголь скует и укротит его мысли, пропустит их через тонкое ситечко и освободит его от наваждения. По обе стороны камина, в котором потрескивали дрова, на стенах висели гобелены, и льющийся из окон серый свет падал на них. На гобелене слева был изобра-

[1] Mae-west *(англ.)* — надувной нагрудник на случай аварии самолета, названный именем популярной голливудской кинозвезды.

жен последний бег Аталанты, побежденной Гиппоменом, а на другом — Гектор и Андромаха на стенах Трои.

После отъезда доктора, который не мог задерживаться из-за затемнения, София проводила Сент-Роза на верхний этаж; им пришлось пройти по галерее под взглядами пышно разодетых господ в барочных рамах. Один из них, в рыцарских доспехах, выглядел особенно свирепо. На последнем же портрете перед лестницей, ведущей наверх, была изображена молодая девушка с глубоким декольте и веером в обнаженных руках, слегка похожая на маркизу.

Комната, куда София привела совершенно обессилевшего по дороге Сент-Роза, была довольно большая, с занавесями на окнах, крестьянским шкафом из орехового дерева и железной кроватью с медными шарами. Обогревалась комната с помощью печи, труба от которой была выведена в дымоход камина. Одну из стен украшали штук двенадцать бабочек под стеклом. Крылья некоторых бабочек цветом напоминали их же глаза, будто выпученные на нового пришельца.

Пока он устраивался, София не переставала болтать. Поначалу он слушал ее рассеянно, нетерпеливо дожидаясь, чтобы она поскорей растопила печку и оставила его одного. Лихорадка измотала Сент-Роза, сделала его ко всему безразличным. Но потом он попытался сосредоточиться. Эта София была славной женщиной, и он понимал, что в дальнейшем будет во многом от нее зависеть. Она говорила, что на весь палаццо она единственная служанка, если не считать ее мужа Джакомо, который работает садовником и привратником и, кроме того, по определенным числам еще помогает ей натирать полы и мыть стекла. Она сожалела о блестящем прошлом семьи Витти, которая некогда держала многочисленную прислугу: «Вы только подумайте: у одной маркизы было две горничных». Ее хозяйка происходила из среды богатой римской буржуазии и лишь во втором браке стала маркизой. Она скорее по любви, нежели из тщеславия вышла замуж за этого обедневшего маркиза, который вконец разорил бы ее своими бестолковыми проектами, страстью к путешествиям и роскошным гостиницам, если бы лет двадцать назад не умер от малярии в Бразилии.

Что же касается сына маркизы Луиджи Павоне, то, по мнению Софии, это был не человек, а «счетная машина». Однако она ни слова не промолвила по поводу его жены, а затем показала люк в потолке, который вел на чердак. Сент-Роз рассудил, что если ему придется там прятаться, то даже самый глупый полицейский его сразу обнаружит. Однако он промолчал и улегся на кровать лицом к бабочкам. Вся нога его до самого бедра словно была набита горящими углями, липкий пот покрывал лицо.

Оставшись один, Сент-Роз попытался уснуть, но едва только он закрывал глаза, ему начинало казаться, что под ним бушуют волны, как в гибнущем самолете. То ли это объяснялось лихорадкой, то ли его вновь охватила тоска, которую он почувствовал, когда надо было прыгнуть в пустоту. Он заставил себя сосредоточиться. Чем ценно это убежище? Цель была проста: избежать плена, встретиться с Бургуэном, когда тот поправится, и попытаться вместе добраться до союзников. Но под влиянием усталости мысли снова рассеялись, и у Сент-Роза возникло гнетущее чувство, будто он замурован в этом городе, окружен множеством стен, которые концентрическими кругами обступили его, и нельзя преодолеть их одну за другой, ибо они высоки и гладки и такие же серебристые, как корпус военного самолета.

В доме было очень тихо, и он услышал, что кто-то поднимается по лестнице. Шаги были легкие, значит, это не София. Заинтригованный, он прислушался. Шаги уже достигли коридора, и человек, види-

мо, направлялся к нему. В дверь дважды коротко постучали. Сент-Роз отозвался, с трудом приподнявшись на локте.

У нее было стройное тело и хрупкие плечи, а облегавшее фигуру платье цвета электрик подчеркивало талию, крутую линию бедер.

— Не тревожьтесь,— сказала она по-французски,— я невестка маркизы Витти. Пришла познакомиться.

И без стеснения, не переставая улыбаться, она села напротив него и скрестила ноги. Движением руки она остановила Сент-Роза, когда он попытался встать с постели, и тут он вдруг заметил, что ее огромные черные глаза смотрят почти не моргая — это придавало ее взгляду странную напряженность, словно она с жадностью пыталась уловить впечатление, которое производила на Сент-Роза.

С той же непринужденностью она закурила сигарету, протянула ему коробку и сказала грудным, чуть хрипловатым голосом, который удивил его:

— Я слышала, вам пришлось пройти через тяжелые испытания.

— Война,— коротко ответил Сент-Роз, у которого стучало в висках.

— И вы хотите туда вернуться?

— Разумеется.

— Вы кадровый военный?

— Офицер запаса.

— Конечно, летчик — большая ценность в такой войне, где преобладает техника. Нужно много времени, чтобы обучить его, подготовить во всех отношениях, это требует значительных затрат...

В ее голосе слышалась ирония, и Сент-Роз без труда расшифровал смысл всех этих слов: «Глупец, ты здесь в укрытии, ничем не рискуешь, Рим скоро будет освобожден, а ты по-прежнему хочешь играть в отважного ковбоя».

Свет лампы, которую она зажгла, бросал отблеск на ее лицо, на короткие и очень белые руки, заставлял сверкать зубы, голос ее как нельзя больше соответствовал атмосфере замкнутости, царившей в доме. Безусловно, привлекательная женщина, но крайне самоуверенная. Никто, видно, не мешал ей поступать по-своему, потрафлять собственным желаниям, поддаваться любым порывам.

— Тут о вас позаботятся, вы быстро поправитесь,— сказала она тем же насмешливым тоном. И без всякого перехода спросила: — Как вы находите мой французский?

— Выше всяких похвал.

— Благодарю вас. Говорить по-французски — огромное удовольствие! — При этих словах она даже прижала руку к груди.— Вы парижанин?

— Нет. Из Экса.

— Но вы знаете Париж?

— Довольно неплохо.

— Вот только кончится война, я поеду туда месяца на два — на три. Конец войны — всегда праздник, и надо будет наверстать упущенное за все эти ужасные годы.

Вероятно, она принадлежит к людям, которых пугает быстротечность времени, к тем, кто постоянно оглядывается на свою молодость. Сколько ей может быть лет? Сорок? Она сохранила фигуру молодой девушки, свежесть кожи. Ожерелье из мелких роговых жемчужинок на ее шее казалось тонким шрамом. Она все еще продолжала перечислять, какие развлечения ожидают ее в будущем, ни разу не упомянув при этом о муже, и Сент-Роз почувствовал ее жадность к удовольствиям и своего рода примитивную извращенность, страх потерять независимость и полное безразличие к людям.

Углом простыни он вытер лоб. Ему хотелось пить. Время от времени его охватывал такой холод, будто под кожу ему впрыскивали

ледяную воду. Однако и он в свою очередь хотел кое о чем ее спросить:

— Вы одобряете решение вашей свекрови относительно меня?

— Свекровь не спрашивала моего совета. Она у себя дома и может поступать как ей угодно.

— Но ведь и вас я подвергаю риску.

— А я риск люблю,— ответила она.

И тут же рассмеялась, пристально глядя на него своими расширенными глазами.

— Но я ведь знаю,— добавила она,— как только здоровье позволит и представится удобный случай, вы переправитесь на ту сторону. Стало быть, речь идет всего о нескольких неделях. И если на вас не донесут, кто заподозрит, что вы здесь?

— Значит, на меня могут донести?

— Слуги у нас надежные.

— А вы?

Она вновь засмеялась:

— Я — нет.

— Я вам верю,— сказал Сент-Роз.

— Почему?

— Думаю, что никто не мог бы долго полагаться на вас.

— О! Вы правы!

Они говорили в шутливом тоне, но Сент-Роз понимал, что они уже начали тонкую игру, ведущую к раскрытию карт. Порой она напоминала ему тех маленьких хищных зверьков, которые, таясь меж скал и кустарников, всегда остаются настороже и пристально смотрят перед собой.

— Никогда не следует быть слишком ясным,— сказала Сандра.— Каждый из нас интересен своей переменчивостью и тем, что в нем невозможно предусмотреть, не так ли?

Для нее, думал Сент-Роз, добро и зло — понятия, лишенные значения, а может, и просто смешные. Он наблюдал за ней, и ему в голову пришло еще одно сравнение — ползучее растение, медленно, но коварно затягивающее все вокруг.

— Вы очень испугались, когда подбили ваш самолет?

Вопрос застал его врасплох, но он непринужденно ответил:

— Пожалуй.

— У вас есть братья и сестры?

— Есть брат.

— А родители?

— Мать умерла. Отец снова женился.

Допрос этот привел его в некоторое замешательство, но он машинально подчинялся, увлеченный самим его ритмом.

— А чем вы занимались до войны?

— Зарабатывал себе на жизнь.

— Каким образом?

— Работал у одного архитектора.

— Вы связаны с какой-нибудь женщиной?

— Нет.

Он говорил правду, но она смотрела на него большими, неподвижными глазами так, словно сомневалась во всем или удивлялась тому, что он говорил, ибо временами лицо ее становилось непроницаемым и не давало возможности догадаться о ее чувствах. Будет ли она и дальше расспрашивать его об интимных делах? Голова у Сент-Роза тяжелела, его одолевала слабость, боль от пятки до бедра изматывала. Сандра, должно быть, поняла его состояние и встала.

— Отдыхайте,— сказала она.— Доктор Марко скоро приедет.

— Вы уже уходите?

— Меня внизу ждет работа.

— А вы вернетесь?

— Вам это доставит удовольствие?

— Перестаньте кокетничать со мной.

Она пошла к двери и по дороге рассмеялась коротким смешком — не столько веселым, сколько исполненным тщеславного вызова, какого-то насмешливого пренебрежения.

— Я вам пришлю с Софией книги и еще сигарет.

Свою коробку с сигаретами она оставила у него на кровати. Вскоре ее шаги в коридоре, а затем на лестнице затихли. Она спустилась вниз. Дождь тихо стучал по оконному стеклу — зимний дождь, шум которого заглушали толстые стены палаццо. Действительно ли ему хотелось задержать это загадочное создание, вызывавшее изумление, недовольство собой? Он понимал, что, хотя ему и исполнилось двадцать восемь лет, он знает себя плохо и ему еще многое предстоит в себе уяснить.

## 3

Маленький, коренастый, с круглой спиной, делавшей его похожим на горбуна, и малюсенькими черными глазками, бегавшими за стеклами очков, точно два испуганных насекомых, доктор Марко был старым и добрым человеком. Он лечил Сент-Роза пенициллином — американским антибиотиком, которым союзники недавно стали пользоваться в своих госпиталях.

Как Марко доставал это лекарство? Сент-Роз ни разу не решился спросить его. Доктор приходил к нему каждый вечер уже много дней подряд, причем Сент-Роз неизменно находился у себя в комнате, куда заходила только София, которая кормила его и перевязывала, проявляя трогательную преданность. Другие обитатели дома здесь не бывали. Маркиза на этот этаж никогда не заглядывала просто потому, что ей было трудно взбираться по крутой лестнице, но она оказывала Сент-Розу исключительное внимание, посылая ему с Софией газеты, кофе и даже дрова. А холод часто тревожил Сент-Роза. Натянув одеяло на плечи, он проводил многие часы за чтением и, когда не выключалось электричество, слушал по радио музыку, а также передачи Би-Би-Си. (По последним сообщениям, блокада Ленинграда была уже прорвана, и американская авиация разбомбила аббатство Монте-Кассино.)

В одном из ящиков стола Сент-Роз нашел колоду карт, оставленную предыдущими беженцами, и забавлял Софию своими фокусами. Он знал их множество, и некоторые были весьма эффектными. Когда София задерживалась у него, он расспрашивал ее о том, что делается в палаццо и за его пределами. Так он узнал, что маркиза встает очень рано и после утреннего туалета София по ее указаниям тщательно подрумянивает ей лицо. Церемония была долгой и сложной, имевшей свои неизменные традиции.

Софии было известно, что маркиза хранит в своем секретере множество любовных писем, и ей поручалось уничтожить их, как только старая дама «уйдет». София всегда употребляла именно это слово, говоря о возможной смерти своей хозяйки.

Что касается Луиджи Павоне, то о нем София ничего интересного не рассказывала, кроме разве того, что он уходит из дому рано, часто поздно возвращается и что он-де человек холодный, замкнутый и ничуть не похож на своего брата Козимо, который управляет их имением в Витербо.

— Что же он делает?

— Он — важная персона в министерстве финансов, и это помимо всего прочего позволяет ему привозить сюда продукты с фермы.

По поводу Сандры София сказала, что та встает поздно, а после двенадцати куда-то отправляется, причем никто не знает куда. Но тон, каким это было сказано, позволял предположить, что до самого за-

темнения — а оно начиналось в семь часов вечера — синьора Павоне ведет весьма легкомысленную жизнь.

— А что же по этому поводу говорит ее муж?

— Ну, он-то!

Софию не удивляли вопросы Сент-Роза, она находила его любопытство вполне естественным и с удовольствием отвечала ему. Было ясно, что она недолюбливает Сандру, считает ее капризной, эгоистичной, ленивой и не прощает неслыханно дерзкого тона, каким та порой говорит с маркизой. Сандра родилась в Швейцарии, мать ее родом из Цюриха, а отец из Триеста, стало быть, по мнению служанки,— «вроде бы австриец». Семья Сандры приобрела дом в районе Беневенто, а когда Сандра училась в Риме, она встретила Луиджи и покорила его.

Но Сент-Розу было гораздо интереснее узнать, каковы настроения самих римлян и как лучше ходить по городу, чтобы избежать проверки документов и облав, которые устраивались даже в трамваях. Он пытался выяснить, какие трудности и препятствия придется преодолеть, чтобы встретиться с Бургуэном. Мантенья настойчиво рекомендовал ему не звонить по телефону скульптору. С тех пор как немцы оккупировали Рим и была создана фашистская республика, начали свирепствовать многочисленные полицейские службы, а давление союзников на юге, как никогда, подстегивало их. Следовало остерегаться систем подслушивания. Единственное решение: отправить к Бургуэну связного. Но Сент-Розу было неловко прибегать к услугам Софии или ее мужа. Оставалась еще Сандра Павоне, но он питал к ней недоверие и решил сначала еще раз увидеть ее, поговорить с ней, лучше ее узнать. По правде сказать, то, что она больше не зашла к нему, вызывало у него досаду. Подумать только, ведь Бургуэн, возможно, уже связался с одной из подпольных групп, специально занимающихся переправкой союзных летчиков!

Состояние Сент-Роза постепенно улучшилось; самостоятельно обуваться он еще не мог, но учился ходить то в коридоре, то на чердаке. Он забирался туда с помощью табуретки, и среди старых сундуков и ломаной мебели ему вполне хватало места, чтобы тренироваться в ходьбе. Те, кто до него укрывался в этом доме, оставили здесь на стенах несколько надписей черным карандашом, в том числе и такую: «Ночью тоже есть солнце». Через небольшое овальное окошко он мог поверх крыш любоваться Альбанскими горами в дымке, и тогда он чувствовал себя пленником. В уединении он много думал о себе, вспоминал, что еще с юношеских лет всегда чего-то жаждал, сам не зная, чего именно, что война только усилила эту жажду и что от этого он страдает.

Позже, когда доктор Марко сообщил, что здоровье Сент-Роза улучшилось, маркиза пригласила его поужинать вместе с Сандрой и Луиджи, посоветовав ему спуститься не раньше семи часов вечера во избежание каких-либо неожиданностей. Во второй половине дня она обычно принимала гостей, старых, болтливых дам, которые допоздна засиживались у камина.

Сент-Розу эта вечерняя встреча помимо приятного развлечения давала возможность поговорить с синьорой Павоне, а то даже и заинтересовать ее своими планами. Он тщательно оделся, приспособил для своей еще перевязанной ноги домашнюю туфлю, которую принесла София, и стал осторожно спускаться по лестнице. Сразу же после галереи портретов с последней лестничной площадки уже видна была большая гостиная, и при свете ярко сверкающей люстры Сент-Роз заметил маркизу и ее сына, которые показались ему очень взволнованными. Когда он вошел в зал, Луиджи Павоне — высокий худощавый человек с желтыми глазами и чрезмерно высоким лбом — весьма сухо с ним поздоровался. Такой прием, атмосфера тревоги, напряженные лица — все это смутило Сент-Роза. Но тут Луиджи, посмотрев на

него своим тяжелым орлиным взглядом, сказал, что через несколько минут начнется затемнение, а жены его почему-то до сих пор нет дома.

— А ты что не собираешься уходить? — спросил мужчина, выходя из ванной. Он уже был одет.

Растянувшись на животе посредине кровати, на сбившихся в беспорядке простынях, Сандра лениво прошептала, что побудет еще немного.

— Значит, мы выходим не вместе?

— Ты ведь торопишься.

Инстинкт подсказывал ей, что люди чувственные обычно храбры. Этот человек был у полиции на подозрении по политическим мотивам; он приезжал сюда из окрестностей Рима и каждый раз рисковал собой ради того, чтобы встретиться с нею. Ее это забавляло, и порой она разыгрывала страстную любовницу, чтобы подольше задержать его и заставить поволноваться. И когда он, наконец, вырывался, она иронизировала, прикидываясь огорченной:

— Ты действительно так боишься?

Ей нравилось ставить людей в рискованное положение, она и себя при случае не щадила.

— Будь осторожней,— сказал он, посмотрев на часы.— Скоро затемнение...

— Разумеется...

Она повернулась на спину, и он наклонился, чтобы поцеловать ее в грудь.

— В среду?

— Обязательно.

Сандра услышала, как стукнул лифт, вздохнула и снова томно потянулась. В этой квартирке в районе Париоли, которую она сняла для свиданий месяца три назад, было тепло благодаря печурке, дрова для которой покупались у привратника втридорога.

Два раза в неделю Сандра встречалась здесь со своим любовником — без излишних сантиментов, ценя, впрочем, его темперамент и опытность. А сегодня к наслаждению, после которого она еще не пришла в себя, прибавлялось действие сигарет «грифа», особых, наркотических, получаемых штурмовыми частями,— Сандра их покупала на черном рынке на виа Тор-ди-Нона. В состоянии блаженной умиротворенности она чувствовала себя вне времени, свободной, как одна из тех морских птиц, что целыми днями царственно парят над пучиной.

В доме где-то на верхних этажах хлопнули двери, сначала одна, потом другая. Она встревожилась: «Сколько же сейчас времени?» Поискала рукой свои часики: «Должно быть, они на столе», тотчас забыла про них: сознание ее снова погрузилось в пучину сладостного дурмана, скользнуло во что-то вязкое, потом медленно обрело ясность. «Четверть седьмого!» На сей раз она сделала усилие, чтобы прийти в себя. Едва встав с постели, она сообразила, ведь палаццо находится на другом конце города! Охваченная дрожью, Сандра кинулась в ванную, наскоро привела себя в порядок. Вот будет номер, если и трамваи не ходят. Натянула трусики, чулки, а комбинацию и платье решила не надевать потому что платье застегивалось сзади, да еще на двенадцать пуговиц,— засунула все это в большую кожаную сумку вместе с лифчиком, брошью, часами, сигаретами, накинула пальто чуть ли не на голое тело, поспешно вышла, закрыла за собой дверь, быстро сбежала вниз по лестнице и, оказавшись на улице, задохнулась от ударившего ей в лицо холодного воздуха.

На улице было пустынно. Под мелким моросящим дождем, затянувшим дымкой далекие фонари, Сандра бросилась к проспекту, но у нее перехватило дыхание от леденящего воздуха, и она вынуждена

была сбавить шаг. Трамваи по проспекту уже не шли. Оставался еще последний автобус на соседней улице. Она уже стала придумывать басню для Луиджи, который, как ответственный служащий министерства финансов, имел постоянный пропуск и, возможно, разыскивает ее по полицейским участкам. Вот ведь незадача! Не говоря уже о том, что в этих участках всегда жуткая толчея и страшные сквозняки. По противоположному тротуару шел ей навстречу какой-то мужчина под черным зонтом. «Парикмахерская». В витрине блестели мерзкие восковые бюсты. Сандра ускорила шаг. Холод проник под пальто и подобрался к пояснице. «Я поступила неразумно». Из-за экономии электричества улица освещалась редкими фонарями, которые через несколько минут погаснут в связи с затемнением. «Comune di Roma!.. Vietato...»[1] Сандра вспомнила, что как раз сегодня вечером она должна ужинать с французским летчиком. К черту! Если она не найдет никакого транспорта, то вернется обратно в квартирку. Но там нет телефона. Как же предупредить мужа? Сейчас она уже злилась на себя. Сколько же теперь времени? Прошло не менее получаса. Дело плохо! Лучше повернуть обратно. Там видно будет. В эту минуту какой-то автомобиль, ехавший у самого тротуара, затормозил почти рядом с ней. Немецкая машина. Внутри два улыбающихся офицера. Плотно завернувшись в пальто, чтобы не видно было, что на ней нет платья, Сандра сделала знак рукой. Автомобиль остановился.

— Вы идете домой, сударыня?

— Я опоздала на трамвай, а скоро начнется затемнение. Может быть, подбросите меня?

— Садитесь, указывайте дорогу.

— Благодарю вас.

Человек, говоривший с ней, намеренно картавил. Он быстро вышел из машины, предлагая ей сесть между ним и водителем.

— Вы живете одна? — спросил человек за рулем как бы мимоходом, но с явным подтекстом.

— С мужем. И со свекровью...

Он засмеялся — нижняя половина его лица была хорошо видна в зеленоватом свете приборной доски,— затем промурлыкал: «Эрика, мы тебя любим!..» И в эту минуту Сандра заметила, что оба ее спутника одеты в черные мундиры со знаками дивизии «Мертвая голова». Эта ситуация — она почти голая, в пальто, наброшенном прямо на белье, сидит между двумя эсэсовскими офицерами — показалась ей очень забавной. Все молчат. Время от времени Сандра бросает: «Налево, направо». Один из офицеров осторожно просунул руку ей под пальто и, глядя прямо перед собой, уже тихонько поглаживал ей колено. Она ему не препятствовала, заранее усмехаясь при мысли о том, какова будет его реакция, когда он обнаружит, что на ней нет платья. На площади Испании встретился полицейский кордон. Караульный наклонился к дверце, отдал честь и пропустил машину. Чуть дальше Корсо выглядел уже полутемным туннелем. Затемнение только что началось. Закамуфлированные фары бросали на влажную от дождя мостовую голубоватые отблески. Еще один поворот направо. Рука эсэсовца уже скользила по ее бедру — горячая, проворная рука. На этот раз Сандра решительно ее отстранила, насмешливо на него посмотрев, но он остался невозмутим. Рассмотреть выражение его лица было невозможно, так как тусклый свет от приборной доски не достигал его. Сандре показалось, что он задержал дыхание. Еще несколько улиц, таких же пустынных и мрачных. В палаццо, должно быть, очень беспокоились о ней, и пора было подумать о том, как объяснить свое опоздание. Но ее воображение сковала какая-то лень. А тут еще этот болван опять принялся за прежнее, пальцы его снова скользнули ей под пальто...

[1] Римский муниципалитет!.. Въезд запрещен... *(итал.)*

— Вот мы и приехали,— сказала Сандра, указывая на видневшуюся справа маленькую площадь.

Автомобиль повернул и остановился у подъезда.

Едва только Сандра вышла из машины, ей пришло в голову пригласить своих спутников чего-нибудь выпить — не для того, чтобы поблагодарить их за любезность, а скорее, чтобы позабавиться растерянностью домашних. Оба офицера выразили согласие. Открыв дверь, швейцар Джакомо так и охнул от испуга при виде молодой женщины в сопровождении двух военных в черных мундирах.

Пока они снимали свои фуражки и пальто, на шум в передней вышел Луиджи и тоже замер от удивления и тревоги.

— Мои друзья,— представила их Сандра самым естественным тоном.— А это мой муж.

— Луиджи Павоне, прошу пожаловать.

Сандра улыбнулась — настолько этот сдержанный голос выдавал неискренность приглашения. Оба немца в свою очередь назвались, но так поспешно, что она едва расслышала: высокого звали Гельмут, а его спутника — Варнер. А может, Вальтер.

— Я хотела достать сигареты,— сказала Сандра.— Но вышла поздно, трамваи уже не ходили, и эти господа меня любезно подвезли. Простите, я должна на минуту заглянуть к себе в комнату.

Удаляясь, она ощущала на себе хищный взгляд Луиджи. И услышав, как он говорит: «Сюда, прошу вас», вспомнила, что французский летчик, должно быть, сейчас уже у маркизы.

Когда, спокойно сняв с себя пальто, надев платье и подправив косметику, она вернулась в гостиную, то, что она там увидела, крайне ее позабавило. Маркиза сидела в своем кресле у камина. Справа от нее — Луиджи и Сент-Роз, а слева — двое немцев; все молчали. Позади с подносом, уставленным бутылками и бокалами, стояла взволнованная София. Сандра весело сообщила, что эти любезные офицеры принадлежат к СС и полностью опровергают репутацию, установившуюся за этими отборными частями. Поскольку Сент-Роз пристально на нее смотрел, она спросила:

— Милый Марчелло, я полагаю, вы уже познакомились?

— Конечно.

Марчелло Гуарди — таков был псевдоним Сент-Роза. Однако более молодой немец на своем плохом итальянском возразил Сандре:

— Почему вы думаете, что мы из СС?

Похоже, он был недоволен, а его спутник язвительно заметил, что танковые войска тоже носят черную форму и такой же череп со скрещенными костями,— только танкистов ни с кем не спутаешь. Тогда Сандра примирительно сказала:

— Прошу извинения.

К счастью, София уже разливала вино, и инцидент был исчерпан. Маркиза молча сидела в своем кресле, откинув голову на спинку, и по ее виду Сандра догадывалась, что из нее не вытянешь ни слова. Что касается Сент-Роза, то он показался ей очень бледным. Он поднялся и стоял, опершись на свою палку, держа в другой руке бокал, и, казалось, с интересом рассматривал гобелен, изображавший Гектора и Андромаху. Привести двух немецких офицеров в дом, где скрывается союзный летчик,— от этой шутки Сандра многого ждала, эта затея, безусловно, должна вызвать у ее свекрови, Луиджи и самого Сент-Роза забавную реакцию. Но пока ничего не происходило, и оба гостя, видимо, чувствовали себя столь же неловко, как и их хозяева.

— Значит, вы танкисты,— сказала Сандра.— Наверно, в увольнении?

Варнер-Вальтер сделал жест, который мог означать все что угодно. Затем все со странно серьезным видом осушили бокалы, и Луиджи

заговорил о недавнем воздушном налете и разрушениях, которые он вызвал на виа Остьензе.

— Папа настойчиво выступает за то, чтобы Рим был объявлен открытым городом.

— Отказываются союзники, не мы,— ответил Гельмут.

— Союзники, без сомнения, согласились бы, если бы в Риме не находилось такое количество ваших войск,— возразил Сент-Роз так нервно, что Варнер-Вальтер посмотрел на него не без удивления, и тогда Сандра заметила на лице немца шрам, который, начинаясь от левого уха, уходил по вертикали куда-то под воротник. Он был молод, но волосы его уже поседели. Фигура немца показалась ей излишне прямой, будто он носил ортопедический корсет, но в жестах его была изящная гибкость. Это он в автомобиле поглаживал ее колено. У него был тяжелый лоб, плотоядная челюсть, загорелое лицо, как у людей, постоянно находящихся на свежем воздухе.

— А вы знаете,— спросил он,— на что больше всего похож запах крови?

Сент-Роз слегка пожал плечами, как бы давая понять, что его это мало интересует.

— Однажды на Украине мне пришлось буквально искупаться в крови, в огромной луже крови. Своей собственной. Мой танк наскочил на мину. Так вот, запах крови — несколько сладковатый и в то же время чуть горький, в точности как у хорошего вермута.

Сент-Роз поднес бокал к носу, понюхал содержимое и на сей раз спокойно сказал, что находит замечание справедливым, потом откинул голову и выпил все до дна.

Немец тоже выпил, устало произнес:

— Впрочем, что вы можете знать об этом, именно вы?

Другой офицер, Гельмут, не отрывал взгляда от огня в камине. Медленно, настороженно, как это делают некоторые хищники, издалека почуяв приближение опасности, он повернул голову к Сент-Розу. Глаза, сощурившиеся от смутного подозрения, внимательно оглядывали Сент-Роза, его негнущуюся ногу, перевязанную ступню. У офицера были очень бледные губы — точно два тонких глиняных валика.

— Завтра,— продолжал его спутник,— завтра мы снова будем в бою. Близится весна. Это пора больших наступлений.

В каждом зрачке у него горел маленький белый огонек, тревожная искорка, и Сандра вдруг поняла, что парень этот скоро погибнет и что он сам уже предвидит свою гибель. При этом у нее возникла не жалость, а скорее чувство гадливости, будто речь действительно шла о какой-то заразной болезни. Еще ребенком в Цюрихе Сандра не могла видеть больных или инвалидов, не столько из-за чрезмерной впечатлительности, сколько из-за внутреннего отвращения ко всему, что грозило изуродовать тело.

Но Луиджи снова вернулся к затронутой теме.

— Воздушные налеты на Рим — это настоящее безумие,— сказал он.— Кто может поручиться, к примеру, что купол святого Петра, шедевр Микеланджело, уцелеет при новых сотрясениях?

Куда он клонит, подумала Сандра. Она считала мужа человеком недалеким, который только в сфере цифр чувствует себя на твердой почве. Разве он не видит, что гостей вовсе не интересует эта тема? Но тут вмешался Сент-Роз.

— Я полагаю,— сказал он на своем несколько необычном итальянском языке,— что памятников и произведений искусства много и в Варшаве, и в Ленинграде, и в Лондоне, и даже в Белграде.

Луиджи, сидевший напряженно и прямо и еще более чем обычно напоминавший грифа — лысый череп на длинной шее,— не без горечи возразил:

— Я имею в виду Рим не только как самый прекрасный и самый крупный музей искусств и культуры человечества, но и как духовную

столицу христианского мира. И этому городу наносится невиданное оскорбление.

Его остановил взгляд матери. Повернувшись к нему, она смотрела на него с ледяным презрением. Сандра вдруг поняла, что Луиджи страшно и что он пытается укрыться за этой наигранной горячностью, хотя он и был искренен и судьба его города была важна для него по тем самым причинам, которые он назвал.

— Синьор,— сказал Гельмут, держа одну руку в кармане, а другой подняв бокал,— разве само христианство не стало ныне тоже музейным экспонатом? Еще недавно, например, мы, немцы, подставляли левую щеку, когда нас били по правой. Но эти времена миновали безвозвратно.

— И тем не менее,— сказал Варнер-Вальтер,— синьор прав, осуждая союзников, которые, разрушив без всякого основания аббатство Монте-Кассино, теперь так же безжалостно разрушают прекраснейший в мире город.

Сент-Роз встрепенулся от негодования, хотел вмешаться, но промолчал. Однако Гельмут еще не покончил с Луиджи и атаковал его снова:

— Христианство, синьор,— религия расслабляющая и инфантильная, она годна лишь на то, чтобы утешать и успокаивать стариков. Через несколько лет она исчезнет, по крайней мере в Европе, уступив место доктрине молодой, динамичной, которая возбуждает энергию и смелость, а не зовет к глупой безропотности.

Эти два атлета в зловещей черной униформе с изображением черепа и скрещенных берцовых костей, развязность их движений, отрывистые голоса, сила, которая угадывалась в их руках и торсе,— все это напоминало о первобытной жестокости, не знающей моральной узды.

Но Луиджи покачал головой, давая понять, что не согласен с Гельмутом. Он был бледен, и под глазами у него образовались коричневые круги. Что же касается маркизы, которая до сих пор сидела в своем кресле неподвижно, как манекен, такая нелепая, с подведенными веками и набеленными щеками, то Сандра увидела, как она вдруг встала и хриплым голосом, будто у нее что-то застряло в горле, произнесла:

— В глазах всех людей — кроме нацистов, разумеется,— христианство имеет хотя бы ту заслугу, что оно провозглашает великую истину: любая человеческая жизнь священна.— Наступила тишина. В эту минуту в камине громко затрещали поленья. И это,— злой взгляд на Гельмута,— поверьте мне, немалая заслуга.

Ни с кем не попрощавшись, она направилась к лестнице. Луиджи последовал за ней, чтобы помочь подняться на первые ступеньки, но мать движением руки отстранила его.

— Сожалею,— сказал Варнер-Вальтер, обращаясь к Сандре.

Опять воцарилась тишина, но уже более тревожная, прерываемая потрескиванием искорок, вылетавших из камина.

— Прошу вас, извините,— сказала Сандра с очаровательной улыбкой, хотя в глубине души считала, что эта комическая сцена была удачной. Потом, подняв палец и требуя внимания, она спросила Сент-Роза: — Синьор Гуарди, если прикажут, вы сможете бомбить Рим?

— Конечно,— ответил он.

Сент-Роза, казалось, удивил ее вопрос: он стоял напротив Сандры, положив обе ладони на рукоятку трости.

— Вот видите! — с легкой иронией заметил Гельмут, обращаясь к Луиджи.— А ведь он итальянец и, как я полагаю, добрый католик.

Сандра взяла бутылку вермута и сама стала наполнять бокалы по кругу. Ее забавляла и нервозность мужа, и замешательство Сент-Роза, которое угадывалось за невозмутимым видом. Лицо его чуть заострилось. Единственное, что она сразу в нем оценила, это бархатистые печальные глаза. Она понимала, что из-за него пыталась разжечь этот

спор в надежде на какую-нибудь слабость с его стороны, над которой можно будет потом поиздеваться. Но Сент-Роз вел себя сносно и, когда первые минуты волнения прошли, вполне овладел собой. Она подумала о том, как обернулось бы дело, если бы сейчас она, Сандра, сделав выпад прежде всего против маркизы и лишив ее преимуществ этого чересчур театрального ухода, весьма сомнительного с точки зрения вкуса, сказала бы немцам: «Послушайте, этот человек, который с вами сидит,— французский летчик, и мы его прячем. Когда же он выздоровеет, он уедет и снова будет сражаться против вас». Вероятно, этих нескольких слов было бы достаточно, чтобы все разом изменилось, кончилось, наконец, сонное однообразие этих дней, нарушился медлительный ход времени. И так как она слишком долго смотрела в сторону Сент-Роза, Гельмут вдруг обратился к нему:

— Вы ведь молоды,— сказал он.— Почему же вас не мобилизовали?

Все тот же резкий голос, лишающий довольно правильный итальянский язык, на котором он говорил, его обычной звучности.

— Когда поправлюсь, я вернусь в свою часть,— сказал Сент-Роз и концом палки показал на перевязанную ногу.

— В каких вы войсках?

— В авиации.

— Летный состав?

— Да.

— Ранены в бою?

— Нет. По оплошности, когда копался в своем саду.

В эту минуту Сандра почувствовала, как сладостный жар объял ее тело, хлынул в грудь. Луиджи стоял возле нее, под самой люстрой, словно окутанный пеленой света, который струился из множества хрустальных подвесков и светящихся шариков, странно беливших его веки, щеки, переносицу.

— Ах! — мечтательно сказал Варнер-Вальтер.— И мне очень нравилась авиация, но больше всего истребительная.

Гельмут по-прежнему смотрел на Сент-Роза.

— И вы бы бомбили Рим, скажите?

— Он этого безумно хочет,— ответила Сандра, на этот раз понимая, что подобный диалог может плохо кончиться.— Он ведь родом из Неаполя, а все неаполитанцы нас ненавидят.

Рослый танкист перевел взгляд на Сандру и, видя, что она приближается к нему, улыбаясь и подмигивая, тоже решил улыбнуться. Потом взглянул на часы и быстро сказал:

— Уже поздно. Нам пора. Пожалуйста, извинитесь за меня перед пожилой дамой. Я вовсе не хотел ее обидеть.

— Я передам ей ваше сожаление,— сказала Сандра.— Но это не страшно.

Оба офицера распрощались на прусский манер, быстро наклонив голову и щелкнув пятками. София уже торопилась подать им шинели и фуражки. Луиджи проводил их до подъезда.

Пока его не было, Сандра подошла к Сент-Розу.

— Вы на меня сердитесь? — спросила она.

— За что? Ведь вы же меня предупреждали!

— Я?

— На днях вы сказали мне, что на вас нельзя положиться. Золотые слова!

— Значит, вы испугались?

Он пожал плечами, и она отошла. Приход Софии помешал ей продолжать разговор. Сандра бросилась в кресло у камина, закурила сигарету. Из всей этой сцены она запомнила только ту минуту, когда ее снова начала терзать прежняя неотвязная мысль. Нет, неумолимый поток времени не остановить ничем, кроме обмана, который сулит «грифа» — сигареты с опиумом. Ей хотелось бы яростно спорить с

Сент-Розом, крикнуть ему в лицо, что никогда у нее не было иного богатства, кроме собственного тела, иного врага, кроме страха перед немилостью мужчин и старостью. Но вернулся Луиджи. С глухой ненавистью она прислушивалась к его шагам в прихожей.

## 4

В последующие дни Сент-Роз больше не встречал Сандру. Чтобы избежать упреков со стороны родных, а быть может, и по какой-нибудь иной причине, она отправилась к сестре на виа Солариа. Если верить Софии, то Сандра всегда поступала так, когда была не в духе. Возможно, после тревоги, вызванной приходом танкистов, муж устроил ей семейную сцену. По складу своего ума Сент-Роз был склонен в каждом человеке искать его главную страсть. Он наблюдал Сандру и признался себе, что не в состоянии точно определить ее сущность. Должно быть, балуется наркотиками. Должно быть, легко идет на любовные связи, не считая, что они к чему-либо ее обязывают. «Еще одна загадка». Он угадывал в ней не столько неудовлетворенность, сколько отчаяние, впрочем — как знать? Ко всему еще порочное желание оскорблять людей. Очень многое могла бы объяснить личность ее мужа. Во всяком случае, после появления немецких офицеров и отъезда Сандры атмосфера в палаццо сделалась тяжелой. Сент-Роз предпочел бы одиночество, но с тех пор как маркиза заметила, что он стал бодрее, она каждый вечер приглашала его ужинать, и он садился между нею и Луиджи, правда, без особого удовольствия, так как угрюмость последнего тяготила его. Он узнавал таким образом этот тесный мирок, наполненный перешептываниями, секретами, внезапным молчанием, скрытыми раздорами. И ему казалось, что странный дух Сандры витает ночью вокруг дома, натыкаясь на его стены, как летучая мышь.

— Вы собираетесь в город? — воскликнула София, когда однажды Сент-Роз попросил ее принести ему какие-нибудь ботинки Луиджи или Джакомо. Для раненой ноги ему нужна была низкая обувь, которая полностью освобождала бы лодыжку.

— Да, решил прогуляться,— весело ответил он.

— А вы сказали маркизе?

— Ну конечно.

Это была правда. Накануне он предупредил ее, что хочет встретиться со своим товарищем, другим уцелевшим летчиком, чтобы вместе совершить побег. Маркиза ни о чем не спросила и только пристально посмотрела на него своими сильно подведенными глазами. Одобрила ли она его намерение? Это не имело значения. На плане Рима он нашел улицу, где жил скульптор; она находилась не так далеко от палаццо, туда можно было дойти пешком и обойтись без трамвая и электроавтобуса («филобуса», как называют его римляне), пользоваться которыми было опасно, так как в них полиция часто производит проверку документов, а спрятаться негде. Эта улица находилась на берегу Тибра за мавзолеем Августа в тридцати — сорока минутах ходьбы.

Мысль о скорой встрече с Бургуэном волновала Сент-Роза, пока он учился ходить в коридоре, надев на ноги широкие и мягкие туфли Джакомо.

День, выбранный Сент-Розом для встречи с Бургуэном, совпал с возвращением Сандры. Едва появившись, она, как обычно, начала ходить по всему дому, и Сент-Роз заметил, что маркиза разговаривает с ней спокойно и вежливо, будто ничего и не произошло.

— Вы действительно хотите выйти? — спросила Сандра.

— На один-два часа. Я чересчур засиделся.

Она тоже пристально посмотрела на него, но с некоторой долей иронии.

Добавила:

— А если я предложу вам свою компанию?

— Откажусь.

— Так я и знала.

— Чтобы не подвести вас, если меня арестуют.

Они рассмеялись, но у нее это вышло несколько натянуто...

Тибр справа казался грязным рядом с зелеными газонами по берегам, а купол собора святого Петра (Сент-Роз вдруг вспомнил, как тревожился Луиджи за его судьбу) напоминал гигантский аэростат, готовый взлететь в туманное небо. Сент-Роз уже миновал мост Умберто Первого. У всех прохожих, которые ему встречались на пути, были неподвижные, как у мертвой рыбы, белесые глаза с темными подглазьями. «Comune di Roma,— возвещали афиши.— Profilassi della rabbia» [1]. Бешенство — какое бешенство? — угрожало Риму. Может, в этом и было объяснение мрачного облика улиц, мелькающих силуэтов, будто люди опасались какого-то бедствия, преследовавшего их по пятам! Сент-Роз шел, опираясь на палку.

— Пятый этаж, слева! — сказала ему привратница.— Лифт работает.

Когда Сент-Роз очутился перед дверью с медной дощечкой, на которой значилось: «С. Филанджери», он тут же представил себе, как встретит его Бургуэн, и, уже улыбаясь, позвонил. Ему открыл старик в черном свитере — на высоком вороте, как на подушке, покоилась его седая, высохшая голова.

— Бургуэн,— коротко произнес Сент-Роз тем тоном, каким произнес бы пароль.

— Входите.

И, едва прикрыв дверь, старый скульптор слегка хлопнул его по плечу:

— Вы — Жак Сент-Роз, да? Андре очень точно описал вас. Ну, как ваша нога?

— Почти в порядке.

Сент-Роз уже все понял. Да и квартира выглядела безлюдной.

— Когда же он уехал?

— Неделю назад.

— Он меня ждал?

— И да, и нет. А как же, по-вашему...

Разочарованный и одновременно довольный, Сент-Роз спросил:

— Все обошлось хорошо?

— Вполне. Их было четверо или пятеро, точно не знаю. Слышал только, что трое американцев из одного экипажа. Все они живы и здоровы и уже перешли границу.

— А когда моя очередь?

В комнате было холодно, и Сент-Роз не снял пальто, которое ему подарил доктор Мантенья, тем более что под пальто у него был легкий костюм.

— Если вы себя чувствуете хорошо — вернее, отлично, ибо испытание предстоит нелегкое,— то недели через две-три.

— Скоро я буду вполне готов. Меня очень хорошо подлечили. Рана еще дает себя знать, но уже зарубцовывается.

— Будьте осторожны! Вам придется надеть крепкие солдатские ботинки, в которых можно ходить по снегу и горам!

— Думаю, что скоро я смогу это сделать.

— В любом случае мы должны дождаться возвращения проводников. Их главный будет у меня в пятницу вечером, часов в девять. Он тут переночует, а с рассветом отправится в путь. Да, у него есть и пропуск. Разумеется, фальшивый.

— Как мне с этим человеком встретиться?

— Да из-за этого затемнения не знаешь, что и посоветовать. Пожалуй, вам лучше всего тоже прийти ночевать ко мне. Я сам покормлю вас, поскольку жена уехала в Сполето к нашему сыну Карло. Она

[1] Римский муниципалитет. Прививки против бешенства *(итал.)*.

страдала тут от холода. Кроме того, у нее слабое здоровье, а из-за бомбежек нервы совсем расшатались. Да и снабжение плохое.

Сент-Роз тотчас согласился.

— Парня, о котором идет речь, зовут Лу́ка. Во всяком случае, мы будем звать его Лука. Бургуэн ему о вас говорил. Он полностью в курсе дела и так же, как и я, ожидал, что вы тем или иным способом дадите о себе знать. Хотите рома? У меня еще и можжевеловая водка есть.

— Спасибо, с удовольствием.

— А может, вы горячее молоко предпочитаете? Я получаю консервированное через Красный Крест.

— Да нет, пожалуй, можжевеловую.

Старик открыл ларец, вытащил бутылки, стаканы. Когда он проходил мимо окна, на стекле четко обозначился его профиль — острый подбородок, крупный нос, взлохмаченные седые волосы, расчесанные на прямой пробор. Выглядел он усталым, ходил, с трудом передвигая ноги в огромных холщовых туфлях, а Сент-Роз рассказывал ему о своем пребывании в палаццо Витти, умолчав, разумеется, об эпизоде с приходом танкистов и о других слишком колоритных подробностях.

— Я не предлагаю вам убежища у себя, как предложил Бургуэну. Прежде всего потому, что мне нечем топить. Чувствуете, какой здесь холод? Но мы разведем огонек в мастерской. Кроме того, у меня плохо с продуктами. Думаю, что вам будет лучше у этой славной маркизы. Я знал немного ее второго мужа. Он любил хорошеньких девочек и сам был недурен собой.

Разговаривая на ходу, старик стал задыхаться. Нет, он отнюдь не производил впечатление человека здорового. Почему же после отъезда Бургуэна Филанджери не поехал к жене?

Словно телепат, старик угадал эту мысль и пробормотал, направляясь к дивану:

— Иногда кажется, что мне уже тысяча лет и что с минуты на минуту я рассыплюсь. Посмотрите-ка на мои руки!

Пальцы его были изуродованы ревматизмом, суставы распухли.

— Работать в таких условиях мне не удается. Я имею в виду не только холод. Знаете, что написал Микеланджело на цоколе «Ночи»: «Не стоит будить тебя ради того, чтоб ты увидела тиранию».

Он наполнил стаканы. Рука его походила на багрового паука. Сент-Роз немного согрелся от алкоголя; его трогала сюсюкающая французская речь скульптора. Они потолковали о подбитом самолете, о крестьянах, оказавших помощь союзнику, наконец, о штурмане Бургуэне, который сейчас находился за линией фронта, а может быть, уже улетел в Сардинию, в лагерь Виласидро,— при мысли обо всем этом (и под влиянием алкоголя) Сент-Розу взгрустнулось.

Филанджери познакомился с Бургуэном в Париже во время своей последней выставки, как раз накануне войны. Нельзя сказать, чтобы Бургуэн очень интересовался изобразительным искусством,— нет, он в то время был студентом и, чтобы подработать, дежурил по ночам в той самой гостинице, где остановились Филанджери с женой.

Немного погодя Сент-Роз попросил разрешения посмотреть мастерскую. Просторная комната с очень высоким потолком двумя окнами выходила на Тибр. В дымке виднелась заросшая зеленью Монте-Марио и купола Обсерватории. А внизу на реке расплывались отражения прибрежных зданий. Старик быстро разжег огонь в печурке, и это привлекло неизвестно откуда вышедшую кошку с рыжей шерстью и драными ушами.

— Это Ил,— сказал старик.

Кошка прошла мимо Сент-Роза, не обратив на него никакого внимания. Вдоль стен стояли скульптуры — бронзовые, мраморные, гипсовые. В углу находился театр марионеток с вырезанными из дерева

зелеными и желтыми фигурками. Напротив стояла какая-то незаконченная крупная работа, накрытая влажным полотнищем.

— Мое последнее произведение,— сказал старик.— Вожусь с ним уже много месяцев. Но по ряду причин никак не могу закончить.

Он с осторожностью стал снимать полотнище, обнажая статую молодой женщины — сначала ее правое бедро, потом ноги, грудь и, наконец, классически совершенное лицо.

— Если угодно, можно назвать ее «Рождением весны»,— сказал скульптор.— Впрочем, каждый может дать ей имя по своему желанию.

У статуи были пропорции Афродиты Книдской — те же небольшие упругие груди, те же полные бедра, мягкая линия живота. Улыбка, выражение лица молодой женщины говорили о пристальном внимании и удивлении, точно ей открылось зрелище чьих-то грандиозных усилий и непобедимой воли.

— А модель существует?

— Безусловно,— ответил Филанджери.— Это Мари Леонарди, дочь одного из моих друзей. Я знал ее еще ребенком. Теперь ей, наверно, лет двадцать пять — двадцать шесть. Мать у нее была француженка. Из Ниццы. Вот почему ее настоящее имя не Мария, как принято у итальянцев. Отца убили во время испанской войны. Ну, конечно, республиканец. Он был отважным антифашистом.

Старик энергично встряхнул головой.

— Она действительно так хороша? — спросил Сент-Роз.

— Да, очень.

— Вы работали по заказу?

— О нет. Мне ведь уже семьдесят два. В таком возрасте на будущее не надеются. Но для художника будущее — это его творчество.

— Почему же вы не заканчиваете эту статую?

Старый скульптор показал свои руки, узловатые, как ветви дерева.

— Жду возможности подлечиться. А потом — где в наше время найдешь литейщика? Не говоря уже о том, что немцы реквизируют все цветные металлы.

Он засмеялся, и этот смех как бы сделал его моложе, обнаружив что-то детское в отмеченном печатью времени лице. Потом он уселся в кресло у печки, и кошка тут же прыгнула к нему на колени и свернулась в клубок.

— А эта девушка — профессиональная натурщица?

— Мари? О нет. Она никогда не соглашалась позировать. Это единственный случай.— Он помолчал.— Для меня, возможно, последний.

В тоне его не было ни капли грусти или жалости к самому себе. Сент-Роз, то приближаясь, то отходя, продолжал рассматривать блестящую от влаги статую, потом подошел к старику.

— Она работает в управлении Итальянского радиовещания или проще — радио Рима, возле площади Мадзини. Это не очень далеко. Время от времени навещает меня и всегда приносит что-нибудь из еды.

Изуродованной ревматизмом рукой старик задумчиво погладил кошку.

— Она — смелая девушка,— прошептал он.

Странным образом слова эти взбудоражили Сент-Роза: его вновь охватила потребность в женской ласке, впервые после Алжира и вечеров в маленькой гостинице Хуссейна Дея в компании молодой сотрудницы английских воздушных сил, пухленькой блондинки, чьи счастливые вздохи сливались с рокотом морского прибоя.

Вскоре Сент-Роз простился с Филанджери и, подтвердив, что встреча состоится в следующую пятницу, вернулся в палаццо. Он остался доволен этим свиданием, вызвавшим у него радостное чувство надежды.

На лестнице он столкнулся с человеком, ожидавшим лифта, и тот с любопытством его оглядел. Это был низкорослый человек с красными веками, до самого носа обмотанный широким кашне. Наверно, сосед скульптора. Пока они спускались, уродец пристально рассматривал Сент-Роза, которому от этого взгляда стало не по себе.

А Мари в это время приближалась к площади Мадзини, широкому звездообразному перекрестку, где сходилось восемь улиц. Управление Итальянского радиовещания, в котором она работала, помещалось неподалеку. Ее маленькой подпольной группе, входившей в организацию римского Сопротивления, было поручено проследить за движением танковой колонны немцев. Надо было выяснить, намерено ли это крупное соединение, которое уже несколько дней двигалось с севера (перемещаясь только по ночам) и на всем пути находилось под наблюдением разведки подпольных организаций,— намерено ли оно только пройти через город в южном направлении или же предполагает расположиться в нем. Немецкие танки вошли в Рим по Кассиевой дороге и, вместо того чтобы пересечь мост Мильвио, пошли вдоль Тибра. Первые машины уже появились в начале виа Анджелико. Секретные службы союзников срочно требовали сведений об этой колонне. Мари на своем наблюдательном посту уже слышала далекий гул этих чудовищ и подумала о тех, кто подобно ей стоял на своем посту на улицах, расходящихся веером между Монте-Марио и Тибром. Ее задача: проследить за направлением движения и главное — сосчитать, сколько в колонне танков и грузовиков. Было холодно. Цветочные клумбы на площади пахли влажной землей. В левой части улицы, спускающейся к реке, Мари увидела фасад церкви Христа Вседержителя. В церкви находился священник, которому она должна была сразу же передать результаты своих наблюдений.

Она понятия не имела, кто этот пожилой господин в гетрах и серой шляпе, который стоял на углу виа Сабатино, внимательно разглядывая витрины,— может, и он тоже ведет наблюдения; но когда Мари думала о своих многочисленных безымянных товарищах, которые, как она, были сейчас на посту, это вызывало у нее чувство единения с честными и благородными людьми всего мира. А гул, как гроза, все приближался. Неподалеку за клумбой, где резвилось несколько воробышков, Мари заметила молодого человека, который улыбался ей. Этакого «красавчика». Брюнетик, без шапки, с тщательно причесанными волосами. Она переменила место, стала напротив виа Ославия. Вслед за грузовиком, покрытым брезентом, появился первый танк «тигр», чудовище весом в шестьдесят восемь тонн, выставив вперед жерло пушки в намордник из зеленого полотна и громыхая своими гигантскими гусеницами. Солдаты, сидевшие в грузовике, пели песню «Drei Lilien» [1]. «Тигр» взял вправо, объехал площадь и двинулся по виа Феррари; в открытом люке стоял молодой офицер-танкист в кожаном пальто, сдвинутых на лоб защитных очках, с женственно красивым лицом и светлыми холодными глазами. Пожилой господин, которого она видела на углу виа Сабатино, куда-то исчез. Зато молодой человек у клумбы с воробышками медленно направился к Мари, не обращая никакого внимания на танковую колонну, с грохотом въехавшую на площадь. Еще два «тигра» с черными крестами по бокам, с панцирем, выкрашенным зеленью с охрой; потом между двумя колоссами пробился маленький горбатый танк «пантера», громыхая цепями по мостовой. «Только бы не сбиться со счета». Ледяной воздух кусал лодыжки, пробирался под юбку; сквозь легкие туфельки Мари ощущала сырость. Еще два «тигра» вплотную подошли к площади, укрытые ворохом зеленых ветвей, так что казалось, будто двигаются целые сады. Земля содрогалась под их

[1] «Три лилии» *(нем.)*.

тяжестью, а грохот доносился до верхних этажей высоких зданий. Еще три грузовика; солдаты поют песню, но слова трудно разобрать из-за тряски:

«In Africa rollen die Panzer...» [1].

Потом показался санитарный автомобиль с красным крестом и надписью готическими буквами на дверце: «Deutsches Rotes Kreuz» [2], а за ним машина марки «БМВ», потом стало пусто, и только вдалеке, как гигантское ракообразное, среди влажного сумрака серого мартовского утра меж мрачных фасадов прополз еще один гигантский танк, выставив длинную пушку, точно страшное щупальце.

— Вы кого-нибудь ждете, синьорина? — проблеял позади нее сладкий голос молодого козла.

— Оставьте меня в покое,— сердито отрезала она. Какого черта этот кретин явился сюда, только мешает!

— Если вы одна, могу я пригласить вас вон в то кафе? Там будет потеплее.

— Я вам уже сказала, отвяжитесь от меня! Разве не ясно? Я жду жениха.

— Да нет же. Никого вы не ждете. Какое может быть свидание в таком месте? Да еще в такой холод!

— Катитесь, я вам говорю.

— Ну, этому женишку повезло.

Мари уступила желанию поиздеваться:

— Он швейцарец из папской гвардии и так же, как и я, не стерпел бы вашего поведения.

— Какая жалость! А ведь я такой нежный!

Седьмой «тигр». Шестой грузовик. Еще «тигр» с вымпелом и свастикой на переднем щите. А кавалер продолжает своим медовым голоском:

— Подумать только, что итальянцу вы предпочитаете швейцарца!

В ответ Мари пожала плечами. Она поняла, что он заинтригован ее поведением, но не двинулась с места, продолжая внимательно следить за движением колонны. Восьмой танк. Девятый — «пантера». Записывать ничего нельзя. Надо прикинуться зевакой. Вдруг у нее мелькнула мысль: ведь этот субъект, возможно, шпик или полицейский. Она никогда не отличалась неприступностью и в обычное время спокойно принимала ухаживания молодых людей. Но этот тип выводил ее из себя, потому что явился очень уж некстати. Десятый танк — тоже «тигр». Буксирные крюки смахивали на два закрученных мамонтовых бивня — совсем как в доисторические времена. Из башни высунулся до пояса командир танка — равнодушный, высокомерный, с серыми глазами и железным крестом на шее, он показался ей символом холодной, жестокой войны.

— Вы, наверно, пользуетесь большим успехом,— заметил молодой человек.— Я могу это понять. Вы чрезвычайно привлекательны.

Все в тоне милой шутки, но по существу с искренним восхищением. Терпение Мари истощалось — как бы не сбиться, считая танки и сопровождавшие их грузовики. Украдкой она вдруг дернула свое ожерелье, и нить оборвалась. «Что вы наделали!» Стеклянные бусы посыпались в ручеек, заблестели на цементных плитках. Мари зажала в руке горсть бусинок. Положила часть в правый верхний карман — это танки. В нижний карман — остальное. Молодой человек все суетился. «Несколько бусин в воду упало»,— сокрушается он, согнувшись над ручьем. Она тоже вздыхает, притворяясь огорченной: «Боже мой, мамин подарок! Первый раз надела!» Еще одна санитарная машина, за ней восемь танков и двенадцать грузовиков. Солдаты сидят на скамеечках, зажав ружья между колен, и глядят на Ма-

[1] «По Африке ползут танки...» *(Нем.)*

[2] «Немецкий Красный Крест» *(нем.)*.

ри. Их жадные взгляды пугают ее. По-прежнему на корточках молодой человек продолжает собирать бусинки, а так как некоторые из них угодили в клумбу, он извлекает их, осторожно вытянув руку, чтобы не испачкаться. Наконец вслед за большим санитарным автомобилем с треском прошли последние мотоциклы, сопровождавшие колонну. Молодой человек поднялся и подошел к Мари.

— Вот,— сказал он,— думаю, что это все.

Она взяла бусы и тихо поблагодарила.

— Почему же,— спросил он,— вы со мной так нелюбезны? Неужели я вам настолько противен?

Тон почти патетический. Возможно, он вовсе и не полицейский. А если полицейский, то у него выдающиеся актерские способности. Во всяком случае — не дать себя вовлечь в эту игру. Время торопит, раздумывать некогда. Ей удалось оторваться от него, но она успела заметить промелькнувшее в его взгляде лукавство опытного мужчины, умеющего тронуть женское сердце и рассчитывающего сыграть на этом. Черт побери! Вся колонна уже прошла, и грохот танков отдавался теперь в длинных пролетах улиц, ведущих к площади Кавура. Эта стальная колонна с ее грубым неотвратимым натиском напоминала нож, вонзающийся в живое тело. Быстрым шагом Мари пересекла площадь. Молодой человек попытался догнать ее, забавно подпрыгивая на бегу и повторяя: «Синьорина, прошу вас, синьорина!» Слово signorina в его устах звучало необычайно нежно. Скорее всего он родом из Пизы или из Флоренции. Но Мари, не замедляя шага, быстро дошла до улицы Мадзини. И только тогда парень отстал.

Она была очень раздосадована. Ведь из-за этого болвана ничего не стоило сбиться со счета и не узнать точный состав немецкой колонны. Кроме того, этот молодой козел мог оказаться шпиком, и ей пришлось сдерживать себя, чтобы избежать прямой стычки. Только уловка с бусами позабавила ее. Вот почему она вошла в церковь улыбаясь.

## 5

Вечером после ужина Сандра ушла к себе в комнату. Мужа она оставила у радиоприемника, Сент-Роз показывал маркизе какой-то карточный фокус. Француз заинтересовал Сандру по неясным еще ей причинам. Может быть, потому, что он так стремился удрать (он говорил ей, будто собирается на прогулку, но это было сказано, конечно, только для отвода глаз!), и потому, что она сама тоже страстно мечтала уехать. Кроме того, жажда единения. Она ощущала в себе временами столько противоречий, что начинала нервничать, у нее возникало желание бежать от других, от себя самой, сменить обстановку, окружение. Оставался, правда, опиум — после нескольких сигарет окружающий мир расплывался и появлялось ощущение, что мысли утрачивают свои острые, ранящие углы, что они как-то сглаживаются, свертываются в клубок, словно время не движется вперед, а, напротив, замирает. Стоя перед зеркалом в одних трусиках, Сандра по обыкновению занималась гимнастикой. Она рассматривала в зеркало свою грудь, плоский живот, мускулистые бедра. Потом приняла горячий душ, взвесилась, покрыла лицо кремом, который за огромные деньги доставала ей приятельница. Завтра ей предстояла встреча с любовником, но он уже позвонил и под каким-то весьма туманным предлогом отменил свидание. Реплики этого человека (хотя он не казался глупым) вызвали у нее раздражение.

Итак, что же предпринять завтра? Этого она пока не знала, никаких планов у нее не было. Конечно, она могла бы настоять, заставить его приехать несмотря ни на что. Одно Сандре было ясно: любовника пора сменить. Ей уже приходилось вот так замыкаться в себе с иллюзией — даже сознавая, что это всего лишь иллюзия,— будто она таким образом изменит свою судьбу.

Едва она легла в постель, как завыли сирены воздушной тревоги. Набросив на голое тело плотный халат, Сандра вышла в гостиную. Луиджи и София уже хлопотали около маркизы, помогая ей надеть черное пальто, натянуть перчатки. Джакомо впускал во двор соседей, которым согласно правилам разрешалось пользоваться погребом палаццо, превращенным теперь в коллективное убежище. В гостиной уже слышалось шарканье людей, входивших в дом, а зловещий вой сирены заполнял все пространство.

— Вы действительно решили остаться в доме? — спросила маркиза.

Сент-Роз ответил, что в убежище он может встретить соседей, которые с ним незнакомы, и, пожалуй, идти туда было бы неблагоразумно.

— Как вам угодно,— ответила маркиза.

Сандра тоже отказалась спускаться в убежище, сославшись на то, что внизу очень сыро. На самом же деле она плохо переносила пребывание взаперти.

Когда они остались одни, Сент-Роз начал раскладывать на большом столе пасьянс, а Сандра с сигаретой удобно устроилась в кресле перед камином, нисколько не смущаясь тем, что ее длинные ноги обнажены намного выше колен. Сирены смолкли, и в ночном мраке послышался грозный гул бомбардировщиков, тут же заглушенный ожесточенной стрельбой зениток. Казалось, дрожит все небо, словно огромный гонг, в который изо всей силы бьют молотом.

— Говорят, в южной части города разместилось крупное бронетанковое соединение,— сказала Сандра.

Сент-Роз не отвечал, будто был всецело поглощен своим пасьянсом. Сандра спросила:

— О чем вы думаете?

— О том, как трудно самолетам В-25 и В-26 ночью бить по цели. Они для этой работы не приспособлены.

— А откуда вы знаете, что сюда прилетают именно такие самолеты?

— Допустим, у меня особый дар.

— Видимо, на таких самолетах вы сами летали?

— Да.

Неожиданно послышались взрывы, и начали вибрировать оконные стекла, но лишь со стороны сада. Одновременно зазвенели и подвески люстры, издавая всего лишь две ноты, и этот звук напоминал звучание какого-то старинного инструмента. Сандра поняла, что Сент-Роз сейчас очень далеко от нее, ее присутствие ему безразлично, и это вызвало у нее глухое раздражение. Жар от камина — она подкинула еще полено — доставлял ей физическое удовольствие, несмотря на дурное расположение духа. Южный аромат стоявших в вазе цветов пробуждал воспоминания юности, смутные, но такие солнечные, что Сандра расстегнула халат, чтобы подставить этому теплу свою грудь, живот, воскрешая таким образом по прошествии тридцати лет те летние дни, когда она совсем голая лежала, растянувшись, на траве, под раскаленным небом, опьяненная переполнявшими ее чувствами и неосознанными желаниями. Из-за взрывов нервы ее были напряжены, кожу лица и рук кололо, словно иглами, и ей захотелось поговорить.

— Вы хотите перебраться через линию фронта, чтобы заняться этим же самым?

Вопрос удивил Сент-Роза. Он поднял голову и ограничился тихим:

— Ну конечно...

— Стало быть, вполне возможно,— продолжала Сандра,— что однажды днем или скорее всего ночью вы в свою очередь прилетите, чтобы сбросить на нас бомбы?

— Да.

— И по воле случая одна из них может попасть как раз в этот дом?

— Вполне вероятно.

— Как вы к этому относитесь?

— Ребенком я часто слышал разговоры о том, что при рождении я убил свою мать, ибо она умерла, рожая меня. Таким образом во мне невольно развили самый настоящий комплекс вины. Впрочем, постепенно мне удалось его преодолеть.

— Значит, вас вылечил цинизм?

— Нет, трезвость взгляда.

Сент-Роз выровнял несколько карт. Свет от камина падал на него сбоку, выхватывая из темноты то щеку, то челюсть. Его безупречно мужественный облик волновал Сандру.

— Что вы имеете в виду?

— Я знаю, что ощущают мои товарищи — те, которые летают сейчас там, наверху. Я знаю, что они не абсолютно невинны, но и не абсолютно виновны, как, впрочем, и большинство из нас. Во имя какой морали вы их осуждаете? Что касается меня, то я уже давно пытаюсь создать в себе какой-то стержень, и в то же время многое во мне рушится — то по моей вине, то в силу обстоятельств.

Она не совсем понимала его, но все же догадывалась, чем он отличается от нее, чувствовала, что он стремится заткнуть в себе все щели, через которые могут вырваться наружу бурные страсти, не поддающиеся контролю. Может, он из тех мужчин, которые сильные чувства считают слабостью, подлежащей искоренению. С тонкой изощренностью она ждала, когда же он заметит ее наготу. Спинка кресла скрывала Сандру, но стоит подняться, и он наверняка увидит. Эта коварная мысль спасала ее от страха, а между тем грохот зениток усиливался и взрывы раздавались ближе и ближе.

— Надо бы,— продолжал Сент-Роз, все еще держа в руках карты,— отказаться от прописных истин, которые кажутся нам существенными и ценными, и тогда жизнь, а стало быть, и смерть наконец-то предстанут нам в своей подлинной простоте. Я много ездил, останавливался где придется. Но когда надо было отправляться на войну, я узнал, что моя мачеха направо и налево раздавала мои книги и всю мою одежду, которые я не мог взять с собой,— как будто я уже никогда не должен был вернуться. А она славная женщина, всегда питавшая ко мне добрые чувства. Но она инстинктивно понимала, что когда человека нет — это все равно как если бы он умер.

Сквозь грохот зениток с площади прорвались пронзительные свистки: дежурные напоминали о необходимости соблюдать режим затемнения. Но Джакомо со стороны улицы тщательно зашторил окна черной тканью.

— Вам известно,— продолжал Сент-Роз,— что перед вылетом на задание экипажи обязаны опустошить свои карманы и сдать все вещи офицеру? По ряду причин запрещается оставлять при себе даже сигареты или трамвайный билет. Впервые я понял, что у меня уже выработалась эта привычка, еще до того, как стал военным летчиком, и, отправляясь на задание, я опустошал себя полностью, вплоть до тайных уголков души, и эта формальность меня не беспокоила.

Опять свисток, и чей-то сердитый голос кричит:

— Свет на третьем!

Этот крик, казалось, довел зенитки до полной истерики. Сандра чуть запахнула халат, но грудь оставила открытой. Она лениво прислушивалась к словам Сент-Роза.

— В Германии случается иногда, что летчиков союзных держав, сбитых зенитной артиллерией или истребителями, гражданское население расстреливает еще в воздухе, пока они спускаются на парашютах, и на землю падают уже изрешеченные пулями трупы. Если мне предстоит нечто подобное, я не буду в большой обиде на моих убийц — разве что за тот ужас и отчаяние, которые по их вине испытаю. Разрушенные дома, развалины, дети, погребенные в руинах,— все это существует. То, что мы, летчики, чувствуем там, наверху,— это вовсе не возмездие. Это совсем другое...

Усталым движением он бросил карты, встал, сделал несколько шагов по гостиной, отошел от кресла, в котором сидела Сандра, и множество видений появилось перед ним: лица пилотов, бомбометатель в прозрачной кабине, с пальцем на кнопке, пулеметчики у своих пулеметов в тесных турелях, открытый бомбовый люк, бомбы, готовые к сбросу, грозные в этом недолгом мнимом покое, и вот уже кругом все сметено, разбито, трассирующие пули, черные и красные разрывы зенитных снарядов, пылающие глаза прожекторов, зигзаги самолета в неистовом водовороте огненных вспышек! Как странно было видеть воздушный бой одновременно из самолета и со стороны, а в действительности находясь здесь, в маленьком особняке, таком ветхом, что, пожалуй, хватило бы взрывной волны от одной бомбы, чтобы он рухнул! Сент-Роз услышал голос Сандры, насмешливо и самоуверенно спросившей:

— Как вы думаете, сколько у меня было любовников?

Он перестал ходить, повернулся к ней, недоуменно пожал плечами, зашагал снова, прошел вдоль стола с другой стороны, далеко от камина, а она продолжала:

— Тридцать восемь, мой дорогой! А когда Луиджи женился на мне, я была девственницей! Живем-то мы в Италии, не так ли? Мне тогда едва минуло восемнадцать!

Она скрестила ноги, и тут только Сент-Роз заметил ее вызывающую позу.

— Тридцать восемь, и все — весьма приятные партнеры!

Стрельба зенитных орудий внезапно усилилась, люстра вновь задрожала и мелодично зазвенела.

— Все, за исключением одного. Это был незнакомец, приставший ко мне на улице, и я пошла к нему, даже не спросив его имени. Поначалу он был нежен, предупредителен, но только мы оказались в постели, стал меня бить, а так как я кричала и отбивалась, он всем телом навалился на меня и словно парализовал. Мое сопротивление и ужас возбуждали его; поняв это, я взяла себя в руки, и он скоро успокоился.

Сент-Роз чуть было не спросил: «Зачем вы мне это рассказываете?», но в ту же секунду подумал, что бомбежка вызвала у нее нервный шок, а может быть, она стремится таким образом подавить в себе какое-то мучительное воспоминание. София как-то сказала ему, что через два года после свадьбы у Сандры родилась дочка, которая вскоре умерла от менингита, и что это продолжает занимать важное место в ее жизни. Но можно ли верить всему, что рассказывает София? А Сандра продолжала:

— Есть у меня другое воспоминание, но уже более счастливое. Лет пять тому назад в Генуе я провела ночь с двумя мужчинами. Я с ними выпила, а потом согласилась пойти с одним из них, но он устроил так, чтобы его приятель оказался в той же квартире...

Поскольку Сент-Роз отошел в глубину гостиной и стоял там в полутьме, она повернулась в его сторону:

— Вас это коробит, а? Тогда скажите мне, что я вам противна и что я веду себя как шлюха!

Гул зенитки затихал, словно удаляющаяся гроза.

— Скажу вам одно: в исповедники я не гожусь, и вы можете жить как вам угодно. Впрочем, все, о чем вы говорите, любопытно. Не ново, как мне кажется, но любопытно.

Она вдруг засмеялась каким-то отрывистым смехом. Сент-Роз подумал, что пренебрегать женщиной, которая сама себя предлагает, всегда опасно, и в ту же минуту три почти одновременных взрыва как бы подчеркнули слово о-п а с-н о.

Ему даже в голову не приходило воспользоваться ситуацией, настолько подлым казалось овладеть этой женщиной,— даже если она сама к тому подстрекала! — женой человека, который его прятал, рискуя погибнуть или быть отправленным в концлагерь. Такая выдержка, он это хорошо понимал, достойна похвалы, ибо он уже много недель не прикасался ни к одной женщине, и это воздержание стоило ему бессонных ночей.

Внезапно стрельба зениток прекратилась, и вскоре сирены возвестили конец воздушного налета. Во дворе опять послышались голоса соседей, которые покидали убежище, растекались по площади, окликая друг друга приглушенными голосами. Потом вошла маркиза, похожая на одну из старых аристократок Гойи, поражающих контрастом между дряхлостью тела и тем воздушным нарядом, в который оно облачено. София помогла ей снять пальто, и маркиза мелкими шажками направилась к себе. В темноте ее совиные глаза ярко блестели. Позади шел Луиджи — вид у него был очень утомленный. Он пожелал доброй ночи и тоже удалился. Сент-Роз задержался, снова взял колоду карт, предложил Сандре вынуть одну, показать ему, а потом положить обратно в колоду и перетасовать ее. Она проделала все это, иронически на него поглядывая. Сент-Роз повертел колоду, потом разложил карты лицом вниз и одну перевернул. Эта была та самая карта, которую вынула Сандра. Он проделал этот фокус еще трижды и каждый раз угадывал. Он понимал, что Сандра крайне раздражена и очень хотела бы, чтобы у него ничего не получилось, но постарался быть на высоте. Сандра сидела по другую сторону стола, и какая-то шальная искорка то зажигалась, то гасла в глубине ее огромных глаз, оттененных длинными, изогнутыми ресницами. Она не выказывала ни малейшего удивления и не восхищалась вслух искусством и ловкостью Сент-Роза.

На другой день она предложила ему пойти посмотреть пострадавшие от бомбежки кварталы, но он отклонил приглашение, и она не могла понять, то ли он опасался идти с ней вместе после вчерашних рассказов о ее «приключениях» (она посмеивалась над этим), то ли, как он утверждал, ему действительно было неприятно превращать в зрелище несчастье других. В конце концов Сандра ушла одна, а Сент-Роз остался, уверенный, что приглашение было сделано не без задней мысли.

В тот же вечер после ужина Сент-Роз и Сандра в обычный час снова сидели у камина в гостиной; Луиджи в соседней комнате слушал радио, а София помогала маркизе совершать вечерний туалет. Огонь в камине угасал, так как дров было немного, их следовало расходовать экономно. Сент-Роз читал какую-то книгу об этрусках; внезапно Сандра бесцеремонно заметила:

— Надеюсь, вы не приняли за чистую монету то, что я вам вчера рассказала! Я имею в виду мои откровенные признания.

Если такая женщина, как Сандра, резко отказывается от своих слов, ясно, что она долго над этим размышляла.

— Да нет же,— ответил Сент-Роз.— Я решил, что бомбежка подействовала на вас угнетающе, и сделал выводы.

Несколько минут она молча глядела в огонь, потом добавила:

— Вы много говорили о войне, да к тому же утомили меня своими нелепыми фокусами.

— Простите великодушно.

— Глупости! Любой другой мужчина в таких обстоятельствах принялся бы за мной ухаживать.

— Налет и на мои нервы подействовал.

Она улыбнулась. Порой улыбка настолько меняла выражение ее лица, делала его таким хитрым, что это приводило собеседника в замешательство.

— А ведь я считала,— сказала Сандра,— что война и опасности обостряют эротические инстинкты!..

— Это заблуждение девятнадцатого века. Наука его не подтвердила.

Она не подозревала, что ее неподвижный взгляд наркоманки лишает его разума, словно она прикладывает к его лбу кончик раскаленного железного прута. Боже, как хотел бы он убежать в сад, побродить меж деревьев, насладиться ночным покоем!

— Извините, я должен подняться к себе,— сказал Сент-Роз.

— Серьезно? Я начинаю думать, что вы не похожи на остальных мужчин.

Он смотрел в огонь, на пылающие пещерки в груде горящих углей, пораженный вульгарным тоном, каким это было сказано.

— Может, и в самом деле не похож. И чтобы покончить с этой темой, добавлю: я не думаю, что все человеческие поступки имеют одинаковую ценность, ибо будь оно так, ни один не становился бы значительным, а мне необходимо, чтобы одни поступки стоили больше, чем другие.

— А вот мне,— ответила Сандра,— мне необходимо иногда заблуждаться. Отвратительно, если бы все было ясно сразу. Какие же мы разные с вами, правда?

Сказав это, она встала и скользнула к Сент-Розу. Наклонилась и в упор посмотрела на него, потом приникла в долгом поцелуе, и он ощутил ее горячие трепетные губы, ее проворный язык, но в эту минуту скрипнула дверь на лестнице. Сандра легко отстранилась и уже стояла, прислонившись к камину, когда Луиджи с лестницы объявил, что советские войска окончательно освободили Крым. Сент-Роз повернулся к Луиджи. Видел ли он, что между ними было? Ничто в его поведении и выражении лица не позволяло предположить это. Он казался абсолютно спокойным и сказал еще что-то относительно войны на Тихом океане. Для отвода глаз Сандра, опустившись на одно колено, стала помешивать угли в камине, и тут обнаружилось, что нога у нее босая, ибо, отстраняясь от Сент-Роза, она потеряла туфлю. Огонь в камине внезапно разгорелся, и в ярком свете казалось, что волосы Сандры пылают. Луиджи медленно спустился с лестницы. На лице у него и в самом деле нельзя было ничего прочесть. Когда он вошел в комнату, Сент-Роз забеспокоился, не оставила ли Сандра на его щеке следов губной помады. Он был смущен и в душе негодовал. Черт побери, этот Луиджи мог бы получше следить за своей женой! Но Сандра спокойно подошла к мужу, сказала ему, как приятно слышать такие новости, что-то еще добавила по поводу «немецкой военной машины», которая слабеет, и все это самым естественным тоном. У Сент-Роза сильно билось сердце — удары его отдавались в горле. Немного погодя Сандра, улыбаясь, добавила с той же непринужденностью:

— Ну ладно, пора спать, этой ночью снова может быть тревога.

Сент-Роз заволновался, опасаясь, что останется с Луиджи наедине, однако все обошлось: Луиджи тоже пожелал лечь.

Когда Сент-Роз остался в своей комнате один, погасил свет и лег в кровать, он впервые заметил, что крылья бабочек на противоположной стене фосфоресцируют и напоминают — но почему? — макеты вражеских самолетов, которые были подвешены в Вилласидро к потолку той комнаты, где проводили инструктаж экипажей. Он за-

крыл глаза. Было очень холодно. Недавний эпизод больше, чем история с немецкими танкистами, убедил его, что рано или поздно Сандра, хочет она того или нет, поставит его в опасное положение. Мысль о том, что какая-нибудь экстравагантная выходка этой женщины может помешать побегу, была для него невыносима. Он еще раз взвесил все трудности, которые придется преодолеть, чтобы выехать из Рима и перейти линию фронта через Абруццкие горы и завалы снега. Во сне его мучили кошмары. Ему чудились приводящие в ужас стальные гладкие стены без единой щели, чтобы выбраться.

На другой день после полудня Сандра медленно поднялась на верхний этаж. Внизу, в маленькой гостиной, маркиза принимала своих старых приятельниц, угощая их сладковатым искусственным кофе с привкусом солода и печеньем из фасоли. На улице шел дождь. Сандра прошла в комнатку, где прежде жили слуги, а затем был устроен склад всякого старья. Здесь стояли сундуки, большая клетка для птиц, деревянный манекен, принадлежавший, видимо, маркизе — с тонкой талией и торчащим задом, какие создавал когда-то модный тугой корсет,— и невольно наводивший на мысль о молодом, нежном и горячем теле. Рядом за стенкой Сент-Роз включил радио, и Сандра услышала эхо гигантской грозы, опустошавшей землю. Со вчерашнего дня она чувствовала себя словно на вершине пирамиды чувств, воспоминаний, вокруг которой простиралась серая пустыня. Через несколько минут Сандра постучала в соседнюю дверь. В тусклом свете комнаты она увидела Сент-Роза, который с удивлением смотрел на нее, словно пытаясь угадать ее намерения. Возможно, он уже не сомневался, что ее прекрасное шелковое кимоно, отделанное тонкой вышивкой, наброшено на голое тело? Глаза его слегка щурились. Он был в фуфайке с засученными рукавами.

— Я вам помешала?

— Нисколько! — сказал он и тут же приглушил радио.

— Мне хочется поговорить с кем-нибудь.

— В таком случае вы правильно сделали...

Он говорил искренне, но казался несколько встревоженным.

— Идет дождь,— сказала Сандра,— и в доме у нас полно старух.

— Понимаю.

Она подумала о другом человеке, с которым должна была встретиться в это самое время в Париоли.

— Да садитесь же,— сказал Сент-Роз.

Она опустилась в кресло. Пока он загружал печурку, она думала о том, что Сент-Роз ничем не сумеет помочь ей и что ей никак не удается заставить людей понять ее.

Она хорошо сознавала, что ритм ее жизни похож на череду волн, отделенных одна от другой глубокими пустотами. В эту минуту огромный вал нес ее к катастрофе. Наклонившись вперед с сигаретой в руке, Сандра смотрела на Сент-Роза, внимательно следя за его движениями.

Он казался до странного сдержанным.

— Неужели вы меня боитесь? — спросила наконец Сандра.

— Что вы! Я себя боюсь! — ответил он иронически.

Она думала о том, что порой он ведет себя по отношению к ней неприязненно, враждебно. Как бы ей хотелось ласково погладить его лицо, вызвать наружу то невидимое существо, которое таилось в нем — деликатное, способное на нежность, умеющее преодолеть страх, пугающую пустоту мира! В конце концов она была ненамного его старше; но вместо того чтобы уступить своему желанию, она вся съежилась и сухо сказала:

— Вас мучают угрызения совести, но когда надо было убить сотни невинных людей вашими бомбами...

— Воевать — это всегда убивать невинных.

— Вчера утром я пошла взглянуть на жертвы последнего налета. Среди них были дети. Я говорила с матерью девочки, которой оторвало ноги.

Она сознавала, что говорит не о тех чувствах, которые заставили ее прийти к Сент-Розу, и все-таки не могла остановиться. Ей это было так же трудно, как остановить бег фантастического животного простым поднятием руки. Стоя у окна, прижавшись лбом к стеклу, Сент-Роз озабоченно смотрел в сад, исхлестанный дождем.

— Вам лучше вернуться к себе,— сказал Сент-Роз, и Сандра заметила, что глаза у него блестят, а щеки пылают.

— Надеюсь, вы меня отсюда не выставите?

— Нет.

— Благодарю вас,— ответила она с наигранной покорностью.

И так как он опять повернулся к окну, приняв прежнюю позу, она спросила:

— О чем вы думаете?

— Об одном самолете, который возвращался с задания, отстав от своей эскадрильи. Он получил сильное повреждение и шел на некотором расстоянии, потому что не мог догнать другие машины. И никто не в силах был ему помочь. А потом машину охватил огонь.

Она понимала, что он отвечает на ее недавний упрек, и почувствовала усталость. Девочке, о которой она говорила, грозила смерть, об этом ей сказал врач, и ничто в глазах Сандры не могло бы оправдать такую чудовищную несправедливость. Сандра вспомнила, что не могла даже плакать,— в точности как восемнадцать лет назад, когда она смотрела на окаменевшее лицо своего ребенка. При этом воспоминании сознание ее захлестнуло, как бурным потоком, низвергнувшимся со скал.

— Это был ваш самолет?

— Нет. Но все очень схоже.

Узнает ли он когда-нибудь причину, которая привела ее к нему? Это преследующее человека чувство одиночества, против которого бессильны любые уловки? Сандра почувствовала желание бросить ему вызов, взволновать его, завладеть его разумом, заставить забыть обо всем, повернуться только к ней.

— Знаете, мы с мужем просто хорошие друзья.

— Однако не думаю, чтобы он обрадовался, увидев вас здесь.

— Я тоже не думаю. Он не так безупречен, как мне иногда кажется. Но как бы то ни было, супружеская измена в моих глазах — вовсе не грех.

Сент-Роз не реагировал на это замечание, но Сандра была убеждена, что он слушает ее с напряженным вниманием.

— И я спрашиваю себя,— продолжала Сандра,— что же такое настоящий грех? Можно ли, например, считать, что грешно убивать маленьких девочек? Это послужило бы ориентиром.

Прижавшись лбом к стеклу, Сент-Роз продолжал смотреть в сад, словно там, внизу, среди тощих деревьев, его подстерегала какая-то опасность.

— Как бы то ни было,— заметила Сандра,— похоже, будто я родилась прежде, чем было придумано понятие греха. Моя душа, я в этом уверена, возникла во времена сотворения мира, еще до того, как начали искупать наши грехи и нести нам спасение. Словом, у меня душа в некотором роде доисторическая.

Дождь прекратился. Верхние ветви деревьев под окном блестели от влаги. Сент-Роз не спеша вернулся на середину комнаты и подошел к Сандре, заложив руки под мышки, будто он озяб; под его взглядом у нее перехватило дыхание, но она продолжала улыбаться. Потом быстрым движением бросила сигарету в пепельницу.

— Вы ни во что не верите,— грустно сказал Сент-Роз.— Ваша маленькая душа куда-то бежит не останавливаясь, как светлячки ночью на кладбище.

— Я верю только в одно: вот в эту минуту я жива. Вчерашнего дня нет и никогда не было. Точно так же, как и часа, который должен наступить, пока еще не существует. Вне этой минуты все — лишь паскалевская тишина, астральная пустота, гипнотический сон — словом, все что угодно, по вашему выбору.

Он стоял около кровати, и по лицу его видно было, с какой силой им овладело желание. Она получила, наконец, то, чего так хотела, и что-то в ее существе, давно уже очерствевшее, затрепетало, раскрылось, ярко расцвело в волнах мужской страсти, постепенно обволакивавшей ее. Какая-то неведомая молния пронзила глубины ее существа, задела ее, освободила, избавила от страхов. Когда Сент-Роз, протянув руку, сорвал с нее кимоно и обнажил ее грудь, Сандра запрокинула голову и закрыла глаза. Она еще улыбалась, когда он положил ее на кровать и тесно прижался к ней.

## 6

В пятницу в середине дня Сент-Роз пошел к Филанджери, чтобы встретиться с Лукой. Он предупредил маркизу, что вернется домой только на другой день утром. Она ни о чем не спросила, но сказала, что в случае срочной необходимости он может позвонить ей по телефону, говоря о себе в третьем лице. «Будем считать, что ваше имя — Тиберио. Был такой Тиберио, когда мне было семнадцать, моя первая любовь!» Она обещала также не говорить ничего Сандре и Луиджи, кроме самого необходимого: что он останется на ночь у партизан, чтобы условиться насчет побега.

— И все. Вы знаете мою невестку. Очень взбалмошная. Я в молодости была на нее похожа. Я ее понимаю. Она мне, впрочем, куда ближе, чем Луиджи, хоть он и мой родной сын. Поэтому я часто прощаю Сандре ее выходки.

Сент-Роз осторожно вышел на улицу. Опять объявление: Римский муниципалитет! Запрещается... Можно подумать, что в городе свирепствует эпидемия! Но опасней всего полицейский кордон! Сент-Роз шел, припадая на раненую ногу, на душе было тревожно, но жизнь казалась захватывающей и прекрасной! Ощущение, что он находится в сердце большого города, замкнувшегося в себе, волновало его. Каждый сквер, каждая улица, каждый фонарь казались ему исполненными нерушимой гармонии, как все предметы на борту корабля, одиноко плывущего в открытом море. Тусклое солнце пряталось меж туч. Сент-Роз безразлично поглядывал на проезжавшие по улице немецкие грузовики с солдатами и думал о Сандре и о волнении, охватившем его при встрече с Луиджи за ужином — всего через час после того, как он обладал его женой. Боже, какой она показалась пылкой. Он вспоминал ее стройное тело, трепетные бедра, истомленное наслаждением лицо. Он ни о чем не жалел и все-таки был недоволен собой, осуждал себя за внутреннюю раздвоенность и за то, что вынужден теперь притворяться, пока не покинет Рим. В конце улицы быстро текла река. С тех пор как Сент-Роз покинул палаццо, время ускорило свой ход, и он понял, что в сущности у него только одно желание: бежать в Абруццкие горы. Со дня прибытия в Рим он жил лишь ожиданием побега, и мысль об этом, как спрятанный бриллиант, не переставала сверкать где-то в тайных глубинах его существа. Ну что такое Сандра? Одна из многих женщин, встреченных им на жизненном пути! Но пока эта мысль зрела в его сознании, инстинкт предупреждал о том, что он напрасно пытается обмануть сердце, что это не просто любовное приключение и что в этой женщине таится страшное зло, которое может поразить его.

Полчаса спустя Сент-Роз входил в дом, где жил Филанджери. Скульптор встретил его так же приветливо. Он был одет в свой обычный свитер. В доме было холоднее, чем на улице.

— Пойдемте в мастерскую. Я сейчас затоплю печь. Хотите вина или горячего молока?

— Вина.

В ожидании Луки они говорили о войне и о последних новостях, переданных по Би-Би-Си. Печь начала гудеть, и от тепла запотели оконные стекла. Глиняная статуя, накрытая покрывалом, походила на привидение. Против Сент-Роза стояла бронзовая кошка, подстерегающая добычу. Казалось, тело ее — сгусток электрической энергии, которая вот-вот разрядится в прыжке за чем-то жизненно необходимым. И кошачья морда, и торчащие уши наводили на мысль о том, что сейчас начнется схватка. Эта напряженность пленила Сент-Роза больше, чем изящество и чистота форм, словно он увидел в ней пластическую интерпретацию своего собственного внутреннего напряжения. Зябкая модель бронзовой кошки, свернувшись клубком, лежала в корзинке. Филанджери предложил сыграть в шахматы и расставил на доске фигуры, которые сам выточил из черного и лимонного дерева. Прежде чем начать игру, он задернул занавеси на окне. Окно это как бы служило рамой, обрамлявшей скопившиеся над крышами лиловатые тучи, которые, казалось Сент-Розу, весьма подходили к тому, что он называл «океанским безмолвием» города. Погруженный в это безмолвие, он представил себе ожидавшую его Сандру, ибо она его ждала, он был уверен, и он не мог не признаться себе, что эта мысль доставляла ему удовольствие.

Они сделали первые ходы, когда Сент-Роз услышал шум автомобиля, затормозившего у подъезда. Дверцы хлопнули, послышались шаги вышедших на тротуар пассажиров. Поскольку затемнение уже началось, это могла быть только служебная машина. Насторожившись, Филанджери прислушался и сказал:

— Тут на третьем этаже живет один высокопоставленный чиновник.

Он вроде бы не встревожился, и игра продолжалась. Однако шум снизу заинтриговал Сент-Роза. Его ухо различало топот ног по лестнице — поднималось не менее четырех-пяти человек, и они не воспользовались лифтом. Почему? Может, испорчен? Старик опять погрузился в обдумывание очередного хода, но кошка, до сих пор дремавшая, подняла голову и сразу стала похожа на свое бронзовое изображение. Сент-Розу казалось, что мир постепенно сужается, замыкаясь в границах этого как бы висящего в пустоте и готового в ней опрокинуться дома, и сама его мысль тоже замкнулась в тесном кольце, в котором она билась, прыгая и больно ударяясь о стенки. На сей раз и Филанджери прислушался. Он встал с места. Шахматная доска на столике между ними была освещена низко висевшей над ней электрической лампочкой. А там, на лестнице, люди уже миновали третий этаж, где жил чиновник, и подходили к площадке следующего. Филанджери стоял с растерянным видом. Задавать вопросы не имело смысла. Он и сам понимал, что это совсем не Лука. Лука ведь должен был прийти один. Филанджери сделал Сент-Розу знак не двигаться, и Сент-Роз с любопытством подумал о том, что сейчас произойдет, как это бывало с ним почти всегда, когда он попадал в опасную ситуацию. Шаги уже прозвучали на ступеньках последнего марша лестницы, до странного близко. Крадучись, Филанджери подошел к двери в коридор, и на стену легла его причудливая тень. Кошка неторопливо пересекла комнату, и Сент-Роз подумал, что она их бросает. Шаги стихли у двери в квартиру. За портьерами опускалась ледяная ночь. Сент-Роз затянул пояс на брюках, подаренных ему доктором Мантеньей, застегнул пуговицы на рубашке, принадлежавшей некогда Луиджи. Раздались два коротких звонка.

У Сент-Роза застучало в висках; Филанджери скользнул в темноту и исчез, а следом за ним исчезла и кошка. В дверь позвонили снова, но уже более настойчиво. Этот звонок пронизал Сент-Роза насквозь, гулко отозвался в остальных комнатах, пробудив в нем воспоминание о похожем звонке, когда он оставил за дверью любившую его женщину, решив с ней больше никогда не встречаться. Мадлен! Имя это вдруг мелькнуло в памяти, но мгновенно исчезло, как бы уничтоженное нетерпеливым звонком. Филанджери отодвинул засов. Сент-Роз, поспешно выскочивший в коридор за ним следом, увидел, какой он взъерошенный, тщедушный, в грубых штанах и мятом свитере. В коридоре, освещенном желтоватым светом, который старик только что зажег, появился человек в темной форме с поблескивающим поясом и портупеей. Итальянский полицейский. А где же его спутники, почему их не видно?

— Синьор Филанджери?

— Да.

— Капитан Рителли. Разрешите войти?

— Прошу вас.

Сент-Роз ощутил прилив энергии, словно боксер, который по удару гонга должен ринуться на противника.

— Вижу, вы не один? — сказал офицер.— Я не помешал вам?

Любезность в тоне. Что бы это значило? И чем заняты его спутники? На лестнице никого больше не было слышно, хотя офицер придерживал створку двери, будто предлагая кому-то войти следом. Сент-Роз чувствовал, как пульсирует в жилах кровь, как разум его переполняет ненависть. Полицейский спокойно двинулся дальше, вошел в освещенную часть комнаты. У него было бледное, вытянутое лицо, чуть насмешливая улыбка. Почему он представился? Откуда такая учтивость? К чувству неминуемой беды примешивалось теперь смутное ощущение вполне реальной опасности, но немного отсроченной. Офицер действительно обращался к старому скульптору с известным почтением. Огромный камень готов вот-вот сорваться, но он не упадет и никого не раздавит, если Сент-Роз замрет, затаит дыхание. Вдруг раздался чей-то пронзительный истерический смех, и появились две молодые женщины, как безумные размахивая над головой сумками. За ними следовали двое мужчин в штатском, которые тоже смеялись. Молодые дамы окружили Филанджери, не переставая весело кричать, а стоявший чуть в стороне офицер продолжал улыбаться с прежней изысканной иронией.

— А ты испугался! Испугался! Ну признайся, признайся же!

Филанджери покачивал головой, целуя девушек в щеки.

— А Рителли все отказывался, когда мы задумали тебя разыграть! — сказал один из штатских.

Это была всего лишь шутка, и компания в чудесном настроении двинулась по коридору.

— Не беспокойся. Мы все принесли!

— Даже вино!

— Ох, ну и холод здесь!

Сент-Роз вспомнил, что такие импровизированные пирушки во время затемнения в Риме — не редкость, но его-то интересовала встреча с Лукой. Одной гостье с совершенно плоской фигурой и странными повадками гермафродита Филанджери признался:

— Да, я действительно немножко струсил.

— Но Рителли отличный парень, к тому же у него килограмм всяких медалей!

Все весело шутили по поводу того, как им удалось разыграть скульптора, которого они называли Фило.

— А где твоя жена?

— Уехала в деревню.

— Давно?

— Уже три недели.

— И ты этим пользуешься?

— Воздушные налеты истрепали ей нервы.

— Не хочешь ответить на мой вопрос.

Все пальто свалили в спальне, превратив ее в раздевалку. Филанджери начал знакомить Сент-Роза с гостями. Плоскую девицу звали Джина. Вторая — Мари,— как он заметил, не носила лифчика, и у нее были полные, чувственные губы.

— Очень приятно! — сказала она певучим голосом.

— Мы пришли вновь полюбоваться статуей нашей Венеры, — сказал мужчина по имени Адриано, и гости направились в мастерскую.

— Как, вы ее не узнали? — спросила Джина.— Это она позировала для статуи «Весна». Любуйтесь же!

Сент-Роз посмотрел на Мари, снимавшую покрывало со скульптуры.

— Истинный шедевр,— сказал капитан.— Как и сама модель,— галантно добавил он.

Гости обменялись несколько вольными шутками. Джина зажгла лампу и направила ее на статую, попросив всех отойти в сторону. Во время небольшой паузы Филанджери успел украдкой указать Сент-Розу на одного из двух мужчин в штатском и шепнул: «Опасный тип». Речь шла об Энцо Тавере, которого в шутку звали Цота — прозвище, образованное из последнего слога его имени и первого слога фамилии. Это был человек лет сорока, на вид весьма самоуверенный, невзирая на короткие ноги и непропорционально большой торс. Другой итальянец, Адриано, выглядел моложе и элегантнее, носил большие очки, и его удлиненные живые глаза за стеклами напоминали глаза рыбы, плавающей в аквариуме. Но вниманием Сент-Роза завладела Мари, причем настолько, что он не отдавал себе отчета в том, какое любопытство пробудил сам. Мари была в блузке с кружевным воротничком и в черной юбке клеш с широким лакированным поясом, который подчеркивал ее талию и пышные бедра. Все в ней говорило о жадной любви к жизни. Такая женщина и любить должна со страстью. Ее тяжелые темные ресницы трепетали, как крылья бабочки, и говорила она порой мягким, многообещающим шепотом. Сент-Роз представил себе, какой должна быть Мари в любви, и ему вдруг захотелось покорить ее, овладеть ею, бросить на постель, но не уступающую, а бунтующую, чтобы насладиться своей победой, смирить ее своим неистовством, завоевать до конца, сделав самой нежной, самой совершенной и упоительной сообщницей! Капитан продолжал ходить по мастерской и в этот момент рассматривал бронзовую кошку, которой он долго любовался, поглаживая ее своей изящной рукой, украшенной золотым перстнем с печаткой.

— У нашего друга Рителли,— сказал Адриано,— есть книга, изданная в Швейцарии и посвященная лучшим европейским скульпторам современности. Тебе, дорогой Фило, там, говорят, отведено заметное место. Когда он узнал, что мы с тобой друзья, то буквально умолял меня вас познакомить.

— Польщен,— сказал Филанджери.

— Он так тобой восхищается!

— Спасибо.

— Отчасти еще и потому, что ты напоминаешь ему Альберта Эйнштейна.

Капитан Рителли улыбнулся.

— А мы,— сказал Цота,— прежде всего расхваливали ему твою Венеру!

Странно было, что при этих словах он вызывающе взглянул на Сент-Роза.

Вдруг Джина закричала:

— Противное животное! Терпеть не могу кошек! А эта еще такая бездельница!

— Она и есть бездельница,— ответил скульптор.

— Как ее зовут? — спросил капитан.

— Ил.

— Но ведь это что-то русское!

— Кот-большевик! — воскликнул Адриано и засмеялся.

— Почему большевик, дорогой мой?

— Ох, Джина, потому что «Ил» — марка советского самолета!

— Что за мысль — назвать так кота!

— Дорогая,— вмешался Цота,— ты же знаешь, что Фило — красный! Не правда ли, Фило, ты — красный?

— Не кричи так! — сказал скульптор, изобразив на лице ужас.— Соседи могут услышать, а я ценю их уважительное отношение.

Кошка с мечтательным видом наблюдала за развитием событий, ее агатовые глаза светились; тем временем Джина передавала по кругу бутерброды, которые приготовила вместе с Мари.

— Наш друг капитан Рителли только что выздоровел. Он недавно вернулся на службу. Вы знаете, что он отличился в Киренаике?

На этот раз офицер раздосадованно пожал плечами.

— Однако вы замечательно вели себя там, не надо скромничать,— сказал Цота.

Капитан укоризненно покачал головой, точно его собеседник сказал какую-то нелепость, и Сент-Роз понял, что Рителли свойственна скромность, как всем людям, действительно знакомым с опасностью. Но Джина уже включила радио и танцевала с Адриано. Рителли пригласил Мари.

— Вы только на эту ночь останетесь у Фило?

— Да. Задержался, играя в шахматы.

— Стало быть, мы вам помешали,— сказал Цота холодным тоном.

Оба они сидели на противоположных концах дивана, скрестив ноги и держа в руке по стакану вина.

— Что вы! Это приятный сюрприз.

— Я вижу, вы ранены в ногу.

— Пустяки. Упал с мотоцикла. Во всяком случае, мне это не мешает танцевать.

— Правда? Когда же это произошло?

— В прошлом месяце — наехал на рельс.

— Понимаю.

Желтые глаза Цоты продолжали пристально смотреть на Сент-Роза, но после двух стаканов вина тот забыл о необычности своего положения. Предупреждение Филанджери о том, что Цота — человек опасный, его ничуть не тревожило. Даже вымученная улыбка скульптора не могла поколебать в нем чувства собственной неуязвимости, а окружавшие его фигуры из камня, гипса и бронзы, казалось, таили в себе больше человеческих тайн, чем собравшиеся тут гости, за исключением Мари. Он смотрел, как она чутко следовала движениям своего партнера, стройная, гибкая, улыбающаяся... Когда танец кончился, Цота успел опередить Сент-Роза и пригласил Мари, меж тем как другая пара продолжала танцевать. Сент-Роз решил вновь осмотреть кое-какие работы скульптора; его не покидала мысль о том, что свидание с Лукой сорвалось,— ведь он уже должен был бы прийти, но, услышав с лестницы веселый шум в мастерской, очевидно, повернул назад.

— Эти произведения вас не трогают,— раздался вдруг за его спиной голос офицера.— Не отрицайте. Я наблюдаю за вами.— Он отпил глоток рома и продолжал:— Мне бы тоже хотелось творить. Знаете, какая у меня навязчивая идея? Боюсь лишиться рук. Однажды я видел, как моему товарищу гранатой оторвало руки. Нет, вам этого не понять. Не пытайтесь.

— Будьте спокойны.

Не уловив иронии, офицер взглянул на свои сухие, невредимые руки, а музыка — это был вальс — словно разматывала его размышления, как длинную шелковую ленту.

— Когда я был студентом,— продолжал он,— я стремился найти путеводную нить, которая позволила бы мне идти своим путем. И только позже, проснувшись однажды в госпитале в Тобруке с осколком в животе, я наконец ее обрел.

— И куда же эта нить вас привела? — учтиво спросил Сент-Роз.

— Вы это знаете. Прямо к Минотавру.

Сент-Роз повернулся и кончиками пальцев погладил бронзовую кошку.

— Вам когда-нибудь приходилось чувствовать близость моря до того, как вы подошли к побережью? Сердце ваше трепещет, и вы знаете, что море уже совсем близко, задолго до того, как обнаружили, что подошли к краю земли.

«Наверно, из итальянцев-южан,— подумал Сент-Роз,— полон энергии, тоскует по родным местам...»

— Пью за предстоящее свидание во дворце царя Миноса,— со вздохом сказал офицер.

— А я пью за триумф Тезея,—ответил Сент-Роз, тоже подняв свой стакан, наполненный густым вином, принесенным гостями.

Офицер бросил на него быстрый, острый, как ланцет, взгляд. Когда он становился серьезным, он выглядел старше.

— Мне жаль вас,— сказал он, вдруг сощурившись.— Вы из числа тех тщеславных простаков, которые верят, что нам действительно удастся что-то сделать на земле.

— Безусловно,— ответил Сент-Роз.— Разве не могли бы мы постараться сделать так, чтобы она стала более благосклонной к человеку, более пригодной для жизни?

Капитан посмотрел на него с презрением. Он носил на груди орден, блестевший, как кошачий глаз.

— Вы говорите так, будто поражены нелепой французской болезнью, называемой картезианством.

В голосе его слышалось раздражение. Обе пары еще продолжали танцевать, а Филанджери, присев на корточки, размешивал угли в печке. Сент-Роз поставил стакан на стол и удивился своему спокойствию. Возможно, думал он, все, что говорит капитан,— это лишь тактическая уловка, коварный способ прощупать его, проверить пока еще смутное подозрение. Ситуация опасная. Он уже выпил лишнего и может легко все испортить. Этот малый весьма умен, это опасно. Сент-Роз сказал:

— Дорогой мой, вы невероятно умны,— и с некоторым удивлением услышал эту фразу как бы со стороны, словно ее произнес кто-то другой.

Капитан слегка поклонился и окинул взглядом Сент-Роза с головы до ног, потом снова поднял глаза (можно было подумать, что только сейчас он увидел Сент-Роза и хочет насквозь просверлить его взглядом, чтобы проникнуть в самую душу).

— Откуда вы взялись? — спросил он своим низким ворчливым голосом.— Вы действительно существуете? Если да, то докажите мне это.

Вальс заканчивался. Сент-Роз, улыбаясь, ответил:

— Только не повторяйте. Я упал с неба. Вышел из хвоста кометы. А когда приземлился к северу от Рима, на самом берегу моря, то от меня еще пахло паленым.

Он подмигнул, но сделал это совершенно невольно, побуждаемый неким внутренним демоном, чье веселое лукавство (этому способствовал алкоголь) он не смог сдержать.

Начался следующий вальс. Сент-Роз на ходу схватил Мари за руку, пригласил танцевать; она, рассеянно улыбнувшись, положила руки ему на плечи, и он ощутил у своей груди ее горячее тело, прижался к телу девушки, правой рукой обнял ее спину — «гибкую, трепетную плоть», и вслед за этой фразой в его уме мелькнула озорная мысль: «Боже мой, как было бы прекрасно, если б можно было избавиться от всех этих людей и остаться с нею наедине». Кружась в вальсе, он заметил, что капитан с задумчивым видом следит за ним. И Цота тоже мрачно поглядывает на него, но ему все было уже нипочем, ибо упоительный ритм музыки увлек его. Джина все еще танцевала с Адриано, и обе пары порой сталкивались, поэтому Сент-Роз увлек свою партнершу в глубину комнаты, к театру марионеток, где был полумрак, и там по-французски стал шептать ей на ухо слова восхищения и нежности и даже, воспользовавшись ее удивлением, поцеловал в шею, но пока он искал ее губы, Мари уклонилась и решительно оттолкнула его. При этом она чуть откинула голову, и он заметил, что лицо ее выражает скорее испуг, чем недовольство.

— Возьмите себя в руки,— сказала она по-итальянски.— Вы ведете себя безрассудно!

— Это вы свели меня с ума!

— Если из-за вашей глупости с Фило случится несчастье, я вам этого не прощу.

От такого тона Сент-Роз сразу отрезвел.

— Простите меня,— сказал он.

Они замолчали и, продолжая танцевать, вернулись в центр мастерской. Сент-Роза мучила мысль, что он позволил себе перейти границу дозволенного. Он догадывался, что Мари поражена, был встревожен этим, и мысль о том, что танец объединял только их тела, заставляла его страдать. «Простите меня»,— снова прошептал он, пока вокруг них кружились все эти люди, причудливо смешавшиеся с фигурами из камня и бронзы. Она ничего не ответила, и Сент-Роз, которому так хотелось ее покорить, понял, что совершил непоправимый промах, однако обостренная чувственность поддерживала в нем ревнивое желание похитить ее, овладеть ею. Музыка была довольно банальной, но зато лейтмотивом звучала романтическая изящная мелодия. По временам Сент-Роз окидывал взглядом лицо Мари, ее гладкую кожу, видел замкнутое лицо незнакомки, совершенно безразличное к его страсти. Он смутно сознавал, какую власть может иметь над ним это создание, и думал о том, что любой ценой должен снова ее увидеть. Он уже не сжимал ее в своих объятиях, а держал, чуть отстранив от себя, чтобы видеть ее темные глаза, в глубине которых дремало сладострастие. Но был у нее и небольшой, чуть выпуклый, упрямый лоб, лоб человека упорного, способного оказывать сопротивление. Сент-Роз подумал, что он уже не так жаждет обладать этим телом, ему просто хочется сжать ее изо всех сил в объятиях, пока она в них не растает, не уподобится ему не сольется с его существом. Он кружился в танце и наслаждался, ощущая ее прерывистое дыхание, чувствуя запах ее юного тела. Когда музыка кончилась, диктор объявил последние известия. Быстрым движением Адриано выключил радио. Все молча собрались вокруг маленького столика, уставленного тарелками и бутылками. В эту минуту у входной двери раздался звонок. Филанджери тотчас встал с диванчика и семенящей походкой вышел. Чуть помедлив, за ним последовал Адриано, но у двери в коридор остановился. Сент-Роз ждал не двигаясь. Сквозь табачный дым он различал Адриано, который в профиль, как это ни странно, смахивал на стоявшую здесь же в мастерской гипсовую старуху с носом луковицей и загадочной улыбкой. Сент-Роз знал, что пришел не кто иной, как Лука. Он только что приехал и этой же ночью должен был отбыть, исчезнуть, раствориться во тьме. Сент-Роз ощутил внутри легкий толчок, точно вдруг качнулся

вместе с Землей, которая, вращаясь вокруг своей оси, неслась в ледяные пространства Вселенной. Он взглянул на Мари: она казалась прекрасной рабыней, безучастно ожидающей, когда ее продадут тому, кто больше даст. Другие гости — Джина, капитан и Энцо Тавера по прозвищу Цота — недоуменно переглядывались. Кто же это может быть, в такое время...

— Ну, что там, Адриано? — спросил офицер, слегка откинувшись в кресле.

Адриано сделал жест, означавший, что он еще не может ответить, потом послышался стук закрываемой двери, вернулся Филанджери и сказал:

— Это сосед — жалуется, что мы очень шумим.

— Ну что за идиот,— сказал Цота.— Сейчас нет и десяти!

— Я его заверил, что мы будем соблюдать тишину,— сказал Филанджери.

Адриано пристально смотрел на старика, стоя у противоположного конца дивана; стекла его очков поблескивали.

— Если он явится еще раз, я сама с ним поговорю,— сердито сказала Джина.

— Думаю, что больше он не явится,— с мягкой грустью ответил Адриано и улыбнулся, совсем как гипсовая старуха с такими же, как у него, искусанными губами.

Сент-Роз закрыл глаза, словно блеск очков Адриано раздражал его. Он знал, что в эту минуту в заснеженных степях России и Украины умирают советские солдаты, что американские летчики гибнут в джунглях далеких азиатских архипелагов, что евреи агонизируют в зловонных бараках лагерей смерти,— и при мысли об этом кровавый ком вставал у него в горле. Все, чему его годами учили, не могло сейчас помочь ему преодолеть чувства, будто он зажат этой жизнью, как растение — листами гербария. Он открыл глаза и с отвращением посмотрел на лица окружающих. Мужчины пили густое вино, которое он попробовал, но сейчас уже остерегался его. Встретит ли он еще когда-нибудь Луку?

— Боже, избавь нас от лукавого,— шутливо сказала Джина, отвечая самой себе, но на деле обращаясь к Цоте, который настаивал на чем-то, связанном с Мари. Чего же он хотел? Чего добивался этот толстяк? Чтобы Мари разделась, и тогда можно будет «сравнить ее пластику с пластикой статуи» (у Цоты уже покраснели глаза, увлажнились губы, загорелся взгляд), по-настоящему оценить талант скульптора и выяснить, наконец, приукрасил он свою модель или нет.

Мари, сидевшая в кресле, пожала плечами, дав тем самым понять, что она такое предложение находит абсурдным.

— А почему нет? — спросил Тавера, явно раздраженный ее отказом.— Для Фило ты же раздевалась! Почему не хочешь это сделать для нас?

— А почему бы тогда не раздеться в воскресенье для верующих на площади Святого Петра?

— Не говори ерунды! — буркнул Цота, нахмурившись.— Почти в таком же виде ты ходишь на пляж купаться. Зато мы могли бы сравнить.

— Ни за что! — сказала она, не повышая голоса.

— В таком случае я сам тебя раздену!

И он неестественно засмеялся.

— Одну минутку,— сказал Филанджери.— Я хочу кое-что сказать. Во-первых, Мари позировала мне в купальном костюме. Во-вторых, сейчас у нас дружеская вечеринка, и она вольна поступать как хочет. Отказывается — значит, все. Выпьем за ее красоту.

— Все дело в стыдливости,— сказал офицер примирительным тоном.

— Какая там стыдливость! — злобно воскликнул Цота.

— В достоинстве, если угодно,— сказал Филанджери.

— А ты, Фило, закройся! Ты сам похотливый козел. Тебе ли толковать о достоинстве!

Никто не засмеялся, кроме Джины, закудахтавшей в своем углу. Цота быстро повернулся к Мари.

— Послушай, покажи нам ну хотя бы только грудь! Просто чтобы доказать, что ты не похожа на Диану Эфесскую.

— А почему, мой дорогой, именно на Диану Эфесскую? — спросила Джина.

— Потому что Диана Эфесская сверху донизу покрыта сосцами.

Джина захохотала снова, зажмурив глаза и прикрыв рот рукой.

— Слушай, Тавера, пора бы тебе сменить тему,— сказал Филанджери.

— Сменю, если захочу! Достоинство, Фило! Я запомню это слово! Все красные без конца толкуют о достоинстве! Именно по этому словцу их сразу узнаешь! Так же, как сразу узнаешь священника даже в пиджачном костюме, стоит лишь услышать слово «милосердие». Оно капает у них с губ, как сироп!

— А по какому слову узнаешь хама? — спросил Сент-Роз.

— А вы, куда вы суетесь? — злобно воскликнул Цота, вскочив со стула и судорожно опираясь о край дивана.

— А вы-то сами? — вызывающе ответил Сент-Роз.

— Чего вам надо? Скажите!

— Прошу вас! — вмешался Фило.

— А ты заткнись!

— Не будь смешным.

— Давайте поговорим о чем-нибудь другом,— испуганно взмолилась Джина. Адриано, чтобы ее успокоить, положил руку ей на плечо, а капитан уставился на Сент-Роза, чуть склонив голову и сощурив глаза, будто целился из карабина.

— Перестаньте,— внезапно вмешалась Мари.— Думаю, все это в первую очередь касается меня, и я вас уверяю, что могу сама себя защитить.

— А ты не подливай масла в огонь! — чуть не плача простонала Джина.

— Я — не беспомощная женщина,—продолжала Мари,—и не нуждаюсь в покровительстве. Хватит на сегодня. Мне хочется спать!

— Согласен, но только прежде покажи нам свои прелести, а потом...

— Довольно! — крикнул Филанджери.

— Старая ты свинья! Сам нагляделся вволю, а теперь заявляешь, что охота запрещена!

Цота все с тем же хвастливым видом поднялся на короткие ноги. Вся его физиономия покрылась потом. Каждый понимал, что для него главным было не уступить Филанджери. Цота протянул руку к Мари— она пристально на него смотрела, даже не пытаясь защититься. Жест его взвинтил Сент-Роза до предела, но старик уже вмешался. С удивительной ловкостью он схватил Таверу за плечо и повернул к себе. Цота побледнел как полотно, и в глазах его сверкнула ненависть.

— Старая кляча! — выкрикнул он.— Ты осмеливаешься тронуть меня! — И повернулся к Мари: — А ты, дура, поторапливайся! Не все ли тебе равно, увидим мы тебя голышом в бронзе или в живом виде?

— Тебе придется отсюда уйти! — сказал старик.

— Господа! Господа! — повторял капитан удрученно.

— Тебя спасает только возраст! — рычал Тавера.— Не могу я бить старую клячу!

— Умоляю, Цота, успокойся,— жалобно просила Джина.

— Ну и евнух,— презрительно сказал Филанджери.— Ты не бьешь стариков. Только женщин бьешь. Особенно если старики способны выбить тебе зубы.

— Слышите? — воскликнул Тавера, который, очевидно, не ожидал такого сильного сопротивления.

— Ведешь себя как мужчина, только когда ничем не рискуешь, а если что не так, зовешь на подмогу мамочку!

— Ну что, все слышали?

— Слышали, слышали. Они же не глухие. А теперь вон отсюда. От тебя скверно пахнет. Выход там. Без тебя легче будет дышать.

— Но вы слышали? — повторил Тавера, призывая в свидетели Адриано и Рителли.

— Как же они могли не слышать! — ответил старик.

Сент-Роз восхищался им, восхищался его боевым духом. Он понимал, что Тавера шаг за шагом отступает. Подбородок его дрожал. Губа нервно дергалась, а круги под глазами приобрели болезненную окраску. Что касается Мари, то она вела себя так, словно эта ссора ее не касалась, и с царственной беспечностью расхаживала по мастерской, поглядывая на бронзовые бюсты прелата с толстым бурбонским носом, на важную, надменную даму, на юного атлета с искаженным от усилия лицом. При каждом шаге юбка ее соблазнительно покачивалась.

— Фило, остановись, наконец,— сказал Адриано еле слышно.

— Пользуешься тем, что ты стар! — сказал Тавера.— Я ничего не могу с тобой поделать.

— Как и с женщинами! Ты ничего не можешь! Только оскорблять умеешь. Убирайся! Вон отсюда!

— Ну что вы! — мягко сказал Рителли.

— Вон отсюда! Я проветрю помещение, как только он уйдет.

— Поверьте мне,— сказал Тавера, обращаясь к Рителли,— я ухожу только из уважения к вам.

— Если ты уходишь, мы тоже пойдем,— сказала Джина, до смерти перепуганная.

— Все равно,— заметил Адриано,— вечер испорчен.

Тавера пожал плечами, будто хотел сказать: «Кто же виноват, если старый дурак не понимает шуток?» Руки у него дрожали. Чувствовалось, что он в ярости. Надевая пальто, он нервно кусал губы.

Мужчины вышли первыми. Женщины задержались около Филанджери и что-то тихо ему говорили. Старик поцеловал их обеих. Сент-Роз услышал, как Мари сказала ему: «Браво, чемпион!» Сент-Розу она издали дружески помахала рукой и вышла последней.

Шаги на лестнице стихли. Сент-Роз почувствовал странное облегчение, будто до сих пор пальцы его лежали на проводе, через который внезапно могли пропустить электрический ток. Он похвалил Филанджери за твердость, хотя и понимал, что сам был причиной этой стычки. Скульптор, безусловно, намеренно вмешался первым, чтобы предотвратить вмешательство Сент-Роза. Ночная тишина просачивалась в мастерскую, словно темная вода, нагнетая тревогу, придавая скульптурам, точно людям, сосредоточенный вид.

— Но кто же этот нахал?

— Тавера? Высокопоставленный чиновник из Римского радио. Фашист до мозга костей. Надоедливый бабник. Я с ним познакомился на одной из моих выставок.

— Вы ему как следует всыпали!

— Жирная свинья! — прошептал Филанджери, все еще полный злобы.

— А Мари? Кем она ему приходится?

— Да абсолютно никем.

— Почему же она проводит с ним время?

— Одна подпольная организация поручила ей следить за ним. Мари тоже работает на радио.

— И давно?

— Месяца два.

— А как же с Лукой — ведь это он приходил?

— Не беспокойтесь. Я в двух словах объяснил ему положение, и он ушел, но взял ваш адрес. В ближайшие дни он вам даст о себе знать.

— Адриано следил за вами.

— Он человек безвредный. Забудем об этом. Бедный Лука просто умирал от усталости. Подумать только, что на эту ночь ему придется искать для себя новое пристанище.

Продолжая говорить, старик тщательно закрыл статую предварительно смоченным покрывалом, а Сент-Роз наблюдал за его неторопливыми и почти ритуальными движениями.

— Вы очень дорожите этой работой, да?

— Конечно. Хотя через тысячу или сто тысяч лет, то есть в будущем, от всего этого в человеческом сознании не останется и следа.

— Эта мысль отвращает вас от творчества?

— Напротив.

Рукой он указал на расстилавшийся за окнами римский пейзаж, точно напоминая о бесценных произведениях искусства, которыми так богат Рим.

— Мы знаем, что все это когда-нибудь будет поглощено пустыней или уничтожено космическим катаклизмом. Я знаю, что от наших чаяний и мыслей ничего не останется, но все же мне порой приятно представить себе, что образы, мной созданные, будут блуждать среди мириадов звезд.

Старик улыбался. Гнев его утих, и в этом старом лице снова проглянуло что-то детское. Да, наверно, он был когда-то отважным молодым человеком, фантазером, храбрецом. Жил полной жизнью. В его усталых глазах Сент-Роз увидел и теперь тот блеск, какой свойствен людям, умеющим быть выше самих себя, способным на самые героические и безрассудные поступки.

## 7

На следующий день Мари с утра поехала к Филанджери в маленьком автомобильчике, который итальянцы называют «тополино». Было холодно. Над крышами расстилалось промерзшее небо. Мари плохо выспалась, чувствовала, что лицо у нее отекло. Она подняла воротник, сдвинула шапочку на лоб и, войдя в дом, поднялась к скульптору.

— Не будем терять времени, Фило. Если твой друг еще здесь, ему надо немедленно уходить.

— Но что случилось?

Встревоженный звонком Сент-Роз, едва успев умыться, стоял у входа с полотенцем на плече.

— Вчера вечером,— сказала Мари,— Цота, отвозя нас домой в своей машине, заявил, что вы вызываете у него подозрения.

— Какие подозрения?

— Ему кажется странным и ваш акцент, и то, как вы строите фразу.

— И это так серьезно?

— Вы сказали, что причина вашей раны — несчастный случай, падение с мотоцикла.

— Ну и что?

— Но еще в октябре немцы официально запретили ездить на мотоциклах после того, как один мотоциклист, вооруженный гранатой, совершил покушение. В Риме больше не встретишь мотоциклов. В этом легко убедиться.

— Черт побери! И что же этот бесноватый может сделать?

— Сообщить полиции. У него там полно приятелей.

— Весьма грустно,— заметил Сент-Роз.

— Не будем терять времени. В случае необходимости ты, Фило, придумаешь что-нибудь правдоподобное.

— Но ты в самом деле думаешь,— сказал старик,— что Цота говорил это не просто потому, что разозлился? Ты считаешь, что сегодня...

— Пойми,— сказала Мари,— это дело серьезное. Цота — человек тщеславный, вспыльчивый и к тому же тертый калач. Его ничто не удержит. Мы с Джиной пробовали его образумить. Он нас грубо оскорбил.

Мари говорила быстро, зябко кутаясь в пальто, и, видимо, была раздражена неуверенностью, сквозившей в словах Филанджери.

— Не могу поверить, что все это так опасно, как тебе кажется,— сказал он. И, повернувшись к Сент-Розу, добавил:— Я-то ее знаю. Она большая фантазерка.

Но Сент-Роз уже оделся, натянул пиджак, пальто.

— Возможно, ничего и не произойдет,— сказал он.— Но синьорина права. Лучше принять кое-какие меры предосторожности.

Она вспомнила, как накануне Сент-Роз внезапно поцеловал ее в шею, и посмотрела на него внимательнее, чем прежде. Сент-Роз был очень привлекателен, у него был благородно очерченный рот и великолепные белые зубы. Мари нравились мужчины с такими зубами. Губы его тоже притягивали взгляд, и она отвела глаза, словно он мог об этом догадаться.

— А как Рителли? — спросил Фило.— Как он реагировал? Это важно.

— Мне показалось, что он серьезно отнесся к словам Цоты. Но у него не сразу поймешь.

Кошка, лежавшая на скамеечке между двумя бронзовыми изваяниями, пристально на них глядела. Она появилась внезапно и, похоже, намеревалась подремать здесь, напротив двери в коридор.

— Вы готовы? — спросила Мари у Сент-Роза.

— Да, конечно.

— Если вы не знаете, куда деваться, я отвезу вас к друзьям.

— Он знает, куда деваться,— сказал Фило.— У меня он должен был провести только одну ночь.

И он коротко рассказал ей обо всем, что касалось Сент-Роза и Бургуэна. Мари слушала, не выражая особого удивления, однако ее тоже растрогало то, как оживилось это старое лицо, как внезапно помолодели глаза Филанджери. Кошка, видимо, задремала в уголке мастерской и походила на одного из тех маленьких загадочных азиатских божков, для которых не существует ни времени, ни логики.

— Мне показалось, что вы — француз,— сказала Мари Сент-Розу.— Я так и подумала, что вы бежали из плена, хотя все мы здесь пленники. Ну что, пошли?

Сент-Роз поблагодарил скульптора, тот крепко обнял его и пожелал успеха.

— И ударьте как следует,— добавил Филанджери.— Не думайте о том, что ваши бомбы прикончат и нас.

— Постараюсь быть поосторожней,— сказал Сент-Роз.

— До свиданья, Жак!

Когда они выходили, Мари посмотрела направо, потом налево, дабы убедиться, что дорога свободна.

— А привратница? — сказал Сент-Роз.— Она наверняка нас видела.

— Ну, ее-то опасаться нечего. Она свой человек. Пошли.

Машина стояла на одной из соседних улиц.

— А почему вчера вечером вы не сели в лифт? — спросил Сент-Роз.— Он ведь работал.

— Цота всегда опасается, что внезапно отключат ток. Боится попасть в ловушку. И других заставляет быть не менее осторожными.

— Недоверчивый человек, как я погляжу.

— И властный. Вмешательство Фило, да еще и ваше, его взбесило.

Неужели вы не могли дать мне возможность самой выпутаться из всего этого?

Это не было упреком. Просто она хотела подчеркнуть, что сумела бы справиться и с таким, как Цота, хоть он и вел себя скверно, обуреваемый чувствами, природа которых была ей совершенно ясна.

— Мне неприятно думать,— сказал Сент-Роз,— что с Филанджери может случиться что-нибудь плохое.

— Он человек находчивый. Я в него верю. И учтите, если бы он сегодня ушел из дома, подозрения усилились бы.

Она вела машину, время от времени поглядывая по сторонам.

— Если дело примет дурной оборот, он сумеет уехать из Рима. Я позабочусь об этом.

Машина шла по правому берегу Тибра в сером тумане, приглушавшем шум. Тишина создавала впечатление, будто город был ночью брошен жителями или будто во сне их умертвила страшная эпидемия. И на самом деле, все окна в домах были еще закрыты, а движение на улицах почти прекратилось. Впечатление бедствия усиливалось поднимавшимися из подвалов зловонными испарениями. Еще одна улочка — и машина остановилась. Дальше начиналась небольшая площадь, довольно запущенная, с облупившимся на многих фасадах лепным орнаментом, изъеденным серыми пятнами.

— Я вам очень признателен за хлопоты,— сказал Сент-Роз.

— Не будем об этом говорить.

— Но хотелось бы знать, как все сложится дальше. И по возможности быть спокойным за Филанджери.

Мари показала ему кафе с вывеской «У Пьетро», оно было еще закрыто.

— Можете мне позвонить на работу, назвавшись этим именем. В справочнике найдете номер телефона Римского радио. Если меня не застанете, моя коллега Ванда всегда на месте. Спросите у телефонистки, здесь ли синьорина Леонарди. Звоните, разумеется, только из города.

Она догадалась, что, прежде чем расстаться, Сент-Роз хочет о чем-то ее спросить, и опередила его.

— Мне пора... — сказала она, положив на руль руки в черных перчатках.

— Послушайте...

Он все еще колебался, и она терпеливо смотрела в ветровое стекло. Плиты на шоссе блестели от влаги, стены домов были покрыты надписями: «Vincerà chi vorrà vincere!», рваными афишками: «Ballerete in 10 оге» [1], но кто же захочет танцевать в такое время?

— Послушайте, этот Цота — ваш друг?

— Ну что вы! Он просто мой начальник.

Ее забавляло, что Сент-Роз беспокоится о ней.

— Ни о чем не думайте, кроме побега,— сказала ему Мари.— Вот единственная ваша забота.

Она знала, чего от нее ждут мужчины, заметила огонек во взгляде Сент-Роза и решила слегка подшутить над ним, но он уже сказал:

— Мне хотелось бы еще раз вас повидать.

— Ну что ж, это возможно. В кафе «У Пьетро».

И она повторила пароль, чтобы он мог позвонить ей без риска.

— А пока будьте осторожны,— заключила Мари.

— Можете не сомневаться.

Она чувствовала, что он сумеет быть осмотрительным и в то же время смелым до дерзости, и спрашивала себя, почему жизнь не станет столь же простой, как когда-то, без этой постоянной тревоги в сердце и томительного, полного страха ожидания. Мари не смотрела на Сент-Роза, но ощущала на себе его взгляд, вызывавший у нее трепет, хоть она и умела владеть собой.

[1] Танцы в 10 часов вечера *(итал.)*.

— Как вы хороши! — сказал ей Сент-Роз, выйдя из машины и перегнувшись через дверцу. Он сказал это горячо и серьезно, словно хотел выразить то, что таилось в самой глубине его гордой и страстной натуры. Его глаза горели азартом, как у игрока, который хоть и проигрывает постоянно, но никогда не упускает случая попытать счастья. Мари поблагодарила за комплимент, ничем не обнаруживая, что ей приятно это слышать, и включила мотор.

— Вы действительно так спешите?

— Боже мой, да поймите же, тут не место и не время за мной ухаживать!

— Вы правы. Я позвоню вам.

— До встречи,— ответила Мари. — Идите сейчас же домой.

Дружески махнув ему рукой, она переключила рычаг скорости, машина рванулась вперед, и в зеркальце Мари увидела Сент-Роза, все еще неподвижно стоявшего на краю тротуара и смотревшего ей вслед.

## 8

Дверь Сент-Розу открыла сама София — Джакомо задержался в прачечной, где вместе с женой занимался стиркой. Войдя в гостиную, Сент-Роз увидел Луиджи, собиравшегося ехать на работу. Как всегда, взгляд хищной птицы. Луиджи учтиво ответил на приветствие Сент-Роза и спросил, удалось ли ему что-нибудь сделать для подготовки побега.

— Думаю, что смогу уехать на будущей неделе. Пора.

— А вам, я вижу, не терпится?

— Разве это не в порядке вещей?

— Мне думается, для вас это вопрос чести.

В этой фразе Сент-Розу (возможно, из-за переполнявшего его чувства вины) почудилась некая задняя мысль, и он, смутившись, прекратил разговор. Пока он поднимался по лестнице, ведущей на последний этаж, он чувствовал спиной взгляд Луиджи; ощущение было до того тягостное, что он уже на первой площадке обернулся. Луиджи стоял под люстрой, опустив руки, и действительно очень серьезно смотрел на него. У Сент-Роза екнуло сердце, и он ускорил шаг. Войдя в комнату, он подумал: «Совесть у меня нечиста, потому я так реагирую на самые обычные его жесты, на самые безобидные замечания. Надо держаться поосторожней». Эта мысль пришла ему в голову внезапно, ведь с того времени, как он уехал к Филанджери, он почти не вспоминал Сандру. Сменив туфли на домашнюю обувь, чтобы дать отдых отекшей от усталости правой ноге, Сент-Роз лег и стал думать о положении, в которое попал Филанджери. Если Тавера действительно на него донес, а Мари не без основания опасалась этого, что тут можно предпринять? Уставившись в потолок, Сент-Роз пытался восстановить в памяти свое собственное поведение, припомнить разговоры, которые он вел то с тем, то с другим. Из-за того, что он уже отвык от алкоголя — впрочем, и в обычное время он пил очень мало,— вчера после каких-нибудь двух стаканчиков у него зашумело в голове; он припомнил, что овладел собой благодаря Мари в тот момент, когда захмелел и уже становился опасно говорливым. Он вспомнил и то, каким тоном Мари его упрекнула, и невольно с волнением подумал о ней. Так что же? Сент-Роз не видел во всем этом ничего опасного для Филанджери, хотя и понимал, что такой злобный человек, как Тавера, всегда способен навлечь на старика неприятности. В теперешних обстоятельствах это удовольствие было доступно всякому, кто хорошо устроился. Он вспомнил также, что снова увидит Мари, позвонит ей в течение дня, и мысль об этом опьянила Сент-Роза. Мари вызывала у него жгучее любопытство. Хотелось знать, кто ее родители, как прошло ее детство, где она бывала, о чем она думает, чему радуется, чего желает. Его влекло к ней все сильнее, и преодолеть это влечение, подавить его Сент-Роз был не в силах. Он вспом-

нил, как во время танца тесно прижал ее к себе и пылающие волны, нахлынув, обожгли своим пламенем все его тело. В этот момент кто-то постучал в дверь, и Сент-Роз, поглощенный своей грезой, едва не крикнул: «Мари!» Но это была Сандра, которая пришла за новостями, а он даже не слышал, как она поднималась. Конечно, ей хотелось воспользоваться отсутствием мужа и тем, что София занята очередной стиркой. Сандра тут же стала расстегивать рубашку Сент-Роза, ласково погладила его грудь кончиками пальцев, улыбнулась и все смотрела на него, не отводя глаз. Он молча обнял ее за талию и повел к постели.

— Ну, как ваши дела? — спросила она своим чуть хриплым голосом, имевшим над ним странную власть.

Падавший в окно утренний свет освещал сбоку ее острую лисью мордочку с большими влажными глазами.

— Через несколько дней я уеду,— ответил Сент-Роз. — За мной должны прийти.

— Сюда?

— Да.

— Бог ты мой,— воскликнула она, как бы смеясь над собой,— на этот раз я действительно влюбилась, а времени, чтоб быть счастливой, нет!

Гладко причесанные волосы и длинный муаровый халат делали ее похожей на актрису в пьесе елизаветинских времен, а впечатление это еще усиливалось привычной для нее театральной манерой говорить и даже этой фразой, более похожей на заученную реплику, чем на возглас, вырвавшийся из глубины сердца.

Она высвободилась из объятий Сент-Роза и медленно ходила по комнате, наполнившейся с ее приходом каким-то свежим и юным ароматом. И где только, черт возьми, ей удается добывать столь редкие духи? Когда она была в более освещенной части комнаты, глаза ее становились удивительно красивыми. Сандра остановилась у окна с изнемогающим и томным видом, и он невольно воскликнул:

— Как вы хороши!

И эта фраза, та же — он сразу об этом подумал,— которую всего час назад он сказал Мари, показалась ему наполненной совсем иным смыслом, восхищением искренним, но неглубоким, не затрагивавшим души, всего его существа, не вобравшим в себя того, что составляет основу жизни.

— Когда мне было лет семь,— сказала Сандра, поблагодарив его улыбкой,— умерла моя единственная сестра Амалия, и я слышала, как мама в отчаянии говорила друзьям, которые пришли ее утешить: «Бог похитил у меня самую лучшую и красивую, а мне оставил эту дурнушку». Дурнушка была я. — Она тихо засмеялась. — В последующие годы мама по-прежнему открыто сожалела, что бог призвал к себе не меня, а Амалию, которая в ее глазах была совершенством. В двенадцать лет она определила меня в монастырский пансион, где на меня надели уродливую форму; зимой приходилось носить темно-синюю юбку и кофту. Когда я возвращалась домой на каникулы, она, увидев меня, вздыхала и говорила: «Бедная моя девочка, до чего же природа тебя обделила».

Сандра замолкла, а потом спросила:

— Я еще не надоела вам со своими рассказами?

— Продолжайте, пожалуйста,— ответил Сент-Роз.

— Годам к пятнадцати я стала поистине в тягость несчастным монахиням, занимавшимся моим воспитанием. Однажды даже закатила одной из них пощечину, после того как она, сочтя нескромной мою прическу, которую я отказалась изменить, взяла и растрепала мне волосы. Я была наказана по всем существующим в пансионе правилам, и моему отцу пришлось вмешаться, чтобы меня не исключили. А уж потом я сбежала оттуда, блуждала по городским окраинам, и

вечером какой-то старый бродяга едва не изнасиловал меня в товарном вагоне, где я пыталась укрыться. Он был такой грязный, боже, какой он был грязный, с огромным кроваво-красным ртом, напоминавшим кусок сырого мяса. Я так испугалась, что решила вернуться обратно. А вот другая драма. «Душа у тебя так же уродлива, как и лицо»,— повторяла моя мать. Она никогда не била меня, но ее упреки причиняли не меньшую боль, чем удары кнута. Решили побыстрей выдать меня замуж, и в восемнадцать лет я согласилась пойти за Луиджи, не любя его. В замужестве было то преимущество, что оно избавляло меня от моей ненавистной семьи, в которой я не знала ни тепла, ни ласки. Потом я превратилась в отчаянную кокетку, чтобы взять реванш за годы, когда приходилось носить такую уродливую дерюгу. Да, у меня были любовники и теперь есть. Но все это началось несколько позже, когда случилась беда, в которой никто, никто не мог мне помочь.

И снова беззвучный смех, обнажившиеся в улыбке маленькие безупречные зубы.

Сент-Роз понял, что последняя фраза касалась смерти маленькой дочери, о чем ему говорила София. Он встал и, подойдя к камину, оперся на каминную доску. Хрипловатый голос Сандры звучал в противоположном конце комнаты, и могло показаться, что она разговаривает сама с собой, глядя через окно в сад.

— В пансионе нам без конца внушали отвращение ко всему плотскому. И я против этого по-своему бунтовала, пририсовывала фаллосы святым отцам, изображенным на стенах. Я еще ухитрялась добывать всякие фривольные картинки и время от времени расклеивала их в самых различных местах.

Снова молчание. Сент-Роз рассматривал бабочек на стене. В коллекции был экземпляр знаменитого Acherontia Atropos, более крупного размера, чем другие, с уродливым гербом на щитке.

— Я хотела бы родиться мужчиной,— сказала Сандра. — Будь я мужчиной, пошла бы сегодня служить нацистам, в войска СС.

— Как настойчиво вы стремитесь опорочить себя,— тихо проговорил Сент-Роз.

— Эсэсовцы сильны, циничны и безжалостны. Говорят, что по приказу фюрера любой эсэсовец готов убить собственную мать. Заметьте, моя мать умерла десять лет назад.

— Пока вы живы, вы будете убивать ее в себе.

— О, как много хотела бы я в себе убить! — ответила она почти весело.

Что натворит эта женщина, если случится еще одно несчастье? Ему пришла в голову мысль, что если старика Филанджери арестуют и подвергнут пыткам, он может не выдержать и сообщить то, что знает о Сент-Розе. Тогда, очевидно, полиция явится в палаццо Витти и арестует всех его обитателей, в том числе и прислугу. Ужасная мысль. Но ему надо бы знать, что случится со скульптором, знать, не оттаял ли Тавера и не отказался ли от своих скверных замыслов. Если опасения Мари подтвердятся, несчастье обрушится и на этот дом, и на эту женщину, которая еще понятия не имеет, что такое подлинная жестокость. Сент-Роз пытался вообразить, как она поведет себя в опасной ситуации, хотя непохоже, чтобы ей недоставало решительности — ведь она проявляется и в этой мании самоуничижения. Сандра все еще смотрела в сад, откуда доносились голоса Софии и Джакомо, по всей вероятности развешивавших белье меж деревьев. Свет касался ее лица, скользил по изящному ушку, напоминавшему розоватую раковину. Сент-Роз думал о том, что Сандра по своей воле отдалась ему, что он наслаждался ее телом, что она горячо отвечала на его ласки и он не мог утолить ее жажды. Сент-Роз не вполне понимал эту женщину, но догадывался, что сердце ее ранено.

— Теперь послушайте меня,— сказал он.

Она задернула занавеску, но не изменила позы. Аромат ее духов, тонкий и печальный, по-прежнему наполнял комнату, словно исходил от большого золотого цветка.

— Я беспокоюсь за вас и за себя тоже.

Она улыбнулась и насмешливо шепнула:

— Ах, вы о Луиджи, не так ли?

«Значит, и она тоже об этом думает»,— не без некоторого удивления подумал Сент-Роз и ответил:

— Да, о Луиджи. И еще кое о чем.

— О чем же еще?

— Действия, которые пришлось предпринять вчера вечером в связи с моим побегом, приняли неожиданный оборот. Это может повлечь за собой тяжкие последствия для всех нас!

Казалось, слова Сент-Роза ничуть ее не взволновали, но она пристально посмотрела на него.

— Не спрашивайте меня ни о чем,— сказал он. — Я жду вестей, и, если угроза подтвердится, придется сразу принимать меры.

Сандра повернулась спиной к окну — Сент-Роз смотрел теперь на нее против света и не видел выражения ее глаз.

— Вы с кем-нибудь уже поделились своей тревогой? Я имею в виду — здесь, у нас дома?

— Нет. Я встретил вашего мужа, когда пришел, но не мог решиться...

— Почему?

— По правде сказать, теперь я не знаю, как мне с ним разговаривать.

— С тех пор, как мы близки?

Она медленно скользнула, похожая в своем длинном халате в стиле елизаветинских времен на актрису, которая из глубины сцены движется к рампе, наконец вышла из полумрака, и тогда он увидел ее большие глаза, сверкающие дерзостью и вызовом, услышал ее низкий голос, произнесший:

— В вашей атлетической груди, я вижу, таится чудесное, теплое, словно котенок, сердце.

— Может быть. Послушайте, я родился в рабочей семье. В детстве я узнавал о стачке и безработице не по тому, что люди ели на обед только хлеб с сыром, а еще и по царившей в доме особой тишине. Я никогда не мог забыть эту тишину. Такую же, как в этом городе. Тишину унижения, беспомощного гнева. Слушайте меня, слушайте: для меня важно только одно. Одно-единственное: мне надо перейти границу. Это ясно?

— Несомненно.

Горячностью его тона она была шокирована куда больше, чем той грубостью, с какой он отталкивал ее от себя. Глаза ее потухли и были жестки, как угрюмые камни.

— Но вы хотя бы предупредили мою свекровь?

— Прежде чем это сделать, надо все выяснить.

— А если ваши опасения подтвердятся, что вы предпримете?

— Укроюсь в другом месте.

— Я знаю одну подходящую квартиру в Париоли.

— Прекрасно,— ответил он.

— Такой выход вас устраивает?

— Не мог его даже предвидеть.

— Об этом месте никто не знает, и оно сейчас свободно.

— Ясно.

— Поцелуйте же меня, а?

Сент-Роз двинулся к ней, но Сандра, трепетная, жадная, уже была рядом, руки ее схватили его за плечи, губы неловко, но пылко прижались к его губам.

В это же самое время Филанджери с пипеткой в руках готовился принять в своей мастерской прописанные ему капли от ревматических болей. Он услыхал, как стукнула на лестнице дверь лифта, и, держа в руке стаканчик, внимательно прислушался. Раздался звонок, но скульптор, словно это было для него крайне важно, не двигаясь с места, продолжал разглядывать налитую в стаканчик жидкость. При этом он видел искаженные стеклом окружающие предметы и особенно заинтересовался бронзовой кошкой, странно вытянутой по вертикали и обликом своим напоминавшей священные изображения с барельефов древних гробниц. Филанджери понимал, что, забавляясь таким образом, выигрывает не больше нескольких секунд, и потому проглотил содержимое стаканчика (в эту минуту послышался стук, и Филанджери подумал: «Не иначе как они бьют ногами в дверь»), тщательно закупорил пузырек с лекарством, главным образом чтобы доказать самому себе, что его нервы в порядке, и не спеша пошел открывать дверь. С ним коротко поздоровались двое мужчин, и старший, с раскосыми, как у китайца, глазами, негромко сказал: «Полиция». Оба они шляп не сняли. На вопрос Филанджери «Что вам угодно?» ответа не последовало.

Они решительно прошли в коридор и направились в мастерскую.

— Вы Сальваторе Филанджери, скульптор?

— Да.

— У вас есть документы?

— Разумеется.

Полицейский со скучающим видом просмотрел их и вернул.

— Вчера вечером кто-то остался у вас ночевать.

— Правильно.

— Его имя?

— Марчелло Гуарди.

Он чуть было не назвал первое пришедшее в голову имя, но вовремя вспомнил, что представил Сент-Роза Тавере под этим самым псевдонимом Гуарди.

— Его адрес?

— Мне он неизвестен.

— Вы в этом уверены?

— Знаю лишь, что живет он где-то возле площади Мадзини.

Пока один полицейский, сощурившись, что-то записывал в блокноте, другой, непрерывно чихая, шарил повсюду, рылся по углам, даже согнал с места кошку, спавшую за театром марионеток.

— Его профессия?

— Сейчас он зарабатывает частными уроками.

— Какими именно?

— Философии.

— И вы действительно не знаете адреса человека, которого вопреки правилам оставили на ночь?

— Ко мне в мастерскую приходят многие. А он задержался, потому что мы играли в шахматы. И я предложил ему остаться у меня.

Все это было сказано естественным тоном, с простодушным выражением лица. После ухода Мари и Сент-Роза он много думал о том, как будет себя вести и что скажет в случае необходимости. Второй полицейский направился в другие комнаты. Было слышно, как он, не переставая чихать, открывал и закрывал двери. Вскоре он вернулся обратно, неся несколько баночек сгущенного молока и небольших пачек сахара.

— Там еще осталось,— сказал он простуженным голосом.

— Как вы это достаете? — спросил полицейский, похожий на китайца.

— Молоко — через международный Красный Крест, а остальное — через одного женевского друга.

— Вы смогли бы это доказать?

— У меня сохранились не все квитанции. Я не предполагал, что мне придется отчитываться, однако продукты получены мною вполне законным путем.

— А Марчелло Гуарди был у вас впервые?

— Я уже сказал. Он позвонил и попросил разрешения прийти.

— Как вы думаете, такие визиты еще повторятся?

— Вчера вечером, к примеру, кроме Марчелло Гуарди у меня был офицер итальянской полиции капитан Альфредо Рителли, двое сотрудников Римского радио — Энцо Тавера и Адриано Локателли, две молодые дамы — одну из них зовут Мари Леонарди, другую — Джина Сарди, обе тоже работают на радио.

— Да, но всех этих людей вы знали раньше!

— Кроме капитана Рителли, который пришел ко мне впервые и с той же самой целью — познакомиться, посмотреть мои работы.

Он чувствовал, что говорит непринужденно и может рассчитывать на доверие.

Кошка вылезла из-за маленькой театральной ширмы и улеглась на дощечке около занавеса среди ярко раскрашенных марионеток. Полицейский окинул взглядом скульптуры, словно хотел проверить, действительно ли они оправдывают такой интерес и такой наплыв поклонников.

— У меня пока все,— сказал он и закрыл свой блокнот. Второй полицейский поставил на стол банки с молоком и пачки сахара. Измученный насморком, он непрерывно тер нос, который стал уже совсем багровым. Филанджери вежливо проводил обоих полицейских до лифта, уверенный, что выпутался вполне благополучно.

В начале первого зашла Мари, и он слово в слово рассказал ей о небольшом допросе, который ему учинили, и о всех подробностях этого посещения. Рассказ произвел на нее неплохое впечатление, и она подумала, что происки Таверы на этом закончатся. Мари принесла Филанджери несколько картофелин. Он сварил их в молоке, и они вместе пообедали. Потом Мари зашла за ширму и взяла две сделанные самим скульптором марионетки, одну — для роли Таверы, другую — для роли Сент-Роза. «Вы грубиян!» — кричал один. «Я вам подрежу крылышки»,— вопил другой. Старик хохотал. А кошка издали поглядывала на них, сидя в своей корзинке.

Через час после ухода Мари в дверь снова позвонили. В человеке, который стоял на площадке, закутав шею теплым кашне, Филанджери узнал Линареса, своего соседа, смуглого уродца с красными веками и блуждающим взглядом.

— Что вам угодно? — спросил Филанджери.

— Могу я побеседовать с вами кое о чем, близко вас касающемся?

— Заходите.

Войдя в мастерскую и машинально приглаживая волосы, Линарес сказал:

— Вы меня знаете, господин Филанджери.

Филанджери было известно, что сосед, старый таможенный чиновник, в начале войны потерял жену и теперь жил на маленькую пенсию. Свое испанское имя, как говорили, он унаследовал от дедушки-латиноамериканца. Филанджери удивился его приходу, но старался этого не показать. Он частенько видел, как этот Линарес о чем-то мечтал на балконе, глядя на реку, которая виднелась из-за крыш, и постоянно прочищая себе то уши, то ноздри длинными крючковатыми пальцами. Его одежда была вполне чиста, и тем не менее во всем его облике было что-то нечистоплотное.

— Присаживайтесь,— сказал скульптор.

Сосед высматривал местечко поудобней и после некоторых колебаний выбрал диван. Филанджери знал также, что жена соседа, по которой тот носил траур, была женщина крупная и сильная, но умственно неполноценная и посему служила в доме козлом отпущения. Рассказывали, что, когда муж хотел дать ей пощечину, ему, чтобы дотянуться, приходилось прыгать, как кенгуру. Его считали человеком весьма сомнительной нравственности. Овдовев, он начал водить к себе молоденьких девчонок, с которыми знакомился в бедных кварталах.

— Чем могу служить? — спросил скульптор.

— Господин Филанджери,— ответил сосед,— я хочу предупредить вас об одной важной вещи.

Филанджери внимательно посмотрел на гостя, и у него мелькнуло подозрение, что этот необычный визит может быть связан с приходом полицейских, но он предпочел не спешить. Кроме того, он чувствовал усталость и его красные опухшие руки болели.

— Вы ведь знаете, что еще недавно я вел себя весьма неразумно и сделал несчастной женщину, которая была просто святой, и, конечно, не заслуживаю снисхождения.

Филанджери вспомнил ночи, когда из соседней квартиры до него доносились крики душевнобольной женщины.

— С тех пор я делаю все что могу, чтобы загладить причиненное мной зло, и я понимаю, что мне еще никто не может верить. Но я стараюсь по мере моих сил, вы меня поняли?

— Не понимаю, к чему вы клоните.

— Сейчас поймете,— ответил Линарес.

Он помолчал, ожидая, пока кошка пройдет через мастерскую.

— Кошки приносят несчастье,— доверительно сказал он. — Особенно когда перебегают вам дорогу слева направо.

— Вернемся к делу,— сказал Филанджери.

Не спуская глаз с кошки, Линарес торжественно объявил:

— Господин Филанджери, вас скоро арестуют!

Воцарилось молчание, во время которого скульптор подумал, уж не провокация ли все это или, быть может, злая шутка, придуманная Таверой, и в то же время он чувствовал, что в голове у Линареса родилась и пышным цветом расцвела странная мысль, напоминавшая тропическую орхидею.

— Недавно,— сказал Линарес,— полиция опрашивала всех ваших соседей.

— Ну и что же?

— Они хотели узнать, приходил ли кто-нибудь из них к вам с жалобой на шум в вашей мастерской.

Снова молчание. Филанджери подумал, что он слишком рано успокоился после полицейского допроса. Механизм, пущенный в ход этим тупицей Таверой, остановится не так скоро, как он предполагал.

— И это все? — спросил скульптор, скрывая тревогу.

— Еще кое-что есть, синьор.

— Слушаю вас.

— Вот что: оба полицейских спрашивали меня, часто ли к вам ходят люди. Я сказал — да.

— А дальше?

— Ну, я ведь что-то слышу со стороны балкона. Конечно, не подслушиваю, но слышу.

— Принимать у себя людей никому не запрещено.

— И я так думал. Но они интересовались, остаются ли у вас на ночлег.

— Это случалось. По правде говоря, редко. Тем не менее бывало.

Он уже начинал беспокоиться. Глаза Линареса бегали по сторонам, и скульптор догадывался, что он готовит какой-то подвох.

— Разумеется, разумеется, синьор. Но я осведомил их об одном особом случае.

— О чем же?

— О том, что кое-кого вы укрывали у себя довольно долго. Почти две недели.

— А вы в этом уверены?

— О синьор, у меня отличный слух. Зрение мое ослабело, но, благодарение богу, уши у меня безупречны.

— Предполагая нечто подобное,— я подчеркиваю, только предполагая, не больше! — разве вы были обязаны сообщать об этом?

— Конечно нет.

Стало быть, этот кретин донес, что здесь находился Бургуэн, и дело приняло новый оборот. Линарес сейчас смотрел прямо в лицо Филанджери, глаза его светились радостью при мысли, что он лишил соседа покоя. Филанджери вспомнил, что Бургуэн никогда не выходил на балкон, но Линарес там показывался, и иногда даже было слышно, как он ворчал на кошку. Кошка действительно часто бродила взад-вперед вдоль железной решетки, разделявшей балкон на две части. Если кошка заходила на территорию соседа и Линарес это видел, то он пугал ее, громко хлопая в ладоши.

— Зачем же вы рассказывали такие вещи, даже не проверив, соответствует ли это истине?

— Да без всякой причины.

— Может, на вас оказывали давление?

— Ну что вы! Они вели себя исключительно вежливо.

— Однако вы подозреваете, что это может причинить мне серьезные неприятности? Если у вас нет веских оснований утверждать, что дело обстоит именно так, если вы лично против меня ничего не имеете и если никто вам не угрожал, то я не понимаю...

Лицо Линареса изменилось, словно ему внезапно дали пару пощечин. На щеках его выступили большие красные пятна, глаза налились слезами — казалось, он вот-вот расплачется.

— Вы правы, синьор, тысячу раз правы! Я ничтожество! Я трус! Но я не мог противостоять искушению.

— Какому искушению?

— Сообщить то, что я заметил.

— А разве так просто — донести на человека, даже не подумав о том, какими могут быть для него последствия ваших непроверенных подозрений?

— Это, конечно, верно! Все мы одинаковы, тут же уступаем. Вы меня никогда не простите?

Филанджери думал: «Они явятся еще днем». Он не испытывал к Линаресу ни злобы, ни презрения. Если бы хоть этот жалкий шут действовал ради денег или из страха. Но ведь и этого не было! Исключительно ради удовольствия нагадить!

— Меня начали мучить угрызения совести. Хотел отказаться от своих слов. Я не знал, что делать. Пошел на кладбище, чтобы у могилы моей Розалии подумать, как быть, а потом вернулся, чтоб предупредить вас. Может, это уменьшит мою вину?

Упершись в бедра своими изуродованными ревматизмом руками, Филанджери смотрел на соседа. Он видел глаза Линареса с огромными белками и как бы вколоченными в них зрачками. Он видел его хрящеватые уши, покрытый черными точками большой нос, растянутые дряблые губы и подумал, что смотрит в эту минуту в лицо своей судьбы.

— Уезжайте,— вдруг тихо проговорил Линарес, точно их могли услышать с лестницы. И добавил, прикрыв рот рукой: — Уезжайте быстрее и скройтесь у друзей!

— У меня нет причин уезжать!

— Уезжайте. Я буду счастлив, если вы сумеете от них укрыться. Клянусь вам памятью моей Розалии, буду счастлив.

И снова у Филанджери возникло подозрение, что это хитрая игра, затеянная Таверой или полицией при содействии, быть может и невольном, этого кретина.

— Меня будет грызть совесть. Вы даже не знаете, какие ужасные часы пришлось мне пережить с тех пор, как они отсюда ушли. Я кричал там, на кладбище, синьор! Я говорил моей Розалии: «Ты была права! Я мерзавец!» А потом решил все вам сказать. Уверен, что меня вдохновила на это душа Розалии. Вы не очень на меня сердитесь, правда?

— Рассчитывать на мою признательность все-таки трудно,— с горечью сказал Филанджери.

— Ах, какая же я скотина!

— А теперь оставьте меня, прошу вас.

— Вы уедете?

— Что я буду делать, вас не касается.

— Правильно! Говорите со мной грубо! Я заслужил это. Не щадите меня, я вас умоляю.

Филанджери встал. Он протянул руку, снял с полки альбом с фотографиями произведений Бернини, которым страстно восхищался, почти машинально открыл его на странице с изображением великолепного «Экстаза св. Терезы», исполненного одновременно чувства мистической экзальтации и сладостной истомы. В юности он часто любовался этой скульптурой, когда приходил в церковь Санта-Мария делла Виттория во время острых душевных кризисов.

— Скажите, вы, как вы сами выражаетесь, «поддались искушению» из страха за себя? — спросил он, не поднимая головы и не отрывая взгляда от святой Терезы, от ангела со стрелой, от роскошных складок одежды.

— Я вас не понимаю, синьор Филанджери.

— Видите ли, если вы были в трудном положении, я могу себе представить, что появление полиции вас испугало.

— Нет, нет. У меня все в порядке.

— Они проверили ваши документы?

— Да, но если я и совершил нечто предосудительное с точки зрения нравственности, о чем без стыда не могу вспоминать, то это не дает повода к судебному преследованию.

— Возможно, вы надеялись угодить своим доносом властям, которые в прошлом снисходительно закрывали глаза на ваши неблаговидные поступки.

— Нет, сударь. Когда меня допрашивали, я отвечал сразу, вовсе не думая о себе лично. Это было сильнее меня!

Филанджери закрыл альбом и аккуратно поставил его обратно на полку. Удивление взяло верх над тревогой. Он подошел к Линаресу, по-прежнему сидевшему на краешке дивана, и спросил:

— Значит, я невольно дал вам повод подозревать меня?

— Нет.

— Тогда в чем же дело?

— Я вспомнил, что после отъезда синьоры Филанджери, когда в квартире, кроме вас, никого не было, как-то вечером я услышал голоса и потом заметил, что у вас вроде бы один и тот же собеседник.

— Вы подходили к самой решетке балкона?

— Да, я подходил к самой решетке, хотя было уже холодно. После смерти Розалии в квартире мне было... Едва начинало смеркаться, я чувствовал себя угнетенным, впрочем, это естественно...

Линарес жалобно вздохнул и поднялся, собираясь уходить.

— Подождите,— сказал Филанджери.— Значит, они вам не угрожали и не пытались соблазнить вас обещаниями?

— Если бы они мне угрожали, я бы ничего не сказал. Я человек боязливый и от страха немею. И о каких обещаниях вы говорите? Нет, нет, дело в том, что у меня просто сердце с гнильцой.

Он дважды шлепнул себя в грудь растопыренной правой рукой и, согнув спину и еле волоча ноги, вышел в коридор походкой больного клоуна.

Оставшись один, Филанджери не спеша обвел взглядом свою мастерскую, в которой он проработал сорок лет, где создавал одну за другой свои статуи, всегда стремясь выразить в них и себя, и самое сокровенное из того мира, в котором он жил. Быстрым движением он сбросил покрывало с Венеры и пожалел о том, что до сих пор не мог выполнить ее в более благородном материале. Он не знал, чем заняться, и с отвращением сознавал, что сейчас, в эти каникулы, которые он сам себе предоставил, главным его врагом стало быстро бегущее время. Он снова накрыл статую покрывалом и вышел на середину мастерской. У кого же ему просить защиты? Он никогда не искал связей с высокопоставленными лицами, с могущественными представителями власти, хотя когда-то среди его поклонников была приятельница графини Эдды Чиано. Но граф Чиано был расстрелян в крепости Сан-Проколо в Вероне за предательство, жена его бежала в Швейцарию, а немцы заняли всю страну. Может быть, единственное решение — то, которое подсказал Линарес. Однако скульптор был убежден, что его отъезд не должен походить на бегство. Он навел порядок в квартире, прибил решетчатый ставень со стороны балкона, выключил счетчики газа и электричества и закрыл водопроводные краны. Затем он сложил одежду в чемодан. Все это заняло не более получаса. Он решил не звонить Мари по телефону, а написать ей письмо, сообщить о приходе Линареса и о своем решении уехать в Сполето к жене и сыну дневным поездом. Скульптор спустился к привратнице, предупредил, что несколько дней его не будет, оставил ключи от квартиры и деньги, чтобы она кормила кошку, и попросил передать письмо Мари.

— Она зайдет сегодня вечером или завтра,— сказал он.— Мне бы хотелось, чтобы это письмо было передано ей лично.

— Не беспокойтесь, синьор.

Но, выйдя на улицу, он увидел возле подъезда черную, мрачную, как катафалк, машину. В его сердце закралась тревога. Он сделал несколько шагов в противоположном направлении, дошел до конца улицы, однако машина уже тронулась. Филанджери услышал ее легкое, но угрожающее гудение. Нагнав его, машина остановилась, и из нее вышел полицейский с раскосыми глазами и с тем же скучающим выражением лица.

— Садитесь,— вяло сказал он.

## 10

В пять часов Сент-Роз ждал Мари в кафе «У Пьетро». Он заранее позвонил ей на службу, назвавшись условленным именем. Войдя в кафе, он расположился на диванчике в углу зала. Тут почти никого не было. Через стеклянную дверь он заметил на стене дома напротив белую надпись «Comune di Roma. Profilassi della rabbia» . Хозяин кафе, выделяясь на фоне сверкающих бутылок и кофеварки, читал газету. Сент-Роз думал о Филанджери, и поскольку голос Мари по телефону показался ему спокойным и уравновешенным, он решил, что все в порядке. Он вспомнил, что, когда сегодня днем он немного вздремнул, ему приснилось, будто он плавает где-то в морской глубине и вокруг него целый лес водорослей. Вдруг появились какие-то прозрачные рыбы и проглотили его, однако физических страданий он не ощущал — только ужас от того, что у него больше нет тела и он обречен вечно скитаться в этой пучине. Он подумал еще о Сандре и о ее предложении укрыть его в Париоли. Без сомнения, она имела в ви-

ду какое-то «гнездышко», где она встречалась со своими любовниками. На улице уже начали сгущаться сумерки, реже появлялись машины. Двое фашистских полицейских с винтовками через плечо остановились ненадолго на тротуаре.

В памяти Сент-Роза возникали и другие сны. Так, однажды ночью бесчисленные полчища муравьев сомкнутыми рядами осадили стены дома и с тихим урчанием колоннами двинулись к его кровати — блестящие, пучеглазые, с огромными головами и челюстями. В другой раз ему приснилось, что море поглотило целый город и он спасался на крышах домов, глядя сверху, как вода медленно заливает улицы и вот уже на ее поверхности торчат только крыши и купола с облепившими их кучками людей, которые один за другим сползают в воду и тонут в этих потоках.

Когда открылась дверь и вошла Мари, хозяин кафе — плотный, с проницательным взглядом — поднял голову и восхищенно осмотрел молодую девушку с головы до ног. Она направилась к Сент-Розу, который встал ей навстречу, и уселась рядом. Хозяин решил, что это влюбленная парочка, и обратился к ним: «Дети мои». Мари сняла пальто, под которым было черное платье с единственным украшением — ниткой хрустальных бус. Ее высокая, упругая грудь казалась символом дивного могущества жизни. Сент-Роз уже убедился в том, что только Мари может избавить его от недуга, по временам терзающего его разум и внушающего ему печальные и жестокие мысли.

— Есть новости? — спросил он.

— Тавера действительно донес на Фило.

— И этот капитан из итальянской полиции тоже?

— Нет, только Тавера. И уже сегодня утром, сразу после нашего ухода, туда явилась полиция.

Она рассказала все, что узнала во время своего первого прихода от самого скульптора, и показала письмо, которое уже потом передала ей привратница.

— При таком обороте дела для него разумней всего было уехать,— сказала Мари.— Так будет лучше для вас обоих.

Пока Сент-Роз внимательно читал письмо, Мари подметила, что ему свойственна подозрительная осторожность бродячей кошки, привыкшей быть всегда настороже, ибо весь мир вокруг представляется ей сплошной и безграничной опасностью. И эта его кошачья черточка была особенно заметна, когда он говорил — тихо, слегка поджимая губы. Сент-Роз сказал, что, по его мнению, внезапный отъезд Филанджери полиция может расценить как признание вины. Его начнут искать и, вероятно, найдут без особого труда.

— Знаете,— сказала Мари,— он не сообщил привратнице, что едет в Сполето.

— Ну и что? Туда сразу же пошлют телеграмму и проверят, нет ли его.

— Вы прекрасно понимаете, что семья постарается обеспечить ему безопасность, когда он приедет.

— Если его не задержат еще на вокзале, едва он сойдет с поезда.

— Вы считаете, что они сразу начнут так усердствовать?

— По-моему, сейчас он кажется им более подозрительным, чем прежде. Как будет реагировать полиция, я, конечно, сказать не могу. Возможно, она узнает о его отъезде только завтра или еще позже.

— А вы сами что собираетесь делать?

— Покинуть палаццо Витти. Завтра утром я уеду оттуда. К несчастью, именно в палаццо должен прийти Лука или его доверенное лицо. Я буду искать выход. А вы Луку знаете?

— Луку? Нет, не знаю,— ответила Мари.— Фило мне говорил о нем, когда прятал у себя вашего друга Бургуэна, но я ни разу с ним не встречалась.

И она отпила немного ядовито-желтого содового напитка, который принес ей хозяин кафе. В конторах и магазинах работа заканчивалась, и Сент-Роз видел в окно, как римляне всех возрастов заполняют улицы. У некоторых глаза были подернуты дымкой, будто они шли, поглощенные мыслями о несчастье, преследующем их днем и ночью. Другие, казалось, искали нечто невидимое, но наверняка существующее и способное избавить их от отчаяния. После своего первого выхода из палаццо Сент-Роз не чувствовал себя в городе чужим. Он понимал, что все легче и легче переносит его разреженную атмосферу и что эта атмосфера побуждает его чаще задумываться над своим собственным существованием. Присутствие Мари придавало этой мысли живость и даже какую-то ясность.

— Вы знаете,— сказал он,— если Филанджери арестуют и заставят говорить, на вас тоже падет подозрение.

Она покачала головой, но он настаивал:

— Достаточно, если его вынудят сказать, что в то утро вы приходили к нему, чтобы нас предупредить. Ваше любезное предложение подвезти меня в своей машине будет лишний раз свидетельствовать о вашем сообщничестве.

— Фило, возможно, признается во многом, если они будут нещадно его истязать, но он никогда не скажет ничего такого, что могло бы навлечь на меня опасность. Он любит меня как родную дочь. Вы его еще как следует не знаете.

Несмотря на такой довод, Сент-Роз был встревожен не только тем, что Мари находится под угрозой, но и тем, что их теперешнее положение напоминало ему один из его недавних снов о несметном множестве муравьев в железных панцирях и их гнусном и неотвратимом наступлении.

— Только бы с вами ничего не случилось! — сказал он.— Это мое единственное желание.

Она ласково улыбнулась и как-то мило взяла его за руку, словно желая его успокоить. И на ее чувственном лице вдруг появилось такое детски наивное, такое чистое выражение. Смелая, правдивая и неотразимо красивая девушка с проницательными и полными нежности глазами читала все, что было у него на душе, понимала, как она волнует его, и забавлялась этим с чуть заметным лукавством. Они говорили о вечеринке, о Тавере, об этой глупой ссоре, припоминали множество подробностей, но ни слова не было сказано о том, что произошло между ними во время танца.

Когда они расстались, был поздний вечер, близилось затемнение, и улицы в этой тревожной темноте уже почти не было видно.

Вечером, поскольку Луиджи был в командировке далеко от Рима, Сент-Роз ужинал с маркизой и Сандрой. Он рассказал им о своих делах только то, что счел возможным, и напомнил, что в случае тревоги он этой ночью сразу же спрячется в укрытие, в тот самый тайник, который был недавно оборудован для двух прежних беглецов. Его не вполне устраивало это решение, но он считал, что до утра ничего лучшего не придумаешь. А на рассвете, когда затемнение кончится, он отправится к одному приятелю, предоставившему ему убежище. Маркиза выслушала его, не задав ни единого вопроса. Она, казалось, относилась ко всему с полной безмятежностью. К концу ужина ее одолел сон, и она ушла в свою комнату. София помогла ей раздеться, уложила в постель и пошла к себе, а Сандра и Сент-Роз остались одни у камина.

— Где же вы на самом деле были? — спросила Сандра.

— Я вам рассказал.

— У этого человека какие-то осложнения с полицией? Есть ли у него надежда выпутаться?

— Есть, и если сегодня вечером с ним ничего не случится, мы все сможем спокойно дышать.

— Ну что же, будем уповать на бога!

Она встала, взяла его за руку, легонько подтолкнула, велела следовать за нею и, улыбаясь, повела к себе. Перед дверью Сент-Роз заколебался, и Сандра пошутила:

— Опять укоры совести? Вы предпочли бы, чтобы мы пошли к вам в вашу промерзшую келью под крышей? Перестаньте, входите!

Он впервые вошел в эту комнату, и Сандра видела, как он молча оглядывал все вокруг, рассматривал картины, драпировки, зеркала, широкую супружескую кровать, покрытую великолепным парчовым покрывалом. Она зашла в ванную, а вернувшись обратно, заметила, что Сент-Роз внимательно рассматривает фотографию двадцатилетней давности, на которой она снята вместе с Луиджи: на ней свадебное платье, глаза смотрят холодно, улыбка вымученная. Больше чем кто-либо другой Сандра знала, как мало счастья выражало тогда ее лицо — на нем отразилось лишь усилие воли, сильно искажавшее ее тонкие черты.

Сент-Роз, видимо, был недоволен, что она застала его за этим занятием, и в свою очередь пошел в ванную. Казалось, он уже согласился остаться в этой комнате, не догадываясь, что Сандра выбрала ее с определенной целью. Впервые она принимала любовника в «святилище». Мысль об этом всегда была ей противна из-за известных предубеждений; однако Сандре страстно хотелось совершить это «святотатство» с Сент-Розом. Она сняла халатик, расстелила постель, улеглась на обычное место, положила одну руку под голову, другую на грудь, прислушалась к бульканью воды в трубе и внезапно потянула одеяло на себя; ей пришло в голову, что ночь любви с этим человеком, у которого так тревожно на душе, имеет совсем иной смысл, чем все другие ночи, словно она отдает ему не просто свое тело, но куда более значительную часть своего существа. Она думала о том, что до сих пор ни одно из ее любовных приключений не было похоже на это и что все они — она в этом не сомневалась — не затрагивали ее сердца. Сандра подумала также, что, отдавшись Сент-Розу, она уже не ощущала себя посторонним ему человеком, как это было с другими любовниками, но, напротив, сохраняла душевную признательность — чувство, сходное с нежностью, да и сейчас она была глубоко взволнована близостью Сент-Роза, хотя он ее еще не коснулся.

Когда вернулся Сент-Роз с полотенцем, повязанным вокруг бедер, она неожиданно для себя протянула руку и потушила лампу у изголовья. Затем в темноте взяла его за руку и привлекла к себе, шепча слова, полные страсти, которых никогда раньше — в этом она была уверена — не произносили ее губы. И он осыпал ее ласками, шептал, что у нее прекрасная грудь, и Сандра слушала эти столь знакомые ей слова со смешанным чувством удовлетворения и покорности и кончиками пальцев, как это делают слепые, касалась лица Сент-Роза. Чаще всего она не позволяла своим возлюбленным целовать ее в губы, а если уклониться не удавалось, то не испытывала от этого радости, но когда к ее губам прикоснулся Сент-Роз, Сандру охватил такой порыв любви, какого она еще не знала. И, лежа в его объятиях, она желала только одного — чтобы он познал всю полноту счастья. И когда, бурно дыша, Сент-Роз откинулся на подушку рядом с ней, Сандра положила голову ему на грудь с чувством, в котором не было ничего плотского, а была подлинная чистота.

Пожалуй, он поторопился зажечь свет. Во всяком случае, когда он нажал кнопку выключателя и лампочка у изголовья осветила его лицо, Сандра заметила, что Сент-Роз глядит куда-то в сторону, вид у него совершенно спокойный и уж совсем не такой, как ей представлялось. Она упрекнула его за это тоном легкой иронии, но на большее не решилась, боясь разорвать тонкую нить, которая еще, быть может, связывала их, и в то же время у нее возникло желание поиздеваться над самой собой. Сент-Роз молчал, глаза его были полузакрыты, и Сандра отстранилась от него, оперлась на локоть. Она смотрела на

Сент-Роза, видела волосы на его груди, его сильные ноги, шрам на правой ноге. Он занимал место Луиджи, но эта мысль уже потеряла всякое значение. На что она надеялась? Больше значить для него, чувствовать, что она живет в его сердце. Сандра воскликнула: «Я никого, кроме вас, не любила!», потом, сконфуженная, повернулась к нему спиной в страхе, что он рассмеется или легкомысленно воспримет ее признание. И этот страх сдавил ей горло так сильно, что у нее полились слезы. Но Сент-Роз нежно поцеловал ее в плечо, едва коснувшись его губами, и сказал, что ему лучше подняться в свою комнату, ибо может произойти что-нибудь неожиданное. Этот довод не уязвил ее, а, напротив, успокоил, до такой степени она страшилась мыслей, причинивших ей боль.

— Что может произойти? Вы о Луиджи? Он занят каким-то важным делом в Пизе. Я справлялась. Кроме того, он не такой человек, который будет разыгрывать коммивояжера, вернувшегося раньше срока, чтобы застать жену врасплох.

— Я думал не только о нем.

— Если речь идет о полиции, то вы сами уверяли...

«Да,— подумала Сандра,— я действительно сильно изменилась». Она знала, что постарается всеми силами его удержать, в ужасе от того, что он не разделяет ее страсти, не стремится побыть с ней подольше и, чтоб уйти, избрал этот ничтожный предлог. Она чувствовала, что готова умолять его подарить ей еще час, но боролась с этим искушением. Однако кончилось тем, что Сандра любезным, хоть и окрашенным горечью тоном актрисы попросила:

— Еще мгновенье, господин палач.

Сент-Роз, улыбаясь, покачал головой.

— Мне приходится быть разумным за нас двоих!

Сандра знала, что ей следовало ответить: «Значит, вы испугались?», но эта игра уже не имела смысла и показалась бы ему чересчур банальной. Сент-Роз стал одеваться. Сандра видела, как двигаются мускулы его спины, его лопатки, и ей захотелось прижаться к нему, погладить его лицо, но она понимала, что от этих ненужных нежностей ей будет только больнее. Сент-Роз задержался, рассматривая детскую фотографию Сандры, и она, завернувшись в простыню, села на кровати:

— Это я, когда мне было шесть лет, и все, что вы видите во взгляде этой девочки, вскоре было убито.

Он ничего не ответил и только сказал:

— Мне пора уходить.

Она резко отвернулась от него и закричала:

— Ну и уходите! Уходите же! Оставьте меня одну!

Она услышала, как Сент-Роз печально проговорил:

— Но вы же должны понять!..

— Я все понимаю. Оставьте меня.

Казалось, Сент-Роз колебался. Сандра снова была ему враждебна. Она чувствовала, что лицо у нее застыло, будто оледенело от внутреннего холода, и губы почти омертвели.

— Чего вы ждете? — крикнула она хриплым голосом.

— Сандра! — нежно прошептал Сент-Роз.

— Я хочу быть одна. Слышите? Одна!

Он был явно смущен таким поведением, но наконец решился, пожелал ей доброй ночи и вышел. Когда он закрывал за собой дверь, Сандра увидела, что в гостиной горит люстра, сверкая всеми хрустальными подвесками. Она потушила лампу и постояла несколько минут в темноте с таким ощущением, будто запуталась в огромной паутине и со всех сторон за ней следят чьи-то безжалостные взгляды.

На следующий день ранний отъезд Сент-Роза вызвал в доме суматоху. За несколько минут все поднялись. Решили собраться в маленькой гостиной у маркизы, чтобы не сидеть в больших холодных ком-

натах. София и Джакомо ликвидировали малейшие следы пребывания Сент-Роза в комнате на верхнем этаже, а маркиза уверяла, что в случае полицейской проверки ни один человек в доме не поможет дознанию. Маркиза уже сидела в большом кресле, но София не успела ее подрумянить, и поэтому она походила на старый, долго пролежавший на чердаке восковой манекен с уже потрескавшимся, изъеденным крысами лицом. Она сама потом скажет Луиджи, что Сент-Роз перебрался в другое убежище, на квартиру, которую ему предоставили активисты, готовившие его побег. Знала ли она, что на самом деле речь идет об одном местечке, где Сандра устраивала любовные свидания? Возможно ли, что маркиза состояла в таком странном заговоре с невесткой? Эта мысль волновала Сент-Роза, и он чуть не спросил об этом, когда Сандра провожала его до подъезда, но ее вчерашнее поведение заставило его быть осторожным, и он ограничился банальным вопросом о ее самочувствии. Сандра улыбнулась иронически, едва ли не презрительно, и Сент-Роз подумал, что эта женщина всегда будет озадачивать его. Было бы слишком просто объяснять такие перемены в ее настроении тем, что она — натура истеричная. Можно ли ее осуждать? Он не забыл, с какой настойчивостью она тянула его в свою спальню, не забыл ее радости, правда какой-то мрачной,— может, порочной? — когда он согласился переступить этот порог. Не умышленно ли она оставила на столике свою свадебную фотографию? Нет, решительно он не мог бы вот так сразу ее осудить, тем более что чувствовал между собой и ею некое сходство, в частности, одинаковое отношение ко всему окружающему, одинаковое стремление к самоутверждению, и, хотя он знал, что для Сандры он всего лишь один из ее любовников, она была для него желанной, и это сильное желание просыпалось именно теперь, стоило ему только вообразить себе ее нагую под небрежно накинутым халатом, стоило только взглянуть на ее снежно-белую шею и чуть приоткрытую грудь. Он не мог отрицать ее чувственной притягательности, но был тем не менее убежден, что есть в ней какая-то незавершенность, что ее еще надо «придумать». Человека, увлеченного ею, Сандра могла привести в отчаяние своей склонностью к частым раздорам, к насмешке над обычными чувствами. Вчера она предусмотрела все. Луиджи не было — «я проверила»,— и ее воля целиком обратилась на то, чтобы разыграть эту комедию, в которой Сент-Розу (хоть и не без некоторого отвращения) пришлось принять участие. То, что произошло на супружеском ложе, поначалу сильно отдавало местью или же пародией, заставлявшей Сент-Роза мучиться. В каком-то смысле он был доволен, что покидает, наконец, этот дом. Сандра дала ему адрес квартиры и записку к привратнику.

— У него вы возьмете ключи,— сказала она.

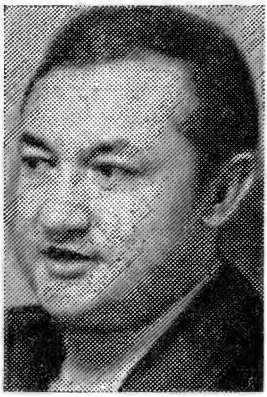
Сент-Роз поблагодарил ее и попросил объяснить Луке, который скоро придет, как добраться до улицы Париоли.

— Положитесь на меня.

Стройная и тонкая в своем длинном халате, она стояла около самой двери, гордо подняв голову; взгляд ее больших темных глаз, обращенных куда-то в пространство, был подобен взгляду мраморной статуи.

Привратник встретил Сент-Роза приветливо, правда, Сандра предусмотрительно вложила в свое письмецо тысячу лир. Привратник выглядел лет на шестьдесят. Он был худой, болезненно-бледный. Два его сына находились в тюрьме — один в Германии, другой в Тунисе. Особенно он опасался за того, которого вывезли в лагерь под Гамбургом. «Вы не представляете себе, что́ в этих местах вытворяют летчики. Они повсюду бросают зажигательные бомбы. Люди сгорают заживо, и спасти их невозможно». Привратник был настолько поглощен своим горем и своими заботами, что ему не было дела до нравственности Сандры, которая, без сомнения, полностью доверяла ему своего нового любовника.

*(Окончание следует)*



# АЗАМ РАХНАВАРД ЗАРЬЯБ

## *Записки птицы*

РАССКАЗ

*Перевод с языка дари и вступление Д. РЮРИКОВА*

Азам Рахнавард Зарьяб родился в 1945 году в одном из старых кварталов Кабула в небогатой семье.

— Тяга к писательству появилась у меня рано,— рассказывал он недавно в редакции журнала «Иностранная литература».— Мне повезло — один из друзей семьи, профессор литературы Кабульского университета Н. Саиди заинтересовался моими работами, поощрял писать и каждый раз внимательно читал и серьезно разбирал написанное. Благодаря ему мой первый рассказ был напечатан в кабульском литературном журнале «Пуштун жаг», когда я был еще только в девятом классе лицея.

В настоящее время Зарьяб один из наиболее известных и плодовитых писателей Афганистана. В афганских журналах и газетах напечатано свыше ста его рассказов, литературно-критических статей и переводов с английского. Он возглавляет департамент искусств в министерстве информации и культуры, является членом Центрального совета Союза писателей Демократической Республики Афганистан. Рассказы Зарьяба переводились и публиковались в СССР, Болгарии, ФРГ и Иране. Помещаемый ниже рассказ появился в 1980 году в журнале «Хонар» («Искусство»).

Со времени апрельской революции в Афганистане прошло три года, однако в афганской прозе еще не нашли отражения события тех дней и проблемы послереволюционного периода.

— О революции и путях ее развития немало писали наши журналисты,— говорит Зарьяб.— Писательское же мышление специфично, писателю нужно больше времени, чтобы осмыслить события и воплотить свои замыслы в художественной форме. Пока что ни мне, ни моим коллегам в Афганистане не удалось отобразить нашу сегодняшнюю жизнь. Сейчас в наших журналах публикуются произведения, показывающие, как жили афганцы до апреля 1978 года. Они дают представление о том, каким было афганское общество во времена монархии и даудовской республики, как созревали в Афганистане предпосылки революции. Честно говоря,— признается Зарьяб,— произведений о революции пока нет еще и потому, что нашим писателям просто не хватает времени — проблема кадров в стране стоит очень остро, приходится заниматься другими, более неотложными делами. Но мы надеемся, что придет время, когда сможем отдавать все свои силы творчеству.

Мы жили в деревне. Жизнь была спокойной и безмятежной. Поутру мы вставали, хлопали крыльями и что было мочи кричали: «Кукареку! Вставайте, лежебоки! Время уже позднее!»

Наши куры-чернухи тотчас начинали препираться из-за всяких пустяков. Поднимали страшный шум, кричали, бранились.

Одна, например, спросит:

— Вы видели яйцо, которое я снесла вчера? Огромное, правда? Такого яйца...

А другая прервет ее:

— Это что, вы поглядели бы, какое яйцо я снесла в пятницу!

— Да видела я его, милочка,— ничего особенного.

— Что?—сразу свирепеет вторая.—Да как ты смеешь, несчастная!

И начинается столпотворение. Крик, гам, толчея. Тут даже нашему петушиному терпению приходит конец.

— А ну-ка,— кричим,— умолкните, вертихвостки! С вами недолго и рехнуться!

Но им все нипочем. Кавардак, да и только. И, бывает, приходится нам применять силу. А они злятся, орут так, что, небось, на небесах слышно.

— Куд-куд-кудах, куд-куд-кудах! Не вмешивайтесь, дураки! Не ваше дело!

И снова мы чувствовали себя побежденными: нет, со слабым полом ничего не поделаешь. Но мы, разумеется, виду не подавали. Соберемся у калитки и возглашаем по очереди:

— Кукареку! Вставайте, лежебоки, пора!

Затем приходила крестьянка. Это была хорошая и добрая женщина. Она становилась у выхода и, открывая калитку, приговаривала:

— Что, проголодались, ребятки?

Как услышишь эти ее слова, прямо сердце радуется. Крестьянка ласково так расспросит каждого о его здоровье, а под конец скажет:

— Ну, кто снесет сегодня яичко? И не забудьте, яички нужны большие-большие, ясно?

Тут мы с радостью выбегали наружу. Весь день мы гуляли. Вокруг расстилались бескрайние просторы. В траве, под кустами, на поросших клевером лугах и у ручья мы находили себе множество всякой еды. В холодную пору мы, распластавшись у стены, грелись на солнышке, а летом, в жару, прохлаждались в тени деревьев. Сущее блаженство!

Да, жизнь у нас шла спокойно и безмятежно. Увы, вскоре всему пришел конец. Как-то утром крестьянка пришла не одна, а с мужем. Роста он был среднего, но из-за худобы казался высоким, и голос у него был под стать — высокий и тонкий. Глаза хитро блестели.

Женщина стала открывать калитку, а ее муж своим тонким голосом и говорит:

— Я возьму двух, которые пожирнее.

Калитка распахнулась, и мы устремились к выходу. Крестьянин поджидал нас. Первым он ухватил меня, вторым — еще одного петуха, и я понял: мы самые жирные. Крестьянин стиснул нас под мышками, по одному с каждого боку, и сказал:

— Ну, я пошел.

— Пусть хоть поедят,— сказала жена умоляюще.

Крестьянин равнодушно ответил:

— По дороге найдут чего-нибудь поклевать.

Женщина, заплакав, наклонилась над нами, поцеловала обоих и прерывающимся голосом произнесла:

— Что, ребятки... уходите? Да хранит вас бог...

Сердце мое сжалось от тоски. Я не знал, куда нас несут. Крестьянин опустил голову и молча пошел прочь. На тропинке он встретил знакомого, и тот спросил:

— Ты куда?

— В город.

— Кур на продажу несешь?

— Нет,— ответил крестьянин.— Это подарок моему дядюшке. Дядя у меня большой начальник. Богач. Я иногда навещаю его, как-никак родня...

— Да,— сказал знакомый,— сходить надо... Кур-то завернул бы в накидку [1], устанешь ведь под мышками нести.

— Это ты здорово придумал! — улыбнулся крестьянин.

Он завернул нас в свою накидку и забросил за спину. Все наши протесты и крики он оставил без внимания.

Нам было очень тесно. Мы ничего не видели, только по равномер-

[1] Афганские крестьяне да и городские жители кутаются в накидки из плотной материи.

ным толчкам и покачиванию понимали: крестьянин продолжает свой путь. Солнце припекало, и мы обливались потом.

Друг мой совсем пал духом и казался очень испуганным. Чтобы хоть как-то подбодрить его, я решил пошутить.

— Главное— мы оказались самыми жирными! — сказал и засмеялся.

Он не ответил, и я услышал, что он тихо плачет. Меня тоже душили слезы, но я сумел сдержаться. Помолчав, я задремал. А проснувшись, стал думать, что с нами будет.

Прошел не час и не два. Мы очень проголодались, но крестьянин, вопреки своему обещанию, нам ничего не дал.

От непрестанной качки нас начало мутить; мы вспоминали клевер на лугу, берег ручья и вовсе затосковали. Потом мы забылись сном. Не знаю, что было дальше. Пришли мы в себя, лишь когда крестьянин вынул нас из накидки, зажал под мышками и сказал:

— Ну, вот и пришли...

Мы огляделись. Все здесь было совсем не так, как у нас в деревне. Крашеные дома выглядели очень опрятно. Шли мы по широкой дороге, окаймленной рядами деревьев. Мимо нас проносились какие-то огромные страшные существа. Мы, верно, задрожали с перепугу, потому что крестьянин хитро ухмыльнулся и сказал горделиво:

— Не бойтесь, это машины.

Нам машины совершенно не понравились.

Наконец мы подошли к белой калитке в невысокой, зубчатой стене. С зубцов на улицу свешивались красные и желтые цветы. Сама стена была сложена из темного камня.

Крестьянин постучался. Вышел какой-то человек, смерил его взглядом, оглядел нас и сердито спросил:

— Тебе чего?!

— Я к господину директору...— робко ответил крестьянин.— Я из деревни...

Человек, вконец рассердившись, сказал:

— Не пойму, что ты там болтаешь?!

Крестьянин совсем оробел.

— Я,— забормотал он,— господину директору родственник. Они мне дядей доводятся...

Человек не сказал ни слова и ушел, а мы остались стоять у калитки. Хозяин наш словно остолбенел. Но мы слышали, как колотится его сердце. Он то и дело сглатывал слюну. Я понял: хозяин очень боится господина директора, и мне ужасно захотелось увидеть этого самого господина. Тут калитка опять отворилась, вышел все тот же человек и сказал:

— Заходи!

Мы вошли во двор — просторный и красивый. Посередине зеленел широкий газон и виднелся бассейн с фонтанчиком. Там и сям высились кусты, усеянные красными, белыми и желтыми розами. Были тут и анютины глазки.

У фонтана стоял юноша, одетый очень чисто и красиво. Был он худ и узок в кости, руки и лицо совсем белые, на висках сквозь кожу даже просвечивали голубые жилки. На нем была красная рубашка, в руках он вертел нож.

Человек, закрыв за нами калитку, тихо произнес:

— Это — сын господина директора.

Хозяин поспешно сказал:

— Знаю, знаю...

На миг он растерялся, испуганно озираясь по сторонам. Потом отдал нас в руки человека, стоявшего у двери, и бросился к юноше. Мы видели, как хозяин целует юноше руки. Потом он заговорил, то и дело отвешивая поклоны.

Наконец они оба подошли к нам. Юноша восхищенно глянул на нас и воскликнул:

— Какие красавцы петухи!

Хозяин, кланяясь, сказал:

— Наш ничтожный подарок, мой господин... Это мы вам...

Слово «ничтожный» сильно уязвило мою гордость. По выражению лица моего друга я понял, что и он оскорблен. Но мы оба промолчали.

Лаская своими белыми пальцами наши крылья, юноша спросил у хозяина:

— Так ты наш родственник?

Крестьянин судорожно сглотнул слюну и ответил:

— Да, мой господин, господин директор доводится мне как бы двоюродным дядюшкой.

Юноша сказал:

— Я раньше тебя не видел.

Крестьянин извиняющимся тоном произнес:

— Я, господин, бываю тут редко. Я ведь все больше в деревне.

Юноша взглянул на него:

— А что ты там делаешь?

Крестьянин услужливо ответил:

— Работаю, мой господин.

Юноша глянул на слугу, открывшего нам дверь, и сказал:

— Эти петухи — мои. Построй-ка для них шалаш, чтоб к вечеру был готов, слышишь? И не забудь принести печенья. Надо их накормить, они небось проголодались.

Крестьянин, забирая нас у слуги, вскричал:

— Господин! Петухам — печенье?! — И, потрясенный, повторил:— Печенье!..

— Вы ведь им давали печенье в деревне? — невозмутимо продолжал юноша.

Крестьянин поклонился и ответил:

— Никак нет, господин. У нас в деревне и печенья-то нет.

— Не бывает печенья? — изумился юноша.— А чем же вы завтракаете?

— Завтракаем? Чай пьем с хлебом, господин.

Но юноша, не слушая, уже крошил нам печенье, приговаривая:

— Как они резво клюют! Проголодались, бедняги...

Прежде мы никогда не пробовали печенья. Это было так вкусно, что мы позабыли обо всем на свете. Сладкое, жирное печенье пахло фисташками и миндалем. Потом мы заметили, как жадно, с завистью смотрит на печенье крестьянин — лицо у него стало совсем жалким. Я сказал про себя: «Что, получил?» И опять взглянул на него. В глазах его не было ни хитрости, ни коварства, одна лишь зависть и мольба; казалось, он думает: «Эх, будь я петухом!»

Мне стало жаль его, но что я мог поделать? Скажите сами — что?

Тут на ступеньках лестницы, ведущей в дом, показались две женщины: одна старая и толстая, другая очень молоденькая и тощая, совсем еще девчонка. Девчонка прытко подбежала к нам и с любопытством оглядела крестьянина с ног до головы. Толстуха величаво приблизилась к нам. По злому лицу ее можно было подумать, будто она только что с кем-то повздорила.

Крестьянин согнулся перед ними до земли и, выпрямившись, сказал было:

— Здравствуйте...

Но юноша перебил его решительно и громко:

— Мама, это наш родственник из деревни. Он принес мне двух петухов. Они совсем голодные, в деревне нет печенья и все едят на завтрак хлеб с чаем...

— Слышала я о вас,— сказала толстая женщина, с отвращеньем

взглянув на крестьянина.— Ты уже приходил однажды, мы дали тебе ботинки и плащ. Верно?

Вид у крестьянина стал совсем жалким. Он потер руки и подобострастно забормотал:

— Да-да, я уже был у вас... и, если позволите... не раз.

Услышав его ответ, девчонка засмеялась, вернее, захихикала, и мне ее голос ужасно не понравился. Как-никак крестьянин был нашим знакомым. Но девчонка не унималась.

— Мама,— спросила она у толстухи,— а правда, в деревне все дураки?

— Почем* знаю? — раздраженно ответила та.— Я-то — не деревенская, ты лучше у отца спроси.

Только девчонке и этого было мало.

— Ну как, это правда? — спросила она у крестьянина.

Крестьянин и вовсе сник. Тщетно пытался он улыбнуться. Губы чуть дрогнули — и все.

— Да... господин... если позволите...

Девчонка опять захихикала:

— Какой я тебе господин? Хи-хи...

Вроде и юноша, и девчонка не обращали никакого внимания на мать.

Тут калитка отворилась, и во двор вошел еще один человек. Этот напялил на нос очки. Костюм на нем сидел очень ладно, но под пиджаком намечалось уже брюшко. На висках у него пробивалась седина.

— Отец пришел,— без всякого выражения сказала девчонка.

А толстуха злобно крикнула вновь пришедшему:

— Вон, родственничек твой явился! — и, разгневанная, направилась к дому. Девчонка двинулась было за ней, но вдруг остановилась и громко спросила у отца:

— А правда, что все деревенские — дураки?

Человек в очках едва не застонал. К уголкам губ и глаз его сбежались морщинки, и он сказал:

— Прошу тебя!

Девчонка хихикнула и вошла в дом.

Мы с другом оба задумались. Я все ломал голову: отчего бы крестьянину так заискивать перед господином директором? Что в нем такого особенного? Он даже дочери своей боится. И сразу было видно: никто его здесь не уважает. Тут наш хозяин подбежал к нему и давай целовать ему руки. Складки на директорском лице разгладились, страдальческое выражение исчезло, лицо стало жестче. Он что-то пробормотал и спросил крестьянина:

— Зачем пришел?

Крестьянин поклонился и льстиво ответил:

— Мы к вашей милости... Вот, двух петушков принес...

Директор деловым тоном сказал:

— Когда думаешь возвращаться?

Крестьянин, потирая руки, ответил:

— Как прикажете... то есть...

Директор нетерпеливо сказал:

— Завтра и ступай назад. Я велю дать тебе кое-что из обносков.

Он подошел к юноше — тот все еще кормил нас печеньем—и спросил:

— Понравились петушки?

Голос у него был какой-то заискивающий. Юноша ничего ему не ответил, и мужчина, тяжело ступая по лестнице, поднялся в дом.

Юноша глядел на нас с любопытством.

— Чем же вы в деревне кормите кур? — спросил он* крестьянина.

— Мы, господин,— ответил тот,— ничем не кормим... Они сами себе еду находят.

Юноша захохотал от души:

— Значит, сами находят?

Я удивился: с чего бы тут хохотать? Искать себе пропитание — это вовсе не смешно.

Больше я не видел нашего хозяина из деревни. На следующий день нам построили дом — очень красивый, пол устлали светлой соломой. Но вроде этот новый дом плохо подействовал на моего друга — в первый же вечер он слег и всю ночь стонал. Я сидел рядом, не зная, что делать. К утру он начал бредить, все вспоминал нашу деревню и добрую хозяйку.

С рассветом ему стало хуже. К нам никто не приходил. Друг мой был в горячке. Я даже на расстоянии чувствовал, какой у него жар. Он лежал на земле, а я ходил вокруг, сокрушаясь, что бессилен ему помочь. Сердце мое разрывалось от жалости.

Почти совсем рассвело. Друг мой уже не стонал и не бредил, только в горле у него временами клокотало что-то. Вдруг он с трудом поднял голову, посмотрел на восходящее солнце и тихо спросил:

— В деревне сейчас тоже восходит солнце?

Я ответил ласково:

— Да, там тоже восход.

Друг мой вздохнул, пробормотал:

— Восход...

И затих.

В горле у него больше не клокотало, и я увидел: он бездыханен. Умер, понял я и невольно заплакал. Ах, как мне стало одиноко, от тоски сжималось сердце.

Послышались шаги — кто-то шел к нашему дому. Я вытер слезы и насторожился. Это был юноша, и настроение у него было прекрасное. Он прокричал издали:

— Ну, как вы там?!

Моя тоска вмиг перешла в ярость, я возненавидел юношу. Глаза мои засверкали от гнева. Когда он приблизился, выражение радости сошло с его лица, на нем отразились страх и смятение.

Шел он медленно, губы его дрожали. Вот он встал на колени, положил руку на моего умершего друга и сдавленным голосом сказал:

— Господи... Что случилось? Что с тобой?

Потом посмотрел на меня и сказал:

— Зачем? О, зачем?

Что мог я ответить... И вдруг юноша заплакал в голос. Слезы его были искренни. И гнев мой прошел, напротив, я сразу почувствовал к нему расположение. Он мне понравился. Я хотел погладить, успокоить его, но тут заплакал и сам. Наверно, мои рыданья дошли до него — он посмотрел на меня глазами, полными слез, и сказал:

— Ты остался один! Бедняжка, совсем один...

Появился слуга — тот самый, который открыл нам дверь. Он был явно встревожен.

— В чем дело?...— спросил он взволнованно.— Что случилось?

Юноша указал на труп моего друга и ответил:

— Умер... Видишь, он умер! — и снова зарыдал.

Слуга поспешил в дом. Через минуту оттуда вышла толстуха, мать юноши, за ней следовала девчонка. Потом — слуга.

— Ну и денек сегодня! — вскричала толстуха.— Что еще здесь стряслось?!

Она подошла к юноше, погладила его по волосам, по лицу.

— Полно,— сказала она.— Перестань.

Сестра юноши стояла спокойно, уставясь на тело моего друга,— она никогда не видала мертвых.

Потом вышел отец. Господин директор не знал, как быть, что сказать. Наконец, мрачно глядя на труп, он произнес:

— Эта птица была больна... Я, как увидел ее, сразу понял.

«Неправда! — хотел закричать я.— Он был здоров, совершенно здоров!» Но не сказал, смысла не было.

Юноша все еще плакал. Отец с матерью взяли его под руки, подняли.

— Похороните его во дворе...— сказал юноша.

Отец кивнул:

— Да-да, похороните во дворе.

— Возле газона с цветами,— продолжал юноша.

— Конечно, возле газона,— поддакнул отец.

Юноша взял меня на руки и сказал:

— Нет, я не оставлю тебя, не оставлю.

И понес меня к себе.

Комната у него была красивая, роскошно обставленная, бархатные занавески на окнах. Все сверкало чистотой.

Юноша спустил меня на пол.

Наступил вечер.

Я стоял в углу и наблюдал за юношей. Он ходил по комнате и бормотал что-то про себя. Потом подошел к окну и посмотрел в темноту.

— Вечер... Вечер...— еле слышно повторял он.

Потом уселся в кресло напротив меня и сказал:

— Итак, ты остался один. Один... Как это тяжело!

Затем, помолчав, встал, взял книгу и погрузился в чтение. Мне захотелось спать, веки начали тяжелеть. Вдруг юноша отшвырнул книгу в угол и встал надо мной.

— Интересно,— сказал он,— там написано, что наш мир — это тюрьма. А в тюрьме есть дверь, и она всегда открыта, но по ту сторону двери ничего нет. Ничего... Удивительно...

Он отошел, достал из ниши бутылку, налил из нее что-то в рюмку, выпил. Потом — вторую, третью, четвертую.

Мне захотелось пить. Горло пересохло. Я подошел к юноше, желая сказать: мол, и я хочу пить. Он вроде бы понял, громко рассмеялся и сказал:

— Давай, сейчас попьешь...

Он налил мне питье в пиалу, но жидкость неприятно пахла, вода пахнет совсем не так. Но все-таки я выпил, уж очень мучила меня жажда. Рот и горло обожгла горечь. Наверно, на лице моем отразилось недовольство. Юноша снова засмеялся и сказал:

— Эх, ты, новичок!

Через минуту мне стало легко и приятно, я позабыл даже о смерти своего друга. Все почему-то стало во сто крат прекрасней, роскошней; все блестело и сверкало.

Юноша вновь уселся напротив меня, задумался на мгновенье, потом улыбнулся:

— Выходит, ты остался в одиночестве...

Поднявшись, он, не переставая улыбаться, подошел к полке, уставленной книгами.

— И я, я тоже одинок,— сказал он.— Так что не горюй.

Он указал на книги.

— Вот мои лучшие друзья.

Потом, будто вспомнив о чем-то, продолжал:

— Слушай, я тут кое-что написал. Стихи. Хочешь, прочту?

Взяв со стола листок бумаги, сел в кресло и сказал:

— Я назвал их «Гадалка». Представляешь, я написал их сегодня утром.

Потом принялся читать. Стихов его я не помню. Запомнились только повторявшиеся не раз слова: «Погадай же мне, погадай. Я путник без крова, без цели, погадай же мне, погадай...»

Закончив чтение, он отложил листок и спросил:

— Ну как, понравилось?

Честно сказать, стихи мне понравились, даже очень. И, по-моему, юноша это понял. Он хлопнул в ладоши и воскликнул:

— Молодец! Ты — отличная птица!

От счастья сердце мое отчаянно забилось. Еще никто и никогда не говорил мне таких слов. Он придвинулся поближе и спросил:

— Знаешь, что такое мерзость?

Я поразился такому вопросу. Он, видно, понял это и сказал:

— Ладно... Я тебе объясню потом. Когда-нибудь ты поймешь, что такое мерзость. А сейчас — еще по одной.

Он подмигнул, взял бутылку и выпил одну за другой две рюмки.

— А ты что затих? Выпей,— и поставил передо мной пиалу.

Запах на этот раз не казался таким уж неприятным, да и горечь почти не ощущалась. Я глотнул раз... другой... И вдруг почувствовал истинное блаженство. Я почти ничего не весил. Мне хотелось кричать, прыгать, летать... Я взмахнул крыльями, желая усесться на ручку кресла, но меня занесло куда-то, и я рухнул на пол.

Юноша радостно захлопал в ладоши:

— Браво! Хочешь потанцевать? Я тоже. Только без музыки скучно. Сейчас поставлю что-нибудь повеселее.

Он пошел в угол комнаты, включил радиолу и поставил пластинку, зазвучала громкая веселая музыка, мне она очень понравилась. Юноша вышел на середину комнаты, сказал:

— Поехали!

И начал танцевать.

Он вертелся и извивался все сильнее; казалось, музыка волнами обрушивается на его тело, и оно бьется, содрогается, изгибается. Ритм музыки все ускорялся, и вместе с ним ускорялись движения юноши. Длинные волосы то и дело падали ему на глаза, и он резким движением головы откидывал их назад. От его порывистых движений у меня закружилась голова, и я испугался: а ну как он наткнется на что-нибудь и упадет. Но он двигался очень ловко, выделывал сложнейшие па и оставался на ногах.

Наконец музыка стихла. Юноша сел на пол. Он тяжело дышал и был весь в поту, но довольно улыбался. Он посмотрел на меня, прищурился:

— Понравилось?

Потом встал и подошел ко мне:

— А ты почему не танцевал?

Я очень устал, мне хотелось спать. И я начал пятиться. Вдруг юноша громко засмеялся и, обессилев, плюхнулся в кресло. Смеясь, он опять приподнялся с кресла и поглядел на меня:

— Смущаешься, да? Ах ты...

Его душил смех.

— Эх ты, тихоня!..— выдавил он наконец.

Тут он вдруг задумался, потом покосился на меня:

— Знаешь... я думал... Слушай... Я думал, чего-то нам не хватает... Понимаешь?.. Я думал... Думал и понял, чего нам не хватает... Надо бы выпить, а?

Он налил и выпил еще одну рюмку, потом другую и взглянул на меня:

— Вижу, и тебе тоже хочется. Но ты ведь у нас застенчивый... Застенчивый! Застенчивый!

Он принес пиалу и поставил передо мной. Нет, чувствую, выпить мне хочется. Я сделал пару добрых глотков. Ах, как стало мне хорошо! «Давайте,— думал я,— дурачиться, кричать, шуметь...» Захлопал крыльями, закричал. Юноша весело захлопал в ладоши:

— Молодец! Прочь робость!... Дай я тебя расцелую!

Он бросился ко мне. Я ощутил в себе удивительную силу, дерзость. Я увернулся от юноши.

— Убегаешь? Ну, давай... давай...— и побежал за мной. Я вспорх-

нул на кресло. Он кинулся за мной. Я перепрыгнул на другое, стоявшее рядом. Во мне бурлила радость. Я был весел и пьян. Мне хотелось летать.

Юноша снова бросился на меня. Я, крича от счастья, ускользнул от него. Он со всей силы ударился о кресло и на секунду замер. Я испугался: уж не случилось ли с ним чего? Его длинные волосы закрыли лоб, он тяжело дышал и не двигался. Потом резким движением головы отбросил волосы со лба и сказал:

— Ну, ты ловкач!

Он поднялся и, приговаривая: «Ну и ловкач... ловкач...» — потихоньку приблизился ко мне.

Я понял, сейчас он бросится снова, и изготовился к прыжку. Так и вышло: он прыгнул, я отскочил и взлетел на подоконник. Юноша опять налетел на кресло, потерял равновесие и, перевернув его, грохнулся на пол. Секунду он лежал на полу неподвижно, потом приподнялся и сел, опершись о кресло.

Веселье сошло с его лица. Оно стало печальным и мрачным, на лбу алела кровь. Он растер ее пальцами, глянул сперва на них, потом на меня — заметил ли кровь — и для верности спросил:

— Видишь?

Поднял голову и уставился в потолок. Так просидел он довольно долго, задумавшись не знаю о чем. Вдруг у него задрожали губы. Он взглянул на меня:

— И тебе... Тебе я тоже противен!

Глаза его наполнились слезами.

Я растерялся: чем мог я дать ему повод так думать? И замотал головой: нет, мол, нет! Но тут вдруг его прорвало, и он горько зарыдал.

Мне стало жаль его. И я придвинулся поближе, хоть и не чувствовал за собой никакой вины. Нет, где-то в глубине души я понимал, что вел себя, быть может, не совсем достойно. Мне захотелось утешить его, сказать: «Прости, прости меня за все!»

Но тут и у меня к горлу подкатил ком, на глаза навернулись слезы.

Юноша, увидев мои глаза, полные слез, и опечаленное мое лицо, вроде успокоился немного. Он перевел взгляд на затканный цветами ковер и тихо произнес:

— Как тяжело, когда тебя никто не любит!

Потом стал чертить на ковре непонятные фигуры, говоря:

— Знаешь, меня никто, никто не любит. Отец с матерью терпеть меня не могут, сестра ненавидит. Когда отец глядит на меня, он всем своим видом говорит: «И зачем только ты на свет родился!» А мать — просто десять сиров[1] мяса, нашпигованного ядом и злобой. Ни капли добрых чувств. Да я уж в них и не верю.

Он поднял глаза на меня и спросил:

— А ты, ты веришь?

Я молчал, не зная, что сказать. Юноша заговорил снова, в голосе его звучало отчаяние:

— Да, и мать меня тоже ненавидит.

Помедлил минуту, снова уставясь на ковер, и сказал:

— Не знаю, в чем тут дело? Что я им сделал плохого? Они ведут себя так, будто я в этом доме лишний. И я... мне придется, наверно, уйти отсюда... Обязательно уйду .. Вот только дождусь зимы. Как наступят холода — сразу и уйду. Убегу в стужу... в снег, в дождь... Может, умру. Да, пусть я умру. Пусть. То-то все, кто меня ненавидит, обрадуются... И пойдет у них веселье и смех...

Он все еще всхлипывал.

— Знаешь,— голос его прерывался,— я, бывает, на целый день запрусь тут, и никто обо мне и не вспомнит... Умри я здесь, так и сгнию, они и не спросят, где я. Тяжко, ах как тяжко все это...

[1] Сир — мера веса в Афганистане, равная 7 кг.

Он вытер лицо носовым платком. Слезы смешались с кровью из ссадины, все лицо его было перепачкано. И платок в крови.

— Нет, все же я не одинок,— сказал он.— Есть у меня верные друзья.

И взглянул на книги.

— Да-да, слышишь, книги — мои лучшие друзья. Это точно! Но у меня есть и другие друзья. Это хорошие, добрые люди, они любят меня. Часто приходят ко мне. Ты как-нибудь их увидишь. Дорогие друзья мои, как они слушают меня, иногда даже плачут...

Он огляделся по сторонам:

— Надо еще выпить.

Встал, налил рюмку и подсел ко мне.

— Прости меня. Ты очень душевная птица.— Голос его звучал совершенно спокойно.— Я знаю, ты меня понимаешь. А стоит человеку увидеть: да, его понимают,— тоска уходит прочь, будто ее и не бывало. Ты понимаешь меня, и друзья мои понимают. О чем же грустить? Да и вообще печалиться? В один прекрасный день все мы умрем и нас зароют в землю... Прочь печаль! Ты знаешь Хайяма?

Я никогда не слышал этого имени и потому виновато опустил голову.

— Хайям был великий и мудрый человек,— продолжал юноша.— Вот послушай, это его слова:

Череда времен была и до нас с тобой,
Не случайно мир наделен судьбой.
Так смотри же, ступай по земле осторожно,
Оком девы прекрасной был прах, что сейчас под тобой...

— Не правда ли, прекрасно? — спросил он в заключенье.

Мне стихи очень понравились. Я заглянул в глаза юноше, желая сказать ему: «Прочитай, прочитай еще стихи Хайяма и расскажи о нем...» Но он и сам продолжал:

Так смотри же, ступай по земле осторожно...

Потом встал, походил по комнате, остановился и притопнул ногой:

Так смотри же, ступай по земле осторожно...
Оком девы прекрасной был прах, что сейчас под тобой...

Налил рюмку, выпил, за нею еще одну, отшвырнул ее прочь и вскричал:

— Оком девушки милой!..

Он закружился было, но пошатнулся. Волосы упали на глаза, и он отбросил их назад привычным движением головы. Сцепив пальцы, он крикнул:

— Музыку!

И вновь волны музыки растеклись по комнате. К юноше вернулось веселое настроение. Он закурил, встал, шатаясь, посреди комнаты и с наслаждением затянулся несколько раз подряд, пуская кольца дыма на люстру.

В это время открылась дверь и тихо вошел слуга. Он обвел комнату глазами, поднял и поставил на место перевернутое кресло.

— Что тебе нужно? — спросил юноша.

Слуга ответил:

— Родитель ваш спрашивают, будете ли вы кушать?

Лицо юноши тотчас стало злым и недовольным. Подойдя ко мне, он сказал:

— Видишь, как они меня ненавидят! Спрашивает, буду ли я кушать, и ждет, что я отвечу «нет». Тут он вздохнет с облегчением и станет спокойно набивать себе брюхо.

Слуга застыл в растерянности и испуге. Юноша прошелся взад-вперед, глянул на слугу и сказал:

— Нет и нет! Есть я не буду! Так и скажи — не буду! Пусть обжираются сами. Ступай!

Слуга вышел.

Юноша в возбуждении походил взад-вперед, бормоча что-то себе под нос. Потом распахнул дверь и крикнул вслед слуге:

— Скажи им, пусть не волнуются! Я уйду, уйду отсюда! Уйду...— тут он всхлипнул.— И пускай они будут счастливы... Вот дождусь зимы!..— крикнул он еще громче.— И уйду в самые морозы...

Под конец он выскочил из комнаты и завопил:

— Слышите, вы, бездушные мучители!

Когда он вернулся в комнату, его трясло, из глаз катились слезы, смешиваясь с засохшей кровью, и капали с подбородка. Белая рубашка его покрылась багровыми пятнами.

Дрожа от возбуждения, он подошел ко мне и воскликнул:

— Вот, вот она — отцовская любовь!

И рухнул в кресло.

— Отцовская любовь!.. Отцовская любовь!..— с нервной усмешкой твердил он.

Вдруг дверь отворилась, и в комнату вошли его отец и мать. Вид у них был испуганный и встревоженный. Следом шел слуга.

Мать воскликнула:

— Господи, что случилось? Что с тобой?

И повернулась к слуге:

— Неси воды!

— Зачем явились? — спросил юноша.— Любоваться моими слезами?!

Он раскинул руки и крикнул:

— Любуйтесь! Смотрите!

Отец застыл как вкопанный, не зная, что делать. Мать подошла к юноше.

— Ты болен,— сказала она и обернулась к мужу:— Вызови врача, мальчик болен.

— Не надо мне никакого врача! — заорал юноша.— Уходите отсюда! Все, все! Набивайте себе брюхо!

Толстуха беспомощно спросила:

— В чем дело?

— В чем дело?! — раздраженно хохотнул юноша.— Да-да, в чем дело?!

Он огляделся вокруг, и я понял: он ищет меня. Я стоял у шторы. Увидев меня, он победно воскликнул:

— Видишь, они еще спрашивают, в чем дело! Вы мне все обрыдли! — сказал он матери.— Ты — десять сиров мяса! Вся нашпигована ядом и злобой... И хоть бы капля материнской любви, ласки!

Толстуха, оторопев, взглянула на него и сказала испуганно:

— Что я такого сделала? Ты не хочешь меня понять...

Юноша будто ждал этих слов.

— Не хочу понять?! Да пойми я вас, меня давно бы здесь не было...— Он заплакал.— Погодите, придет зима... снег, дожди...

Потом он кинулся к своей куртке:

— Нет, я уйду сегодня, сейчас!

Оттолкнул всех и, шатаясь, бросился к двери. Мать с бессильным криком упала в кресло.

— Не пускайте его!

Юноша выбежал из дома и исчез. Вдогонку ему несся вопль матери:

— Не пускайте его!

Она вроде упала в обморок. Муж замер растерянно, затем, как бы пытаясь предотвратить какое-то несчастье, подбежал и тревожно забормотал:

— Нет, нет, не надо!.. Пожалуйста, не надо!

Но толстая женщина его не слушала. Она была в обмороке и выглядела, право, смешно. Голова ее упала на грудь, и жирный второй подбородок, казалось, стал еще толще, дряблые щеки обвисли, по обе стороны кресла бессильно свисали толстенные руки; лишь вздутое жирное брюхо поднималось и опадало.

Муж попробовал было растереть ей руки, но вдруг, вспомнив ее приказ, заорал на слугу:

— Не выпускай его!

Тот выбежал за дверь.

Господин директор настойчиво бубнил жене на ухо:

— Опомнись! Прошу тебя, опомнись!

Они до того были смешны — оба,— что я не удержался и захохотал. Наверно, он услышал мой смех и сразу заметил меня. Взгляд его был полон презрения.

— Ты что тут делаешь?

— Я здесь ни при чем,— хотелось мне ответить,— ваш сын привел меня в дом...

Но он вдруг схватил валик с дивана и запустил в меня.

— Вон! Убирайся! — завопил он.

Валик пролетел мимо, но от испуга я закричал, и, кажется, крик мой привел в чувство толстуху. Она выпрямилась в кресле и спросила:

— Что здесь творится? Где я?

Муж оставил меня в покое и повернулся к ней:

— Ну, хватит, хватит!

— Ах, где мой сын? — капризно спросила женщина.

— Вернется,— спокойно ответил муж.— Я послал за ним человека.

Двойной подбородок толстухи трясся, губы вздулись, из глаз покатились слезы:

— Сын мой!..

Я снова не выдержал и захохотал. Мужчина опять заорал на меня:

— Пошел вон!

И начал искать, что бы еще бросить в меня, но я выскочил из комнаты во двор.

Стемнело. В воздухе плыл аромат цветов. Дул легкий ветерок. Я зашагал к своему дому. Толстуха по-прежнему рыдала и кричала на своего мужа:

— Ты — идиот! Болван деревенский! Нет, ты меня уморишь!

У меня закружилась голова, смертельно хотелось спать. Я вспомнил об ушедшем от меня друге, о нашей деревне, о тамошних моих приятелях. Вспомнил крестьянку и ее мужа, и в сердце защемила тоска. Потом я уснул.

■

Проснулся я больным и разбитым. Вышел. Меня мучила жажда. Я напился, погулял среди зелени и цветов. Потом отправился поглядеть на окно юноши. Оно было закрыто — поди пойми, вернулся он или нет?

Из дома вышла толстуха с мужем и дочерью. Ее сопровождали две упитанные дамы — их я видел впервые. Они вели жену господина директора под руки, сама она еле переставляла ноги. Лицо ее набрякло, и выглядела она еще более заплаканной, чем вчера. Вся компания расселась вокруг бассейна. Сперва воцарилось молчанье, потом мать юноши заныла грудным низким голосом:

— Господи!.. Что там с моим сыночком?..

— Он вернется, непременно вернется,— разом отвечали женщины.

— Я велел,— сказал господин директор,— искать его повсюду.

И снова двойной подбородок толстой женщины набух, губы вздулись.

— Сыночек!..— заплакала она.

Я понял: юноша не вернулся, и тоже опечалился. Но уж больно уморительно выглядела толстая мамаша, я не удержался и захохотал.

— А ну, убирайся! — в гневе закричал господин директор.

Я разозлился и отошел прочь. Мне очень хотелось сказать ему: «Да ты посмотри, жена у тебя — курам на смех!»

Я покосился на нее издалека — и смех и грех! «Почему же,— подумал я,— другим не смешно?» И тут заметил: все они и сами какие-то смешные, нелепые — обе упитанные дамы и господин директор с дочкой. Сущая умора!

Я отошел подальше. Обе гостьи утешали мамашу моего юноши. Потом одна из них позвала слугу:

— Как там насчет еды?

— Все готово,— отвечал он.

Они поднялись и вошли в дом.

Я все еще чувствовал себя неважно и потому улегся спать.

■

Когда я проснулся, был вечер. Все снова расселись у бассейна и молча дремали, смежив веки, небось, переваривали обильный обед.

Вдруг с улицы послышался шум. Люди раскрыли глаза и навострили уши.

— Что это? — спросила одна из дам.

Господин директор, уставясь на калитку, ответил:

— Не знаю... Подрались, наверно... Наверно...

Но он не успел докончить фразу — калитка с шумом распахнулась, в проеме возникла фигура юноши, за его спиной виднелась целая толпа людей. Одеты все они были в старье и обноски.

Лицо его все еще было в крови, волосы всклокочены. Рубашка разодрана, на брюках налипла грязь. Он вошел во двор, обернулся и, взмахнув рукой, пригласил всех следовать за ним.

Господин директор с женой и все прочие встали. Они были явно растеряны, не понимая, что происходит.

— В чем дело? — шагнув к сыну, спросил господин директор.

Юноша повернулся к своим спутникам и нервно засмеялся:

— Он еще спрашивает, в чем дело!

Отец, тыча пальцем в толпу, спросил:

— Зачем они явились сюда?

— Отомстить тебе! — заявил сын.

— За что? — изумился отец.

Юноша снова нервно захохотал:

— За что?! За твое предательство!

— Да ты понимаешь, что говоришь? — в замешательстве воскликнул отец.

Но юноша уже кричал:

— Ах ты, предатель!

И, повернувшись к толпе, спросил:

— Что, разве он не предатель?

— Предатель! — раздались голоса.

— Где моя птица? — спросил юноша.

Я стоял у бассейна. Увидев меня, он подбежал, взял на руки, потом подошел к своим спутникам и сказал:

— Это моя птица, мой петух. Он меня понимает...— И обратился ко мне:— Я тебе сейчас скажу, что такое мерзость, ведь я обещал. Вот она — мерзость! — крикнул он, ткнув пальцем в отца.— Да-да, мерзость! Он пьет народную кровь!

Потом поднял меня и показал людям:

— Эта птица с нами! Она — в наших рядах!

— Молодец, славная птица! — закричали пришельцы.

— Что это за комедия?! — гневно вопросил господин директор.

Юноша, как бы призывая своих новоявленных друзей в свидетели, вскричал:

— Слышите — «комедия»!

Погрозив отцу кулаком, он крикнул:

— Нет, это не комедия! Это — разоблачение! Это — правда! Ты — предатель. Сперва ты был бедным крестьянином, как тот родственник, что принес петуха. Может, скажешь, не был? А теперь,— он обвел рукой двор и здание,— у тебя есть все. Скажи-ка, откуда все это взялось?! Откуда?!

Юноша оглянулся назад и спросил:

— Что, верно я говорю?

И друзья его все, как один, воскликнули:

— Верно!

Он торжествующе засмеялся:

— Все мы, и эта птица тоже, все мы знаем: ты — кровопийца!

Он обнял меня, и я почувствовал, как громко бьется его сердце, как горит его дрожащее тело, даже дыхание его было горячим.

— Вон из моего дома! — заорал господин директор.

— Мы никуда не уйдем! — тоже закричал на него юноша.— Сперва мы сожжем этот дом! — и обернулся к людям:— Спички мне, спички!

Кто-то протянул ему коробок. Толпа изъявила полный восторг.

— Будем мстить! — Юноша поднял над головой коробок со спичками.

— Да!.. Месть!.. Месть!..— воскликнули все хором.

Юноша двинулся к дому. Отец схватил его за локоть и умоляюще сказал:

— Что ты делаешь? Я прошу тебя... умоляю...

— Сейчас все сожгу,— ответил юноша, вырывая руку.— Смою позор твоего предательства. Я не позволю вам и впредь безнаказанно обжираться.

— Нет! Нет! — взмолился отец.— Прошу тебя...

— Пусти! — завопил юноша.

Но тут кто-то крикнул:

— Полиция!

Двор вмиг опустел. Одни выскочили в калитку, другие прыгали через забор.

— Куда вы?! Вернитесь! Трусы! — в отчаянии кричал юноша.

Но никто не вернулся. Юношу забила дрожь, он выпустил меня из рук и тотчас сам рухнул наземь без чувств.

— Надо позвать доктора,— испуганно произнес отец и вышел.

Женщины перенесли юношу в дом.

Вскоре господин директор вернулся вместе с каким-то долговязым мужчиной — это и был доктор. Оба прошли в комнату юноши.

Не знаю, что там происходило, но наконец господин директор и врач вышли из дома, и врач сказал:

— Вы должны очень внимательно присматривать за ним.

— А что, если прямо на днях отправить его за границу? — спросил господин директор.

— Это было бы для мальчика лучшим выходом.

Я не понял их — что значит «за границу», за какую такую границу? А меня он возьмет с собой?

Но время было позднее, и меня сморил сон.

■

Утром я не поверил своим глазам: юноша прямо сиял от счастья, и его отец и мать и даже сестра тоже лучились довольством и радостью. Они весело болтали и смеялись.

Ко мне юноша не пришел. Уже стемнело, а он так и не появился, даже не полюбопытствовал, что со мной. Прошел еще день, и другой, и третий — его все не было. Объявился он только в пятницу. И был в прекрасном расположении духа. Я хотел потереться об его ногу, но он, не обратив на мою радость никакого внимания, сел рядом и сказал:

— Знаешь, я уезжаю за границу!

Я не ответил ни слова.

— И еду я в Париж! — сказал он, вставая. Вне себя от счастья, он закружился в танце, потом остановился и вновь подошел ко мне.— Ты знаешь, Париж — это красивейший, прелестнейший город на свете!

Я опустил голову. Он посмотрел на часы:

— Завтра в это самое время я улетаю! — И, помолчав, добавил: — Здесь, среди этих людей, жить невозможно.

Я хотел спросить его, хотел крикнуть:

«А чем тебе тут плохо?! Ты вон каждое утро ешь печенье, а вечерами пляшешь! Тебе ли плакаться и сетовать? Вот бедняге крестьянину, бывшему моему хозяину, ему есть на что жаловаться!..»

Но я промолчал.

Из дома вышли отец, мать и сестра юноши и уселись на стулья.

— С петухом своим прощаешься? — спросили они.

— Да...

— Мы позаботимся о нем.

— Зачем? — спросил юноша.— Ведь меня здесь не будет.

— Что же прикажешь с ним делать?

— Зарезать,— ответил юноша.— Я сам его и съем.

Я содрогнулся. Нет, я не верил своим ушам. «Он шутит»,— подумал я. И взглянул на юношу, но тот был совершенно серьезен.

Слуга одобрительно поддакнул:

— И правильно сделаете. Этот петух только цветы портит.

— А по утрам,— добавила сестра,— когда самый сон, всех будит.

— Утром зарежь его,— приказал слуге юноша,— чтоб к обеду был готов!

— Слушаюсь,— отвечал тот.— Зарежу его пораньше, к обеду как раз поспеет.

Люди степенно удалились в дом. Солнце садилось, и я тоже ушел к себе.

Страшная тоска тяжким грузом легла на сердце, все вокруг казалось черным, и мрак сгущался с каждой минутой. «Этой тьме теперь не будет конца»,— подумал я. Да, солнце жизни моей заходит и больше уже никогда не взойдет.

— Закат... Закат...— бормотал я, сам того не сознавая.

«Как горько ждать собственной смерти»,— снова подумал я, смежив веки, и вспомнил, что, собственно, все на свете ждут смерти.

«Дело лишь в том,— сказал я себе,— кому дольше ждать...»

# *Из каталонской поэзии*

■

*С каталанского*

Знакомьтесь: новая поэзия. Не стихи нескольких ранее нам неизвестных поэтов, а неведомая нам поэтическая традиция.

Все читатели, наверное, знают, что в состав Испании входят области, в течение многих десятилетий добивавшиеся политической и культурной автономии. Недавно двум наиболее крупным и промышленно развитым областям — Каталонии и Стране Басков — была законодательно предоставлена автономия внутри испанского государства.

Но, может быть, не все знают, что население некоторых областей Испании говорит на своих языках, отличных от испанского, который они предпочитают называть кастильским, и хранит свои культурные традиции. Нет ничего удивительного, что мы плохо осведомлены о каталанском, баскском, галисийском языках и созданных на этих языках литературах. Известный испанский литературовед академик Гильермо Диас-Плаха в одном из интервью возмущался тем фактом, что «испанских детей еще в школе не учат тому, что у нас реально существует многоязычие, и, сталкиваясь с этим во взрослой жизни, испанцы часто проявляют нетерпимость и раздражение» [1].

Сейчас в Испании началось возрождение малых национальных литератур: их собирают, изучают, пропагандируют. Подборка стихов из каталонской поэзии XX века, которую мы сегодня предлагаем читателю, составлена по рекомендациям видного каталонского критика и переводчика Хуана Рамона Масоливера. В сегодняшней публикации недостает одного имени, без которого ущербна любая панорама каталонской поэзии нашего века,— Сальвадор Эсприу. Этот крупный современный поэт был уже представлен журналом «Иностранная литература» (№ 10, 1978 г.).

Исторические судьбы Каталонии отозвались в истории ее литературы. Каталония, сильная и богатая средиземноморская держава (с XII в. она составляла единое королевство с Арагоном), обладала великолепной средневековой литературой. На одном из диалектов каталанского языка писал Аусиас Марк, поэт, повлиявший на всю многоязычную поэзию Пиренейского полуострова XVI—XVII вв., включая Лопе де Вегу и Камоэнса. Но с конца XV века каталонская культура переживала упадок, длившийся более трех столетий. Лишь во второй половине XIX в. возникло общественное и литературное движение, так называемый «каталонский Ренессанс», осознанной целью которого было возрождение национального искусства. На рубеже XIX—XX вв. появляется плеяда поэтов — Жасинт Вердагер, Сантиаго Русиньоль, Жоан Марагаль,— вновь сделавших каталанский языком высокой поэзии.

Старейшие из представленных в нашей подборке поэтов — Карнэ и Фойш — принадлежат к младшему поколению «каталонского Ренессанса». Особенно это относится к Карнэ, чьи первые стихи публиковались в начале века в газете «Ренашенса», влияние которой на каталонскую интеллигенцию той эпохи было огромным. А заканчивается подборка стихами Пере Жимферэ, начавшего литературную деятельность в 60-е годы, когда людей сажали в тюрьму за публичное исполнение песни на каталанском языке. Так нить поэтической традиции тянется от поколения к поколению, не обрываясь даже в самые тяжкие для каталанского слова годы.

Очень трудно определить особенности национальной художественной традиции, да еще располагая для подтверждения сравнительно узким литературным материалом. Тем не менее даже несколько стихотворений в русском переводе — стихотворений, выбранных составителем именно в силу их репрезентативности,— позволят внимательному читателю уловить некоторые характерные черты каталонского поэтического мыш-

[1] D. Santos. Conversaciones con G. Diaz-Plaja. Madrid, 1972, p. 155.

ления. Среди самых заметных черт этого мышления я бы назвала классичность — то есть тяготение к спокойной соразмерности, эмоциональной уравновешенности, пластической ясности даже самых сложных метафорических построений (каталонцы считают классичность неотъемлемым свойством средиземноморской культуры). Как ни различен поэтический язык стихов Карнэ («В сумерках», «По возвращении») и Жимферэ («Солнцестояние» или «Заклинание») — а это две разные эпохи не только каталонской, но и европейской поэзии,— по сути внутренняя установка обоих поэтов едина: природный мир с его движением, переходами от света к сумеркам, от лета к зиме, с его пластическим многообразием, увиденным конкретно и точно,— зеркало, в котором поэт видит воплощенными в зримую материю «идеи сердца, универсалии чувства» (выражение Антонио Мачадо).

Другая особенность каталонской поэзии — ее новеллистичность, повествовательность. Возможно, каталонская литература обязана этим средневековой традиции, в первую очередь хронистам и Жоаноту Марторелю, автору рыцарского романа «Тирант Белый», настолько превосходившего массовую продукцию этого рода, что священник и цирюльник, уничтожая библиотеку Дон Кихота, пощадили эту книгу — «сокровищницу наслаждений и залежи утех». В стихах каталонских поэтов — множество повествовательных миниатюр.

Каждую строфу стихотворения Фойша «В какой пучине затонула шхуна...» можно мысленно развернуть в микроповествование о житейской ситуации, подарившей поэту поэтическое переживание, увы, не отлившееся в стихи — в те самые ненаписанные стихи, что тянут свои руки к поэту из ящиков его письменного стола, бумажные руки на ощупь плотные, как живая плоть, на глаз фарфорово-белые, как мертвая плоть: «Фарфоровые руки пожимаю...».

И, наконец, юмор — нельзя не почувствовать усмешку каталонской поэзии в беседе посетителя археологического музея с идолом (Карнэ), в обращении Ноя к богу (Пере Куарт), да и вообще во взгляде на мир, на самого себя («...блуждать на корабле из моря в море — блажь какая!»), но усмешку мягкую, скорее ироническую, нежели саркастическую и горькую.

Стихи Карнэ, Фойша и других представленных в подборке поэтов отнюдь не оставляют впечатления экзотической особости или провинциальной нетронутости. Это поэзия XX века, развившаяся в тесных связях с европейской и, конечно, с испанской поэзией. Каталонцы — двуязычный народ, и, разумеется, репрессивная политика мадридского правительства в эпоху франкизма не заслоняла в их глазах великих испанских поэтов первой половины нашего века. Отстаивая самобытность национальной культуры, ее право на существование и самостоятельное развитие, каталонская интеллигенция никогда не помышляла прервать духовный ток между Мадридом и Барселоной. Прошлое знает примеры тесной дружбы испанских и каталонских художников: такие отношения связывали, например, Мигеля де Унамуно и Жоана Марагаля. Не всегда, к сожалению, каталонские поэты оказывали на испанскую поэзию то влияние, какое могли бы оказать: так, в начале 20-х годов в Испании не было поэта такого социального темперамента, как представленный в нашей публикации Жоан Сальват-Папасейт. Узнай его испанские поэты раньше и лучше, может быть, и в их творчестве значительно раньше появились бы новые интонации.

В стихах каталонцев влияние испанских поэтов неоспоримо. Впрочем, зачастую трудно отграничить прямое влияние от общих заимствований из фольклора (такие образы, как «черный лучник» — смерть — в «Заклинании» Жимферэ, безусловно фольклорного происхождения). И все же отблески стихов Хуана Рамона Хименеса или Федерико Гарсиа Лорки как будто вспыхивают в строфах Фойша или Жимферэ. Перечитайте «Касыду о ветвях» Гарсиа Лорки из книги «Диван Тамарита»: разве в «Заклинании» Жимферэ не та же мольба к осени помедлить, не то же безнадежное ожидание — вместе со всей природой — смертной тьмы у Лорки, смертной белизны у каталонского поэта? А в первых двух строках — беглая реминисценция из Хуана Рамона Хименеса: в его стихотворении «Деревья-люди» поэт выдает себя за своего «средь народа вольных дерев».

В сонете Жозепа-Висенса Фойша «Один, в отрепье...» чувствуется богоборческое напряжение сонетов Унамуно («Сонет о судьбе», «Молитва атеиста»).

Традиция, как бы сильна она ни была, как бы ее ни хранили и пестовали, не отменяет движения времени. Каталонский стих менялся на протяжении нашего столетия — это неотвратимый процесс. Иными становились строфика и ритмы; часто поэты обращаются к верлибру; метафоричность все более уплотнялась, связи между метафорами утончались и удлинялись, превращаясь в ассоциации, зачастую нелегко и не сразу реконструируемые. В самом деле, легко ли сообразить, почему «в тексте терпит муку плоть тигра» в «Солнцестоянии» Жимферэ? Но следующая строка — «с полосами из огня и света» — дает нам зрительный ключ к метафоре: это же стих, напечатанный на бумаге, чередование белых просветов и словесных строчек. Мука творчества, испытываемая поэтом и рождающая огонь слова, воплощена в метафорическую цепочку, умозрительную и визуально-конкретную одновременно.

Но здесь мы возвращаемся к уже сказанному о каталонской художественной традиции. Традиция жива в сегодняшнем движении каталонской поэзии — в этом убеждает маленькая антология, подготовленная в сотрудничестве каталонским критиком и советскими поэтами-переводчиками.

**И. ТЕРТЕРЯН**

## *В сумерках*

Дороги в этот час не для меня.
В сыром саду смотрю из-за ограды
на прах дорог, покрытый прахом дня.
О дни мои, цветы и листопады!

Все медленней, все вкрадчивей мой шаг,
как будто подо мной тропа чужбины.
Горючими слезами плачет мрак,
и в нем светло вздыхают георгины.

Звон колокольный льется над листвой,
живых и мертвых обручая к ночи,—
неодолим ее разлив живой
с глухими островками одиночеств.

Опять к столу свет лампы поманил,
неясный промельк мысли произвольной,
тут груда книг, и пузырек чернил,
и лист бумаги, вечно недовольной.

## *Мольба о рабстве*

Нам взгляды наши пеленает мрак.
Как жалкий раб — любое наше слово.
Нас каждый день казнит заклятый враг
всего, что в этом мире есть святого.

Ты карой вразумляешь нас, господь!
Твой слух — да усладится нашим плачем.
Мы потчуем камнями нашу плоть,
мы — жалкий прах и большего не значим.

И все же посуди: любая власть —
от сатаны без твоего призора.
Не милуй слуг злокозненных, коль скоро
ты позволяешь им так низко пасть.

Ты, судия верховный над людьми,
избави бедного раба от казни,
наш прах слепой из праха подними
в залог своей божественной приязни.

Твой ясный день испытывает нас,
а ночь твоя карает нас пристрастно.
Зачем просеивать по стольку раз
тобою сотворенное пространство!

---

**ЖОЗЕП КАРНЭ — JOSEP CARNER** (1884—1970).

Один из зачинателей современной каталонской поэзии, драматург, прозаик, переводчик. Публикуемые стихи взяты из «Полного собрания сочинений», том I: «Поэзия» («Obres completes», vol. I: «Poesia», 1957).

Спаси наш голос, загнанный в полон,
от немоты для вечного напева.
Да не погибнет дремлющее древо
под сенью воскресающих колонн.

Пусть и тогда твоих лучей опека
тьму золотит и главы хмурых гор,
когда мы, возвратив тебе твой взор,
сойдем во прах, где были мы от века.

## *По возвращении*

Поверх бескрайних этих вод
не видно берега покамест.
Лишь чайка белая сечет
своими вялыми бросками

дрожь ветра, в небеса стремясь.
Нагая даль без перемены
да волн бесхитростная связь
с букетами никчемной пены.

Все как всегда. На всей земле —
все как всегда. И даль морская
твердит: блуждать на корабле
из моря в море — блажь какая!..

Плыть, вспоминать прощальный час,—
как шлет невеста виновато
свой поцелуй, чей пыл угас,
не долетев до адресата...

Замуровала темнота
и жизнь и дух. А расставанье
в слезах, вся эта суета —
как небыль зыбкая в тумане.

Да и потом, останься ты,—
твой жар не отпылал бы втуне?
Весь мир — добыча темноты,
и день любой — как накануне.

## *Просьба*

Когда умру я, мама, ты схорони меня
на кухне, там, где мусор сметают для огня:
сажая хлебы в печку, смогла бы ты тайком
поплакать хоть немного над сынком.

И если кто-то спросит, почему
ты слезы проливаешь,— ты, матушка, ему
ответь, что, дескать, ночью была у нас гроза,
щепа сырою стала — дым горький ест глаза.

## *В археологическом музее*

**Посетитель:**

— Похоже, вы когда-то были богом.
Когда все это было, где и как?

**Идол:**

— Я — бог, но после стольких передряг
утратил разум и забыл о многом.
Но, помню, правил я не без успеха!
Горой ли, небом, морем ли, ручьем?..
Ослаб... Теперь не вспомнить нипочем...
Кричу — в ответ ни голоса, ни эха.

## ЖОЗЕП-ВИСЕНС ФОЙШ

■ ■ ■

Один, в отрепье, скорбный и больной —
вдруг вижу я себя в краю тоскливом,
в глухих углах, в горах, где под обрывом
расщелина зияет предо мной.

Где я — на мертвом небе, на ночной
планете предков, в поле сиротливом,—
сходя с ума, влачусь, влекомый дивом
неведомой звезды во тьме сплошной?

Один — я вечен. И хотя окрест
века веков, мне странное — не странно,
так, словно бы я чадо этих мест.

В горах, в пустыне нахожу нежданно
знакомый вид. Все тот же цепкий крест.
Тенета сатанинского обмана.

■ ■ ■

ОБМИРАЯ, Я ОТКРЫЛ ЯЩИКИ, ГДЕ ХРАНИЛ
ТЫСЯЧИ СТИХОТВОРЕНИЙ, КОТОРЫХ
ВРОДЕ БЫ НИКОГДА И НЕ ПИСАЛ, ПИЛАР
УВЕРЯЛА МЕНЯ (БЫЛИ ГУСТО-
ЛИСТВЕННЫЕ СУМЕРКИ С НИЗКИМ, МЕРЦАЮЩИМ,
СЛОВНО ГУБЫ, НЕБОМ), ЧТО ЧИТАЛА ИХ.
ИЗ ЯЩИКОВ ТЯНУЛИСЬ КО МНЕ ТВЕРДЫЕ ПЛОТНЫЕ
РУКИ, КОТОРЫЕ ПОЖИМАЛИ МОИ
С КАКИМ-ТО ТАИНСТВЕННЫМ ЗНАЧЕНИЕМ.

В какой пучине затонула шхуна
с последним обмороком птиц на реях
и парусами, смеркшимися в иле?

---

**ЖОЗЕП-ВИСЕНС ФОЙШ** — **JOSEP V. FOIX** (род. в 1894).

Каталонский поэт, эссеист и переводчик поэзии. Публикуемые стихи взяты из книг: «Один, в отрепье» («Sol, i de dol», 1947), «Где я забыл ключи...» («On he deixat les claus...», 1953).

— Сирень мы обрывали среди пепла...

В какой пещере раковины прячут
сокровища корней и вод, уставших
от танца, но готовых выгнать стебли?

— На пустошах мы попирали тени...

В каком безвестном дворике мы с грустью
неизреченной слушали напевы
стрекоз, дрожавших на ладонях жарких?

— В глухих ущельях мы гасили лампы...

В какой таверне, канувшей в столетья,
мы смаковали юный муст, пьянея
от мраморной гармонии органа?

— Нам страх внушали маски привидений...

В какой лощине древней мы плясали
под стон ночных ветвей и лунный отзвук
девичьих вздохов и морских напевов?

— Мы под сетями схоронили тело...

В каком порту настиг нас, как погибель,
шум водорослей в тихий час прощанья,
когда ничто не предвещало бурю?

— Рукой в перчатке тронули мы жемчуг...

В каком ангаре на равнине древней
в венках из роз и темных одеяньях
мы птиц ласкали трепетной рукою?

— Мы без надежды завели моторы...

В какой чащобе около истока
под всеми звездами ночного лета
рыдали возле идолов весталки?

— Вслепую мы выплакивали беды...

В какой безвременной ночи на стенах
писали мы слова, не зная смысла,
и мертвые бесхитростные знаки?

— Мы чистым ртом лакировали краги...

С каких дорог змеящихся срывались
девчонки на своих велосипедах
в ущелье светлое, в аэропропасть?

— Мы в зачарованной воде крестились...

В каких бездонных ящиках искал я
то, что вовеки не писал, но помню —
обманный шрифт на скомканной бумаге?

— Фарфоровые руки пожимаю...

## *Когда я сплю ~все вижу я*

Дождит — и я пляшу, одет
в чешуйки, водоросли, злато.
В просвет листвы — морской сюжет
и холст пунцового заката.
Внезапный птичий пируэт,
куст разрастается космато.
Подобен хижине пирата
подсолнух — дикий солнцецвет.
Дождит — и я пляшу, одет
в чешуйки, водоросли, злато.

Когда смеюсь — себе кажусь
я в луже горбуном, и пусть.
В одежды праотцев ряжусь,
ловлю батрачку жадным взором.
Спешу взрастить, забыв про грусть,
свой флаг меж дубняком и бором.
И зверя, что во мне — матером —
таится, заколоть стремлюсь.
Когда смеюсь — себе кажусь
я в луже горбуном, и пусть.

Когда я сплю — все вижу я,
сладчайшим зельем опоенный.
Жемчужины в душе тая,
я — створчатый народец донный,
и логовище для зверья,
и лог, речушкой углубленный,
и над горою месяц сонный,
и смерть его на дне ручья.
Когда я сплю — все вижу я,
сладчайшим зельем опоенный.

## ЖОАН САЛВАТ-ПАПАСЕЙТ

### *Рождество*

В ночной прохладе я слышу
самбомбы [1] сумрачный вой,
шаги подростков, их песню под перезвон гитар
и то, как воз с сельдереем
грохочет по мостовой,
и тех, кто идет перед возом прямиком на базар.

[1] Самбомба — народный музыкальный инструмент.

**ЖОАН САЛВАТ-ПАПАСЕЙТ — JOAN SALVAT-PAPASSEIT** (1894—1924).

Каталонский поэт и прозаик. Публикуемые стихи взяты из книг «Портовый маяк и чайки» («L'irradiador del port i les gavines», 1921) и «Малая медведица» («Óssa menor», 1925).

На кухне нашей жаровня
всю семью собрала.
При свете газовой лампы петух упитан вполне.
А я гляжу на луну — она совершенно кругла.
Все собирают перья,
в мечтах о завтрашнем дне.

Завтра мы за столом забудем о бедняках,
хотя и сами бедны.
(Вот и пришло рождество.)
Иисус поглядит, как мы сжимаем в руках
свои куски пирога,
и заплачет, скорее всего...

## *Ремесла, которые по мне*

Есть добрые ремесла, от них светлее в жизни.
Быть плотником. Ну, вот —
пошел пилить и пилишь:
был ствол, а стали доски,
где падал пот на землю — оконный переплет.
А там провел рубанком — и стол на загляденье,
потюкал брус — и вывел крылечко под навес.
Бредешь неторопливо по розовым опилкам
и чувствуешь свой вес.

А кузнецы, к примеру! Весь день, не уставая,
кувалдами играют. Хоть под ногтями грязь,
они так чисто ладят узоры для балконов —
не видел отродясь.
И петухов узорных на флюгера, чтоб ночью
дом берегли от бед.
Здоровые ребята, работа им на пользу,
тут и сомнений нет.

А конопатчик в доке! О нем весь порт наслышан:
стучит весь день, как дятел,
на радость рыбакам.
Они-то знают точно: что ни удар, то рыбка
в лазоревых чешуйках, янтарь по плавникам.
Веселый конопатчик качается на люльке,
подвешенной у борта,— он и его дружки
все судно облепили,
а чайки отирают им крыльями виски.

Среди других ремесел есть праздничное дело —
работа маляра:
чем веселее песня, тем жарче ляжет краска,
не будешь петь, не кончишь бордюра до утра.
По цвету крыши видно, какую песню пели
на крыше маляры.
Их длинные халаты,
как радуга, пестры.

А есть еще занятье:
быть каменщиком —
вот уж завидная судьба,
за что бы ты ни взялся,

будь то ворота или фабричная труба,—
коль скоро ты умелец,
без лестницы и цепи залезешь хоть куда,
чтобы балкон построить
(откуда видно море
и горная гряда),
колонны, капители и ниши с витражами.
Вразвалочку под вечер они идут домой,
как будто не устали...
Как быстро и красиво
они большое зданье воздвигли — боже мой!

## ПЕРЕ КУАРТ

### *Ной*

Ной глядит в страхе через оконце ковчега.
Ливень не утихает.
Самый высокий утес уже под водой.
Не видно ни одной зеленой былинки,
ни клочочка земли.

«Господи, что же ты не утихомиришь дождь?
Вышло почти все зерно и корм,
животные томятся во тьме,
и, клянусь тебе, все
думают одинаково:
тут такое, а рыбам одна благодать!
Я тоже не понимаю твоей причуды.

У нас уже нечем затыкать дыры,
в двух местах
подвела древесина —
сочится, несмотря на просмолку.

Тридцатый день потопа — разве не мало?»

Ной глядит на небо через оконце
и видит одну сплошную завесу дождя.

«Ты ведь знаешь мою семью,
сыновья в ярости бьют по щекам,
снохи злословят, лентяйки,
дети чахнут без солнца,
а жена — ах, жена! —
сверлит меня взглядом.

Вся эта сырость меня доняла,
ревматизм сводит ноги —
на что я, господи, годен?
Да и годы не те:
все же мне целых шестьсот!

---

**ПЕРЕ КУАРТ — PERE QUART** (настоящее имя Жоан Оливэ, род. в 1899 г.)

Каталонский поэт, прозаик, драматург и переводчик. Предлагаемые стихи взяты из книги «Земля кораблекрушений» («Terra de naufragis», 1956).

Яхве, образумься, хватит потопа, сам знаешь:
запасов — всего ничего,
ковчег почти без команды, он строился
не на верфи, а на одном честном слове —
остов трещит, расходятся доски.

Не топи нас,
осуши хляби своего правосудия,
будь милосердным, выпусти солнце,
самое время сушить белье!

Конечно, ты тот, кто все сотворяет и сокрушает,
и я из любви к тебе все выдюжу.
Но только, осмелюсь сказать
(и я знаю, что говорю):
эта земля не для такого проливня,
из-за грязи мы ничего не сумеем —
грязь наплодит комаров, придет лихорадка,
готовь заново пашни, выбивайся из сил,
здесь нас лишь горстка несчастных...
Но что я вижу — предо мною гора!..»

Тут-то и прилетел белый голубь,
хотя и был он весь в голубином помете,—
уселся на правом плече
дряхлого адмирала,
который поднес ему на ладони
четыре зернышка вики.
В те поры никто ничему
не удивлялся.
Читайте Библию.

*Перевод ПАВЛА ГРУШКО*

## ПЕРЕ ЖИМФЕРЭ

### *Солнцестояние*

Вот схоронило лето жалкий труп
весны. И глаз уже не прикоснется
ни к сумрачной волне, ни к полотну
расплавленного блеска. Сено чахнет —
так свет разящ. И дерево без жизни,
и ло́зы. Гул подземного сраженья
и запах серы. Зимняя казарма
для стольких воинов, о наше сердце.
О алчность лет и весен. Лихорадка,
терзающая прошлое мое,
слепя и опаляя черным солнцем.

© Pere Gimferrer, 1973.

**ПЕРЕ ЖИМФЕРЭ — PERE GIMFERRER** (род. в 1945 г.).

Один из наиболее известных молодых каталонских поэтов, критик и переводчик. Первые его книги были написаны на испанском языке; за сборник «Море пылает» («Arde el mar») был удостоен Национальной литературной премии Испании. Публикуемые стихи взяты из поэтического сборника на каталанском языке «Слепой огонь» («Foc cec», 1973).

Хранители злосчастных шахмат, сами
мы превратились в пешек на подмостках?
Дубы, власть тишины знобящей, осень
существованья. Под стопой металлы
бескровные. Поверженного лета
покровы. Только небо ледяное,
его прозрачность. И морская гладь
с алмазом — с похороненной луной,
владеньем солнца тайного. В словах
сокрыты бездны, в тексте терпит муку
плоть тигра, с полосами из огня
и света. На долине лунной выгон
для мертвецов. Любовник различает
там, сразу за сплетеньем плоти, тьму.
И корни неподвижны, как тела,
молчаньем вскормленные. Их страна,
искрясь и жаждая, раскрыла настежь
глаза. Свинцовый свод кровоточит
вороньим карком. Ветки и сапфиры,
земного света судорожный блеск.

## *Заклинание*

Воинов не встретишь величавей
и грозней, чем тени дубняка.
В дальних огоньках, с бичами, с лаем,
надвигаясь, лиловеет мгла.
Крик ворон из мертвого колодца.
Руки стужи гонят скакуна.
Буря. Зелень солнца в черных водах.
Озеро? То грудь моя. Мертва.
Золотая шхуна, одр угрюмый
дня. Как тетива ты, плоть моя.
Вся уйдя в труды, над сценой моря
поднимает занавес зима
и рядится в плотные туманы.
Черный лучник, не спеши стрелять.
Не внимает. И дроздовой трелью
к цели устремляется стрела.
Пядь за пядью вымеряем ложе.
Ил подстилкой будет и листва.
Как пылает кормчего перчатка.
На лагуне выснежен шафран.
Этой белизны не ожидали?
Вот и гости, вот и гости к нам —
с неба, прямо с неба. Зелень дуба
известью глазниц испещрена.

*Перевод М. САМАЕВА*

■

# ГАНС ФАЛЛАДА

# *Крестьяне, бонзы и бомбы*

## ГЛАВЫ ИЗ РОМАНА

*Перевод с немецкого Н. БУНИНА*

Эта книга — роман, а значит, вымысел. Впрочем, автор использовал реальные события, развернувшиеся в одном из районов Германии, однако обошелся с ними вольно — так, как того требовал, по его мнению, ход повествования. Ведь из кирпичей снесенного дома можно построить совершенно новый дом, ни в чем не схожий со старым, кроме лишь материала; так же построен и этот роман.

Его персонажи — не фотокопии реальных людей; автор стремился воссоздать человеческие характеры, не ограничиваясь чисто внешним сходством.

Передавая атмосферу событий, межпартийных распрей и борьбы всех против всех, я добивался максимального соответствия действительности. Мой городок похож на тысячи других городков и даже на любой большой город.

**Г. Ф.**

■

Молодой человек торопливо шагает по Бурштa, главной улице Альтхольма, бросая мрачные взгляды на витрины лавок, которые здесь тесно лепятся друг к другу.

Ему около тридцати, он женат, недурен собой; на нем старое черное пальто, вычищенное до лоска, широкополая черная шляпа и очки в черной оправе. Всем своим обликом он напоминает зватая на похоронах, от которого так и веет «благочестием» и «вечным покоем».

Хотя Бурштa считается Бродвеем Альтхольма, улица она не длинная. Минуты через три молодой человек уже оказывается на другом ее конце, у Вокзальной площади. Он энергично сплевывает и, выразив таким образом еще раз свою злость, входит в здание

---

**ГАНС ФАЛЛАДА — HANS FALLADA** (псевдоним; настоящее имя — Рудольф Дитцен (1893—1947).

Немецкий писатель. Автор многих романов; в русском переводе были изданы наиболее значительные из них: «Что же дальше, маленький человек?» («Kleiner Mann — was nun?», 1932), «Кто однажды отведал тюремной похлебки» («Wer einmal aus dem Blechnapf trißt», 1934), «Волк среди волков» («Wolf unter Wölfen», 1937), «Железный Густав» («Der eiserne Gustav», 1938), «Каждый умирает в одиночку» («Jeder stirbt für sich allein», 1947), воспоминания «У нас в далекие времена» («Damals bei uns daheim», 1941).
Роман «Крестьяне, бонзы и бомбы» («Bauern, Bonzen und Bomben», 1931), главы из которого предлагаются читателям, переведен на русский язык впервые; он будет полностью напечатан в издательстве «Художественная литература».

с вывеской: «Померанская хроника Альтхольма и окрестностей. Местная газета для всех сословий».

Скучающая за барьером экспедиции секретарша читает рукопись романа. Услышав шаги за дверью, она порывается спрятать ее, однако, убедившись, что вошедший — всего-навсего сборщик объявлений Тредуп, оставляет роман на столе.

Он швыряет девице листок бумаги:

— Вот! Это все. Отдайте в набор... Наши здесь?

— А где им еще быть? — удивляется красотка.— Заприходовать?

— Разумеется, нет. Вы видели, чтобы хоть один торгаш выложил наличные за объявление?! Вот это всего на девять марок. Шеф не заходил?

— Шеф с пяти утра опять что-то изобретает.

— Бог в помощь! А шефиня? Во хмелю?

— Не знаю. Наверно. В восемь посылала Фрица за коньяком.

— Значит, все обстоит наилучшим образом... О, господи, как мне здесь осточертело!.. Наши у себя?

— Вы уже спрашивали.

— Не придирайтесь к словам, Клара, Кларочка, Кларисса... Ночью, в половине первого, я видел, как вы выходили из «Грота».

— Если бы я могла прожить на свое жалованье...

— Знаю, знаю... Интересно, есть ли у шефа деньги?

— Исключено.

— А у Венка что-нибудь появилось в кассе?

— «Балтийское кино» вчера оплатило счет.

— Придется взять аванс. Венк здесь?

— Кажется, вы уже...

— ...спрашивали об этом. Повторяетесь, милочка... Не забудьте про объявление.

— Господи! Вот еще...

Рывком открыв раздвижную дверь, Тредуп входит и тихо притворяет ее за собой. Заведующий редакцией, долговязый Венк, развалившись в кресле, чистит ногти лезвием перочинного ножика. Редактор Штуфф стряпает какую-то статейку.

Тредуп бросает портфель в шкаф, вешает шляпу и пальто у печки и садится за свой письменный стол. С равнодушным видом, не замечая вопросительных взглядов коллег, он выдвигает ящик картотеки и принимается сортировать карточки. Венк, покончив с маникюром, вытирает лезвие о люстриновый пиджак, складывает ножик и взглядывает на Тредупа. Штуфф продолжает строчить.

Молчание затягивается. Венк снимает ногу с подлокотника кресла и невинным тоном спрашивает:

— Ну-с, Тредуп?

— Господин Тредуп, если позволите!

— Ну-с, господин Тредуп?

— Пошел ты к черту со своим «ну-с»!

Венк поворачивается к Штуффу:

— Ну что я тебе говорил: ничего у него нет. Ни-че-го.

Штуфф щурится из-за пенсне на Тредупа и, протянув сквозь зубы свой седоватый моржовый ус, поддакивает:

— Разумеется, ничего.

Тредуп в бешенстве вскакивает из-за стола. Картотечный ящик с грохотом падает на пол.

— Что значит «разумеется»? Не смейте так говорить! Я обошел тридцать лавок! Не могу же я насильно заставить людей давать объявления! Раз не хотят, значит, не хотят! Уж я просил, умолял... А тут еще всякий писака заявляет: «разумеется». Смешно!

— Ну что ты кипятишься, Тредуп! Какой смысл?

— А ты не кипяти меня своим «разумеется»! Попробуй-ка побегай сам за объявлениями. Так тебе и дали. Чертовы торгаши! Козлы! Шайка хитрованцев!.. «Пока воздержусь... Не могу судить о вашей газете... А разве ваша «Хроника» еще выходит? Я думал, она давно прикрылась. Загляните завтра...» Будь они прокляты!

Из кресла доносится ворчание Венка:

— Утром встретил пастора из типографии «Нахрихтен». У них сегодня пять полос объявлений.

Штуфф презрительно сплевывает:

— Навозники. С тиражом пятнадцать тысяч — штука нехитрая.

— Их пятнадцать тысяч такие же, как наши семь,— возражает Венк.

— Не скажи, у нас есть нотариальное свидетельство на семь с лишним.

— Но с тех пор прошло три года, Штуфф. И там, где эта цифра проставлена, уже черное пятно образовалось, потому что ты каждый день тычешь в нее пальцем. Возьми резиночку и больше не марай.

— Черт с ним, с нотариальным свидетельством. А вот «Нахрихтен» я бы с удовольствием напакостил.

— Не выйдет. Шеф не согласится.

— Еще бы. Он пользуется кредитом у дельцов, а мы помалкивай в тряпочку.

Венк снова принимается за Тредупа:

— Значит, совсем ничего?

— Пять строчек от Брауна. На девять марок.

— Девять марок? — простонал Штуфф.— Да, уж дальше некуда.

— Мог взять объявление о распродаже у прогоревшего часовщика, но в уплату он предложил свой товар.

— Еще не хватало. Что нам делать с будильниками? Я все равно не встаю по звонку.

— А цирк Монте?

Тредуп, шагавший взад-вперед по комнате, останавливается.

— Я же сказал, Венк: ничего. И отвяжись, пожалуйста.

— Но ведь Монте мы объявляли каждый год. Ты вообще-то заходил к ним?

— Послушай, Венк, заявляю в здравом уме и твердой памяти: если ты еще раз скажешь что-нибудь вроде «вообще заходил», я влеплю тебе...

— Но ведь мы давали Монте из года в год, Тредуп!

— Неужели?.. Значит, в этом году мы его не объявим. Вот так-то, Венк. Можете говорить мне что угодно — и ты, и шеф, и Штуфф,— но в этот вонючий цирк я больше не пойду.

— А что там было?

— Что было? Все. И куча дерьма. И хамство. И цыганское бесстыдство, и отвратные семитские манеры... Позавчера «Нахрихтен» дала объявление. Я приперся на Югендшпильплац, а цирка там еще нет и в помине.

— Значит, объявление в «Нахрихтен» администратор сдал заранее.

— Вот именно. К нам он, однако, не завернул. Вчера утром я снова отправился туда. Вижу: ставят каркас. Спрашиваю: где администратор? Поехал по деревням клеить афиши... Будто крестьяне сейчас только о цирке и мечтают... К двум обещал вернуться. Прихожу в два. Он обедает. Ладно, часок жду. Наконец появляется этот тип, желтый как цыган, и говорит: ему, мол, надо посоветоваться с директором, зайдите к шести. Захожу. Говорит: с шефом повидаться не удалось, загляните утречком.

— Здорово, все дороги ведут в цирк Монте!

— Примерно так. Сегодня утром познакомился с самим директором. Пуп земли, повелитель двух с половиной обезьян, изъеденного молью верблюда и хромой клячи. Снимаю шляпу, кланяюсь до земли. И эта скотина, этот навозный жук мне заявляет: ему, видите ли, невыгодно помещать объявление в «Хронике»! Дескать, ни одна душа не читает нашу газетенку!

— И что ты ответил?

— Хотел врезать ему, да передумал. Как-никак у меня семья, и первого числа надо давать жене деньги на хозяйство.

Штуфф, сняв пенсне, спрашивает:

— Он так и сказал: «газетенка»? Точно?

— Именно так.

— Этого спускать нельзя! — подзадоривает Венк.— Штуфф, ведь это специально для тебя. Разделай-ка его под орех.

— С удовольствием бы. Да шеф не позволит...

— А какой представляется случай припугнуть строптивых клиентов! Одного пужанем, глядишь, другие от страха и помчатся к нам с объявлениями...

— Но шеф...

— Что шеф! Пойдем сейчас к нему и скажем: пора, наконец, действовать.

— До чего же хочется подложить циркачам свинью,— бормочет Штуфф.

— Стойте! — восклицает Тредуп.— Есть идея. Штуфф, начни с того, что, мол, мечтаешь насолить «красным», тогда он, по крайней мере, согласится на Монте.

— Неплохо,— кивает Штуфф.— У меня даже припасена одна история про полицмейстера.

— Ну, двинули в лабораторию,— торопит Венк.

— Прямо сейчас?

— Конечно. Тебе же еще надо раздолбать вчерашнюю премьеру в цирке.

— Ладно, пошли.

«Лаборатория» шефа — отнюдь не современное помещение из стекла, света, чистоты и воздуха; нет, это — логово чудаковатого изобретателя, утопающего в хаосе приборов, идей, хлама и мусора.

У стола, покрытого разъеденным кислотой линолеумом, сидит карлик с белыми пушистыми усами, жирное шарообразное существо, похожее на красного лакированного гнома. Светло-голубые близорукие глаза устремлены на вошедших.

— Я не принимаю. Если напакостили, разбирайтесь сами.

— Господин Шаббельт, мне только хочется напакостить кое-кому,— говорит Штуфф.— Если позволите.

Карлик, подняв к свету цинковую пластинку, внимательно ее разглядывает:

— Автотипия не получается.

— Может быть, растр слишком мелкий, господин Шаббельт?

— Что вы в этом понимаете? Убирайтесь, я сказал! А чего тут Тредуп околачивается? Вон!.. Значит, говоришь, растр мелковат? Г-м, а ты не глуп, Штуфф... Вполне возможно... Кому ты хочешь напакостить?

— «Красным».

— Нет. Пятьдесят пять процентов наших читателей — рабочие и мелкие служащие. «Красным»? Никогда! Даже если мы правые.

— Есть очень занятная история, господин Шаббельт.

— Расскажи-ка, Штуфф, расскажи. Присядь где-нибудь. А Тредуп пусть убирается. От него несет аквизицией.

— С радостью занялся бы чем-нибудь другим,— ворчит Тредуп.

— Чепуха! Ты делаешь это с удовольствием.

— Он нам еще понадобится, господин Шаббельт. Для этой истории.

— Тогда станьте вот туда, в тень. Давай, Штуфф, выкладывай.

— Вы, конечно, знаете Калленэ, полицмейстера? Так вот, после ноябрьской революции он был «красным». Не то в СДПГ, не то у независимых эсдеков, так или иначе, жалованье получал у них. Самый тупой из всех полицейских стал полицмейстером.

— Знаю.

— И как только это произошло, он покинул эсдеков, вернув им партийный билет, и стал железным немецким националом, каким был прежде.

— И?..

— Ну... вечерами в ратуше он любит надзирать за уборщицами. Когда в служебных кабинетах никого нет, понимаете?

— И?..

— Среди них есть молодые бабенки, просто загляденье. Можно вообразить себе, когда они моют полы... в общем, зрелище впечатляющее.

— Ты, во всяком случае, можешь себе это вообразить.

— Ну, разумеется, не только у Калленэ появляются разные мыслишки при виде такого...

— Короче, Штуфф. Кто его поймал?

— «Красный» бургомистр самолично! — восклицает Штуфф.— Толстяк Гарайс. Они устроились на его письменном столе.

— И?..

— Но, господин Шаббельт! Что за вопрос! Теперь у Калленэ снова партийный билет эсдеков.

— Гм, пожалуй, в этом кое-что есть,— размышляет вслух шеф.— Но не для нас. Скажем, для коммунистов. Пусть Тредуп разболтает по городу.

— Господин Шаббельт!

— Ничем не могу помочь, Штуфф. Набивайте полнее ваши колонки местными новостями.

— Но без кляузного материала газета такая занудная. Нас уже называют г а з е т е н к о й!

— Кто?

— Разве не так, Тредуп?

Тредуп, выступив из тени, желчно:

— Мазня. Вонючая макулатура. Притон «Свастика». Сортирная крышка.

Штуфф, повысив голос: — Тетка из захолустья. Пыль да скучища. Прошлогодняя ботва. Кудахталка. Слепая кишка. Крот. Читай и дрыхни.

Тредуп: — Клянусь, господин Шаббельт. Сегодня утром мне заявил это один клиент...

Шеф разглядывает цинковые пластинки: — Так кому вы хотите подгадить?

Оба в один голос: — Цирку Монте.

Шаббельт: — Не возражаю. Дабы еще разок пугнуть не желающих помещать у нас объявления. И в награду, Штуфф, за «слишком мелкий растр».

— Огромное спасибо, господин Шаббельт.

— Ладно уж. Но эту неделю прошу покорнейше оставить меня в покое. Я занят.

— Так точно, больше не будем! Всего доброго!

...Сосредоточившись, Штуфф принимается писать:

«З а е з ж и й ц и р к и м е н и М о н т е, расположившийся на Югендшпильплац, дал вчера вечером свое первое представление. Мы не увидели ничего выдающегося, все было на самом заурядном уровне, номер за номером. На фоне ярких зрелищ, которыми наш город еще недавно восхищался в цирке «Крено» и в цирке «Штерн», программа «Монте» выглядит жалким суррогатом, годным разве что для показа детям».

Штуфф перечитывает написанное. «Пожалуй, то, что надо». Он нажимает кнопку звонка.

Входит ученик Фриц.

— Отдай сейчас же в набор,— распоряжается Штуфф.— И скажи метранпажу, чтобы поместил во главе местных новостей. Я пошел в полицию, оттуда в участковый суд. Если что будет, позвоню...

■

С пассажирского поезда, который следует из Альтхольма в Штольпе, на станции Хазельхорст сходят двое мужчин. Одеты они по-городскому, у каждого — переброшенный через руку плащ и крепкая суковатая палка. Одному за сорок, и вид у него угрюмый. Второй худощав, лет двадцати пяти, он с живостью осматривается по сторонам, ему все интересно.

Они направляются по дороге через село. Слева и справа из зеленой листвы выглядывают крыши крестьянских домов — соломенные, камышовые, черепичные, цинковые.

Но вот Хазельхорст позади, и они выходят на обсаженное рябиной шоссе, ведущее к Грамцову. На выгонах пасутся коровы — черно-белые, рыжие, пестрые; не прерывая жвачки, они оглядываются на путников.

— Хорошо иногда выбраться из конторы,— говорит младший.

— Эта мысль мне тоже приходила в голову,— роняет старший.

— Вечно цифры и цифры — невыносимо.

— С цифрами спокойнее, чем с людьми. Знаешь хотя бы, чего от них можно ожидать.

— Вы в самом деле полагаете, господин Калюббе, что может что-нибудь произойти?

— Не говорите ерунды. Ничего особенного не произойдет.

Младший ощупывает задний карман брюк.

— На всякий случай пистолет у меня наготове.

Старший резко останавливается и в гневе потрясает руками; лицо его багровеет.

— Вы идиот! Убожество! Тупица! — В ярости он швыряет на дорогу плащ, палку и портфель, который нес под плащом.— Вот! Берите! И расхлебывайте кашу сами! Что за сумасбродство! И такой осел...— Он умолкает, не в силах больше выговорить ни слова.

Младший побелел от гнева, досады и страха, однако не теряет самообладания:

— Господин Калюббе, ну что вы разволновались... что я такого сказал...

— Это же надо! У него, видите ли, пистолет наготове! Он отправился с пистолетом... на крестьян! А у меня жена и трое детей.

— Но меня же сегодня утром сам финансовый советник еще раз проинструктировал, как обращаться с оружием.

Калюббе — воплощенное презрение:

— Скажите, сам советник! Тот, который протирает штаны за письменным столом. Ничего кроме бумаг не знает. Пусть-ка попробует разок съездить со мной в деревню на конфискацию, в Позериц, в Дюльмен или хоть сюда, в Грамцов... вот тогда сразу забудет про все инструкции! — Он злорадно усмехнулся, представив, как господин финансовый советник сопровождал бы его для проведения конфискации.

Однако Калюббе развеселился:

— Смотрите, я вам кое-что покажу.— Вытащив из заднего кармана свой пистолет, он направил его на коллегу.

Тот отпрыгнул с криком: — Не валяйте дурака!

Калюббе нажал на спусковой крючок.

— Видите: ничего! Не заряжено. И большего этот способ защиты не стоит.— Он спрятал пистолет в карман.— Дайте-ка сюда ваш.

Оттягивая ствол, он выбросил патрон за патроном. Младший молча подобрал их.

— Суньте их в жилетный кармашек, Тиль, а вечером верните финансовому советнику. Такова будет м о я инструкция по обращению с оружием.

Тиль молча поднял палку, плащ, портфель и вручил старшему. Они двинулись дальше. Калюббе посмотрел на луг, пестревший желтыми лютиками и бело-розовым клевером.

— Не обижайтесь, Тиль. Дайте-ка вашу руку... Вот и хорошо. Видите ли, все, кто день-деньской сидит в финансовом управлении, понятия не имеют, что значит исполнять службу здесь, на селе... В свое время я был рад, когда меня назначили исполнителем. Не только из-за суточных и проездных. Они, конечно, очень пригодились мне с женой и тремя детишками... Самое приятное то, что ты здесь на природе. Идешь, и вокруг не каменные стены, а весна, свежесть. И все такое живое... А теперь... теперь твоя должность самая постыдная. Ты просто грязная дубинка в руках государства.

— Господин Калюббе, и это говорите вы, которого так хвалят!

— Что вы, чинуши, понимаете! Когда к вам, в контору, входит крестьянин или десяток крестьян, так это крестьяне, приехавшие в город. И если они даже иной раз «наглеют», как вы говорите, то ведь вас-то много. И сидите вы за барьером. Под рукой у вас телефон, под боком — полиция. А здесь, где мы сейчас, крестьянин у себя дома, и жил он тут и сто, и тысячу лет назад. Здесь мы — чужаки. И вот я являюсь к ним с портфелем и синими гербовыми марками, и я среди них совсем один. А ведь я — государство и в лучшем случае сбиваю с них спесь и увожу корову из хлева, а в худшем — сгоняю с родной земли, на которой они жили тысячу лет.

— Неужто они в самом деле не могут платить?

— Когда не могут, когда не желают. А в последнее время вообще не хотят... Видите ли, здешние крестьяне всегда жили богато, всегда у них был полный достаток, и вот сейчас они никак не возьмут в толк, почему им приходится поститься. Ну, а потом они, пожалуй, не совсем рационально ведут хозяйство... Впрочем, что мы в этом понимаем? Нас это не касается. Какое нам дело до крестьян? Они едят свой хлеб, мы — свой. Но что меня действительно касается, так это то, что среди них я чувствую себя бесчестным человеком, словно какая-нибудь блудница, при встрече с которой все плюются и с которой никто за один стол не сядет.

— Осторожно! Стойте! — восклицает Тиль и хватает Калюббе за руку.

В дорожной пыли сидит бабочка, коричнево-пестрая павлиноглазка с трепещущими крылышками. Она шевелит усиками, словно нащупывает, где светлее, теплее, где больше прогрето солнцем. И Калюббе, уже занесший было над ней ногу, отступает на шаг и разглядывает это одушевленное цветное пятнышко.

— Да, Тиль, и такое встречается тут,— вздыхает он с облегчением.— Видит бог, вы правы. И такое встречается. И ступаешь осторожнее... Только хочу попросить вас об одном.

— Да?

— Вот вы проявили выдержку, а я не сдержался, наорал. Может статься, мы еще сегодня поменяемся ролями. Что бы ни случилось, не забывайте: вы обязаны без возражений снести любое оскорбление, любую брань, вы слышите — о б я з а н ы! Хороший судебный исполнитель не должен наказывать за оскорбление, а только исполнять решение суда. И вы не смеете пускать в ход кулаки, даже если на вас поднимут руку. Против вас всегда найдется слишком много свидетелей. Свидетелей только против вас. Вы не забудете об этом? Обещаете мне?

Тиль клятвенно поднимает руку.

— Вы сумеете сдержать обещание?

— Да,— говорит Тиль.

— Тогда пошли в Грамцов: продавать с торгов двух волов крестьянина Пеплова.

Часовая стрелка приближается к одиннадцати.

Трактир в Грамцове набит битком. Все столики заняты. Крестьяне пьют пиво, грог, не обходится и без водки. Однако в общем зале почти тихо, не раздается ни одного громкого слова. Все будто прислушиваются к тому, что происходит в задней комнате.

А там, под часами с ореховым маятником, тоже собрались крестьяне. Они сидят за столом, покрытым вязаной скатертью. Сидят семеро, восьмой стоит у двери. На диване сидит долговязый человек, перед ним стакан грога. У долговязого резко очерченное безбородое лицо с множеством морщин, холодные глаза и тонкие губы.

— Значит, так,— говорит он, не вставая.— Вы, коренные жители села Грамцова, слыхали, что выставил крестьянин Пеплов супротив решения финансового управления Альтхольма. Кто за Пеплова, пусть подымет руку. Кто против, пусть не утруждает себя. Каждый должен решать по своей совести, и только по совести... Голосуйте.

Семь рук поднялись как одна.

Долговязый встал с дивана.

— Распахни дверь в залу, Пеплов, чтобы все слышали. Я объявлю постановление крестьян Грамцова.

Дверь распахивается, и в то же мгновение сидевшие в зале встают. Долговязый спрашивает через весь зал стоящего у входной двери седобородого крестьянина:

— Дозорные на постах?

— На постах, староста.

Долговязый обращается к маленькому шустрому трактирщику:

— Крюгер, бабья поблизости нет?

— Нету бабья, староста.

— Тогда слушайте. Я, мирской староста села Грамцова, Раймерс, объявляю постановление схода, принятое его выбранными представителями:

«Есть решение финансового управления Альтхольма от 2 марта, согласно которому крестьянину Пеплову надлежит уплатить недоимочный подоходный налог за 1928 год в сумме четырехсот шестидесяти трех марок.

Мы выслушали по сему делу крестьянина Пеплова. Он заявил, что налогоуправление исходило из расчета среднего дохода со двора для здешних мест. А к его усадьбе этот среднедоходовый расчет никак не может быть приложен, поскольку в 1928 году он потерпел чрезвычайный ущерб. У него околели две лошади. Подохла одна корова во время отела. Далее: отца своего, имеющего выдел, Пеплову пришлось положить в альтхольмскую больницу и содержать там более года.

Мы, крестьяне Грамцова, объявляем решение финансового управления Альтхольма недействительным, потому что оно посягает на саму первооснову крестьянского двора. Мы отказываем финансовому управлению и его поручателю, государству, во всяком содействии по этому делу, на беду ли нам или на пользу.

Учиненную 15 дней назад опись двух нагулянных волов считать недействительной. И если кто на сегодняшних торгах выразит желание приобрести пепловских волов, тот с этого часу перестанет быть членом крестьянского сословия. Он объявляется опальным, никто не смеет ему пособить, будь то по нужде хозяйственной, телесной или духовной. И быть ему опальным в селе Грамцове, округе лоштедтском, земле померанской, государстве прусском, во всей империи германской. Никто не смеет говорить с ним или уделять ему хоть толику времени. Нашим детям будет запрещено играть с его детьми, нашим женам — разговаривать с его женой. Пусть живет один и умирает один. Кто поступает против одного из вас, тот поступает против нас всех. Отныне он уже мертв».

Все слышали, крестьяне Грамцова?

— Все слышали, староста.

— Значит, так и поступайте. Сход крестьян окончен. Дозорных отозвать.

Дверь из комнаты в залу закрывается. Староста общины Раймерс вытирает лоб и отпивает из стакана остывший грог. Потом бросает взгляд на стенные часы.

— Без пяти одиннадцать, Пеплов. Тебе пора скрыться, не то батрак финансового управления зачитает тебе протокол.

— Так, Раймерс. А что, если они угонят волов?

— Не угонят, Пеплов.

— Как же ты им воспрепятствуешь? Силой?

— Нет. Сила против государства и его чиновников не годится. Я придумал кое-что другое.

— Раз другое, тогда... А дело-то верное? Мне за волов деньги надобны.

— Дело верное. Завтра все крестьяне в округе познают, как в Грамцове управились с финансовой конторой. Ступай себе спокойно.

Пеплов, выбравшись через черный ход во двор, скрывается в кустарнике. Семеро выборных крестьян переходят в залу.

В трактире у окон возникло движение: идут! На дороге показались чиновники финансового управления. Они вели за собой на веревках двух рыжих волов.

Чиновники побывали на пепловском дворе. Они не застали там ни хозяина, ни хозяйки и вообще никого, кому было бы поручено внести залоговую сумму. Какой-то батрак впустия их в хлев к «заарестованным» волам, чиновники надели на них поводки и повели к трактиру, где, как оповещалось, должны были состояться торги.

Привязав волов к столбу напротив дверей, они вошли в трактир. Когда крестьяне увидели из окон обоих чиновников с волами, в зале, конечно, поднялся говор: кто вполголоса обменивался мнениями, а кто и ругался. Но сейчас наступила тишина. Тридцать — сорок человек смотрели на чиновников в упор, смотрели им в глаза и своих глаз не опускали.

— Здесь ли крестьянин Пеплов из Грамцова? — спрашивает Калюббе среди общего молчания.

Крестьяне смотрят на Калюббе, на его молодого коллегу и молчат.

— Господин Пеплов здесь? — спрашивает Калюббе громче.

Молчание.

Калюббе направляется по проходу между столиками к прилавку. Под враждебными взглядами он чувствует себя неловко и беспомощно. По пути он задевает чью-то палку, висящую на спинке стула. Палка с грохотом падает. Калюббе нагибается, поднимает ее и вешает на место.

— Извините,— говорит он.

Крестьянин смотрит на него не моргая, затем переводит взгляд на окно.

Калюббе обращается к Крюгеру:

— Как вам известно, я должен провести здесь публичный торг. Не найдется ли у вас стол?

— Нету стола,— ворчливо отвечает Крюгер.— И места для него нет.

— Вы знаете, что вы обязаны предоставить мне место.

— А как это сделать, господин хороший? Кого прикажете выгнать отсюда? Может, сами освободите себе местечко?

— Вы знаете...— настойчиво говорит Калюббе.

А шустрый Крюгер немедля:

— Знаю. Знаю. Вы дайте мне совет. Не инструкцию, понимаете, а дельный совет.

Кто-то повелительным тоном кричит через зал:

— Выставь стол за дверь.

Низенький Крюгер внезапно преображается, он теперь весь излучает живость и любезность:

— Стол за дверь. Ну конечно! Лучше не придумаешь. И скотину будет видно.

Стол выставляется наружу. Трактирщик собственноручно выносит два стула.

— И две кружки светлого, Крюгер.

Тот останавливается. Огорченно поджав губы и сморщив лицо, он косится на открытые окна трактира.

— Господа, видите ли...

— Две кружки светлого! В чем дело?

Крюгер умоляюще складывает ладони:

— Господа, не требуйте от меня...

Калюббе бросает быстрый взгляд на Тиля, опустившего лицо над столом.

— Выше голову, Тиль! — И к Крюгеру: — Вы о б я з а н ы подать нам пиво. Если вы этого не сделаете, я п о д а м на вас рапорт и вы лишитесь трактира.

Крюгер подхватывает в том же тоне:

— А если сделаю, то лишусь клиентуры. И так крышка и эдак.

Калюббе с Крюгером обмениваются долгим взглядом.

— Ладно, скажите им, что аукцион начинается.

Крюгер в полупоклоне:

— Пока возможно, человек должен оставаться человеком.

Он уходит, Калюббе вынимает из портфеля протокол, инструкцию и кладет перед собой на стол.

Тиль, еще чувствуя себя виноватым перед старшим коллегой, говорит:

— Вспомнил о пистолете. Кажется, я уже начинаю понимать, что оружием тут не поможешь.

— Не спешите с выводами,— сухо отвечает Калюббе, листая протокол.— Посмотрим, что вы скажете, когда вернемся домой.

На стол падает чья-то тень. К чиновникам подходит молодой человек в черном костюме, с черными роговыми очками на носу и с фотокамерой на кожаном ремешке через плечо.

— Разрешите представиться, господа,— говорит он, приподымая шляпу.— Тредуп, альтхольмская «Хроника». Только что из Подеюха, фотографировал новую церковь для нашей газеты. Еду мимо, вижу, здесь вроде готовится аукцион...

— Объявление было и в вашей газете.

— А это конфискованная скотина?.. Часто приходится слышать о всяких осложнениях при конфискации имущества. У вас были?

— Справки служебного характера выдает финансовый советник Берг.

— Значит, никаких затруднений не было? Не возражаете, если я сфотографирую аукцион?

— Не мешайте нам,— резко отвечает Калюббе.— У меня нет времени на болтовню.

Тредуп с независимым видом пожимает плечами:

— Как вам угодно. Во всяком случае я буду снимать... Каждый зарабатывает свой хлеб, и ваш, судя по всему, тоже не из легких.

Перейдя на другую сторону улицы, он начинает готовиться к съемке.

— В сущности, он прав,— говорит Калюббе.— Это его профессия, и с моей стороны было глупо грубить ему. Но «Хроника» меня раздражает. Это же бульварщина. Вы читали недавно их рецензию на цирк Монте?

— Читал.

— Чистейшее вымогательство. Причем весь Альтхольм знает, что ни одной души из «Хроники» на представлении не было. Владелец цирка хотел подать иск по поводу коммерческого ущерба, но с ними это дело бесполезное. Шаббельт спятил, жена его спилась, у этого писаки, который делает газету, у Штуффа, тоже периодические запои... И бродят тут всякие...

— Господи! Да наплевать мне на эту «Хронику»! Я, например, читаю «Нахрихтен».

— Воображаю, что настрочит этот типчик про аукцион... Н-да, что-то никто не собирается.

Чиновники поглядывают на окна трактира. По их наблюдениям, часть посетителей разошлась, однако народу в зале еще достаточно.

— Тиль, зайдите-ка в зал да крикните им еще раз, что аукцион начинается. И позовите ко мне Крюгера.

Тиль скрылся за дверью. Калюббе слышит, как он громко объявил о торгах и в зале что-то ответили. Тут же раздался смех, но его оборвал чей-то резкий голос, приказавший молчать. Потом Тиль вернулся.

— Ну что? — спрашивает Калюббе равнодушно.

— Крюгер сейчас придет... Там один остряк крикнул: «Ступай, малыш, к матушке, она тебе сопельки утрет!» А какой-то долговязый велел ему заткнуться.

К столу подошел Крюгер: — Чего изволите, господа?

— Скототорговцев тут не было сегодня?

— Скототорговцев? Как же, были.

— Кто?

Крюгер медлит: — Я их не знаю. Незнакомые какие-то.

— Ну, разумеется, вы их не знаете. И они, конечно, уехали?

— Уехали.

— Спасибо. Все.— Крюгер уходит, и Калюббе говорит Тилю:

— Пойду-ка позвоню мяснику Шторму. Я его постоянный клиент. Может, осмелится и купит волов по таксе. Считай, почти даром.

— А если нет?

— Господи, тогда позвоню финансовому советнику. Пусть решает, что делать.

Тиль сидит и созерцает освещенную солнцем улицу. Стайка кур копошится в конском навозе, выклевывая непереваренные зерна; мимо ворот медленно проходит кошка, задрав хвост трубой. «Да, жить здесь неплохо,— думает он.— Все под боком, только тревожно как-то... А парень из «Хроники», кажется, смекнул, что из аукциона ничего не получится. Сматывает удочки. Аппарат, однако, не прячет, может, надумал снять что-нибудь поинтереснее. Не мычи, вол. Мне тоже пить охота, а не дают, хотя колодец тут при каждом дворе... Калюббе здорово расстроился, зря он все так близко к сердцу принимает. Крестьяне есть крестьяне. А мне надо делать свое дело и ни о чем другом не думать... У меня картишки, у него семья, оба мы из Альтхольма, на кой черт нам эти крестьяне?.. А все-таки хорошо здесь, хотя и небезопа...»

Он задремал на полуденном солнышке. Волы мотали головами и отгоняли хвостами мух.

У стола появляется Калюббе.

— Вздремнули? Да, похоже, будет гроза. В такой денек, как нынче, молоко свертывается... В общем, мясник Шторм не хочет. Боится. Думает, ему перестанут продавать скот во всех деревнях. Бог с ним. Скажу жене, чтобы покупала мясо в другой лавке.

— А финансовый советник?

— Н-да. Его превосходительство господин Берг, естественно, не понимают, в чем дело. Это для них непостижимо. Во всяком случае, нам предписано не идти напролом, но наказать провинившегося в назидание другим. Короче: отвести волов в Хазельхорст и отправить железной дорогой в Штеттин. Насчет вагона я уже договорился. Итак, в путь. Чем раньше туда придем, тем скорее выпьем по кружке пива. Уж в станционном буфете нам не п о с м е ю т отказать.

— Что ж, двинулись! Вы какого возьмете?

— Вот того, с кривым рогом. Егозливый он больно... Если ваш вздумает удирать, не отпускайте поводок и бейте палкой по ноздрям, да покрепче. Сразу утихомирится.

Отвязав волов, чиновники трогаются в путь. Тут же распахиваются двери трактира, и оттуда, один за другим, высыпают крестьяне — десяток, второй, третий. Выстроившись на обочине, они молча провожают взглядом удаляющихся.

Через село волы шествуют спокойно. Калюббе, обернувшись, говорит Тилю:

— Приятно шагать сквозь строй, а?

— Им, наверно, приятно смотреть...

— Еще как!.. А что это там?

Село кончилось. Дорога, сделав крутой поворот, вывела на Хазельхорстское шоссе; по обе стороны широкие, полные воды канавы; впереди, метрах в трехстах, между рябиновыми шпалерами виднеется препятствие — какая-то светловатая куча, возле которой копошатся люди.

— Что это?

— Ума не приложу. Устроили завал?

— На вид светлое. И похоже — рыхлое. Вроде соломы. А вообще нам-то что. Пройдем и все.

— А если не пройдем? Канавы широковаты.

— Тогда обождем, пока проедет какая-нибудь телега или машина.

Они уже приближаются к странной куче. Тиль с облегчением восклицает:

— Ерунда! Опрокинулся воз с соломой!

— Да. Кажется, так.

Они подходят еще ближе:

— Нет, тут что-то не то. Лошадей с телегой уводят, а солому бросили, не подбирают.

— Все равно. Пройдем! Солому можно раскидать ногами.

Теперь они совсем близко. За копной соломы на шоссе стоят несколько человек. Один из них нагибается, и вдруг на копне вспыхивают язычки пламени. Заплясала одна огненная змейка. Десять. Сто. Повалил густой белый дым.

Волы с ходу уперлись, расставив ноги, замотали головами. Неожиданно ветер раздул огонь, волна нестерпимого жара и едкого дыма хлынула навстречу...

— Назад, в деревню! Быстрей! — крикнул Калюббе и замолотил палкой по воловьим ноздрям. Глухо хрустнул носовой хрящ.

Спотыкаясь и падая, но не выпуская веревок, чиновники помчались к деревне. Шагов через сто волы сбавили скорость.

Переведя дух, Калюббе проворчал:

— На сей раз составляю рапорт, иначе их не проймешь.

— Что же будем делать?

— В Хазельхорст не пропустят. Бесполезно. Знаете что, сыграем-ка с ними шутку: двинемся через Риппмеров, Банц и Эггермюле в Лоштедт.

— Четырнадцать километров?

— Ну и что? Хотите завести волов обратно в пепловский хлев?

— Нет, конечно!

— Тогда вперед!

И вот они опять у трактира. И снова их встречает толпа крестьян.

«Ага, поджидали,— подумал Калюббе.— Нет уж, не надейтесь, волов ваших не получите... Главное, проскочить, и побыстрее».

Все взоры обращены на них. Смотрят старые и молодые, белесые, как лен, чернобородые, седые; и лица все разные — гладкие, румяные, мучнистые, изборожденные морщинами, продубленные осенними ненастьями и зимними дождями. Толпа разделилась, часть перешла на другую сторону улицы; тесня чиновников, крестьяне молчаливым эскортом двинулись рядом с ними. Они шли с палками в руках, кто с поднятой, кто с опущенной головой, будто ничего не видя вокруг.

«Вряд ли проскочим,— подумал Калюббе.— Да, это добром не кончится... Надо бы поближе к Тилю... Молодой еще, горячиться будет».

Но крестьяне вклинились между ними, не дают сойтись, а тут еще волы припустили, словно почуяв близость родного хлева.

Калюббе настороже. В тот момент, когда вол вознамерился было свернуть к знакомым воротам, он со всего размаху ударил его по правому рогу, а затем ткнул концом палки в пах. Вол, рванувшись, понесся по улице.

«Получилось неплохо»,— подумал Калюббе на бегу и удивился тому, что крестьяне не отстали, а продолжают трусить за ним. Наконец, Тиль оказался рядом. Задыхаясь, Калюббе шепчет ему:

— Не бойся! Покрепче намотай веревку на кулак. Смотри не упусти скотину! Она теперь принадлежит государству, и ее надо доставить в Лоштедт любой ценой!

Слева и справа бегут крестьяне, из-за них ничего не разглядишь, слышен только топот. Но вот, кажется, и просвет. И что же? Впереди опять светло-желтая куча, значит, и на этой дороге...

Но останавливаться уже нельзя. «Надо прорываться»,— решает Калюббе.

Перепуганный вол тащит его вперед, оглянуться Калюббе не может. Едва крестьяне замолотили палками по воловьим бокам, Калюббе крикнул:

— Тиль! Сворачивай на луг!

Впереди огонь, Калюббе смутно различает шесть—восемь лиц, видит вынырнувшего откуда-то репортера «Хроники» с фотокамерой в руках, успевает заметить, как кто-то из крестьян бьет палкой по аппарату...

Полыхнуло пламя, жар, удушающий дым.

Калюббе больше ничего не видит. Вол дернул за веревку, едва не вырвав ему руку. И вот Калюббе стоит у какого-то дерева, он лихорадочно дышит, легкие чуть не разрываются. Но дорога впереди свободна. Проскочил!

Он огляделся вокруг. Густой желто-белый дым клубится над лугом. По траве пробегают тени.

«Где же Тиль?»

И тут он увидел второго вола, мчавшегося без поводыря по лугу, задрав хвост.

Чиновник ждет четверть часа, полчаса. Бросить скотину нельзя, она — собственность государства. Больше он ждать не может. Тиль рано или поздно отыщется. Крестьяне никого не обижают.

Калюббе дергает вола за веревку, и они пускаются в путь в сторону Лоштедта.

■

Время — около одиннадцати вечера. В трактире «Тухер» к Венку подсаживается Штуфф, только что вернувшийся из кино.

— Что пьешь? — спрашивает он Венка.— Одно пиво? Не-е, слабовато, сегодня у меня хандра... Франц, кружку пива и бутылочку тминной.

— Как фильм?

— Ерунда несусветная. И такую дрянь придется завтра хвалить, иначе не выудишь объявлений.

— А что за картина?

— Да эротическая мура. С раздеванием.

— Как раз в твоем вкусе...

— Брось, старина. Что они теперь смыслят в эротике? Ну к чему раздеваться? Ведь так все наперед узнаешь, неинтересно.

Штуфф пьет: сначала рюмка водки. Потом большой глоток пива. Потом опять водка.

— Вот это то, что надо. Попробуй-ка. Сразу другое настроение.

— Увы. Нельзя. Моя надзирательница устроит скандал, если почует водку.

— А-а-а, твоя старуха. Чудно, всё время одна и та же. Никакого сюрпризика. Неужели еще доставляет удовольствие?

— Брак — не удовольствие, Штуфф.

— Именно. Я так и полагал. И без сюрпризиков. Нет уж, благодарю покорно... Знаешь, в чем главный дефект современного дамского белья? Все известно заранее. Идиотские трико, в обтяжку! То ли дело прежде: панталоны! Широкие, беленькие, глаз не оторвешь!

Штуфф мечтательно зажмурился.

— Слушай, а где твой объект? — пробуждает его от грез Венк.

— Что? Какой объект? А-а, Калюббе! Вон тот хрыч, через стол от нас, в скат играет, полноватый, рожа угрюмая.

— Так вот он какой, Калюббе,— разочарованно тянет Венк.— Я его себе представлял другим.

— Другим, говоришь... сойдет и такой. А чего стóят его партнеры! Видел бы их господин финансовый советник, вот бы порадовался.

— А кто они?

— Ну этого-то, в серой форме, ты должен знать. Его каждый мальчишка знает. Младший надзиратель Грун, из каталажки. По прозвищу Придурок. В ноябре восемнадцатого солдатики поставили его к стенке, после чего он и свихнулся.

— За что поставили?

— Наверно, слишком допекал бедняг. Они палили по нему, как по мишени, но «мазали». Как он жив остался, ему и по сей день невдомек... При случае погляди, что он творит, когда правые вывешивают свои черно-бело-красные знамена. Ни одного флага не пропустит, перед каждым снимает фуражку и вопит: «Под этим знаменем мы не голодали!» Детвора за ним гурьбой ходит.

— И такого назначили государственным служащим!

— Ну и что? Отпирать и запирать камеры он еще способен.

— А третий?

— Машинист Тинельт. Самый старший по стажу в округе. К нему сюда вся дирекция железных дорог Германии приезжала, уговаривала форму носить. Все равно не надел. И знаешь почему?

— ??

— Потому, что тогда ему придется надевать и форменную фуражку.

— ???

— Ну и глуп же ты, Венк. Пиво хлестать — мастак, а такой простой вещи не по-

нимаешь. Да потому, что на железнодорожной фуражке изображен новомодный орел, а Тинельт признает старомодного...

— И не напяливает?

— Не напяливает. Так его перевели на маневровый паровозик, ну а он твердит свое: до пенсии два года, как-нибудь дотяну. В общем, начальство оставило его в покое, но вот коллеги... С коллегами всегда хуже.— Пауза. Штуфф делает два хороших глотка.— Калюббе пора бы уже сбегать в уборную, там бы я с ним потолковал тихонько.

— Думаешь, скажет?

— Если подойти с умом, скажет.

— Рискованно. Смотри не промахнись.

— А что? Если промахнусь — извините, мол, спьяну.

— Штуфф, за угловым столиком какой-то молодой отшельник не сводит с тебя глаз.

— Пускай, если нравится. Впервые его вижу. Смахивает на бывшего офицера. Теперь, небось, какой-нибудь коммивояжер... масла, смазочные материалы...

— Похоже, что он желает с тобой пообщаться.

— Может, он меня знает... Прозит! Прозит! — кричит Штуфф через весь зал незнакомому молодому человеку, который в ответ поднимает пивную кружку.

— Что, узнал все-таки?

— Нет, не припоминаю. Что-то ему от меня надо. Захочет — подойдет.

— Странно, с чего он вдруг так заулыбался тебе?

— Почему странно? Может, ему мой нос понравился... Ладно, опрокину-ка еще стопочку. Видать, Калюббе к стулу прилип.

— Да, Штуфф,— говорит Венк, помолчав,— Тредуп сегодня на тебя жаловался: не даешь ему подрабатывать.

— А пошел он... Я с ним уже две недели не разговариваю.

— Из-за волов?

— Конечно! У него ума не больше, чем у вола. Вообразил, будто я помещу его статейку о конфискации волов ради того, чтобы он заработал по пять пфеннигов за строчку.

— В деньгах-то он, видимо, нуждается.

— Все мы нуждаемся. Вот что я тебе скажу, Венк: люди, которые только и гоняются за деньгами, ни на что не годны. А Тредуп обожает монеты, как кот валерьянку.

— Может, у него семья голодает.

— Значит, ради его дурацкой статьи я должен всех разозлить? Напечатай я что-нибудь за крестьян, твоему отделу объявлений крышка: финансовое управление, полиция, правительство не принесут тебе ни строчки.

— Но он сказал, что написал и вторую статью — п р о т и в крестьян.

— Ну и что?.. Ударить по крестьянам? Не-е, хоть чуточку надо им сочувствовать. Стал бы я тогда дожидаться этого чертового Калюббе... Неужто он решил дотерпеть до дома?.. Ага, наконец-то! Проняло все-таки... Пока!

Тяжелой походкой Штуфф направляется вслед за Калюббе в туалет.

Штуфф пристраивается возле Калюббе к соседнему писсуару.

— Привет, Калюббе.

Судебный исполнитель отрывает глубокомысленный взгляд от фаянсовой раковины.

— А, это ты, Штуфф. Привет! Как дела?

— Как всегда, дерьмово.

— Разве иначе бывает?

— Вот это да! И чиновники уже начинают плакаться?

— Чиновники... н-да... чиновники...

— А что, не дерьмово? Втемяшится моему Шаббельту какая-нибудь блажь, раз — лавочку прикроет, и я на улице...

— Так уж и на улице. Тебя вся губерния знает.

— Скорее тебя. После истории с волами...

— Извини, Штуфф, меня ждут партнеры.

— Разумеется... Верно, что завтра выездное заседание суда?

— Возможно... Слушай, меня ждут Тинельт и Грун.

— ...И что ты должен опознать злоумышленников?

— Я пошел, Штуфф.

— ...И что твоего помощника Тиля уволили без предупреждения?

— Если тебе все известно, зачем спрашиваешь? Пока!

— Так и быть, Калюббе, скажу по секрету: тебя перемещают в виде наказания на другую работу. Но об этом молчок.

Калюббе застыл на месте. Оба молча смотрят друг на друга. Слышно лишь журчание воды в раковинах.

— Что? Меня переводят в порядке наказания? Вздор. Кто тебе мог сказать такую чушь? Я же доставил своего вола в город.

— Именно поэтому. Ты должен был оставить волов в хлеву сельского старосты. Тогда бы и никакого шума не было.

— Финансовый советник сказал, что я поступил правильно.

— Советник! В дело вмешались чины повыше.

— Меня не могут перевести.

— Смогут. Послушай, Калюббе...

В сортир вваливаются трое. Калюббе, повернувшись к зеркалу, принимается тщательно мыть руки. Троица шумно приветствует Штуффа. Тот, делая вид, что очень занят у писсуара, косится одним глазом на Калюббе. Судебный исполнитель больше не порывается уходить. Штуфф ухмыляется про себя.

Минуту спустя троица покидает туалет.

— Вот что, Штуфф,— резко говорит Калюббе, когда они опять остались наедине.— Думаю, что меня и впрямь могуть перевести в порядке административного взыскания. Сейчас так делают. Отвечать приходится нам, стрелочникам. Но имей в виду: тебя это не касается, и если ты вздумаешь написать хоть словечко в твоей проклятой «Хронике»...

— Ни единого. Тебя переведут, и тут уж ничего не попишешь. Вопрос только в том: захочешь ли ты втянуть в историю других?

— Втянуть?.. Ах вот что! Кого же?

— Ну, скажем, этих крестьян. Завтра в село выезжает суд. Если ты кого опознаешь, их засадят на долгие месяцы.

— Зачем мне желать им зла?

— И правда, зачем? Если бы тебя гнали с собственного двора, ты вел бы себя иначе?

— Да... в то утро они слишком уж обозлились.

— И твоими руками начальству легкая нажива досталась. Финансовый советник ваш спит и видит, как бы упрятать в тюремное стойло побольше крестьянских голов. У него опять же будет повод забрать их добро в казну.

— Каков стервец! Нет, ты подумай, Штуфф, разве это порядочно? Сам дал мне по телефону указание во что бы то ни стало доставить скотину в Хазельхорст, а теперь я же виноват в том, что отбуксировал своего вола в Лоштедт! Разве так поступают приличные люди?

— Да, таковы сейчас порядочки.— Штуфф сплевывает в раковину.— Но ты-то готов смириться с наказанием и поехать опознавать виновных?

Калюббе медлит.

— Это же все произошло в какие-то мгновенья. Я ведь могу и не опознать их... Правда, там был еще Тиль...

— Пусть это тебя не заботит! Думаешь, Тиль станет давать показания? Свалился в канаву, испортил одежду, чуть шею не сломал... и за то, что упустил вола,— теперь под зад коленкой, на улицу, без предупреждения! И после этого он будет опознавать их? Полагаешь, он настолько глуп?

— Если бы знать точно...

— Я точно знаю. Между нами: Тиль пристроен. В одной газете. Где — не скажу.

Некоторое время оба молчат, потом Калюббе говорит:

— Знаешь, Штуфф, все произошло так быстро... Я действительно не помню, кого из крестьян видел в трактире, а кого у горящей соломы.

— Вот это другой разговор! Если тебе когда-нибудь надоест быть исполнителем, Калюббе, черкни мне открыточку.

Собеседники направились к выходу...

За их спиной раздался голос:

— Минутку, господа. Это было так интересно!..

Из кабинки выглянул молодой человек, которого четверть часа назад Штуфф приветствовал в зале.

— Чертовски интересно, в самом деле... Прошу прощения, господа, я был тут занят, да и не хотел прерывать вас. Да, великолепный образец давления на свидетеля, в жизни ничего подобного не слыхал. Поистине блестяще!

Он стоял в дверях кабинки, делая вид, что возится с подтяжками. Вокруг его глаз лучились тысячи морщинок, и Штуфф, несмотря на замешательство, отметил про себя: «Да никакой он не молодой, это прожженный подонок. Сволочь!»

— Фантазии,— проворчал Штуфф.— Что вы могли расслышать, когда кругом льется вода.

Неизвестный вытащил из кармана пачку туалетной бумаги.

— Извините, другой не было. Я знаю стенографию. И ваша беседа показалась мне достойной того, чтобы запечатлеть ее.

— Лжете. Это чистая бумага. Меня не одурачишь! А ну, покажите!

Толстяк Штуфф делает молниеносный выпад, пытаясь схватить шантажиста за руку, в которой зажата бумага. Тот, как молотом, бьет кулаком по руке Штуффа. Штуфф отвечает ударом слева в живот. Неизвестный ретируется к стульчаку.

— Калюббе! — рычит Штуфф.— Хватай бумагу!

Неизвестный, уже стоя на стульчаке, отвечает сверху невозмутимо:

— Забавно, господа, весьма забавно...

В эту минуту в туалет входят несколько посетителей. Все трое принимают мирные позы. Калюббе нажимает кнопку мыльного автомата. Неизвестный щупает наверху сливной бачок, а Штуфф, прислонившись к дверям кабинки, консультирует:

— Наверно, поплавок заклинило...

Посетители, наконец, завершили свои дела. Один из них начал было брать интервью у Штуффа, но тот грубо оборвал его:

— Оставь меня в покое. Сейчас блевать буду,— после чего интервьюер удалился.

Не успела захлопнуться дверь, как Штуфф в одно мгновение захватил ногу противника и рванул на себя. Неизвестный, дважды стукнувшись головой о стену, рухнул со стульчака на пол. И вот он лежит в углу, побледневший, с кровоточащей ссадиной, стиснув в кулаке ком бумаги, а Штуфф силится разжать ему пальцы.

— Не разожмете. Эта рука крепко держала оружие, Штуфф...

— Я так и думал, что вы меня знаете...— Штуфф отпустил незнакомца, выпрямился.

Калюббе, с белым от страха лицом, молча глядел через его плечо.

Поднявшись, неизвестный поклонился.

— Разрешите представиться: Хеннинг. Георг Хеннинг. И простите за эту шуточку. Мне иногда охота поребячиться.

— Что ж, бывает,— сказал Штуфф и, обернувшись к Калюббе, добавил: — Не бойся. Он не проболтается.

— Вот стенограмма. Отправляем ее в преисподнюю. Теперь спускаем воду. Так. Безвозвратно!

— Ну и что вы хотите? — спрашивает Штуфф.— Не может быть, чтобы вы без всякого...

— Разумеется, нет. Но не то, что вы думаете. Кое-что другое. Дело в том, что существует фотоснимок горящей соломы и удирающих волов.

— Невероятно!

— Возможно, даже два снимка!

— И я об этом ничего не знаю?! — возмущается Штуфф.

— Погоди-ка! — вмешивается Калюббе.— Он прав. И как я забыл об этом! Там же был парень из газеты, хотел заснять аукцион. Потом я опять встретил его, он стоял за деревом, на шоссе в Хазельхорст, где поджигали солому. И еще раз видел его, когда мы прорывались через костер. Какой-то крестьянин, с черной бородой, вышиб у него аппарат.

— Этот парень,— вставил Георг Хеннинг,— этот молодой человек — сотрудник вашей газеты, господин Штуфф, и фамилия его Тредуп.

Штуфф оторопело перевел взгляд с Хеннинга на Калюббе. Тот утвердительно

кивнул. Штуфф опустил голову, сунул руку в карман и побренчал связкой ключей. Потом огляделся и начал играть цепочкой от часов.

Все трое помолчали.

— Вот что, господа,— прервал молчание Штуфф.— Не знаю, чем вы занимаетесь, господин Хеннинг, да и не желаю знать... Во всяком случае, мне тоже кое-что известно. Значит, это было в тот день, когда конфисковали волов. Вечером ко мне является Тредуп, очень взволнованный, и говорит, что хочет написать репортаж. На полколонки. В итоге получилось на две. Дело еще в том, что Тредуп у нас не получает твердого жалованья, ему платят проценты с объявлений и по пять пфеннигов за строчку, если чего сам сочинит.

Я ему говорю: «Тредуп, написали вы хорошо, но статья не пойдет. Знаю, что вам живется не сладко, что у вас жена, дети, но статью эту у вас не приму. Я лучше собственноручно брошу ее в печку. То, что случилось, касается крестьян, касается губернского правления, а городу Альтхольму и читателям альтхольмской «Хроники» на это дело совершенно наплевать».

— Ну, а Тредуп? Вскипел?

— Нет, нисколько. Он сказал лишь, что всякий раз, стоит ему написать что-нибудь дельное, я этого не принимаю. И ушел. С того дня со мной не разговаривает, ни строчки не пишет и не помогает мне в работе.

— А он говорил, что сфотографировал волов? — спросил Хеннинг.

— В том-то и дело, что нет. Ни слова.

— Значит, что-то задумал.

— Или снимки не получились...

— Почему же он умолчал об этом? В тот вечер он вряд ли успел проявить пленку.

— Завтра выездной суд,— сказал Хеннинг.— До того, как он начнется, нам надо знать, есть фотоснимки или нет. Поезд отходит в полдесятого. Вы, Калюббе, как авангард, явитесь до отхода и получите все необходимое для ваших свидетельских показаний. Вы, Штуфф, сейчас тоже отправляйтесь, встретимся с вами на углу Штольперштрассе и Бурштa. Тредуп живет на Штольперштрассе, 72. Подойдем туда в полпервого. Спросонья легче будет заморочить ему голову.

— Да вы настоящий полководец!.. Фронтовик, полагаю?

— Захватил лишь последние полгода. Был слишком молод. Но потом наверстал: Прибалтика, Рур, Верхняя Силезия, всюду, где было жарко.

— Это сразу видать. Ну, до скорого.

Туалет, наконец, опустел.

Ночью, после двенадцати, фонари на Штольперштрассе еле горят. Двое, встретившись в условленном месте, молча двинулись дальше.

Через некоторое время Штуфф спросил:

— А куда делся вол Тиля?

— Поймали и зарезали.

— Понятно. Прятать в хлеву рискованно.

— Еще бы. Предатели всегда найдутся.

Помолчав, Штуфф сказал:

— На фронте я пробыл всего шесть месяцев. Остальные четыре года торчал в тылу. Но я не увиливал, нисколечко. Все из-за моей специальности, я — наборщик. А наборщиков не хватало.

— Лучше всего было в Прибалтике,— сказал задумчиво Хеннинг.— Боже мой, до чего здорово быть хозяином в чужой стране! Ни с какими гражданскими не надо считаться. А девочки!

— Бросьте! В таких делах — и бабы!

— Сейчас я коммивояжер одной берлинской фирмы,— спокойно продолжал Хеннинг.— Доильные аппараты и центрифуги. Ни одной женщине неизвестно, где я.

— Не пьете?

— Никогда не напиваюсь.

— Тогда еще ничего.

— Не знаю, какой у вас план действий,— начал Хеннинг после паузы.— Я вот запасся настоящими документами: удостоверение инспектора уголовного розыска и жетон.— Отвернув лацкан летнего пальто, он показал жетон уголовной полиции.

— Нет, не пойдет. Тредуп, вероятно, знает в лицо всех наших сыщиков. И если сорвется, скандал будет колоссальный. Прибережем этот вариант на будущее. Думаю, обойдется деньгами.

— Как вам угодно, камрад,— сказал Хеннинг и притронулся к шляпе.

Штуффу это понравилось. Он прибавил шагу и стал поглядывать на двухэтажные домишки.

— На следующем углу, во дворе,— пояснил Хеннинг.— Только перелезть через ворота.

— Вы уже все изучили.

— Пять дней охочусь за ним. Осторожный. Ни в один кабак не заходит. Не пьет, не курит, на девок не смотрит.

— У него нет денег.

— Именно. С такими труднее всего.

— Или всего удобнее.

Перебравшись через решетку ворот и обогнув какой-то сарай, они очутились в небольшом дворике между двумя палисадниками.

Завешенное окно светилось.

— Вот его жилье. Давайте посмотрим.— Они попытались заглянуть в окно.— Не видно? Ничего? Почему же горит свет? Неужели в час ночи еще не спит?.. Погодите. Станьте-ка в сторонку, чтобы он вас не увидел. А я постучу.

Штуфф тихонько постучал в стекло.

Едва он отнял руку от окна, как на гардине обозначился чей-то силуэт, словно там только и дожидались этой секунды.

— Н-да, врасплох не удалось,— проворчал Штуфф, а его сообщник в знак сочувствия положил руку ему на плечо.

Гардина отдернулась, в раскрывшемся окне показалась голова, и тихий голос спросил: — Кто там?

— Это я, Штуфф. Можно с тобой поговорить, Тредуп?

— А почему нет? Если тебя не смущает... обстановка, заходи. Сейчас отопру.

Окно закрылось, гардину задернули.

— Мне тоже идти? — спросил Хеннинг.

— Конечно. Нечего разводить с ним церемонии.

Тихо отворилась дверь, на пороге стоял Тредуп.

— Входи, Штуфф. Ах, вас двое? Прошу, прошу.

Комната, в которую они вошли прямо со двора, невелика. На комоде горит затененная керосиновая лампа, освещая кипы конвертов, адресную книгу, чернильницу и ручку. У стены две кровати. Под одеялами спящие фигуры. Глубокое, ровное дыхание.

— Можете говорить вполголоса. Дети спят крепко, а жена не слушает того, что ей не положено слушать.

— Чем это ты допоздна занимаешься, Тредуп? — Штуфф показывает на комод.— Да, знакомьтесь: господин Хеннинг — господин Тредуп.

— Надписываю адреса для одной мюнхенской фирмы. Пять марок за тысячу. Ведь в «Хронике» много не заработаешь, не правда ли, Штуфф?

— Очень жаль, Тредуп, что так получилось с твоей статьей. Но у меня есть для тебя кое-что получше. Господин Хеннинг здесь проездом, поэтому я привел его к тебе не откладывая. Он покупает фотографии для одного иллюстрированного журнала... интересуется твоими снимками, которые ты сделал во время конфискации волов... За снимок пятьдесят марок.

Несколько сбивчивое вступление Штуффа Тредуп выслушал спокойно, с улыбкой.

— У меня нет снимков конфискации волов.

— Мне точно известно! Подумай, Тредуп! Это же хорошие деньги!

— И я бы взял их, ей-богу! Мне ли быть разборчивым... Да, я щелкнул несколько раз, но ничего не получилось. Какой-то деревенский олух вышиб у меня камеру.

— Верно, господин Тредуп,— вставил Хеннинг,— я слышал об этом. Но еще прежде вы успели сделать снимок. А может, и два.

— Один.

— Хорошо, один. Если вы уступите мне всю пленку с отпечатками, я заплачу вам по сто марок за каждый снимок.

Тредуп осклабился.

— Это двадцать тысяч адресов. Сто шестьдесят часов ночной работы. Но такозы уж мы, неудачники, все выгодные дела минуют нас. На первом снимке сплошной дым.

Штуфф умоляюще: — Тредуп!..

Тредуп снова улыбнулся.

— Значит, не верите. Считаете меня миллионером, который строчит адресочки из спортивного интереса. Сейчас убедитесь.— Выдвинув ящик комода, он стал в нем рыться.— У меня была пленка на двенадцать кадров. Три кадра — церковная новостройка в Подеюхе: два внутри, один снаружи. Вот они, пожалуйста. Затем два кадра — конфискация волов. Вот кадр с дымом. Посмотри на свет, увидишь, что это дым. А вот — неудавшийся, когда крестьянин вышиб у меня из рук... сотню марок. За этот кадр, Штуфф, ты мне уже заплатил, помнишь — автомобильная катастрофа на Штеттинском шоссе? Итого: шесть. С седьмого по десятый: снимки ярмарки. Одиннадцатый и двенадцатый — открытие большой бензоколонки. Ну как, сходится?

— Боже мой, Тредуп, мы тебе и так верим.

— Не похоже.

— Очень жаль, господин Тредуп,— сказал Хеннинг,— я бы охотно совершил с вами сделку. Может, продадите мне три снимка Подеюхской церкви? Нашему журналу они вполне подойдут. Пять марок за кадр. Согласны?

— Пожалуйста.

— Ну вот, не смеем вас больше беспокоить. Вам тоже пора на боковую.

— Да, пожалуй, на сегодня хватит. Чертовски устал. Осторожно, не споткнитесь. Погодите, я отопру ворота. Спокойной ночи, господа, и большое вам спасибо.

Оба визитера зашагали по улице.

— Как вы думаете, он не соврал? — нерешительно спросил Штуфф.

— Трудно сказать. Как-то у него все слишком быстро нашлось, и пленка наготове, и все кадры пересчитаны.

— О, что касается этого, то Тредуп у нас образец порядка и педантичности. А за сотню марок...

— Вот это меня и утешает. Значит, передайте завтра Калюббе, что ему никого не надо опознавать.

— Передам. Ну что ж, до свидания, господин Хеннинг.

— Где-нибудь наверняка еще увидимся. Мне в эту сторону, к гостинице. Спокойной ночи.

— Спокойной ночи.

Погасив лампу, Тредуп лег в кровать к жене.

— Элиза, я вот что думаю. У нас два отца города. Обер-бургомистр — правый, там никаких шансов, значит, и толку никакого. А бургомистр — левый, к тому же он начальник полиции. Вот к нему я завтра и пойду.

— Тебе, Макс, виднее,— ответила жена.— Лишь бы денег хоть немножко дали. У Ганса подметки совсем дырявые, а Грете две сорочки нужны.

— Во-первых, пятнадцать марок у нас уже есть. Но за пятнадцать марок меня не купишь. И даже за сто. Вот за пятьсот еще куда ни шло.

После этого супруги уснули.

Каждое утро Тредуп, как обычно, приходит к десяти часам в ратушу и осведомляется у заведующего канцелярией, есть ли какие-либо объявления городских властей в «Хронику».

Сегодня, получив две-три бумажки, он сунул их в портфель, поднялся на второй этаж и через двустворчатую дверь вошел в длинный белый коридор с красными дверями. Он знал, что где-то здесь находится кабинет бургомистра Гарайса, полицейского владыки Альтхольма...

Бургомистр один. Сидит за письменным столом и разговаривает по телефону. Услышав звук открывающейся двери, он поворачивает голову к посетителю, слегка щурится, всматриваясь в него, и указывает жестом в сторону приемной.

Тредуп, вошедший не через приемную, тихо притворяет за собой дверь и остается в кабинете. Он стоит чуть наклонившись, весь внимание и почтительность.

Бургомистр Гарайс продолжает разговаривать по телефону.

Тредуп слышал, что бургомистр — самый рослый человек в Альтхольме. Но увидел он не дылду, а человека-слона, колосса. Невероятных размеров конечности, глы-

ба мяса, распирающая пиджак, двойной подбородок, обвислые щеки, толстые мясистые кисти рук.

Гарайс словно забыл о посетителе и спокойно продолжает высказывать в трубку свои соображения по поводу какого-то заседания.

Разговор неинтересный. Тредуп начинает осматриваться в кабинете.

Внезапно он замечает, что его тоже разглядывают, и ему становится не по себе от тягостного ощущения, что эти ясные, светлые глаза, устремленные на него, видят все: неглаженые брюки, грязные ботинки, плохо вымытые руки, бледность лица.

Нет, он не ошибся: на полуобрамленной телефонной трубкой физиономии бургомистра появилась улыбка, адресованная ему. Гарайс указывает на кресло возле письменного стола, делает приглашающий жест и, не отнимая трубки от уха, говорит посетителю:

— Минутку. Я сейчас закончу.

Посетитель садится. Бургомистр, положив трубку на рычаг, опять улыбается и спрашивает:

— Ну-с, где горит?

Тредуп вдруг почувствовал, что этому человеку можно сказать все, что он все поймет. Жаркая волна умиления, чуть ли не восторга захлестнула его, и он ответил:

— Где горит? В Грамцове, на дорогах в Хазельхорст и в Лоштедт.

Лицо бургомистра делается серьезным, он раза три-четыре кивает и задумчиво рассматривает гигантский карандаш, который вертит в пальцах.

— Да, там горело,— подтверждает он.

— А полиция интересуется поджигателями?

— Возможно. Вы их знаете?

— Знает один мой приятель. Может быть.

— «Один приятель» — это слишком неопределенно. Скажем: вы. Неизвестный. Икс.

— Хорошо. Мой приятель Икс.

Бургомистр повел плечами.

— Вы из Грамцова?

— Мой приятель? Нет. Из города.

— Нашего города?

— Вполне возможно.

Бургомистр приподымается. Тредупа охватывает страх. Ему кажется, будто на него двинулась гора, которая все растет, растет и никак не остановится. Он съежился в кресле, а где-то высоко над ним раздался голос:

— На разумные дела у меня сколько угодно времени, на неразумные — ни минуты. Мы здесь не играем в детектив. Вам что-то от меня надо, вероятно, денег. Хотите продать информацию? Меня она не интересует.— Тредуп пытается возразить, но голос продолжает: — Да, да, не интересует. Грамцов — не мой район. Это — сфера лоштедтских властей. Возможно, даже губернатора.

Бургомистр снова сел за стол и неожиданно улыбнулся:

— Но, пожалуй, я смогу вам помочь... Короче, хватит болтать попусту. Выкладывайте. Я научился держать язык за зубами.

Раздавленный Тредуп ожил.

— Ведь я был там тогда,— поспешно заговорил он.— Я все видел: чиновников, крестьян, волов.

— И вы сможете их опознать, наверняка?

Тредуп усердно закивал: — Более того.

— Знаете фамилии?

— Фамилии — нет, но...

— Но?..

— Я сделал два снимка: первый — костер на дороге в Хазельхорст, второй — на дороге в Лоштедт. Там крестьяне, которые разбросали солому и подожгли, все они там стоят...

Бургомистр погружается в раздумье.

— Я не читал протоколы допросов,— говорит он.— Но насколько мне известно, ни в одном из них не упоминается о каком-либо прохожем с фотоаппаратом.

В голове Тредупа проносится мысль: «Дело — не его? Протоколов не читал? А тем не менее ему известно... Что-то не сходится». И он осторожно говорит:

— Снимки эти есть.

— Не поддельные? Нас обмануть не удастся.

— Другая сторона знает о них. Сегодня в час ночи мне предложили за снимки пятьсот марок.

— Хорошая цена,— соглашается бургомистр. — Но сейчас они, может, не стоят и затраченной пленки. Выездной суд в Грамцове уже начался. Если чиновники опознают тех крестьян, за ваши снимки и гроша не дадут.

— А если... не опознают... Тот, что предлагал мне пять сотен, наверно, учел и это.

Бургомистр долгим, задумчивым взглядом смотрит на своего визави.

— А вы смекалистый. Сколько стоят снимки?

— Сегодня — тысячу.

— А завтра? Впрочем, ладно. Такой вариант не исключается. Фотографии у вас с собой?

— В любое время предоставлю их в ваше распоряжение,— уклончиво отвечает Тредуп.

— Верю, что они существуют. А отпечатки ясные, четкие? Лица видно?

— Так же как вы сейчас видите меня, господин бургомистр.

— Хорошо, господин Икс. Знаете что, обождите-ка в коридоре минут десять. Как я уже сказал, м е н я снимки не интересуют. Но, быть может, заинтересуют начальство в Штольпе. Так что прошу вас обождать. Во всяком случае, большое вам спасибо.

Не успел Тредуп выйти за дверь, как бургомистр нажал кнопку звонка к секретарю:

— Вот что, Пикбуш. Возьмите под мышку три папки, для виду, и пройдите по коридору как обычно. Там стоит молодой человек, бледный, черная шляпа с отвислыми полями, мятые брюки, портфель, шнурок на правом ботинке развязан. Невзначай взгляните, знакома ли вам эта личность. И сразу возвращайтесь.

Секретарь Пикбуш выходит в коридор.

Бургомистр поднимает телефонную трубку:

— Срочно соедините меня с губернатором. Лично и безотлагательно... Пока что дайте старшего инспектора полиции. А после него судью Грумбаха... Это вы, Фрерксен? Да, зайдите ко мне, пожалуйста, и вызовите служебную машину. Минут через пятнадцать поедете кое с кем в Штольпе. Да, сейчас же... Ну как, Пикбуш, узнали?

— Видеть-то я его видел, господин бургомистр, но...

— Итак, не знаете. Ступайте в уголовку: все, кто там есть, пусть по коридору разойдутся в разные кабинеты, в уборную, куда угодно. Кто опознает его — тут же звонит мне. Нет, лучше доложит лично... Да, кто у телефона? Господин Грумбах? Господин судья, говорит бургомистр Гарайс. Очень прошу вас отложить суд в Грамцове часа на два, если можно. Поступил любопытнейший материал... Выездная сессия может оказаться совершенно излишней... Почему? Сами увидите... Да, кое-какие источники у нас имеются... Пока еще не могу сказать, сейчас буду звонить в Штольпе... На мою ответственность? Не возражаю... Финансовое управление? Ну что там эти чиновники могут показать? Для вынесения приговора все равно не хватит... Думаю, даже обвинение возбудить не удастся... Либо все, либо ничего... Да, я вам еще позвоню. Я или губернатор... При чем здесь Тембориус? А при том, что ему придется платить. Это стоит денег. Деньги, деньги и еще раз деньги... Правильно, платить я предоставлю ему, а сам удовольствуюсь славой. Итак, до скорого!

Он кладет трубку. В кабинет входит секретарь.

— Можете идти, Пикбуш. Я же сказал: только если его опознают.

— Молодой человек исчез, господин бургомистр.

— Исчез?! То есть ушел?

Уставившись в одну точку, бургомистр размышляет: «Если это враг, одурачивший меня, то я опозорен. Если шпион, решивший выведать планы властей, мне конец... Да какой он, к чертям, шпион. Просто перетрусил». И добавляет вслух:

— Пикбуш, загляните-ка в туалет. Может, его туда понесло. — Секретарь направился к дверям. — Стойте! Фрерксена ко мне. Где он застрял?.. А, вот и он... Алло, Пикбуш, всех, кто сидит в приемной,— к асессору Штайну, пусть разберется. Обнадежит, отложит... Самое важное — ко мне, через четверть часа... Садитесь, Фрерксен,

намечается хорошенькое дельце: наконец-то у нас есть шанс снискать благоволение «товарища» Темборіуса.

■

Святилище губернатора Темборіуса — длинный кабинет, обшитый темными панелями. Здесь всегда сумрачно. Украшенные гербами и цветными ангелочками оконные стекла затеняют даже самый солнечный летний день.

Этот чиновник, вознесшийся на высокий пост благодаря поддержке однопартийцев, многочисленным связям и кое-какому административному опыту, не любит ничего яркого и громкого. Бесшумность, умеренность, мягкость лежат в самой его природе. Тихо, неторопливо, мягко правил он губернией — и так же без спешки, вполголоса, с кроткими интонациями совещается он сейчас с командиром полицейской части и с тайным финансовым советником Андерсоном. Где-то, в самом темном углу святилища, низенький жирный асессор заносит высказывания трех господ в протокол — ради спокойствия своего начальника.

— Весьма прискорбно,— почти шепотом говорит наместник министра внутренних дел,— весьма прискорбно, что за столь короткий срок не удалось связаться с прокуратурой. Грамцовское дело — это не рядовой случай, это — сигнал.

Полковнику полиции Зенкпилю хочется курить.

— Вот и надо решительно действовать,— вставляет он.

— Если снимки окажутся такими, как обещал Гарайс, мы наконец-то узнаем смутьянов.

— Смутьянов из одного села. А движение уже давно вышло за местные границы.

— Именно! Вот и увидим, были ли там эмиссары других районов.

— Господа... — опять вступает губернатор и, запнувшись, умолкает. Досадливо передернув плечами, начинает снова: — Господа... Для меня было бы весьма ценно знать мнение прокуратуры.

— Дело вполне ясное,— утешает его тайный советник Андерсон. — Если преступников сумеют опознать на снимках, приговор будет суровым.

Но Темборіус не успокаивается: — А поможет ли это? Устрашит ли других?

Полковник смотрит на тайного советника, советник на полковника. Затем, повернув головы, оба вглядываются в угол, где сидит ничтожнейший асессор.

Первым отвечает полковник:

— Устрашит ли? Надо полагать. Отсидят полгода — годик и образумятся.

Темборіус поднимает руку — узкую, костлявую, с длинными пальцами и набухшими венами.

— Вы говорите: да, устрашит. Но так ли это на самом деле?.. Господа, должен вам признаться, я считаю это движение очень опасным, чрезвычайно опасным, гораздо опаснее, чем КПГ и НСДАП. Худшее, что могло случиться, случилось: служебный аппарат дает перебои. Попомните мое слово: наступит день, когда управлять деревней станет невозможно.

Его собеседники ошеломлены:

— Господин губернатор!

— Да, да! Наши сельские старосты никогда не отличались усердием. Почти никто из них и прежде не старался исполнять официальные предписания в срок. Они работали крайне медленно. А теперь медлительность перешла в пассивное сопротивление. Документы неделями застревают в деревнях. Напоминания бесполезны, присужденные штрафы удается взымать лишь в принудительном порядке...— Помолчав: — В губернии насчитывается уже более двух десятков старост, которые не вручают налоговые извещения членам своей общины, а отсылают обратно с пометкой: «Потому что несправедливо». Слышите? Несправедливо! Старосты нисколько не помогают исполнителям, пример — Грамцов. А движение ширится. Машина скрипит и буксует. И это происходит именно в моей губернии...

— Министр вас ценит,— вставляет Андерсон.

— Нет, нет, не скажите... У меня такое впечатление, что в Берлине очень недовольны развитием здешних событий.

— Картина сразу изменится,— заявляет полковник,— как только они перейдут от пассивного сопротивления к активному. Грамцов был первой ошибкой крестьян. Если снимки выявят преступника, мы сегодня же предпримем решительные действия.

Это заставит крестьян совершить новые промахи. Позвольте мне дать команду моим людям. За стычками дело не станет, а уж при стычках наша победа обеспечена.

— Вы оптимист, Зенкпиль,— замечает Темборіус.— Исход подобного процесса весьма и весьма сомнителен... К сожалению, здесь не присутствует прокуратура.

— Всякие сомнения отпадут,— убежденно говорит полковник,— если снимки хорошие.

— Одни снимки дела не решают. Будут еще показания обоих исполнителей из финансового управления. Вы уверены в них, господин коллега?

Андерсон морщится:

— Да, да, конечно. Сегодня утром в Альтхольме мне что-то рассказывал Берг, и это меня озадачило. В городе поговаривают, будто Калюббе — вы помните, тот усердный исполнитель, который доставил своего вола в Лоштедт,— так вот, будто Калюббе в виде наказания переводят на другую должность. А второй, Тиль, который и работал-то у нас временно, якобы уволен без предупреждения.

Губернатор поводит плечами: — Это еще что?

Андерсон, подтянувшись:

— Во всяком случае, слухи исходят не от крестьян. Без сомнения, тут вмешались другие заинтересованные лица. Подозреваю, что... — он сделал паузу и, увидев напряженные лица, таинственно добавил: — из Берлина. Признаться, ход был сделан необычайно ловкий. Мой коллега Берг уверяет, что Калюббе совершенно переменился, его ничем не вразумишь. Известие о намеченном его повышении по службе он воспринял весьма скептически, короче — просто не поверил.

— Так почему же его не повысят немедленно? — восклицает губернатор.

— Сейчас, перед процессом? — сомневается Андерсон.

— Позвольте,— горячится полковник,— я припоминаю случай, когда один часовой открыл огонь по насмешникам, издевавшимся над ним. Его величество т о т ч а с произвел часового в ефрейторы.

Наступило неловкое молчание. Теперь уже обменялись взглядами Андерсон и Темборіус. Полковник тем временем энергично откашливался.

— И все-таки,— сдержанно замечает финансовый советник,— повышение Калюббе в настоящий момент исключается. Даже если бы он дал показания, не проявляя желательного в данном случае усердия. Впрочем, гораздо больше опасений мне внушает то, что второй чиновник, Тиль, исчез совсем.

— Исчез? Что значит — совсем?

— Нельзя же просто так исчезнуть! Квартира-то у него есть? Родители?

— Он жил в меблированных комнатах. Вещи еще там. Несмотря на тайное наблюдение криминальной полиции, обнаружить его пока не удалось.

Полковник пытается исправить свой промах:

— Искать его, пожалуй, и не обязательно. Искать надо человека, который пустил этот слух. Ведь это только слух, не правда ли?

— Слух... — раздраженно повторяет Андерсон. — Ну да... Разумеется, мы проверили, не было ли с их стороны превышения полномочий, когда они повели волов в Лоштедт вместо Хазельхорста. Во всяком случае, при сложившейся ситуации мы не собираемся ни переводить кого-либо, ни увольнять.

Полковник торжествует: — Ага, так я и думал! Значит, все же кое-что обсуждалось... Ищите людей, которые не умеют держать язык за зубами.

Зазвенел телефон.

Темборіус оборачивается: — Господин асессор Майер, будьте любезны... Я категорически запретил беспокоить меня сейчас. Выясните, кто нарушил мой запрет.

Асессор подходит к аппарату. Трое собеседников умолкают и с ожиданием смотрят на асессора. Тот слушает, говорит «да», опять слушает, говорит «нет» и снова слушает...

Губернатор: — Прошу вас, господин асессор...

Майер протягивает телефонную трубку в сторону губернатора. Лицо асессора побледнело, на лбу выступили капельки пота.

— Я полагаю...— еле слышно произносит он,— кажется, это очень важно... Вы сами...

Темборіус с неожиданной покорностью поднимается и идет к аппарату, бормоча: — Ну, что там еще? — Берет трубку. — Да, у телефона губернатор Темборіус... да, да, это я... кто говорит? — Потеряв терпение: — Что вам нужно, ну?

Мужской голос в трубке сообщает:

— К вам в кабинет направились продавец снимков Тредуп и старший инспектор полиции Фреркссен. А посему предупреждаю: через пять минут ваша резиденция взлетит на воздух.

Высокий, худой, суховатый, тихий чинуша, прижав трубку к уху, внезапно кричит срывающимся голосом:

— Что? Что?! Послушайте, ваши шутки... — и тут же умоляюще: — Кто это говорит? Назовите хотя бы свою фамилию. Кто? — Опустив руку с трубкой, губернатор в недоумении обводит взглядом собеседников.— Что вы скажете? Ну что вы, спрашиваю, на это скажете? Через пять минут резиденция взлетит на воздух!

— Блеф,— говорит полковник, шагает к телефону и бесцеремонно отбирает у Тембориуса трубку: — Фрейлейн! Фрейлейн! Полицейскую казарму, быстро! Кто это? Старший лейтенант Врэдэ? Э-э, камрад, срочно все отряды к резиденции, все до одного. Жду вас у подъезда. Налет!.. Фрейлейн, мигом обзвоните все кабинеты: всем немедленно покинуть здание. Немедленно! А ваша коллега пусть пока выяснит, откуда только что звонили... Вы же подслушивали, не правда ли? Ну вот. Так я и думал. — Он кладет трубку. Улыбается. — Ну-с, господа, еще четыре минуты. И все-таки это блеф, скажу вам.

— Но это же безумие! — кричит Тембориус. — Как он смеет?..

Открывается дверь. Вслед за старшим инспектором Фреркссеном в кабинет входит Тредуп. Он в измятой одежде, бледный, подавленный. Фреркссен отдает честь.

— Явился по вашему приказанию, господин губернатор!

Тембориус моргает: — Из Альтхольма? По поводу снимков?

Фреркссен утвердительно кивает.

Тембориус, чуть слышно: — Ну и бургомистр у вас! Это он, Гарайс, заварил всю кашу!.. Слушайте, вы, с вашими злосчастными снимками! Чтобы я вас здесь...

— Господин губернатор, позвольте,— вмешивается Андерсон и, обращаясь к вошедшим, добавляет: — Извините нас. Мы несколько возбуждены... Дело в том, что через три минуты здание резиденции взлетит на воздух...

Тембориус перебивает его: — Извинчте меня, господа. Здесь важные бумаги, государственные документы... Мне надо сначала... Господин асессор Майер, я уполномочиваю вас... Оформите покупку, выдайте вознаграждение... Господа, документы...

Темная двустворчатая дверь бесшумно закрывается.

— Итак, господин асессор,— торопливо говорит полковник,— вы теперь главная фигура. Прошу извинить — меня ждут мои люди.

Старший инспектор Фреркссен: — С вашего позволения, господин камрад, меня тоже интересует решение этой полицейско-тактической задачи...

Андерсон: — Поскольку полномочия у вас, я здесь не нужен. До свидания. — Он спешно удаляется.

В огромном кабинете остаются двое: асессор Майер — низенький, с побелевшим, типично еврейским лицом, немного вспотевший, и Тредуп — долговязый, бледный, запачканный, небритый.

Асессор оглядывает стоящего у двери Тредупа.

— А вам не страшно? — спрашивает он.

— Я хотел бы получить деньги,— отвечает тот, безучастный ко всему происходящему. — Вот снимки. — Он достает из внутреннего кармана пиджака завернутые в бумагу фотографии, разворачивает и, держа по одной в каждой руке, показывает их асессору.

Майер бросает беглый взгляд на снимки: люди, струя дыма, какой-то высокий крестьянин с бритым лицом и резкими морщинами разжигает огонь.

— Хорошо, хорошо, положите их... Неужели вам не страшно?

— Сначала деньги... Вы ведь тоже еще здесь.

— Да, да. Что это?..— Он прислушивается, глядя в сторону окна. Снаружи доносится трель свистков, беготня, многоголосый шум толпы. — Знаете что, приходите за деньгами завтра.

— Нет, сейчас,— настаивает Тредуп.

Асессор, торопливо: — Но кроме нас здесь уже никого нет, наверное. Где я возьму деньги?

— Сходим в кассу,— предлагает Тредуп.

— Сейчас?

— А как же. Нет денег — нет снимков.

— Боже мой, идемте...

И Майер поспешил вперед, низенький, плоскостопый, с чуть кривыми ногами. В коридоре все двери были распахнуты, возле стула лежали несколько папок, очевидно брошенных в спешке и соскользнувших на пол. Чуть подальше валялась пуховка из чьей-то пудреницы. Движущиеся кабины патерностера сновали как привидения.

Асессор остановился.

— Нет, лучше по лестнице. Если подложили бомбу, то наверняка в лифтовую шахту... Нет, вздор... Если будет взрыв, нам так и так конец. Идемте.

Железная дверь в помещении кассы на первом этаже не заперта. Они входят.

— Непостижимо! — бормочет асессор.

Большой несгораемый шкаф приоткрыт. За барьером передвижной столик кассира, набитый пачками денег. Решетчатая крышка столика не на замке.

— Прошу,— показывает асессор на деньги. — И ради бога побыстрее.

Тредуп вопрошающе смотрит.— Мне самому?..

Майер нетерпеливо: — Да скорее же! Думаете, я герой?

Тредуп: — Если позволите, я возьму десятимарковыми.

Асессор Майер стонет: — О господи!

Тредуп: — Не бросится в глаза, когда буду тратить.

— Если потратить их вам еще удастся...

Тредуп считает обстоятельно, не спеша. Дело двигается не очень споро, наконец, тысяча отсчитана.

— Ну пойдемте же, пойдемте...

— А расписку не надо?

— Нет, пошли, пошли.

Здание губернского правления оцеплено полицией. По краям опустевшей Рыночной площади колышется толпа.

На гранитных ступенях парадной лестницы появляются две фигуры и на глазах затаившей дыхание толпы медленно, держась рядышком, пересекают площадь.

Полковник Зенкпиль идет им навстречу и, подняв руку, показывает на часы.

— Ну, что я вам говорил, господа? Двенадцать минут! Детский розыгрыш!

Асессор Майер трясет руку сборщику объявлений «Хроники».

— Очень рад был познакомиться. Если чем-нибудь смогу быть полезен, заходите ко мне запросто.

Высмотрев свое начальство, асессор направляется в его сторону.

Тредуп смешивается с толпой. О чем-то вдруг вспомнив, он тут же пробирается обратно. После переговоров полицейские впускают его за оцепление.

Асессор Майер стоит в окружении нескольких господ. Подойдя, Тредуп трогает его за плечо.

— Извините, господин асессор, но мы совсем забыли о снимках. Вот они.

Губернатор всплескивает руками: — Господин асессор, я вас просто не понимаю! Стоит мне хоть раз что-то не сделать самому...

Ясным летним утром по шоссе из Штольпе в село Грамцов мчится мотоцикл. За рулем Георг Хеннинг, представитель берлинской фирмы «Доильные аппараты и центрифуги». Ему надо не только преодолеть семьдесят километров пути, но и опередить возможный телефонный звонок жандарму в Хазельхорсте: тому в любую минуту могут приказать взять под арест сельского старосту Раймерса.

Но Хеннинг рассчитывает на замешательство в Штольпе и надеется, что успеет предупредить Раймерса. Он всегда успевал в подобных случаях.

«Если встречу жандарма на велосипеде перед Грамцовом, сшибу к чертям,— думает Хеннинг. — Пусть Раймерс успеет собраться, достанет денег, уничтожит бумаги... Впрочем, собирать вещички необязательно... А вечером непременно повидаться со Штуффом... Потом в редакцию «Бауэрншафт», они там до восьми или до девяти. Затем — к Тилю... Да, господа штольповцы, сегодня ночью будет вам сюрпризик!».

Вот и двор старосты. Прислонив мотоцикл к стене сарая, Хеннинг взбегает по ступенькам крыльца. В темных сенях с визгом отскакивает в сторону батрачка.

— Тихо, Мария! — командует он и, облапив девушку, чмокает ее в губы.

Потом, стукнув в дверь, входит в горницу.

Хозяин восседает на большом стуле у письменного стола и неторопливо покуривает послеобеденную сигару. Перед ним кофе и коньяк.

— Здравствуй, Георг,— приветствует он гостя.

— Здорово, Франц. Ого, кофе. Выпил бы чашечку. А если найдется еще и пообедать...

Хозяин выходит и отдает распоряжение. Чашку кофе он приносит сам.

— На. Мешай по вкусу,— говорит он и, глядя, как гость смешивает напитки, добавляет: — А сенокос нынче добрый будет.

— Ну и что? А вот на сбыт доильных аппаратов нынче плохие виды... Между прочим, сегодня тебя арестуют.

Хозяин смотрит на кончик сигары: — Из-за волов?

— Ага, из-за них.

— Значит, тот поганец из «Хроники» все-таки сделал снимки?

— Сделал,— подтверждает Хеннинг.

— Больше денег надо было посулить.

— Знаю. Но за посул он бы не отдал.

— Деньги, все деньги... Мы бы уже в десять раз больше сделали... Да что там... — Хозяин расхаживает взад и вперед. Курит.

Вошла Мария, поставила на письменный стол обед и удалилась.

Хеннинг начал есть не спеша, смакуя. Со двора доносились веселые возгласы батрачек. Хозяин продолжал ходить взад-вперед.

Наконец Хеннинг покончил с едой, налил себе еще чашку кофе, выпил, закурил сигарету.

— Ты не думаешь укладываться, Франц?

— Нет.

— А раздобыть деньги? Сжечь кое-какие бумаги?

— Мне опасаться нечего, пускай приходят.

— Тоже верно.

— Слушай, Георг, а как ты вообще про это пронюхал? И почему они еще не заявились?

— Когда вечером отсюда ехал, у меня опять засверлило в мозгу: все-таки должны быть у него снимки. Утром позвонил Штуффу, но он Тредупа еще не видел.

— Не связывайся со Штуффом.

— Чего ему не положено знать, он от меня не услышит... Так вот, я и подумал: «Кто может купить снимки? Прокуратура не даст ни гроша, она просто вызовет его как свидетеля. «Красный» Гарайс из Альтхольма — тот не имеет права распоряжаться деньгами как хочется. Горожане за ним присматривают зорко. Остается Темборіус, штольповский мерин». Еду в Штольпе. И точно: вскоре после двенадцати они примчались. Этот спесивый Фрерксен — ну, который из школьных подлиз выслужился до старшего инспектора. И Тредуп. Тот успел меня засечь, когда я сворачивал за угол.

— Гляди, чтоб тебя не заарестовали.

— Завтра наверняка попробуют — сегодня вечером большое дело готовится. А утром я уже буду далеко... Так вот: жду пять минут и звоню Темборіусу. Из автомата на почтамте. Сначала не хотели с ним соединять. Тогда говорю, что жизнь губернатора в опасности, ну и тут его дали.

— Что ты ему сказал?

— Покорнейше доложил, что его поставщик фотографий и полицейский кот прибыли, ждут в передней на задних лапках...

— И?

— И что через пять минут его балаган взлетит на воздух. Слышал бы ты, как этот мерин засопел. Клянусь, он наложил в штаны — из трубки завоняло...

— Ну а потом?

— Когда я стартовал к тебе, туда уже стягивали всю полицию.

— Неплохо. Только вот газеты опять загалдят, а ты знаешь, что такой галдеж крестьянам ненадобен.

— Газеты? Даю голову на отсечение, что напечатают не больше пяти строчек. Сообщат, к примеру, что это проделка какого-то остряка... Или: все оказалось учебной тревогой на случай подобного случая...

— Возможно. А ты, Георг, брось это баловство. Наше дело благозаконное, шуметь нам ни к чему.

— Вам-то да. Но поверь, Франц, без шумихи не обойтись. — Словно боясь, что его перебьют, он торопливо добавляет: — Никого из вас это не коснется. Никто ничего не пронюхает. Я сделаю все сам. — После паузы. — С парой дружков. Одному не провернуть. Но ты их и знать не будешь.

— Может, ты и прав.— Хозяин подошел к Хеннингу вплотную.— Я тебя не прошу и тебе не мешаю, но... — Повысив голос: — Ежели ты сядешь в дерьмо, я тебя вытаскивать не стану. И ни один из нас тебе не пособит. Наше дело нельзя марать.

— Я никогда никого не просил о помощи,— сухо отвечает Хеннинг. — Если били, не жаловался. Точка... Когда смываешься?

— Удирать не буду.

— Предлагаю с удобствами. Отвезу тебя на своей колымаге в Штольпермюнде. Месячишка два-три поплаваешь рыбаком на шхуне. К тому времени все утрясется, и вернешься.

— Не имею права исчезать. Я нужен движению.

— Какая от тебя польза за решеткой?

— Большая. Может, еще больше, чем на воле. И вот почему: арестовывать меня придет не сельский жандарм, сюда нагрянет сама шупо[1], из города. Так вот: дай знать крестьянам. Обзвони по телефону окрестные села, чтобы все, кто на ногах, шли сюда. Скажи посыльным, что указания им дадут в округе. Георг, я хочу, чтоб меня заковали, чтоб в кандалах повели к тюремной машине! А ты давай фотографа и в завтрашний номер «Бауэршафт» — снимки!

— Убедил. После сегодняшней суматохи, конечно, явится шупо.

— А я буду сидеть здесь и чистить ружья, — продолжал рассуждать хозяин. — Пришлют, наверно, какого-нибудь молодого лейтенантика, он, как увидит у меня оружие, сразу взбеленится. Нынче полицейские все помешались на этом... Озвереют непременно. А крестьяне... ты не знаешь, до чего их тяжело раскачать, у мужика все его добро по частям из рук тащат, а он гнется! Зубами скрипит, но гнется. Вот она, покорность перед начальством, она у них в крови... Но если уж меня в кандалах поволокут, может, хоть это подействует на них...

— Еще как!

— И вот что, Георг: повидай сегодня Редера из Каролиненхорста, он остается здесь заместо меня. Пусть в воскресенье парни из четырех-пяти деревень объедут верхом округу и зачитают заявление о нарушении прав. Текст возьмешь у Падберга, в редакции «Бауэршафт». Пусть созовут всеобщий сход и устроят в Альтхольме большую демонстрацию протеста. И промаршируйте возле тюрьмы. Уж я вас услышу из камеры.

— Все будет сделано.

— И не забудь передать, чтобы собирали деньги. Деньги нам очень нужны. «Бауэршафт» пускай напечатает призыв к пожертвованиям. Мне надобен первейший в мире адвокат. Процесс должен стать политическим.

— Знаю одного. Справлюсь в Берлине.

— Наипервейший! Знаешь, Георг: если за мной придут шупо, если меня закуют да еще поколотят — это будет лучший день в моей жизни!

Экономка губернатора Тембориуса вернулась домой лишь к половине первого ночи. Вечером она была в кино, встретила там знакомых, а потом посидела с ними часика два в кафе «Коопман».

В Штольпе экономка Клара Гель личность известная и уважаемая. Все помнят, что когда-то она была самой обыкновенной судомойкой. Смышленая, прилежная, знающая обхождение с людьми, она пробилась наверх и теперь управляла большим домашним хозяйством холостяка Тембориуса. И каждый горожанин и селянин знал, что неофициальный путь к Тембориусу ведет через его экономку: когда бюрократизм торжествовал победу, одна Клара умела затронуть в губернаторской душе ту или иную человеческую струнку.

Клара Гель засиделась в кафе. Ей снова и снова приходилось рассказывать о том, как повлияла на господина губернатора эта грубая шутка с бомбой: он очень скверно

[1] Шупо — государственная полиция в Германии до 1945 г.

себя почувствовал, сразу лег в постель и принял, по меньшей мере, три таблетки пирамидона.

«Я заставила его пропотеть. Он выпил липового отвару, в восемь я потушила у него свет и сказала, что ухожу. Иначе он звонил бы мне весь вечер...».

И вот она идет домой. Половина первого ночи, но ей не страшно, хотя впереди плохо освещенная улица с редко стоящими особняками. Кругом деревья — вдоль улицы, в садах,— и в некоторых местах совсем темно.

Шагах в двухстах от дома ей встретились двое мужчин. Один из них приподнял шляпу и вполголоса вежливо произнес:

— Добрый вечер.

Экономка поздоровалась в ответ и пошла дальше. Когда она открывала калитку в палисадник, ей показалось, что за ней наблюдают. Она оглянулась: невдалеке смутно виднелись два мужских силуэта, те прохожие остановились.

«Стойте себе, стойте,— подумала она. — Я уже не гожусь для вас. Вот лет двадцать назад...».

Она прошла по хрустящей гравийной дорожке к дому и стала отпирать входную дверь, стараясь не шуметь, чтобы не потревожить губернатора,— дверь его спальни выходила в прихожую.

Неожиданно входная дверь открылась — она вовсе не была заперта.

«Ох, эти девчонки,— сердито подумала домоправительница. — Уж я им устрою головомойку. А Эрну пора выпроваживать, пусть срочно венчается со своим Вилли. Еще две-три недели — и губернатор сам смекнет, почему потолстела его горничная».

Экономка включила свет и обнаружила еще одну улику — посреди прихожей стояла коробка, обыкновенная белая коробка из-под маргарина. «Ага, значит, Мальман все-таки прислал консервы! — подумала она. — И эти бесстыдницы не могли убрать!».

Гель подняла коробку и унесла по длинному коридору в кухню, расположенную в пристройке; там она поставила ее в кладовую, проверила, хорошо ли закрыт газовый кран, на обратном пути выключила всюду свет и поднялась по лестнице к себе в спальню.

Задергивая штору, экономка бросила последний взгляд на улицу. Странно, те двое мужчин вернулись и стоят в тени деревьев, она ясно различает их темные силуэты.

«Может, вторая девчонка завела нового ухажера?» Гель уверена, что ни одного из мужчин прежде не встречала, хотя лиц их не смогла разглядеть.

Она зажгла свет, подошла к кровати, взялась за покрывало...

И в ту же секунду ей показалось, будто в комнату ворвался ураган. Что-то подхватило ее, подняло вверх... еще выше... Она зажмурилась... Сейчас будет потолок...

Но тут она упала... раздался грохот, словно настал конец света. Ей почудился ее собственный крик...

И вот она лежит навзничь, еще в сознании. А вокруг тихо-тихо...

Потом что-то зажурчало по стенам, в ее ушах...

И наступил мрак. Жуткий черный мрак.

■

По песчаной дороге из Дюльмена к Бандековскому хутору бредет человек. Судя по одежде и обуви, его можно принять за солидного господина. И все же чего-то в его облике для этого не хватает: ни одна горничная, которой пришлось бы докладывать своей хозяйке о его визите, не признала бы в нем барина.

Жарко, и человек не спешит. Он то идет, то останавливается и задумчиво разглядывает следы на песке.

«В сторону хутора проехал мотоцикл,— рассуждает он.— Это ясно. Обратно не возвращался. По карте это единственная дорога к хутору. Миленькая глушь. До ближайшей станции пятнадцать километров».

Шумно отдуваясь, человек оглядывает местность. Ничего особенного, жалкий заурядный пейзаж: песок, карликовые сосенки, черничные кустики и изобилие можжевельника.

«Вообще-то графам так и полагается жить,— думает он. — Да и этот граф тоже какой-нибудь фон Голь-гольянский, сын дворянский... Интересно, что там удастся выведать...».

Когда человеку уже пятьдесят два, а он, несмотря на свои способности, все еще в звании ассистента сыскной полиции, то подобные рассуждения связаны у него, естественно, с кое-какими надеждами. Со времен Ноябрьской революции многие коллеги-ассистенты Пардуцке из Альтхольма на его глазах стали следователями, старшими следователями, даже комиссарами. Он же остался тем, кем и был, несмотря на все свое усердие.

«Если удастся раскрыть эту бомбовую чернуху, меня обязаны повысить, пусть я и не член их партии.— Он поднял брови.— Нет, вряд ли! Если бы они все делали как положено, я бы давно уже был комиссаром, сразу после капповского путча. Но эти гарайсы и фрерксены, вся их «красная» шайка, только рады нагадить человеку».

Пардуцке — прирожденная ищейка, разнюхивать — его страсть. Даже рискуя нарваться на неприятность, он все равно не бросит следа, если уж почуял его. Как, например, сегодня, когда вынул из своего почтового ящика записку, всего два слова: «Бомбы — Бандеков».

Своим начальникам Пардуцке ничего не сказал об этом следе. Он решил, что в случае удачи сам доложит губернатору или министру непосредственно, а то еще начальники, утаив его рапорт, присвоят себе его заслуги. Формально же он отправился в Бандеков по следам похитителей скота. «Блестящий повод представиться этому графу Голяку!»

Стоит июль, тихая пора для крестьянина. На полях безлюдно. Луга пустые. До жатвы еще недели две, а сенокос уже окончился.

«Жаль, никого не видно. Ни одной девки — у них-то больше всего и разузнать можно».

Сзади послышался шум: по дороге приближался открытый четырехместный «опель». Пардуцке шагнул к обочине, хотя машина не очень пылила. Она ползла, тащилась по рыхлому песку, так что сыщик преспокойно разглядел четырех пассажиров.

На заднем сиденье двое, по виду крестьяне, оба ему незнакомы. Крестьян из этих мест он вообще не знает. Но вот впереди...

Ему стало жарко. До чего же повезло с этой запиской, какое счастье, что он сразу устремился сюда. Ну кто бы подумал о Бандекове! А то, что в Бандекове явно нечисто, теперь уж сомнений нет.

Того, кто за рулем, он хорошо знает. Это Падберг, главный редактор газеты «Бауэрншафт», которая здорово умеет ругаться и не дает спуску «красным». (Только ее никто не читает.)

Парня, что рядом с Падбергом, он сразу опознал, хотя тот и отвернулся. Это был Тиль. Да, тот самый Тиль, которого вот уже второй месяц ищут, весь округ перевернули. Погонщик волов из финансового управления Альтхольма, исчезнувший пять недель назад и возникший сегодня в обществе крестьян и «Бауэрншафт».

«Машина из Штольпе,— регистрирует Пардуцке. — Номерной знак нам известен. Автомобильчик, наверно, Падберга, собственный... Так, стало быть, они купили парня. Вот уж чего не ожидал! Сперва поиздевались, поджарили на соломке, бросили в канаву, а теперь он ихний, со всеми потрохами... Н-да, до войны такого не бывало».

Он бредет по дороге, размышляя, как подступиться к делу.

«Вероятно, они меня узнали. Падберг — старый газетный волк, он-то знает, как выглядят сыщики. Через полчаса, пока доберусь до графского двора, парень, понятно, смоется. Но след его теперь уже не простынет, нет».

Увязая в песке, Пардуцке, наконец, подходит к воротам хутора, на которых прибита вывеска: «Здесь живет граф Бандеков. Ничего не покупает. Ничего не продает. Никого не принимает».

«Прелестно! — Сыщик одобрительно качает головой. — Не хватает только хора милых собачек...»

А вот и они. Рычащая, лающая свора беснуется за решетчатой оградой, готовая растерзать непрошеного гостя.

«Здесь не пройдешь,— думает Пардуцке.— Седоки «опеля», конечно, об этом позаботились. Попробуем-ка с другой стороны».

И он перебирается через канаву.

Бандековский хутор — всего-навсего отводная усадебка дворянского имения. Хозяин хутора граф Эрнст Бандеков не очень благоволил к своему старшему брату Бодо, владельцу родового имения; на то были кое-какие причины, и не в последнюю очередь — материальные. Жил он на хуторе отшельником, держал сторону крестьян, да и себя считал крестьянином.

Едва ли больше обычного крестьянского дома был и жилой дом графа, где собрались сейчас четверо седоков «опеля», стройный Хеннинг и сам граф, старый холостяк с седоватой окладистой бородой.

Гости только что приехали. Машина стоит во дворе около навозной ямы, собаки с цепей спущены. Хозяин, отослав экономку и двух служанок в сад, позаботился о водке и мозельском вине.

— Теперь никто не подслушает,— сказал он. — Ну-с, выкладывайте, Падберг.

— Начну с конца: Хеннинг, тебе надо сматываться. На подходе уголовка.

— Брось! Откуда ей тут взяться?

— В трех километрах от хутора нас обнюхал один пес. Мне очень хотелось задавить его.

— Наверно, какой-нибудь скототорговец. Они здорово смахивают на сыскарей.

— Нет, это был настоящий! — подал голос Тиль.— Пардуцке из Альтхольма.

— Ай-ай-ай! — воскликнул в притворном ужасе Хеннинг. — Дайте же мальчику коньяку, у него нос побелел!

— Можете поступать как вам угодно,— упрямо заявил Тиль. — Я смываюсь.

— Да зачем? Неужели вы полагаете, что бандековские овчарки пропустят человека живым и невредимым?

— А если он их пристрелит?

— Тогда я пристрелю его,— ответил граф. — Но все это чепуха. Падберг, каким образом он вышел на меня?

— Ага! Каким образом он вышел на Бандеков? В этом-то и вопрос. Итак, пункт второй. Прихожу утром в редакцию, вижу: мой письменный стол открыт. А я его запирал. Проверяю, все ли на месте. Все. За исключением одного: вашей почтовой открытки, господин граф, в которой вы написали, чтобы мы приехали к вам сегодня.

Крестьянин Редер (Каролиненхорст): — Наверно, вы не заперли. А открытка где-нибудь лежит.

— Если я чему-нибудь и научился в жизни, так это присматривать за бумагами.

— Значит, ночью шарила полиция. Из-за бомбы у них переполох.

— Навряд ли. В таких делах они действуют официально, и замки портят, и все вверх дном переворачивают.

Хеннингу надоел затянувшийся разговор.

— Ну хватит, Падберг, выкладывай. У тебя наверняка своя догадка есть... Впрочем, выпьем. Прозит!

— Да. Да, конечно, давайте выпьем. Прозит!

Вынув из кармана какое-то письмо, Падберг пустил его по кругу.

— Прошу взглянуть. Текст к делу не относится. Писал какой-нибудь голодный журналист. Вникните хорошенько... Что-нибудь заметили?

Все разглядывают письмо. Растерянно, смущенно, нерешительно.

— Ну-с, говорите, я слушаю! — не терпится газетчику.

— Не задирай нос, редактор,— огрызнулся Хеннинг. — У нас есть дела поважнее, чем игра в пинкертонов.

— Так никто и не заметил? — спросил Падберг.

— Стоп! Минутку! — вступил в игру Тиль. — Сначала вопрос... может, это и глупо, но... Письмо было в наборе?

— Наконец-то хоть один! — обрадовался Падберг.— Нет, сын мой, оно не было в наборном цеху.

— Но какой-нибудь наборщик держал его в лапах?

— Официально нет.

— Письмо лежало в ящике сверху?

— Правильно, сын мой, рядом с пропавшей открыткой.

Тиль перевел дух: — Значит, открытку стянул кто-то из наборщиков. На письме отпечатки пальцев черной типографской краской.

— Если только это,— вмешался Хеннинг,— то я бы тебе давно объяснил, что все наборщики «красные». Они же в каком-то там профсоюзе.

— Ах ты умница! — съязвил Падберг.— И чего ты только не знаешь. Даже про союз печатников! Но это еще не повод, чтобы красть безобидную почтовую открытку, в которой какой-то господин сообщает мне, что он хотел бы со мной встретиться.

— Я думаю, что нам надо обсудить кое-что еще,— сказал граф, пропуская бороду сквозь пальцы. — Прошу вас покороче, господин Падберг.

— Одним словом, дело дрянь. В наборном цеху есть субъект, который, пользуясь идеальными отмычками, похищает по чьему-то указанию определенные документы. Сей субъект явно глуповат: он не подумал, во-первых, об отпечатках пальцев, а во-вторых, забыл запереть ящик... Тот, кто дал указания, имел точную информацию. Иначе Пардуцке не шнырял бы сегодня здесь.

В гнетущей тишине неторопливо заговорил крестьянин Редер:

— Мне ведомо, что Франц Раймерс был против. И я был против. И Ровер тоже. Мы, трое назначенных вожаков движения, были против. Ты же, Хеннинг, все-таки сотворил это.

— И хорошо, что сотворил! — быстро отозвался Хеннинг. — Зато их всех несет от страха!

— Дело наше благозаконное,— веско произнес крестьянин Ровер из Ниппмерова. — Оттого, что ты кухню взорвал, много шуму и вони. По всему краю худая молва пошла, знаешь ли ты это?

— К тому же ты наврал нам,— добавил Редер. — Это, считай, повезло, что одна кухня на воздух взлетела. Умысел-то у тебя был другой.

Хеннинг зло посмотрел на Тиля: — У многих баб язык что помело.

Тиль покраснел и отвернулся.

— Я придерживаюсь иного мнения,— начал Падберг. — Я газетчик. Газета — это реклама, с первой до последней строчки. Реклама определенного сорта политики, стирального мыла. Реклама, и больше ничего. А в рекламе я немного разбираюсь. Ваше движение — дело доброе, но вокруг него была пустота. Никаких событий, никакого эффекта. Губернское правление на него чхало, финансисты тоже. Полиции было наплевать, горожанам тем более... Хеннинг сделал вам рекламу. Она прозвучала. Согласен, что прозвучала очень громко, на все сто, если не больше. И вот вокруг движения все вдруг ожило, все стали прислушиваться: а как там крестьяне, что они? Ваше движение привлекло внимание. Ваше движение внушает страх. Ваше движение может теперь чего-то добиться.

— Нам, крестьянам, это ненадобно,— сказал Ровер.— Мы ничего подобного не желаем.

— Так вы тут ни при чем,— сказал граф. — Никто из вас не участвовал, никто ничего не знал. Это дело рук чужаков. — Он повысил голос: — А если уж придется туго, валите все на чужаков, проходимцев, обскурантов.

— Неизбежные отбросы,— подхватил газетчик, ухмыляясь,— от которых мы недостаточно энергично отмежевываемся.

— Благодарим вас,— тоже ухмыльнулся Хеннинг. — «Отбросы» будут бросать еще. Бомбы.

— Что же нам делать-то с сыщиком?

— У меня в данный момент нет времени сидеть за решеткой,— заявил Хеннинг. — Мне надо на демонстрацию.

— Ишь чего задумал,— сказал Падберг. — Появиться открыто на улицах Альтхольма в рядах демонстрантов! Чтобы тебя арестовали среди бела дня нам на радость? Нет уж, мой мальчик, оставайся здесь.

— Нет, пойду,— настаивал Хеннинг. — Ведь я вам нужен.

— Что значит нужен? Незаменимых нет.

— Идемте-ка. Я вам кое-что покажу.

— Что?

— Увидите. Пошли.

Хеннинг ведет всех пятерых через двор в ригу. На полутемный ток падает снаружи широкая полоса солнечного света, и Хеннинг показывает то, что он смастерил здесь в дни своего добровольного заточения: знамя.

Древко — белое, грубое и длинное, как рукоятка от сенных вил; на конце его, подобно острию пики, приделана коса. Полотнище...

Хеннинг с воодушевлением поясняет:

— Тут все со смыслом. Полотнище — черное. Это в знак нашего траура по их жидовской республике. В центре белый плуг — символ нашего мирного труда. И красный меч — пусть знают, что мы способны и обороняться. Все вместе — цвета старого знамени: черно-бело-красное.

— Да ты просто вундеркинд! — усмехается Падберг.

— При чем здесь вундеркинд? — горячится Хеннинг.— Разве это плохо? Скажите, Редер? А вы, Ровер? Ну что вы молчите? Тиль! Ваше мнение, господин граф? Это, собственно, такое же знамя,— разумеется, с поправками,— как у Флориана Гейера... Гейер,— поясняет он крестьянам, которые этого не знают,— был вождем крестьянского восстания. В средние века.

— Восстания против крупных землевладельцев,— насмешливо добавляет Падберг. — Но все это ерунда. Мы попусту тратим время.

— Позвольте,— говорит Ровер. — Знамя хорошее. Ну-ка, помахай им, Хеннинг.

— Только не на дворе,— останавливает его граф. — Слышите?

Раздается бешеный лай собак.

— Это Пардуцке, сейчас посмотрю. — Тиль выглядывает в дверную щель по другую сторону тока.

Тем временем Хеннинг, подняв знамя, с гордым видом размахивает им над головой. Оно колышется, хлопает.

— Ты будешь нашим знаменосцем в понедельник,— говорит восхищенный Редер.

— Так меня же должны арестовать,— отвечает Хеннинг.

Тиль сообщает: — Пардуцке лезет через канаву.

— Долго ему придется лазать, пока отыщет вход во двор,— замечает граф.

— Развернете знамя,— сердито заявляет Падберг,— и через пять минут вас разгонят.

Редер: — В голове поставим молодых парней. Пусть кто попробует сунуться.

Ровер: — Но косу надо затупить. А то еще беды наделает.

Хеннинг: — Не возражаю. Ножницы для жести есть, конец откушу.

Падберг, удивленно: — Неужели вы, крестьяне, за этот реквизит?

Граф: — Мне очень нравится. Эффект будет колоссальный.

Тиль: — По-моему, это произведет чудесное впечатление.

Снова Падберг: — А кто понесет его? Ведь Хеннинга арестуют.

Редер, энергично: — Хеннинг будет нашим знаменосцем.

Падберг, потеряв терпение: — Не валяйте дурака. Хеннинга схватят в первую же минуту. Ведь им известно, что он хотел купить у Тредупа фотоснимки. И что он находился возле губернаторской резиденции, когда туда вошли Тредуп с Фреркссеном. И что, скорее всего, это он звонил по телефону и болтал насчет бомбы. А тот, кто знал, что бомба мнимая, мог подложить и настоящую.. Ну, что скажете?

— Кажется, я придумал выход,— медленно говорит Хеннинг. — Смогу быть в городе, и меня не арестуют.

— Выкладывай живее. Не то сцапают — и сказать не успеешь.

— Во двор никто не войдет,— заверяет граф. — Здесь он в безопасности.

— Если кто-нибудь... — начинает Хеннинг и задумывается. Потом медленно, глядя в упор на Тиля, продолжает: — Скажем, ты часиков в восемь берешь свой чемоданчик и в сумерках топаешь за ворота. Где-нибудь на дороге встречаешь этого Тыр-Пыр-Дырдуцке. Бросаешься наутек. Потом даешь себя арестовать. И, скажем, завтра признаешься. Говоришь, что твой сообщник... ну... тот обалдуй-фотограф из «Хроники», и стоишь на этом до понедельника...

Все смотрят на Тиля.

— Не знаю...— робко говорит он.— Мне трудно судить... Видите ли, я не очень разбираюсь в этих делах... Почему, собственно, я должен для кого-то таскать каштаны из огня?

— Послушайте,— снова обращается к нему Хеннинг. — В Альтхольме у меня есть приятель, младший надзиратель исправительной тюрьмы Грун. Он наполовину спятил, так что ему ничего не грозит. Что, если он однажды невзначай приставит к тюремной стене стремянку? А в Штольпермюнде есть толковые рыбаки. И при хорошем ве-

терке до острова Мен можно дойти на парусах за шесть-семь часов. Мен — это уже Дания. А бомба — дело политическое. — И быстро, в упор: — Ну, соглашайтесь!

Тиль снова в полной растерянности.

— Нет, лучше не надо... — бормочет он. — Дело в том, что мои родители... И потом... Почему я должен подводить Тредупа? Ведь он такой же бедняга...

— Ну, ладно,— вмешивается Падберг. — До темноты часа два. У нас еще есть время все это обмозговать. Предлагаю вернуться в дом и обсудить демонстрацию. Тысчонка крестьян, думаю, придет.

— Три тысячи!

...У бургомистра Гарайса в послеполуденный час собрались четверо господ. Потоки веселых лучей, льющиеся сквозь большие окна, освещают любезный жирный лик самого грузного человека в Альтхольме, живые, хотя и несколько грустные сейчас черты асессора Майера — представителя губернатора в Штольпе, недовольную, даже скривившуюся физиономию полковника полиции Зенкпиля и выражающее исключительное внимание лицо старшего инспектора полиции Фреркссна.

Лик бургомистра становится еще любезнее, улыбка — еще радушней:

— Но, многоуважаемые господа из Штольпе, почему же я должен запретить этот крестьянский митинг?

Асессор Майер, с некоторым раздражением: — Я уже неоднократно говорил вам: потому, что следует опасаться столкновений.

— С нашими-то крестьянами? Да они и не помышляют драться.

Асессор Майер, подчеркнуто: — Движение «Крестьянство» опаснее КПГ и НСДАП, вместе взятых. Я дословно повторяю высказывание губернатора, не так ли, господин полковник?

Полковник Зенкпиль утвердительно кивает.

— В понедельник сюда надо послать шупо,— ворчит он.

Гарайс сияет еще больше: — Надеюсь, не вопреки моей воле, господин полковник?

Асессор Майер, поспешно: — То, что я вам высказал, это — пожелания губернатора. Однако должен предупредить вас, что вы возьмете на себя немалую ответственность, если оставите эти пожелания без внимания.

Пошарив в кармане жилета, Майер извлекает оттуда какую-то записку и, щурясь сквозь пенсне, начинает читать: — «При любой...»

Бургомистр откидывается на спинку кресла и смиренно складывает руки на животе.

«...при любой демонстрации следует учитывать два момента: настроение демонстрантов и настроение населения.

В данном случае «Крестьянство» несомненно возбуждено, если не настроено агрессивно. Позволю себе напомнить о конфискации волов в Грамцове, о бомбе на вилле губернатора.

Этот фактор опасности возрастает вследствие того, что «Крестьянство» не является прочной формацией, а представляет собой нечто расплывчатое, неосязаемое. У него нет ни зарегистрированных членов, ни руководства.

При иных демонстрациях вы, господин бургомистр, обычно вызываете к себе руководителей, обсуждаете с ними все необходимое, согласуете маршрут, порядок шествия, ответственных лиц. Здесь же ничего этого нет. В «Крестьянстве» уполномочен каждый и в то же время никто.

Момент второй: настроение населения. В вашем городе сильны лишь СДПГ и КПГ; то, что их приверженцы не относятся с симпатией к выступлению крестьян, само собой понятно. Для возникновения трений есть тысяча возможностей, непредвиденных. Случайное замечание может вызвать драку, драка — перерасти в побоище.

У вас около восьмидесяти служащих муниципальной полиции...»

— Семьдесят восемь,— уточняет Фреркссн.

— Именно. Семьдесят восемь. Двадцать из них, вероятно, в отпуске...

— Двадцать один.

— Хорошо, господин Фреркссн. Дело же в конце концов не в единицах.

Фреркссн поджимает губы.

— Итак... вычитаем... Из... Сколько там, господин старший инспектор... минус двадцать один...

— В нашем распоряжении будут пятьдесят семь человек.

— Правильно. Пятьдесят семь. А практически, самое большее, пятьдесят, ибо вы не сможете снять с постов всех регулировщиков.

— Реальных сорок,— говорит бургомистр.

— Итак, сорок. Со-рок! Господин бургомистр, господин Гарайс, что же это получается? Три, возможно, четыре, а то и все пять тысяч крестьян устраивают демонстрацию, причем во враждебном окружении, в городе, где сплошь «красные»! Простите! Я сам — член партии! — и вы хотите, чтобы сорок муниципальных полицейских, не имеющих опыта... Ну не безумие ли это, господин Гарайс! Посудите сами!

— Отвечу вам коротко и ясно: я не запрещу демонстрацию! Не запрещу, во-первых, потому, что у меня нет на то законного повода. Что ни день, я разрешаю здесь всевозможные партийные шествия и делать исключение для какой-либо партии не имею права...

Я не запрещу ее, во-вторых, потому, что не вижу оснований для запрета. Каким бы движение «Крестьянство» ни было, его участники неагрессивны. Грамцов как раз доказательство тому. Оказали пассивное сопротивление, досталось волам, но ни одного человека даже пальцем не тронули. Я понимаю, что после истории с бомбой в Штольпе кое-кто нервничает...

— Нервничает, господин бургомистр?

— Хорошо, не нервничает. Ни один факт не говорит о том, что это покушение организовано «Крестьянством». Первый задержанный — служащий финансового управления; он показал, что намеревался отомстить губернатору, которого считает виновным в том, что его уволили с работы,— причина явно идиотская. Второй задержанный тем более не из «Крестьянства», что, кстати, вам, господин асессор, должно быть известно.

— Да, я тоже считаю этот арест ошибкой.

— Значит, согласие. По этому пункту. Итак: «Крестьянство» неагрессивно. Теперь о поведении рабочих. Демонстрация состоится, вероятно, в такое время, когда рабочие будут заняты на производстве.

И наконец, принципиальное: вокруг демонстраций надо создавать пустоту. Чем больше усилий с нашей стороны, тем больше возможностей для трений. Стоит появиться двум сотням шупо, и крестьянам может прийти на ум, что им что-то грозит. Сорок человек — немного, но вполне достаточно. Уверяю вас: ничего не случится. И повторяю: никаких действий с моей стороны не будет. — Бургомистр делает резкое движение: — Удар в пустоту. Вот так. Я кончил. Сожалею, что получилось несколько затянуто. Но, думаю, теперь все выяснено.

Гарайс, сияя, оглядывает присутствующих. При этом его рука что-то ищет за спиной. Нащупав висящую у стола грушу звонка, он тайком нажимает на кнопку: раз, два, три.

Асессор Майер, встрепенувшись: — Нет, господин бургомистр, я вынужден повторить: ничего еще не выяснено. Ваше решение невозможно. С таким решением я не вернусь в Штольпе. Господин губернатор уполномочил меня...

Открывается дверь, и в кабинет влетает возбужденный секретарь Пикбуш:

— Господин бургомистр! Господин обер-бургомистр спрашивает, не можете ли вы зайти к нему на минутку? Дело важное и срочное.

Гарайс поднимается: — Вы слышали, господа. Извините. Я сейчас же вернусь. Может быть, пока обсудите с Фреркссеном создавшееся положение? Господин старший инспектор располагает всей необходимой информацией. — И бургомистр исчезает за дверью.

Выйдя в приемную, Гарайс прыскает:

— Дай им наболтаться, товарищ Пикбуш, я уже сыт по горло. Слава богу, звонок нащупал. Ну и публика в этом Штольпе — чуть где бабахнет, так у них поджилки трясутся и они готовы издать чрезвычайные законы.

— У асессора Штайна сидит крестьянин Бентин. Я провел его туда, чтобы он им, часом, на глаза не попался.

— Хорошо. Это кстати.

Продолжая усмехаться, Гарайс направляется по коридору к кабинету асессора.

В коридоре нерешительно переминается с ноги на ногу какая-то женщина. При виде Гарайса лицо ее светлеет. Бургомистр, на прием к которому приходят все, кто нуждается в помощи — он ведает также благотворительной кассой,— останавливается и спрашивает:

— Ну-с, вы ко мне, молодая дама?

— Да, господин бургомистр, к вам. Я пришла, но мне сказали, что вы заняты... Моего мужа арестовали.

— Вашего мужа? Это скверно. А кто он?

— Тредуп, господин бургомистр, Тредуп из «Хроники», он был у вас насчет снимков.— Она заговорила торопливо, захлебываясь: — Может, он что и натворил, не знаю, может, с этими снимками или еще что не так, но человек он хороший, поверьте. Просто мы невезучие какие-то, все время на нас что-нибудь сваливается. А уж он такой старательный, не пьет, в карты не играет, за каждым объявлением по десять раз бегает и вечерами до ночи сидит, адреса надписывает. Да толку от этого чуть, ведь двое детишек... вот так и перебиваемся, еле-еле.

— Ну, теперь-то, когда он получил за снимки тысячу марок, вам, должно быть, стало легче?

— Тысячу марок? Мой Макс? Но, господин бургомистр, это навряд ли возможно, уж я-то бы знала. В последние дни у нас ни гроша не было, пока ему Венк — это его начальник — не выдал десять марок аванса.

Гарайс задумчиво поморгал: — Может быть, деньги ему еще не выплатили. Но он их обязательно получит. Я наведу справки.

— А верно, что тысяча? Ох, господин бургомистр, неужели это правда? Тысяча марок... Наконец-то можно купить детям белье, башмаки, да и Максу столько всего надо...

— Это совершенно точно, фрау Тредуп. Так вы говорите, вашего мужа арестовали?

— О господи, совсем забыла! Разволновалась, и из головы вон. Будьте так добры, навестите его. Если, конечно, вам удобно. Не сочтите за наглость, очень прошу вас.

— Нет, нет, я схожу к нему. Может быть, даже сегодня. И не тревожьтесь. Ваш муж ничего не натворил. Он скоро вернется.

— Спасибо вам большое, господин бургомистр. А тысяча марок...

— Они вам обеспечены... Всего хорошего, вашему Максу передам привет.

— Большое спасибо, господин бургомистр. И еще...

Но Гарайс уже вошел в кабинет асессора Штайна, и дверь за ним закрылась.

У окна стоит крестьянин Бентин, единственный земледелец в Альтхольме, известный под прозвищем «Линялый»; его прозвали так потому, что лишай проел в его белокуро-седой шевелюре округлые плеши. Бентин пускает дым из мощной носогрейки.

— Ничего, ничего, папаша Бентин, дымите себе спокойно. Как она, жизнь? Жена здорова? Мальчишка уже родился?

— Благодарствую за внимание, господин бургомистр. Все идет своим чередом. Наследника ждем еще. Это могет случиться со дня на день.

— У нас здесь тоже кое-что могет случиться.

— А у вас-то чего, господин бургомистр?

— Да вот слыхал, что вы собираетесь устроить в городе большой тарарам. Массовую демонстрацию. Десять тысяч крестьян. Сопротивление государственной власти. Мятеж. Революцию.

— Помилуй бог, господин бургомистр, неужто я похож на бунтаря? Я человек мирный.

— А другие? Движение «Крестьянство»?

— Да они такие же люди, как и я, господин бургомистр.

— Но что же вы тогда хотите? Ведь вам что-то в городе надо? Зря-то вы не пойдете здесь по улицам?

— Мы желаем выразить сочувствие нашему Францу Раймерсу. Как же, господин бургомистр, человека-то посадили, и все из-за проклятых налогов. С налогами тяжко, господин бургомистр, поверьте мне.

— Знаю, знаю, папаша Бентин... Да, неплохо бы нам с вами опять устроить выставку, как в прошлом году. Это оживит народ.

— Добрая была выставка, господин бургомистр, спору нет.

— Да. Ну, а в понедельник тоже все в порядке будет?

— Господи, с чего же не быть порядку? Мы — народ мирный. Споем чего-нибудь, потом, верно, будут речи. Есть, конечно, среди наших, господин бургомистр, и молодые, и отчаявшиеся, иным ведь горько приходится, очень. Ну а вам-то и незачем речи слушать. Мало ли чего говорят. От разговору ведь ничего не опрокинется.

— Я хочу вам кое-что сказать, Бентин, для того и пригласил вас сюда. Вы старый альтхольмовец, и думаю, что город вам не чужой, хотя в нем и полным-полно фабрик. Ведь это не помешало нам с вами сделать хорошую сельскохозяйственную выставку? Так вот, папаша Бентин, взгляните мне в глаза и скажите честно: ручаетесь ли вы, что в понедельник здесь не будет никаких раздоров и погромов?

— Господин бургомистр, все будет тихо, уж я-то знаю нашего брата-крестьянина.

— И вы обещаете, папаша Бентин, что в понедельник заглянете ко мне утречком с вожаками и мы обсудим, где, когда и как пройдет шествие?

— Обещаю, господин бургомистр.

— Даете мне слово, что сами явитесь ко мне в понедельник, если почуете, что затевается неладное? Ведь позор какой будет, когда узнают, что в Альтхольме не поладили с крестьянами!

— Даю слово, господин бургомистр.

— Ну, тогда все в порядке, папаша Бентин. Передайте поклон жене. И чтобы с наследником было благополучно.

— Большое спасибо, господин бургомистр.

— Значит, я могу спать спокойно, папаша Бентин, без тревог?

— Как мой сынок в колыбели, господин бургомистр, как мой сынок.

— Вот что я вам скажу, господа,— заявил собеседникам асессор Майер необычайно категорическим тоном.— Я вовсе не собираюсь возвращаться в Штольпе с этим однозначным решением Гарайса. Вы, господин полковник, знаете, мой уважаемый шеф оборвет мне уши.— Майер поднялся, пенсне с его носа слетело и, качаясь на шнурочке, ударилось два-три раза о жилетку.— Да что там уши! Мне конец, от меня просто ничего не останется, если я явлюсь в Штольпе с таким результатом. И я скажу вашему бургомистру, господин старший инспектор, скажу откровенно: демонстрация будет запрещена! — Он выпрямился, жирные щеки его дрожали, волосы упали на лоб.

— Я тоже придерживаюсь мнения, что...— начал было полковник.

Но Майер, предчувствуя, что над его карьерой нависла угроза, перебил Зенкпиля.

— При чем тут мнения! — пылко воскликнул он.— Речь идет о государственной необходимости! Демонстрация будет запрещена!

— Насколько я знаю своего шефа...— осторожно и предупредительно начал старший инспектор.

— Я знаю моего шефа! — крикнул асессор.— Вы думаете, он забудет историю с бомбой? Это вы заварили всю кашу! Вы, господин Фреркссн, и ваш великолепный шеф, товарищ Гарайс. Вообразил, что он Муссолини. «Не вижу оснований...» Прекрасно, изумительно, ведь мой шеф...— Он внезапно умолкает, уставившись перед собой. Потом продолжает с новой энергией: — Вы привели к нам этого типа с фотоснимками, с него и начались все несчастья. Не было бы снимков, не было бы и бомбы. Тембориус не прощает ничего! А у него есть связи в министерстве!

Полковник неодобрительно крякнул.

Асессор, торопливо и тихо: — Мы здесь свои люди. Господин Фреркссн, хотя вы и носите форму, вы человек штатский. Сугубо конфиденциально: господин губернатор сказал мне перед моим отъездом: «Я требую исключительно строгих мер против деревенских олухов».

Полковник крякнул громче.

Асессор, еще быстрее и тише: — Здесь все свои, господин полковник. Вы хотите, чтобы пролилась кровь? Крестьяне дерзки...— Порывисто: — Они издеваются над государством! Мы предотвратим худшее, если демонстрация не состоится. Две сотни ш у п о под надежным руководством, и демонстранты немедленно рассеются. Господин старший инспектор!

Фреркссен с сожалением покачал головой.

— Я не имею влияния, господин асессор...

— Вы и м е е т е влияние! Я в курсе дела! Вы его избранник, пользуетесь у него доверием! Он сделал вас старшим инспектором против воли обер-бургомистра, наперекор муниципальному совету, не считаясь с депутатами и даже с большинством своих товарищей по партии. Он слушается вас.

— Он слушается только себя.

— Скажите ему: муниципальная полиция слишком слаба. Скажите, что вы не можете взять на себя ответственность. Приставьте ему к груди пистолет, уезжайте в отпуск — но только предотвратите демонстрацию. Вы нужны Гарайсу для выполнения его приказов. Откажитесь ему помогать и помешайте этой сумасбродной антигосударственной демонстрации.

— Это не в моей власти...

— А кто такой Гарайс? Случайно выбранный представитель случайно выбранного муниципального большинства. Осенью новые выборы. Связи губернатора...

— Господа,— полковник Зенкпиль резко поднялся.— Так не пойдет...

Оба собеседника уставились на него.

— ...кроме того, Гарайс, насколько я знаю, в тесной дружбе с министром.

— Мы в своем кругу, господин полковник, можете быть совершенно спокойны, здесь все свои. Ну что такое бургомистр? Вы хотите еще что-то сказать, господин старший инспектор? Не допускайте этой демонстрации!

— Господа,— начал горячим шепотом Фреркссен и боязливо оглянулся на дверь.— Я понимаю вашу точку зрения, более того: почти разделяю ее. Но ваша предпосылка неверна. Я бессилен, у меня нет влияния. Попытайтесь убедить его, господин асессор, я охотно, насколько позволит мое положение, поддержу вас. Больше я ничего не смогу сделать.

— Насколько позволит ваше положение! — рассерженно произнес Майер.— Иногда необходимо на что-то решаться, дорогой Фреркссен. Приходится идти на жертвы, если хочешь чего-то достигнуть.

— Увы! Увы! Не такое у меня положение. Здесь, в городе, я непопулярен.

Зенкпиль побарабанил по оконному стеклу.

— Вы скоро кончите, господа? Не очень-то приятно вас слушать. Да и Гарайс в любую минуту может вернуться.

Асессор вскочил с места и забегал взад-вперед по кабинету.

— Согласиться с его решением? Невозможно! Совершенно немыслимо. Надо...— Он остановился, его лицо просветлело.— Идите сюда, господа. Вы тоже, господин полковник, прошу вас. У меня есть другое предложение: демонстрация состоится. С нашего позволения. Вы удивлены, господа? Не ожидали? Да, да, мы разрешим демонстрацию крестьян, проявим великодушие. Но... Но вам, господин старший инспектор Фреркссен, как начальнику муниципальной полиции, надлежит построить демонстрантов. Произвести смотр. Внимательнейшим образом. Не спускать с них глаз ни на секунду.— Асессор заговорил медленно, с расстановкой: — И если вы что-нибудь заметите, что-нибудь непристойное, подстрекательское, противозаконное — допустим, какой-то выкрик, песенку,— вы тут же вмешиваетесь и распускаете шествие.— Он торжествующе оглядел собеседников.

— С сорока полицейскими? — скептически заметил полковник.— Поздравляю и желаю успеха, господин Фреркссен.

Асессор улыбнулся: — Правильно, я этого не успел сказать. Думаю, что ваш дорогой бургомистр сделает мне маленькую уступочку, ведь я все же иду ему навстречу. Мы разместим здесь наготове две сотни шупо в полной секретности, так сказать, при закрытых дверях. Допустим, во дворе ратуши или в марбедовской школе, где они будут под рукой. Он согласится, не правда ли, господин Фреркссен?

— Не знаю... может быть... хотя сомневаюсь...

— Да их и не будут выпускать против демонстрантов, только в случае крайней необходимости. Это его должно устроить, господин старший инспектор! — Он живо обернулся к вошедшему Гарайсу: — Так вот, господин бургомистр, мы все еще раз обсудили. Господин Фреркссен дал мне ценные разъяснения, сомнения наши не рассеялись, но мы их решили отбросить. Контакт с крестьянами у вас, видимо, лучше, чем у губернатора, особенно после сельскохозяйственной выставки, которая вам отлично удалась. Итак, демонстрация состоится, возражений против нее нет.

— Именно об этом я только что сообщил одному из вожаков «Крестьянства».

Майер слегка поморщился: — Что ж, значит, и это улажено. Итак, вам остается сделать нам лишь одну уступку: на крайний случай — на самый крайний! — мы поставим у вас сотню-две шупо, во дворе ратуши или в какой-нибудь школе.— Он быстро добавил: — Нет, нет, никто ничего не узнает, они прибудут тайком, ночью. Это лишь затем, чтобы у вас под рукой была подмога. Я бы даже предложил... да, я за то, чтобы передать шупо в ваше распоряжение.

Полковник что-то буркнул себе под нос.

Асессор нервно усмехнулся: — Наш дорогой полковник Зенкпиль, кажется, протестует. Но ведь вы понимаете, господин полковник, как обстоит дело, всю его сложность. Вы согласны, господин бургомистр, не так ли?

Гарайс улыбнулся: — Я давно согласен, а именно — с самим собой. Шупо в Альтхольме не будет. Все, что вы тут сказали насчет «тайком» и «никто не узнает», это, простите, господин асессор, чепуха. Во двор ратуши выходят сотни окон, не говоря уже о том, что и в Альтхольме люди, бывает, не спят по ночам, и прибытие шупо не останется незамеченным. Нет, это исключается. Никаких стычек не будет.

— Господин бургомистр, позвольте: губернатор...

— И губернатор ничего не сможет изменить в моем решении.

— Мы отдадим вам приказ!

— Тогда я обращусь к министру... Дорогой господин асессор, ну чего мы волнуемся? Ответственность несу я, я один. Дело решенное.

— Оно н е р е ш е н н о е. Т а к оно не может и не должно быть решено.

— Уверяю вас, оно решенное.

— В таком случае,— с отчаянием восклицает Майер,— не остается ничего иного, как перебросить шупо в пригороды, в Грюнхоф или Эрнсталь.

— Тому, что делается вне моего административного региона, я препятствовать не могу. Но все равно не одобряю, шупо и там не скроешь от людей.

— Тем не менее вам придется воспользоваться шупо. Это я вам предсказываю...

— Не пророчествуйте, господин асессор, пророкам никогда не верили... Лучше скажите, не знаете ли вы случайно, получил ли Тредуп свою тысячу марок?

— Конечно,— ответил асессор недовольным тоном.

— Вы уверены?

— Еще бы, он взял деньги в моем присутствии.

— Значит, взял. Хорошо. Но тогда странно...

— В таком случае, господин бургомистр, считаю свою миссию оконченной. Не скрою, что покидаю вас с тяжелым сердцем. Господин губернатор будет крайне рассержен.

— Во вторник убедитесь, что я был прав.

— Хотел бы, но не могу в это поверить. Прощайте, господин бургомистр.

— Прощайте, господин асессор. Был очень рад вас видеть.

Майер потряс руку старшему инспектору: — Прощайте, господин Фрерксен,— и тихо сказал: — Мы всецело полагаемся на вас.

Господа из губернского правления удалились.

Бургомистр, очень резко: — В чем это, господин Фрерксен, Штольпе всецело полагается на вас?

Фрерксен вздрогнул: — Ах, да они мне все уши прожужжали, чтобы я уговорил вас насчет шупо.

Гарайс пристально посмотрел на своего старшего инспектора: — Ну что ж, Фрерксен, как хотите. А насчет шупо вопрос, кажется, был уже решен. Нет, пожалуйста, ничего мне не говорите. Имейте только в виду...— Очень резко: — Здесь приказываю я.— Внезапная мягкая улыбка: — Надо полагать, что на примере со снимками вы поняли, как благодарят в Штольпе. Я лошадка маленькая,— он качнул своим огромным туловищем,— но, быть может, скачки все же выиграю я.

В кабинете губернатора, как всегда, сумрачно и прохладно. Нет иного мира, кроме этого, с темными книжными шкафами, приглушающими звук коврами, темно-коричневой дубовой мебелью.

Асессор Майер только что выпроводил отсюда уборщиц. Восьми еще нет, но Темборіус уже явился.

— Где же Тунк?

— Вот-вот должен прийти. Восьми еще нет.

— Как нет! На моих часах ровно восемь... Что сообщили ландраты?

— Вчера во всех районах собрания. На дорогах много молодых парней в черной одежде с траурными повязками, на черных лошадях, созывали на земский сход в Альтхольм.

— Эта свобода собраний для государственных преступников — безумие. Я непременно поговорю с министром.

Майер кланяется.

— Ну, докладывайте же! Что еще? Письмо в «Фольксцайтунг» не подействовало?

— Крестьяне не читают «Фольксцайтунг». А если и читают, то все равно ничему не верят.

— Источник письма?

— Гарайс.

— Гарайс? Исключено!

— Я знаю это от Пинкуса. Гарайс сам вручил ему письмо.

— Вы что-нибудь понимаете? Сначала он разрешил демонстрацию, а потом подстрекает против нее?

— Может быть, он все-таки побаивается? Хочет подстраховаться на случай, если не совладает.

— Побаивается? Этот бык? Семнадцать ландратов всех партийных оттенков не доставляют мне столько хлопот, сколько этот Гарайс, хотя я и состою с ним в одной партии. Он — друг крестьян.

Из приемной докладывают, что пришел комиссар уголовной полиции Тунк.

— Пусть войдет... А вы запаздываете, господин Тунк. Уже пять минут девятого.

— Куранты на башне сейчас пробьют.

— Уже пять минут девятого.

Раздается бой курантов.

— Господин асессор, скажите управляющему, чтобы правильно поставили часы... Да, прошу сейчас же... Господин комиссар, вы знаете свое задание?

— Так точно, господин губернатор. Девятичасовым поездом отправиться в Альтхольм и наблюдать за крестьянами.

— Наблюдать!.. Вы смешаетесь с крестьянами. Познакомитесь с вожаками. Узнаете их имена. Запишете их речи. Это вполне возможно. Да, да, вполне, вы всегда можете незаметно выйти и записать в блокнот. Вы сопровождаете шествие. Присутствуете в аукционном павильоне. Берете на заметку ораторов и выступления. И прежде всего то, что будет происходить около тюрьмы.

Комиссар поклонился.

— Но все это лишь во вторую очередь. Самое же главное, чтобы вы... Вам известна позиция бургомистра Гарайса?

— Так точно, господин губернатор.

— Гарайс полагает, что крестьяне не планируют ничего опасного для государства. У меня иное мнение. Я предоставил в его распоряжение шупо, он отказался. С десяти часов две сотни шупо находятся в Грюнхофе.

— Понял, господин губернатор.

— Вы старый криминалист, господин Тунк. Вы много лет служили в политическом отделении.

Комиссар устремил на шефа взгляд, полный ожидания.

— Вы сумеете оценить, когда положение станет опасным. Государство, слушайте внимательно, государство не должно понести урон. Господин комиссар, вы отвечаете мне за то, чтобы шупо не бездействовали в Грюнхофе, если ситуация станет угрожающей.

— Слушаюсь, господин губернатор.

— Вы меня х о р о ш о поняли?

— Я вас х о р о ш о понял, господин губернатор.

— Ни с начальником полиции, ни с вашими коллегами в Альтхольме контакта не устанавливайте. Вы — мой специальный наблюдатель... Ну-с, господин асессор, часы теперь правильно идут?

— Так точно, господин губернатор.

И губернатор, приветливо улыбаясь: — Вы не находите, господин асессор, что наш комиссар в этой зеленой сермяге, сапогах с отворотами и шапчонке с кисточкой — колоритнейшая фигура? Почем яйца, хозяин?

И трое господ от души рассмеялись.

В семи километрах от рыбацкой деревни Штольпермюнде есть пустошная усадьба под названием выселок Штольпермюнде. Отвратительная песчаная дорога тянется через дюны и солончатые луга, на которых больше камыша и хвоща, чем травы. Здесь хозяйничают чайки и дикие кролики. Вряд ли найдется место более заброшенное и захолустное, чем выселок Штольпермюнде.

Это, собственно, и не усадьба, а бедный крестьянский двор да сорок — пятьдесят моргенов истощенной земли. От скудных посевов хлеба и овса большая часть достается кроликам. Семья крестьянина живет картошкой.

Ни батраков, ни батрачек здесь нет. Крестьянин Банц, его жена и девять детей справляют всю работу сами. Наведываясь с детьми в деревню Штольпермюнде — раза четыре-пять в году,— жена Банца жалуется, что они совсем не растут: «Работа тяжкая, от зари до зари, а досыта накормить нечем».

Отец семейства — рослый, видный собой, мать — высокая и худая, а дети — раздавшиеся вширь карлики, жилистые, молчаливые, с непомерно большими руками.

Иногда Банцу удается раздобыть лошадь, иногда нет. И тогда в плуг, борону или окучник впрягаются жена и дети. Такое еще встречается здесь.

Школу дети почти не посещают. Какой ребенок станет ходить на уроки за четырнадцать километров?

Года полтора назад до выселка Штольпермюнде добрался какой-то судебный исполнитель; с тех пор там больше никто никогда не видел лошади. Исчез в тот день на некоторое время и сам Банц; при описи имущества не все прошло гладко, и хозяину дали возможность отдохнуть несколько месяцев в тюрьме.

Вернувшись, он прибил к стене дома доску с надписью: «На этот двор зимой 1927 года разбойнически напали жандармы и судебные исполнители германской республики».

Смешная вывеска эта так и висела ровным счетом ни для кого.

Другим большим событием для выселка было то, что сюда заезжала несколько раз автомашина. В ночное время. Крестьянка и дети не слышали ее, но утром видели следы на песке. Если приезжим было что-то нужно, рассудили они, отец, наверно, сам принял их и проводил. Он теперь почти каждую ночь отлучается.

И сарай теперь заперт на висячий замок. Что ж, если хозяин так решил, кому какое дело. На всякое «почему» найдется «потому».

— Соломы надобно для коров,— сказала утром жена мужу.

— Отрежь мне хлеба на дорогу,— сказал муж и вышел из кухни.

Спустя некоторое время он вернулся.— Отрезала? Это все? Мне ж на целый день!

— Корова нынче отелится,— сказала жена.

— Не отелится,— ответил муж.

— Отопри сарай. Я сама возьму соломы.

— Если Франц у сарая ковыряться будет,— вспылил муж,— башку оторву.

Он вышел на двор и принялся отбивать косу. Через некоторое время жена подошла к наковальне.

— Чтой-то за новости — сарай запирать?

— Опосля накосишь клеверу для чушки,— сказал муж и стал точить лезвие.

— Доиграешься, что тебя мертвецом домой приволокут.

— Много потеряешь. Околевать с голоду что вдесятером, что водиннадцатером.

— Что в сарае? — зло спросила жена.

— Не твоя забота.

— Взломаю ворота топором.

— Кто войдет в сарай, тому конец. Тогда все погибнет — и двор, и все мы.

— Банц, я не хочу, чтоб ты попал в тюрьму.

— В Библии сказано: жена должна быть покорной мужу.

— Ты тоже должен покоряться начальству.

— Это начальство не от бога.

— А что мне тут одной делать, если ты помрешь?

Банц проводит жестким пальцем по лезвию, пробуя его:

— Клеверу одну тележку, не больше. В закроме стоит мешок отрубей. Замесишь ей на день. К утру я, может, вернусь.

— Я хочу знать, куда ты идешь.

— Теперь ступай-ка за мной.

Муж пошел вперед, жена в двух шагах позади. Пройдя между домом и сараем, он направился по меже, разделявшей картофель и рожь. На картофельном поле дети пропалывали грядки.

— Девять,— сосчитал отец.

У лесной опушки он сказал: — Оборотись-ка и посчитай, не увязался ли кто за нами.

— Девять,— пересчитала мать.

Они двинулись дальше. Почва была скользкой из-за сосновой хвои, стал слышнее шум морского прибоя. Под старой сосной Банц остановился.

— Ежели завтра не вернусь и меня, стало быть, заарестуют, к тебе придет человек и скажет, как и что. Живите тут пока сами. Чужих в дом не принимай. То, что в сарае, возьмет человек, который принесет весть.

— Ладно.

— Ежели не вернусь совсем, то съезжай со двора, перебирайся в город, какой подале отсюда. Шить будешь или в прислуги наймешься, дети тоже работать могут. То, что лежит тут, в кроличьей норе, пока не трать. Только в городе. И трать помаленьку, чтоб подозрения не было. Тут девятьсот девяносто марок. Все по десятке.

— Откуда у тебя деньги? — спросила жена.

— Нашел. В клеенке были завернуты. Кролики раскопали.

— Нашел, ой ли?..

— Как сказал, так и есть. Кто-то припрятал, видать, на черный день. Пускай лежат. До черного дня. Вот когда он настанет, тогда и заберешь.

— Не нужно мне денег, ты мне нужен,— сказала жена.

— И гляди за Францем, чтоб в сарай не лез. Он парень любопытный.

— Не залезет.

— Ступай-ка домой, как бы он сейчас не полез. Я пойду тут, по берегу.

— Прямо сейчас?

Крестьянин Банц уже шагает между деревьями в сторону белых дюн.

Жена смотрит ему вслед. Минуту. Две минуты. Делает движение, шаг. Но тут же поворачивается и медленно бредет к дому.

Среди альтхольмских трактиров самый большой зал в «Тухере».

Сотни крестьян сидят здесь, слоняются, пьют, курят или в ожидании подпирают стены.

Человек двадцать тесно обступили Хеннинга с графом Бандековом, они возятся со знаменем, которое пришлось разобрать при перевозке. Хеннинг, насадив на конец древка жестяной хомут, сосредоточенно завинчивает клещами гайки. Хомутом прикреплена коса.

— Так. Теперь будет держаться.

— Шатается немного,— заметил Бандеков.

— Да вот гаечный ключ забыл. Ничего, сойдет.

— Позвольте,— раздался чей-то голос,— позвольте представиться: земледелец Меггер из Ганноверщины. Я с побережья. Из-под Штаде, ферма Меггеркоог.

Перед Хеннингом стоял коренастый человек в сапогах с отворотами, зеленой сермяге и в шляпе с кисточкой.

Только Хеннинг хотел было назвать себя, как кто-то двинул его кулаком по спине.

— В чем дело? — Обернувшись, он увидел Падберга.

Тот многозначительно посмотрел на него и беззвучно, одними губами произнес: — Легавый!

Хеннинг улыбнулся.— У вас нет случайно гаечного ключа? — спросил он у владельца «Тухера».— Может, вы попросите Фридриха... Извините уж... Коса, понимаете, не держится.

— О, у вас знамя...— сказал ганноверец, приветливо улыбаясь.

— Да? — удивился Хеннинг.— Вы полагаете? В самом деле, знамя.

— Очень необычное знамя. Символ. Вы не растолкуете мне его? Мы, ганноверские, сильно переживаем за вас.

— Вот как? Я лучше покажу его — и вы все поймете... Эй, мужики, расступись!

Вокруг Хеннинга образовался свободный круг. Он поднял знамя и взмахнул им. Полотнище с шелестом развернулось: белый плуг, красный меч на черном поле.

— Становись! Становись! — закричали голоса.— Стройся! Начинается. Стройся!

Из всех трактиров повалили крестьяне, заполнив просторную Рыночную площадь; пока одни расхаживали еще взад-вперед, другие уже начали стекаться в толпу, затем в колонну, голова которой — по восемь человек в ряд — встала перед «Тухером».

Пристраиваются с хвоста. Односельчане к односельчанам; деревня за деревней, это регулируется само собой, и Падбергу, который деловито снует в толпе, почти ничего не приходится объяснять людям.

На тротуарах стоят любопытные; их не так уж много, но все из сорокатысячного населения промышленного города, кто оказался в этот жаркий безоблачный день на улице, останавливаются поглазеть: безработные, дети, женщины, торговцы. Выходящие на Рыночную площадь окна домов распахнуты, из одних высунулись служанки, из других — хозяйки. Обмениваются впечатлениями и наблюдениями:

— Гляди-ка! У них и знамя!

— Господи, да какое черное!

— Ну чисто пиратский флаг!

Все вытягивают шеи.

— Так не годится, Хеннинг,— говорит Падберг,— коса шатается. Упадет — и смех и грех будет.

— Господин Хааз,— обращается Хеннинг к хозяину «Тухера»,— где вашего Фридриха с гаечным ключом черти носят? Клещами гайки не затянешь.

— Сию минуту, сию минуту. Пройдите сюда, в коридорчик. У меня есть французский ключ, раздвижной.

Хеннинг со знаменем исчезает в дверях.

— Этот с черной тряпкой, видать, сдрейфил,— заметил какой-то безработный.

Тем временем Хеннинг возится с косой, укрепленной на древке.

— Слушай-ка, Падберг, а куда девался оркестр?

Падберг крикнул: — Ах, черт, совсем забыл! Эта братия торчит сейчас в кабаке обер-мейстера Безена, у пруда, и пьянствует.

— Пошли кого-нибудь за ними!

— Слушай, тот сыскарь твоей фамилией интересовался.

— Когда ты меня двинул по горбу и я увидел его рожу, сразу смекнул.

— А ты его чуть по морде не смазал, когда взмахнул знаменем.

— Я и хотел... Ну вот, теперь не сорвется, даже если десятерых проткну.

— И думать об этом не смей.

— Не смею. Просто так сказал.

— Во всяком случае, ты дал нам слово.

— Дал. К сожалению. Руки не подыму, не бойся.

Они вернулись на площадь. Колонна вытянулась уже настолько, что конца не было видно, крестьяне стояли даже по всей Штольперштрассе.

— Глянешь, и душа радуется!

— Тысячи три! А сколько еще сидят по трактирам на Бурста!

— Прихватим их по пути... Да, ты был прав, Хеннинг, без знамени было бы не то.

— Оно ж дух подымает!

Оба смотрят на знамя, развернувшееся под дуновением летнего ветерка. Кажется, что плуг пришел в движение, а над ним застыл красный меч.

— Давай команду, пора выступать,— торопит Хеннинг.

— Рано. Пусть музыка заиграет сперва!

— Люди теряют терпение.

— Скажешь. Крестьяне терпения не потеряют.

Старший инспектор полиции Фреркссн направляется после обеда к месту своей службы. Он спокоен, исполнен решимости следовать указаниям бургомистра — не мешать крестьянской демонстрации, а завтра уехать на летний отдых.

Увидев на площади толпу зевак, он останавливается. Скопление людей неслыханное, целая армия, он никогда не думал, что соберется столько народу.

Старший инспектор заметил знамя. Моргая близорукими глазами, он подошел ближе. Полотнище черное выглядит мрачновато. На нем что-то красное и белое. Знамя в складках, оно не развевается, легкий ветерок лишь колышет его.

Фреркссн встал на краю тротуара. Посмотрел на знамя, на молодого человека, держащего его, и на стоящего рядом пожилого господина в очках. Посмотрел на окна, полные зрителей. Да, в Альтхольме событие. В Альтхольме сенсация.

В толчее за спиной инспектора кто-то произнес: — Настоящее штертебекеровское знамя, это же недопустимо! — И Фреркссн понял, что сказано было специально для него.

Другой голос, тоже обращенный к публике, сказал:

— Они только на рабочих кидаются!

У Фреркссна сильнее застучало сердце. Его бросило в жар.

«Жаль,— подумал он,— надо было еще пять минут поспать, и никого бы тут уже не застал».

Он взглянул через площадь на ратушу с ее красными фронтонами, и снова мелькнула мысль: «Да, уже мог бы сидеть у себя в кабинете. Жаль».

Тут же вспомнился другой кабинет, сумрачный, с круглыми оконными стеклами, с массивной дубовой мебелью. «Это ваш Гарайс заварил кашу» — не так ли было сказано?

Так. Или в этом роде.

На мостовой, метрах в восьми от инспектора, стояли Хеннинг с Падбергом.

— Что это за обалдуй? — спросил Падберг.

— Главный полицейский горлопан и ханжа Альтхольма. Олух царя небесного.

— Сразу видно.

— Кажется, он заинтересовался нами.

— А нам он ни к чему.

Старший инспектор медленно двинулся к обоим и, подойдя, заговорил с одышкой, хотя разделявшие их восемь метров преодолел неторопливым шагом:

— Господа... это знамя... так не годится.

— Что не годится? — спрашивает Хеннинг.

— Понимаете... Не угодно ли вам отнести его обратно в трактир? — Фреркссн говорит тихо, старательно произнося каждое слово.

— Знамя в колонне. И пойдет с колонной,— резко отвечает Падберг.

Инспектор протягивает руку к древку. Хеннинг обеими руками подымает знамя ввысь.

Фреркссн пытается еще раз, еще...

Передний ряд колонны делает первый шаг. Все приходит в движение.

Фреркссн замечает, как расстояние между его рукой и древком все увеличивается и увеличивается. Он чувствует, что его пихают, отталкивают. На него надвигаются большие, суровые лица, его задевают плечами.

«Еще бы пять минут...» — опять подумал он. И вот он стоит, запыхавшись, между проходящей колонной и тротуаром.

— Не могли нас позвать? — спрашивает его с упреком обер-вахмистр Маурер, патрулирующий со своим коллегой Шмидтом вдоль площади под деревьями.

— Да, конечно,— машинально отвечает Фреркссн, глядя на удаляющееся знамя.

— Вперед! Бегом! — вдруг кричит он.— Взять знамя!

Колонна не прошла и двадцати шагов, как Фреркссн с обоими помощниками рысцой пустились вдогонку. Крестьяне недоуменно смотрели на бегущих полицейских. Лишь самые передние восемь или десять человек были свидетелями инцидента, но и они вряд ли поняли, в чем дело,— так тихо говорил старший инспектор.

Фреркссн на бегу придерживает саблю за эфес, чтобы не болталась. Мундир мешает ему. У него такое чувство, будто все — и крестьяне, и зеваки на тротуарах, и альтхольмцы, высунувшиеся из окон,— смотрят, как он бежит по площади.

Ему вдруг показалось, что он побледнел, и он на ходу трогает щеки; они горят, но ему холодно. Он вспоминает, что весь город терпеть его не может, что он держится только благодаря бургомистру.

«А Гарайс-то в отпуске! Сидит себе дома! Видел бы, как мне достается, помог бы».

И, все еще продолжая бежать, он пытается представить себе, как бы Гарайс решил эту задачу: «Толстобрюхий, разве он так побежал бы?.. Жирный боров, ему хорошо сидеть дома... Стал бы выхваляться, людям зубы заговаривать... Нет, подлаживаться — это не по мне. Терпеть не могу...»

Вслед за своим начальником трусит обер-вахмистр Маурер. «Какая глупость! — размышляет он.— И всегда этот Фреркссн дурит. Где же остальные? Что мы — втроем справимся, что ли?.. И Шмидта не видать, застрял. Ладно, теперь все равно. Ух, болваны... Отберем знамя, уж как-нибудь».

А толстый обер-вахмистр Шмидт обливается потом, он здорово отстал. «Ну да, только мне и бегать, как нарочно. Господа коллеги прохаживаются себе по Бурштa, а я гоняй взад-вперед, пока сердце не разорвется. Маурер тощий, шестьдесят пять кило, ему что... а каково мне — у меня сто с гаком. Эх, надо бы скинуть вес, лимонную диету, что ли...»

Впереди колонны внезапно выныривает Фреркссн. Оглянувшись, он бросается к Хеннингу, хватает древко и, задыхаясь, кричит:

— Я конфискую знамя! Слышите, конфискую!

Хеннинг, не слушая его, крепче сжимает древко обеими руками.

— Знамя наше! Не отдам!

Первые два ряда придерживают шаг, но колонна продолжает двигаться, напирает, следующие ряды тоже хотят посмотреть, что там случилось. Знамя покачнулось, образовался затор, через который смог протиснуться лишь обер-вахмистр Маурер. Он судорожно хватает древко, за которое держится Фреркссн, знамя шатается из стороны в сторону и, наконец, падает. Коса с дребезжащим звоном ударяется о мостовую.

Фреркссна толкают в спину; обернувшись, он видит перед собой горящие гневом глаза, два сжатых кулака и слышит угрожающий голос:

— Убери свои грязные лапы! Наше знамя не тронь!

Опять толчок. Удар. Еще удары по плечам. Вот и Маурер, он тянет к себе древко за один конец, а Хеннинг — за другой. Подножка, Маурер падает. Лежа, он не выпускает древка, за которое кроме Хеннинга ухватились еще трое или четверо крестьян. Полотнище накрыло его наполовину.

«Где Шмидт? Где уголовная полиция? Плохо дело»,— думает Фреркссн.

Удары опять сыплются на него. Тогда он поворачивается спиной к противнику и, воспользовавшись секундной передышкой, выхватывает из ножен саблю... Его руку тут же стиснули чьи-то пальцы, а к глазам, в упор, приблизилось белое от ярости лицо того крестьянина, который перед этим оттолкнул его от знаменосца.

Падберг кричит: — Убери свою секиру!

Фреркссн борется, пытаясь высвободить руку. Лица вокруг него полны ненависти, а те, что в окнах,— любопытства. Противник выворачивает ему предплечье, хрустят суставы, сабля бряцает на мостовой. Фреркссн успел лишь заметить, как она сверкнула среди множества сапог, потом на нее наступили и она исчезла из виду.

Высвободив, наконец, руку, Фреркссн хватается за пистолет. Маурер уже поднялся, весь багровый, и смотрит на начальника.

— Пистолеты к бою! — кричит Фреркссн срывающимся голосом.— Дорогу!

Кое-как образуется узкий проход, и Фреркссн, не отдышавшись, со сползшими на нос запотевшими очками, почти ничего не видя, ковыляет прочь. Вот он добирается до тротуара по ту сторону площади, и публика, глядя на него, расступается со смущенными лицами...

Он прислоняется к стене дома...

К нему спешит Маурер: — Не удалось. Маловато нас.

— Где Шмидт? — спрашивает инспектор, тяжело дыша.

— Ему там досталось. А, вот он с Пардуцке ведет какого-то крестьянина, наверно в участок.

...Более двадцати синих беглым шагом спешат от вокзала сюда, к перекрестку. После первых же путаных сообщений полицмейстер Калленэ собрал всех, кто находился на дежурстве в северной части города.

Но и крестьяне уже близко. До них всего лишь сто метров... восемьдесят метров... идут по восемь в ряд, надвигаются. Впереди черный флаг, музыки пока еще нет.

Полицмейстер Калленэ рапортует, но Фреркссену некогда выслушивать.

— Крестьяне напали на нас. Ваших товарищей избили. Надо отобрать знамя, оно подлежит конфискации. Зольдин, Майерфельд, Гайер, приказываю вам изъять знамя! Остальные на подмогу.

Еще раз смерив взглядом небольшое свободное пространство между ними и головой колонны, Фреркссен спрыгивает со своего возвышения на мостовую и командует:

— Давай! Вперед!

Он вскидывает руку и — безоружный — устремляется на противника. Полицейские бегут рядом с ним, обгоняют его; поднятую руку командира одни восприняли как сигнал «сабли вон!» и пытаются на ходу — непривычная работа — вытащить клинки из ножен; другие, отцепив от поясов дубинки, размахивают ими. Грозно надвинуты на брови кожаные шлемы, закрепленные под подбородками ремешками.

Атаку заметили только в первых рядах. Крестьяне невольно сдерживают шаг, но идущие сзади подпирают.

Хеннинг резко останавливается и с внезапно нахлынувшим чувством упрямства еще выше вздымает знамя. Наталкиваясь на знаменосца, демонстранты обтекают его.

Полицейские видят, как он ускользает от них, вот уже за ним сомкнулся один ряд, второй, третий...

— Знамя! — кричит Фреркссен.— Знамя!

Первым бросается на крестьян Гайер. Он налетает на стену угрожающих, бесстрастных, мрачных, светлых, загорелых лиц. Против его руки с поднятой дубинкой поднимаются руки с палками, то ли для защиты, то ли для нападения — кто знает.

— С дороги! — рявкает он.

А знамя совсем недалеко, десять метров, двадцать, он должен взять его. Но где же коллеги? Все равно — ждать некогда. Крестьяне расступаются, Гайер дубинкой бьет по поднятым рукам, перед ним возникает подобие коридора, он прыгает вперед, отталкивает одного, второй отступает сам, знамя все ближе и ближе.

Раздается глухой треск — сзади кто-то стукнул его по каске, и тут же следует удар по левому плечу.

Гайер еще яростнее набрасывается на тех, кто перед ним. Получайте, навозники, вот так вас, чурбаны, нате, собаки! Знамя...

Изо всей силы он бьет локтем в живот какого-то толстяка. Тот валится навзничь, люди отшатываются, жмутся друг к другу. Гауптвахмистр полиции Гайер уже у знамени, последний рывок, и он, спотыкаясь, почти в падении хватается за древко.

— Давай сюда! — орет он.

Хеннинг горящими глазами смотрит на полицейского.— Прочь, знамя наше,— говорит он и обеими руками дергает древко к себе.

Стиснув левой рукой древко, Гайер бьет резиновой дубинкой по рукам Хеннинга.

Тот не отпускает.

Гайер снова замахивается, но его руку перехватывают сзади. Резкая боль в суставе, и полувывихнутая рука выпускает дубинку.

В невероятной давке борьба за знамя продолжается. Хеннинг и Гайер, втянутые круговоротом тел, колотят друг друга, пока не падают, сцепившись, на мостовую.

— Саблей их, Оскар! Саблей! — раздается голос над Гайером.— Эти подлецы иного не заслуживают!

Гигант Зольдин и проворный Майерфельд подоспели на выручку. Обнаженными саблями они плашмя раздают звонкие удары направо и налево по спинам, лицам, рукам. Толпа подается в стороны, освобождая небольшой круг, Гайер с трудом поднимается и с силой рвет к себе древко.

За другой конец ухватился Хеннинг, он лежит на мостовой, но по его побелевшему лицу, стиснутым челюстям видно: держит намертво.

— Отпусти! — крикнул Майерфельд и ударил лежащего саблей плашмя.

Зольдин и Гайер вдвоем рванули древко, протащив повисшего на нем Хеннинга по мостовой. Второй удар пришелся лезвием по плечу знаменосца. Вспоротый рукав темного пиджака открылся словно зев, забелела рубашка, вокруг зева появилось ржавое пятно, оно набухало алой кровью, растекалось.

Еще крепче сжав древко, Хеннинг с бешеной силой лягнул полицейского.

Майерфельд снова взмахнул саблей: — Отпускай, сволочь! — и ударил по вцепившейся руке, которая тут же окрасилась в пурпурный цвет.

Теперь и Зольдин, и Гайер замолотили саблями. Хеннинг, перекатившись на бок, телом прикрывает руку, еще способную держать древко, по другой руке сыплются удары.

Полицейские бьют и бьют, задыхаясь, бледные от ярости, а вокруг этой маленькой цирковой арены, обтекая ее, завихряясь, с неослабевающим напором течет толпа крестьян, все новые и новые. Шествие продолжается...

...Из-за стычки с полицией первые ряды остановились, идущие следом под напором колонны подались в стороны; улица во всю ширину заполнилась плотной как стена массой крестьян.

А перед этой стеной, через два-три метра друг от друга, цепью стоят полицейские и бьют резиновыми дубинками и саблями демонстрантов, стремясь оттеснить передних, которых вновь и вновь подталкивают задние.

Руками и палками крестьяне защищаются от ударов, пятясь к домам, вдоль стен, чтобы дворами выбраться на Грюнхоферштрассе, но их оттесняют обратно и дубинками гонят под дубинки.

У Банца вырывается яростный вопль. Вот оно, государство! Вот оно какое, да иным он себе и не представлял его.

«Кровопийцы! — думает Банц.— Кровопийцы! Избивать беззащитных, ни за что!»

Продвигаясь по краю улицы, он еще издали нацеливается на верзилу-полицейского, который саблей молотит людей по головам и бессмысленно кричит при этом: «С дороги!»

Банц подкрался к нему сзади, перехватил палку за конец, но не замахнулся. Ему вдруг показалось недостойным ударить человека сзади, и он лишь сильно пнул его по голени.

Резко обернувшись, полицейский дико взглянул на Банца и промычал:

— С дороги!

— С дороги! — передразнил его Банц.— Ах ты, живодер, с дороги...— И рукояткой палки огрел его по виску так, что верзила, крутанувшись вокруг собственной оси, рухнул на мостовую.

Словно вдруг протрезвев, Банц посмотрел на упавшего, потом на лица стоящих рядом крестьян и будто сквозь пелену заметил, что они глядят на него вроде осуждающе.

— Уж больно он саблей размахался, негоже это,— как бы оправдываясь, пробурчал Банц и тихонько пошел прочь в сторону трактира «Тетушки Лизхен».

«Не стоит мне тут больше встревать,— подумал он удрученно.— Зайду-ка выпью пива».

Не успел он ступить на нижнюю ступеньку трактирной лестницы, как за его спиной раздался шум, топот.

Что-то с невероятной силой обрушилось на него, раскаленным железом пронзило мозг. Вспыхнули огненные искры, и он упал с разбитым черепом.

Почтамт Альтхольма находится на Бурштa возле Штольпер-Торплац. К операционному залу почтамта, расположенному на высоком первом этаже, ведет наружная лестница с двумя площадками.

На этой лестнице сейчас, в разгар битвы, столпились зеваки, не сводящие глаз с волнующего зрелища. В операционном зале тоже полно народу, все сгрудились у раскрытых окон: и служащие почты, и публика смотрят на улицу, переживают, спорят, галдят.

Среди публики замешался и сельского вида мужчина в шляпе с кисточкой, которую он, впрочем, сейчас снял. Тайный посланец губернатора захватил самое удоб-

ное место; полулежа на подоконнике, он высунулся из окна, и ему видно то, что происходит сбоку, метрах в ста отсюда, а чего остальные в зале не видят: драку за знамя.

Она уже почти окончена. Хеннинга, так и не отпустившего знамя, проволокли за древко по мостовой к тротуару и вновь принялись молотить, пока его искалеченные пальцы не ослабели окончательно.

Знамя у него вырвали, полицмейстер Калленэ, несколько полицейских стоят с трофеем на тротуаре, а вокруг приливают и отливают волны растерянно толкущихся крестьян.

Со стороны вокзала идет какой-то маленький усатый человек в сером костюме с чемоданчиком в руке. Уголовный комиссар Тунк приметил его и стал наблюдать, забавляясь его поведением: человечек этот, явно озадаченный огромным скоплением людей, энергично прокладывает себе путь.

С неутомимостью муравья он снова и снова штурмует людскую массу, запрудившую улицу; вот еще одна попытка прорыва, опять неудачная,— на этот раз человечка в серой широкополой мягкой фетровой шляпе выносит неподалеку от группы со знаменем.

Следя за зигзагами серой шляпы, уголовный комиссар Тунк замечает, что она вдруг взяла курс прямо на эту группу, вокруг которой образовалась свободная зона. Крестьяне приостанавливаются там, молча глазеют, но неудержимый поток влечет их дальше.

Человек, вынырнув в свободной зоне, уже приподнимает шляпу, что-то говорит — это видно по движению его губ... Тунку подумалось, что он задает какой-то вежливый вопрос и что голос у него, наверное, тонкий. Однако никто не обратил внимание на человечка, полицейские стоят спиной к народу, сплотившись вокруг трофея.

Тогда маленький усач, решившись, протянул руку и потеребил полицейского сзади за мундир.

И тут произошло нечто, подобное грому среди ясного неба.

Полицейский вскинулся, будто его пырнули ножом. В его руке сверкнуло белое, блестящее. Описав дугу, сабля врезалась в лицо человечка. Тунку на мгновение показалось, что он увидел зияющую рану, пересекшую нос и обе щеки. Раненый закрыл лицо руками, его утробный вопль, перекрыв шум толпы, долетел до окон почтамта, человечек рухнул ничком и исчез в людском водовороте.

А полицейские со своим трофеем тем временем переместились поближе к стене дома, вдали зазвучала музыка, и по рядам демонстрантов пронесся гул голосов.

Тунк упирается спиной в стоящих позади него зрителей.

— Дайте пройти! — кричит он, расталкивая публику.— Здесь что, почтамт или театр? Дайте пройти! Мне надо позвонить!

В глубине зала пусто, все у окон. Комиссар спешит к ближайшей переговорной кабине. «Теперь пора»,— бормочет он.

Дверь кабины за ним захлопывается, он достает приготовленную монету и снимает трубку.

— Триста семьдесят два,— говорит он, услышав голос телефонистки.— Только побыстрее. Срочно.

— Опустите монету, пожалуйста.

Раздается гудок, к телефону подходит горничная бургомистра Гарайса.

— Срочно бургомистра! Дело жизни и смерти!

— Господин бургомистр в отпуске.

— Дура! Идиотка! — кричит комиссар.— Вы что, не слышите, что речь идет о жизни и смерти? Давайте бургомистра, дура набитая!

— Извините! Одну минутку, сейчас позову,— пролепетали в трубку.

— Живо, живо!

Комиссар криво усмехнулся и, не отпуская трубки, вдруг начал делать приседания, все ускоряя и ускоряя темп, пока у него часто не заколотилось сердце и не зачастило дыхание.

И когда в трубке послышался густой, сонный, с нотками раздражения голос бургомистра, Тунк, запыхавшись, глотая воздух и слова — притом совершенно естественным образом,— доложил:

— Господин бургомистр! Господин бургомистр! Товарищ Гарайс! Крестьяне дерутся с полицией! Инспектора избили, двое вахмистров убиты. Крестьяне уже пистолеты вытаскивают, человек десять — двенадцать... Спасите...

Он умолк.

И в то время как на другом конце провода Гарайс бушует, Тунк не вешает трубку, а осторожно кладет ее сверху, на аппарат, выскальзывает из кабины, тихо прикрывает дверь и, зайдя в соседнюю кабину, своим обычным голосом вызывает номер семьсот восемьдесят пять.

К телефону в Грюнхофе подходит хозяин трактира Мендель.

— Говорит уголовная полиция. Срочно позовите к аппарату старшего лейтенанта Врэдэ. Он сидит у вас в зале.— И после паузы: — Врэдэ, это я... да... обойдемся без фамилий. У меня все удалось. Пусть ваши люди будут наготове. Минут через пять вам позвонит Гарайс. Вы, разумеется, ничего не знаете.

И уголовный комиссар Тунк спокойно покидает кабину. Между тем из соседней кабины, откуда он звонил три минуты назад, выныривает служащий почтамта и нерешительно смотрит на комиссара.

— В чем дело? — Тунк ободряюще кивает ему.

— Вы случайно не звонили из этой кабинки? — неуверенно спрашивает служащий.

— Я? Разве вы не видели, откуда я вышел?

— Конечно, видел. Извините, пожалуйста. Но, может, вы заметили, кто там был только что?

— Кто? Погодите-ка. Да, кабина была занята, когда я подошел. Я еще по рассеянности влез туда. Кто же там стоял? По-моему, какой-то рабочий, да, рабочий в синей куртке. И, кажется, был страшно взволнован.

— Значит, рабочий? В синей куртке? Благодарю вас. Я так и доложу. Спасибо.

Служащий ныряет обратно в кабину, а уголовный комиссар скрывается в толпе.

■

Вечер. Около восьми часов.

Многие альтхольмцы еще на улице. Им очень хочется поскорее прочитать в печати чье-нибудь веское мнение о том, что случилось и что они видели сами. Поэтому и толпится народ у здания редакции «Нахрихтен» на Штольпер-Торплац. Но в газетной витрине висят фото со всех концов мира и больше ничего. В окнах редакции темно. Освещены только четыре окна типографии, выходящие во двор; там идет набор завтрашнего номера.

Гебхардт в своем кабинете, сюда доносится шум типографских машин. Окна плотно зашторены. Лишь на письменном столе горит лампа, бросающая свет на лист бумаги с цифрами.

Гебхардт считает, проверяет, еще раз считает и снова проверяет. Перелистывает квитанции, делает статистические выкладки. Его интересуют только цифры. И здание, и машины, и подчиненные ему тридцать рабочих и служащих — все предназначено лишь для того, чтобы увеличивать эти цифры.

Цифры — это гарантия. Большие цифры — значит, большая власть. Правда, есть еще люди, которые не проявляют к нему должного почтения несмотря на то, что он самый богатый человек в Альтхольме; но это лишь оттого, что цифра еще недостаточно велика.

За дверью слышится шум. Кто-то, спотыкаясь, бредет по темному коридору.

Гебхардт открывает дверь — в коридоре становится светлее — и тихо спрашивает: — Кто там?

— Это я, Штуфф.— Газетчик появляется из темноты.

— Я ждал вас,— говорит Гебхардт и с поклоном протягивает ему руку.

На какое-то мгновение удивленному взору Штуффа предстает курчавый затылок его нового хозяина с темными завитками и вытянувшаяся из воротника шея.

«Господи, ну и поклончик он мне отвесил!» — озадаченно подумал Штуфф.

Гебхардт приглашает его сесть: — Вы курите? Сигару? Вот эта полегче, а вот — покрепче. На ваш вкус. Пожалуйста, спички. Нет, спасибо, я некурящий.

Штуфф удобно расположился в глубоком кресле у письменного стола, сигара хорошо раскурилась. По ту сторону стола на своем стульчике примостился газетный король, поглядывая на бумаги.

— Я пригласил вас, господин Штуфф,— говорит Гебхардт, поигрывая карандашом,— чтобы кое-что с вами обсудить. О том, что я купил «Хронику», господин Шаббельт вам, наверное, сообщил.

— Нет,— говорит Штуфф.

— Вот как. Странно. Но во всяком случае вы это знаете.

— Да, слышал.

— Я купил «Хронику» потому, что взаимный антагонизм двух буржуазных газет в Альтхольме бессмыслен. Мы должны действовать сообща против «красного» фронта.

— Да, должны,— ответил Штуфф, чтобы заполнить возникшую паузу.

— Я хотел вас спросить, готовы ли вы — под моим руководством — посвятить свои силы «Хронике»? — Быстро: — Поймите меня правильно, мое руководство ограничивается коммерческой стороной дела, так что вас это едва ли коснется. В редакционном же плане вы свободны. Мы, понятно, обсуждаем время от времени основные направления. Но в остальном вы совершенно свободны, да и свой круг читателей вы знаете лучше, чем кто-либо.

— Значит, о сегодняшних волнениях я могу написать, как сочту нужным?

— Волнениях? Ах да, было несколько стычек. С крестьянами, кажется? Вы заинтересованы в крестьянах?

— Конечно.

— Я имею в виду финансовый интерес. Много ли среди крестьян подписчиков «Хроники»?

— Много? Нет.

— Тогда зачем? Хотите выступить против крестьян?

— Я хочу сообщить о неслыханном образе действий полиции.

— Дорогой господин Штуфф! С полицией газете никак нельзя ссориться.

— Но это касается лишь руководства полиции. А оно «красное».

— Да, верно. Но это городская полиция, не так ли? Городское учреждение. Кстати, вам известно, почему обер-бургомистр Нидердаль уехал именно сейчас?

— Он каждый год уезжает в это время. У родителей его жены годовщина свадьбы.

— Вот как. Значит, вы не думаете, что ему просто хотелось устраниться от этих стычек?

— Да нет же. Ведь он об этом и понятия не имел.

— Ну хорошо. Раз вы уверены... Значит, полагаете, что виноваты только «красные»?

— Всю эту историю спровоцировали «красные». А осенью у нас коммунальные выборы.

— Хорошо, господин Штуфф, действуйте. Не слишком резко, ну, вы сами знаете. В «Нахрихтен» мы, пожалуй, займем выжидательную позицию. У нас многовато читателей среди рабочих.

— Основная масса.

— Ну, не основная, положим, но много.

Они смотрят друг на друга, приветливо улыбаясь. Затем толстый Штуфф, чуть покряхтывая, выбирается из кожаного кресла.

— Тогда я, пожалуй, пойду. Напишу полосу на завтра.

— Что ж... Да, вот что еще, господин Штуфф: официально мы с вами, разумеется, не сотрудничаем. Это должно оставаться в секрете. В строгом секрете.

— А если мне понадобится поговорить с вами...

— ...то заходите вечером, как сегодня. Нет, никаких телефонных звонков. Могут пойти слухи.

— Ладно,— соглашается Штуфф. У дверей он протягивает руку своему шефу.

— Вот и хорошо,— говорит тот.— Да, еще одно. Мы же не обсудили вопрос о жалованье. Ну как можно забывать подобные вещи! — И он чуть натянуто засмеялся.

— О жалованье? — удивляется Штуфф.— Разве тут может быть вопрос? У Шаббельта я получал пятьсот плюс на доверительные издержки.

— Дорогой господин Штуфф! — Гебхардт улыбается.— Поймите, что так не выйдет. Именно по этой причине Шаббельт и разорился.

— То есть? Из-за моего жалованья? Это же смешно.

— Не только из-за вашего жалованья — не волнуйтесь, пожалуйста,— а из-за раздутых расходов вообще. Пятьсот марок плюс доверительные издержки? Нет, нет, об этом не может быть и речи!

Штуфф помрачнел: — А о чем может быть речь?

— Ну что вам сказать? Поверьте, я не Шейлок и отнюдь не намерен вас прижимать. В разумных пределах, и даже сверх того,— скажем, триста.

— Вздор! — говорит Штуфф.— Ерунда. И не подумаю.

— Дорогой господин Штуфф. Я, как понимаете, готов уволить вас в законном порядке по истечении срока вашего договора. То есть с первого октября.

— У меня вообще нет никакого договора с вами. Я могу уйти в любую минуту.

— А ведь есть столько молодых людей, обладающих бойким пером. В конце концов любой сумеет так писать. Ведь большая часть материалов поступает от корреспондентов.

— Ладно, без долгих разговоров: ваше последнее слово?

— Пойду вам навстречу. И хотя мой управляющий, господин Траутман, будет возмущен, предлагаю триста двадцать.

— Пятьсот! — настаивает Штуфф.— И на расходы.

— Но вы не так уж молоды,— осторожно замечает Гебхардт.— Да и «Хроника» под вашей редакцией тоже не расцвела, между прочим. Триста тридцать.

— Неужели вам будет приятно, господин Гебхардт, если я сейчас сойду с круга? Ведь тогда покупка «Хроники», возможно, перестанет быть секретом?

— Но это уже на грани вымогательства,— восклицает Гебхардт.— Вы требуете взятку за молчание?

— Прошу прощения, господа,— раздается чей-то жирный голос с порога.— Вьючное животное сбилось в тумане с дороги. Никого не встретил, кто бы доложил о моем визите. Добрый вечер.

— Добрый вечер, господин бургомистр,— говорит Штуфф.

•

Гарайс, начальственно улыбаясь, сует свою жирную длань присутствующим, и Штуфф убеждается, что его новый шеф отвешивает низкий поклон также и новому гостю с резвостью школьника, словно на уроке танцев. И опять его взору предстает затылок с темными курчавыми волосами.

— Враждующие братья, наконец, под одной крышей? — спрашивает бургомистр, переводя взгляд со смущенно-гневного издателя на угрюмого Штуффа.— В вечерний час сошлись наши пути? О, знала бы любезнейшая публика...

— У нас была малоинтересная беседа, ничего важного,— сухо отвечает Гебхардт.

— Она была очень громкой, а малоинтересной я ее не нашел. Ну, как бы то ни было...— Выражение лица бургомистра меняется, становится серьезным. Из складок жира смотрят умные глаза.— Вижу, что явился вовремя, ибо застал представителей влиятельной прессы вместе. А пришел я к вам, чтобы лично увериться в вашей объективности. Вы, господин Штуфф, показались сегодня моему старшему инспектору весьма предубежденным.

— Предубежденным? Нет.

— Называйте это как хотите. Он вам не нравится — дело ваше. Но, господа, хорошенько подумайте, что вы делаете, прежде чем что-то сделаете. Полиция в полной мере отвечает за то, что случилось. За ней стоит правительство. Ее также поддерживают и рабочие, а рабочие — это Альтхольм. Выступать против полиции — значит выступать против своего города, родного города, как любят говорить в этих стенах,— выступать против собственных интересов.

— Я полагаю, господин бургомистр, вы переоцениваете сегодняшние события. Завтра это центральная тема в местной печати, потом еще две-три заметки, через полгода судебный процесс — и все будет забыто.

— По-моему, нет,— возражает Штуфф своему шефу.— Борьба только начинается.

— А на чьей стороне мы увидим вас, господин Штуфф? — интересуется Гарайс.

— Я обыкновенный редактор.

— Что редактор, верно,— бургомистр неодобрительно кивает и обращается к владельцу газеты: — Между прочим, вам известно, что муниципалитет постановил отказать «Хронике» в публикации официальных объявлений?

— Не может быть! — кричит Гебхардт.— Шаббельт при продаже не сказал мне об этом ни слова!

Штуфф, опоздав на две секунды: — Это решение не муниципалитета!

Бургомистр улыбается, ему все понятно. Он обращается исключительно к Гебхардту, игнорируя Штуффа:

— Так вот, Гебхардт, ваша газета именует себя «нашей городской газетой», и ее читатели — рабочие. Я думаю, вы все же проинформируете их в интересах родного города?

— В интересах Альтхольма, да,— осторожно говорит Гебхардт.

— То есть... вы ж понимаете, что в данный момент так легко поддаться определенному настроению. Утром вы получите наше официальное сообщение. Придерживайтесь его.

— Официальное сообщение мы, разумеется, опубликуем.

— Я не люблю оказывать нажим,— продолжает бургомистр.— Но это дело будет доведено до конца. Я надеюсь,— правда, без особой уверенности,— что на сей раз увижу вас на своей стороне. Это не сторона СДПГ, сторона «красных», сторона бонз, как вы сейчас, наверное, думаете. Это сторона порядка, организации и работы. Сделать выбор нетрудно...

Гебхардт и Штуфф молча смотрят прямо перед собой. Бургомистр озабоченно поглядывает то на одного, то на другого. Затем поднимается и совершенно иным тоном говорит:

— Итак, спокойной ночи, господа. Спокойной ночи... По поводу жалованья в конце концов всегда можно столковаться, если есть такое единодушие по вопросам принципиальным, как у вас обоих.— И уже на ходу: — Пожалуйста, не утруждайте себя, господин Штуфф. Не заблужусь и без света. А вот вас могут увидеть. В самом деле. Спокойной ночи!

Штуфф, обращаясь к Гебхардту: — Ну и свинья! Боже мой, какая же он свинья!

И Гебхардт с кисло-сладкой улыбкой: — Что, колюч «красный» господин, а?

По спящей равнине медленно едет машина. Ее бросает из стороны в сторону, колеса вязнут в песке. Когда она останавливается и Бандеков с Редером держат совет о дороге, слева ясно доносится шум морского прибоя.

Утром отсюда выехали впятером· Падберг, Хеннинг, Ровер, Редер, Бандеков. Где все они сейчас?

Хеннинга искалечили и арестовали, Ровер в тюрьме, Падберг, разругавшись со всеми, ушел.

Осталось только двое, но они прихватили с собой третьего, он лежит на заднем сиденье. Это крестьянин Банц, которого они спрятали от шупо в подвале аукционного павильона. Он лежит тихо, но иногда начинает говорить; а то, что он говорит... короче: хорошо, что он не попался полиции.

— Надо бы забрать из сарая взрывчатку... Оставлять его здесь в таком состоянии не годится.

— Могу отвезти к себе,— говорит Бандеков.

— Да, пожалуй. Только не сейчас, на ночь глядя. Нынче кругом беда.

— Это вы так считаете.

В свете фар показывается крестьянский домишко.

— Хоть бы не пришлось ее долго будить.

— Хоть бы она не перепугалась.

Банциха не перепугалась: — Приехали за этим иль привезли его?

— Он в машине, только...

— Живой?

— Да, но ранен.

— Дома можно оставить иль ждать полицию?

— Полиция ничего о нем не знает. Может, потом... Но пока — нет.

— Давай, мужики, несите.— Она твердыми руками поддерживает раненую голову.

Банца укладывают на кровать.

— Может, чем пособить? Деньги вам нужны?

— Ступайте уж. Сама управлюсь.

— Врача лучше не вызывайте.

— Врача?..— спрашивает она презрительно.— Да я всех детей родила и вырастила без врача. Подумаешь, чуть поранило. Промою коровьей мочой. А от лихорадки примочки есть. Через неделю картошку окучивать будет.

— Но...

— Ладно уж, ступайте.

*(Окончание следует)*

◇

---

**БУНИН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ** (род. в 1920 г.).

Советский переводчик с немецкого. Печатается с 1956 г. В его переводах издавались произведения Стефана Цвейга, Ганса Фаллады Генриха Манна, Фридриха Дюрренматта, Франца Вайскопфа, Фрица Хохвельдера, Петера Вайса, Франца Фюмана, Герберта Иобста, Макса фон дер Грюна, Хельмута Ценкера и др.

*Литературные иллюстрации*

# В. С. НАЙПОЛ

## *Флаг над островом*

ФАНТАЗИЯ ДЛЯ МАЛЕНЬКОГО ЭКРАНА

*Перевод с английского В. ГОЛЫШЕВА*

Повесть В. С. Найпола пробудила в моей памяти воспоминания о днях пребывания на родине писателя, хотя с той поры прошло уже тридцать пять лет.

По пути из Панамы в Рио-де-Жанейро мне пришлось остановиться в Порт-оф-Спейне, административном центре острова Тринидад, тогда британской колонии, где надлежало сменить самолет. Поздним вечером в аэропорту Пиарко чиновник иммиграционной службы, отнюдь не походивший на традиционного английского клерка, с донельзя усталым, даже мрачным лицом, не поднимая глаз, механически ставил в паспортах прибывших штамп о прилете и монотонным голосом направлял каждого в медпункт для какой-то обязательной вакцинации. Взяв мой паспорт, он начал внимательно, даже придирчиво, его разглядывать, перелистал страницы, еще раз всмотрелся в герб и неожиданно спросил: «Из какой страны?» Я ответил: «Здесь же все указано». Чиновник сухо проговорил: «Неясно. Какая это страна?» Назвав наше государство и заметив взгляд чиновника, я добавил: «Россия». Чиновник реагировал уже по-иному: «Россия?.. Простите, сэр. Россия — это же Сталинград, Москва! Видите ли, у нас вашу страну называют не иначе как Россией или Советами. Я не встречал полного официального наименования государства и не задумывался над этим, но Москва, Сталинград, поверьте, мне хорошо знакомы, еще бы!..» Он говорил, не останавливаясь, о том, как следил «за положением дел у русских», на карте отмечал линии фронтов, тревожился за судьбу блокированного Ленинграда, мысленно продвигался с Красной Армией к Берлину, и в конце концов сообщил, что ему, тринидадскому индийцу, до сих пор не приходилось выезжать с острова и воочию видеть людей из Страны Советов. Горячей симпатией к советскому народу звучали его слова, он восхищался подвигами наших солдат — чувства его были свежи: менее года прошло после разгрома гитлеровского фашизма,

---

**ВИДИА С. НАЙПОЛ — VIDIADHAR SURAJPRASAD NAIPAUL** (род. в 1932 г.).

Тринидадский писатель. Окончил Оксфордский университет. Пишет на английском языке; живет в Лондоне. Его первый роман «Таинственный массажист» («The Mystic Masseur») вышел в 1957 г. и получил премию Ллевелина Райса, роман «Мигель-стрит» («Miguel Street», 1959) — премию Сомерсета Моэма. С тех пор В. С. Найпол выпустил еще несколько романов, в том числе «Дом для мистера Бисваса» («House for Mr. Biswas», 1961), «Ненастоящие» («The Mimic Men», 1967), «В подвешенном состоянии» («In a Free State», 1971), «Партизаны» («Guerrillas», 1974) и др. Некоторые из них также отмечались премиями. В «Иностранной литературе» напечатан его рассказ «Записки ночного портье» (№ 10, 1979).

Предлагаемая вниманию читателя сатирическая повесть «Флаг над островом» взята из одноименного сборника повестей и рассказов В. С. Найпола («A Flag on the Island», London, 1967).

весть о победе переполняла радостью сердца человеческие и здесь, на далеком Тринидаде... А за сорок пять минут езды от аэропорта Пиарко до отеля «Куинз парк» в Порт-оф-Спейне — вдоль казавшейся в черной тропической ночи бесконечной аллеи королевских пальм — таксист, словоохотливый старик, многое поведал мне о своем удивительном острове, о тех серьезных проблемах, с которыми сталкиваются в нелегкой жизни островитяне.

Остров Тринидад, на котором по всем признакам развертывается действие повести В. С. Найпола, уроженца этого кусочка земли в Атлантике, чрезвычайно своеобразен, как своеобразны и его проблемы.

Своеобразна его история — от того дня, когда в 1498 году он был открыт Колумбом, и до 31 августа 1962 года, когда была провозглашена независимость Тринидада и соседнего острова Тобаго, до 1 августа 1976 года, когда новое государство было объявлено республикой. Давно прозванный «Островом колибри» — этих беззащитных очаровательных птичек, трепетно реющих над диковинными цветами, здесь превеликое множество — Тринидад повидал всякого вида хищников, терзавших его как свою добычу, вырывавших его богатства друг у друга. В конце XVI века Испания заняла остров, но не раз захватывали его английские пираты, которых выбивали испанцы; вторгались сюда и голландцы, хозяйничали тут французы, которых опять сменяли испанцы. В 1797 году Тринидад был оккупирован Великобританией, пять лет спустя взявшей его в свое владение уже по Амьенскому мирному договору. И лишь в 1956 году Тринидад и Тобаго получили внутреннее самоуправление, затем несколько лет пребывали в составе так называемой Вест-Индской федерации, ныне республика — член Содружества наций.

Природа щедро одарила остров. Здесь культивируют сахарный тростник, какао-бобы, кофе, рис, цитрусовые, кокосовые орехи, но главное богатство страны — нефть, газ, натуральный асфальт. Отсюда понятной становится особая заинтересованность колонизаторов в Тринидаде. Кроме того, в годы второй мировой войны по соглашению между США и Великобританией на острове были созданы военные базы, а позже размещены американские станции слежения за искусственными спутниками Земли; портовые сооружения используются Соединенными Штатами для обслуживания их судов.

Всего каких-то пятнадцать километров пролива отделяют Тринидад от латиноамериканского континента, от территории Венесуэлы, но, попав на остров, оказываешься будто в иной среде, обособленной от Латинской Америки: это и было в свое время целью колонизаторов, придерживавшихся древнего политического принципа «divide et impera» — «разделяй и властвуй». Изоляция от внешнего мира и взаимоизоляция прежних колоний, разобщенность народов региона — наследие вековой зависимости — в известной степени были сметены установлением дипломатических отношений в декабре 1972 года между Кубой и правительствами Тринидада и Тобаго, Барбадоса, Гайаны, Ямайки, позднее — Гренады.

Своеобразен этнический состав населения Тринидада. Индейцы — коренные обитатели острова — почти целиком были уничтожены еще конкистадорами. Для работы на плантациях колонизаторы стали ввозить из Африки негров-рабов, перемещать их из других колониальных владений в Карибском море. После отмены рабства в 1836 году англичане начали искать рабочую силу на других меридианах, и в 1845 году первое судно с 225 законтрактованными индийцами прибыло из Калькутты на Тринидад, затем последовали очередные партии завербованных в Индии, среди которых, кстати, находились и предки автора повести «Флаг над островом». Много китайцев привезли сюда, однако те недолго поработали на плантациях: обманув расчеты землевладельцев, они перебрались в города, где пооткрывали лавчонки, а теперь их наследники в своих руках сосредоточили бо́льшую часть внутренней торговли. По мотивам политического и экономического характера сюда переехало немало креолов из французских колоний на Антиллах. И сегодня здесь видишь женщин в индийских сари, мужчин в тюрбанах, китайские названия магазинов и ресторанов, индуистские храмы и мусульманские мечети рядом с христианскими церквами, английские колледжи, американские и канадские банки, французские парфюмерные фирмы, а на вывесках англизированные испанские имена — «Джозеф Гонсалес» либо «Джон Лопес» вместо Хосе Гонсалеса и Хуана Лопеса, да и речь испанскую слышишь не часто.

Многонациональная мозаика населения, смешение различных языков, традиций, нравов, обычаев, религий в границах небольшого острова, где еще не так давно исполнялся лишь чужой гимн «Rule, Britannia...» («Владычествуй, Британия...»), а в экономике которого поныне господствуют иностранные монополии, оказывая чуть ли не всестороннее влияние на внутреннюю жизнь страны, естественно, наложили свой отпечаток на духовный мир граждан молодой республики и создали значительные трудности в процессе формирования и утверждения национальной культуры.

Читая повесть «Флаг над островом», легко обнаруживаешь, насколько все это отразилось и на произведении В. С. Найпола.

Разрушая созданный колонизаторами миф о бесплодии культур стран Вест-Индии, национальные литературы бывших колоний за последнее время достигли значительного прогресса. В литературе Тринидада, развивающейся вместе с ростом национально-освободительного движения и выдвинувшей таких писателей, как С. Л. Р. Джеймс, Сэмуэл Селвон, Эрик М. Роч, Джон Ла Роуз, Иан Мак Доналд, Алфред Мендес, критика выделяет творчество В. С. Найпола, автора многих романов, повестей и сборников рассказов, пользующегося наибольшим издательским успехом в англоязычных странах.

Уроженец Тринидада, он долгие годы живет и работает в Лондоне, но в своих произведениях не отходит от тринидадской тематики. Книги его неизменно вызывают интерес читателей и критики, хотя оценки последней неоднозначны. Так, по суждению гайанского писателя Вильсона Харриса, Найпол превратился в более или менее английского писателя, поддерживающего живой традицию реалистического романа XIX века в произведениях на антильские темы. В сборнике эссе «Традиция, писатель и общество», между прочим появившемся в том же году, что и «Флаг над островом» (1967), Харрис относит книги Найпола к «роману убеждения», поскольку романист убеждает читателя воспринять его произведение как метафизический взгляд на действительность, поскольку персонажи произведения поставлены автором в некое узкосхематическое, строго ограниченное пространство, в пределах которого им предстоит полагаться на фатум для разрешения своих противоречий, конфликтов. И очевидно, потому в творчестве Найпола зачастую доминируют пессимистические нотки. По мнению других латиноамериканских критиков, произведениям Найпола, бесспорно написанным на высоком художественном уровне, свойственны авторская наблюдательность и проникновенность.

«Флаг над островом», по-видимому, заставит нас, признавая литературные достоинства произведения, прийти к выводу, что кое в чем Вильсон Харрис не столь уж далек от истины.

Найпол посчитал возможным привязать время действия повести к конкретному периоду, что, закономерно, налагает на писателя несомненную и неукоснительную ответственность. Судя по высказываниям персонажей книги, речь идет не только о послевоенных годах, включая реминисценции военных лет на базе США вдали от фронтов, но и о первоначальном этапе жизни страны после провозглашения независимости, о первых ступенях к возрождению или становлению национальной культуры. Следовательно, период исключительной важности в новой истории бывшей колонии.

Надо отдать должное В. С. Найполу — он не вынуждает читателя долго искать ключ к раскрытию авторской концепции. Без задержек мы знакомимся в повести с мистером Х. Д. Ч. Белом, иначе мистером Х. Д. Черенбелом (у автора — mister Blackwhite — черный, белый), писателем и вместе с тем директором «Начального коммерческого колледжа». Этой весьма колоритной фигуре, сама фамилия которого весьма красноречива, принадлежит книга под названием «Ненавижу вас», подзаголовок ее, однако, более вразумителен: «Человек, который хотел стать собой», а первые строки гласят без экивоков: «Я — человек, не ставший собой...» Волей-неволей напрашивается вопрос, не звучат ли эти слова ударом камертона, устанавливающего тональность всей повести Найпола? А книга мистера Х. Д. Ч. Бела упоминается не единожды. И не потому ли, увидев новый флаг новой республики (надо заметить, что, сохраняя в повести тринидадские реалии, Найпол не приводит описание подлинного флага Тринидада и Тобаго), один из персонажей говорит, что британский флаг вот «сняли, а прислали этот. По правде сказать, мне больше нравился старый Юнион Джек... Мне больше по вкусу старый Юнион Джек. То, я понимаю, был флаг. А это — вроде что-то выдуманное». Автор повести вкладывает данную реплику в уста не какого-то завзятого англофила, да и самого Найпола никто и никогда не относил к апологетам великобританского «Юнион Джека». Другой персонаж повести — американец, вернувшийся на остров в качестве туриста, от лица которого ведется повествование,— несколько ностальгически, несмотря на кое-какие обмолвки, размышляет о тех временах, когда здесь над военной базой США развевался звездно-полосатый флаг. Теперь два чужих флага спущены, поднят новый — национальный, но произошли ли радикальные перемены в стране? Скепсис автора «Флага над островом» не слишком-то завуалирован, хотя тот же Х. Д. Ч. Бел, прежде утверждавший, что «это место, слышите,— оно не существует. Люди здесь только рождаются. И все хотят только уехать...», пусть робко, все же провещал: «Мне начинает казаться, что остров начинает вести самостоятельное существование».

В повести Найпола местные жители-островитяне поют знаменитые калипсо, тринидадские калипсо, импровизированные «газеты бедняков» — народные песенки на злобу дня, с которыми певцы-самоучки на улицах и площадях выступали обычно с протестом против социальной несправедливости, против угнетателей, откликались на все, что волновало земляков. Автор повести лишь мимоходом упоминает о калипсо, равно как и о прославленных «стил-бендах» — «стальных оркестрах» из старых жестянок, приспособленных в качестве инструментов обездоленными в трущобах Порт-оф-Спейна, в убогих лачугах, на заброшенных пустырях. К сожалению, столь характерное для Тринидада народное творчество остросоциального наполнения не нашло себе достойного места в повести, где куплеты калипсо были бы так нужны.

В странах, обретших или завоевавших в борьбе свою независимость, огромное значение приобретает проблема национальной культуры. В повести «Флаг над островом» все тот же Х. Д. Ч. Бел время от времени занимается изобретением никому не понятного языка под видом «нашего диалекта» (подобные «новаторы» всплывают и в реальной жизни молодых республик Карибского региона, но, как правило, погоды не делают). Выведены в повести и художники, увлеченные «экспериментом в области возрождения племенного подсознательного», «своего рода художественной эстафетой потока сознания. Но в краске. Своего рода непрерывные перекрестные помехи». Жалкие потуги на культуру, подмена культуры.

Герои, вернее, антигерои повести ждут. Ждут того часа, когда на остров налетит ураган, который «сдул бы все к черту». Ураган — фатальный, роковой лейтмотив произведения. А по данным латиноамериканских ученых, ураган, порой властвующий в Карибском море, будучи, согласно антильской мифологии, «грозным божеством бурь» и являющийся — до появления колонизаторов — главным врагом здешних островитян, крайне редко заглядывает на Тринидад, следуя обыкновенно двумя градусами севернее этого острова. И лопаются надежды персонажей повести: ураган промчался мимо — таким образом, тщетно ждать перемен. Как и ранее, на деревянной арке будет красоваться зазывная надпись «Добро пожаловать на наш живописный остров». По Найполу, даже слепой стихией люди обречены на прозябание в суррогатном «мирке для туристов», отгороженном от социальной борьбы, классовых битв, национально-освободительного, антиимпериалистического движения, от событий внутри страны и во всем мире.

В некоторых бывших колониях на Антиллах еще весьма активно проявляется экономическое, социальное, культурное воздействие экс-метрополии, сказывающееся и в творчестве отдельных писателей: не все смогли, а то и не сумели, не захотели открытыми глазами взглянуть на свершающиеся вокруг изменения. Разумеется, труднее осознать новое тем, кто в силу каких-то причин оторвался от родной земли, мыслит устаревшими понятиями, живет в уже ушедшем времени.

Персонажи «Флага над островом» оберегаются от свежих веяний, по-прежнему пребывая в замкнутой среде «стерильно-чистого» мещанства, и, собственно, не предпринимают попыток вылезти из грязи, оставшейся от былого. Осуждений по их адресу автор не находит, не выносит им приговора. Автор, художественной манере которого свойственна условность, предпочитает лишь выставлять напоказ носителей вирусов, жертв болезни, безучастно их экспонировать. Однако симптомы и первопричины болезненного явления ясны тому, кто отдает себе отчет, насколько эта болезнь тормозит прогресс нового общества, рождающегося в сложных условиях, в конвульсиях противоречий. Разделить позицию автора, отрицающего общепризнанное, конечно, невозможно, как и нельзя не обратить внимания на то сатирическое, изобличительное, что направлено против неоколониализма США и Великобритании, против их «цивилизаторской миссии».

Жизнен, жизнеспособен, долговечен ли искусственно сотворенный В. С. Найполом «островок прошлого» на острове настоящего?

Я вновь вспоминаю моих давних знакомых на Тринидаде — даже и тогда, в годы колониализма, они думали и мечтали о другом. Нет сомнения в том, что сегодня их соотечественники думают и действуют по-другому, освободившись от колониальных уз и видя перед собой магнетизирующий пример революционной Кубы.

**ЮРИЙ ДАШКЕВИЧ**

## 1

Около этого острова я кружил много лет. По делам мне приходилось бывать неподалеку от него, и я мог наведаться туда когда угодно. Но в моем воображении остров стал недоступным — и я хотел, чтобы он таким остался. Перед авиационным, скажем, расписанием, где название острова конкретно и заурядно, мысль о том, чтобы завернуть туда, всякий раз ввергала меня в апатию. Как просто — прилететь, усесться в машину и перетрясти название с деревьями, домами, людьми, их причудливыми вывесками и озадачивающими странствиями. Как просто погубить не только название. В конце концов все пейзажи существуют лишь в воображении; столкнуться с действительностью — значит, начать с нуля.

А теперь остров надвигался на меня. Он лежал в стороне от нашего маршрута. Но дальше к северу, на туристских островках, разыгрывалось большое ежегодное событие — ураганы: известие об одном из них, по имени Ирэн, и вынуждало нас укрыться в здешней гавани. Остров, сообщили нам в судовом бюллетене, сравнительно безопасен. Ураган здесь был только раз, в 20-х годах, да и то не сильный, и ученые тогда сказали — как водится у ученых,— что в ближайшие сто лет второго не будет. Но это не вязалось с взволнованными объявлениями местной радиостанции — наши транзисторы стали принимать ее, как только мы вошли в гавань по узкому проливчику — тихому, прозрачному, опасному — между скалистыми, крытыми зеленью островками.

И ни проливчика, ни островков я не надеялся и не желал увидеть снова. Все на старых местах. А мне было до того спокойно, пока мы плыли на север. С тех пор как я поднялся на борт, моя жизнь шла под знаком воздержания, почти умерщвления плоти; и это меня очень радовало. Я мало ел и совсем не пил. Мне казалось, что я с каждым днем усыхаю, и отмечать это изо дня в день было приятно. Усевшись, я старался занимать как можно меньше места; с удовольствием надевал очки и пробовал читать,

чувствуя себя аскетом, которому ведомо еще большее удовольствие — сокращающейся плоти. Быть аскетом, быть мягким, смирным и вежливым, бездеятельным и самоуглубленным; создать себе маленькую прогалинку в джунглях души и постоянно напоминать себе, что прогалинка еще существует.

Но при входе в гавань я почувствовал, что джунгли опять смыкаются. Я сделался нервным, раздраженным, недовольным — вдруг нецельным человеком. И все же я не сдался. Я решил, что не сойду на берег с остальными. Стоянка наша должна была продлиться до тех пор, пока не выдохнется ураган. Пароходная компания организовала прогулки и экскурсии.

— Как называется этот город? На аэродромах всегда объявляют название. В портах любят, чтобы ты угадывал. Почему, интересно?

— Философ.

Муж и жена, дружная пара.

Про нас уже знали. Транзисторы приняли новое объявление — с взволнованной одышкой, как и прежние: «Передаем обращение министерства общественного порядка и образования. В течение нескольких дней на нашем острове будут находиться пятьсот туристов. Министерство призывает встретить туристов с нашей обычной вежливостью и гостеприимством».

— Туземцы взволнованы,— сказал мне один турист.

— Да. Очень может быть, что они нас скушают. Мы аппетитно выглядим.

Над станцией, где выгружали боксит, висела туча красной пыли, уродовавшая город и холмы. Туристы в бермудских шортах, пестрых рубашках и соломенных шляпах, выстроившись вдоль поручней, глазели. Вид у них был незащищенный.

«Слушайте обращение министерства общественного порядка и образования...».

Я вообразил, как обращение разносится по парикмахерским, пивным, закусочным и задворкам знакомого мне ветхого городишка.

Радио сыграло рекламную какой-то рубашке; заныл орган — скончались такой-то и такой-то; потом — рекламная стиральному порошку; потом громоподобно объявили время и последовал рассказ о погоде и температуре.

— И тут переживания из-за времени и погоды,— сказала одна женщина.

Ее муж с озлобленностью, которой не могла скрыть пестрота туристского наряда, ответил:

— А почему бы и нет, черт подери?

Недружная пара.

Я ушел в каюту. По дороге мне повстречалась пара повеселее, одетая как на карнавал.

— Не идете на берег? — спросил он.

— Нет. Останусь, лучше почитаю.

И, сам себя изолировав, я попробовал читать. Надел очки и попробовал насладиться убыванием умерщвляемой плоти. Но без толку: джунгли напирали; неразбериха и угроза уже перерастали во внутреннее возбуждение, которое разрешается только само в себе — и опустошает.

Тут, на лайнере Мура-Маккормака, все было Мур-Маккормак. В белой каюте имя таращилось на меня из всех углов, с каждого предмета, с полотенец, с туалетной бумаги, с писчей бумаги, со скатерти, с наволочек, с простынь, с одеял, с чашек и меню. Имя лезло внутрь — как радиация, которой нам велели остерегаться, проникало под кожу, запечатлевая себя в живых кровяных тельцах.

Мур-Маккормак. Мур-Маккормак. Человек стал богом. Некуда деться от него в каюте; но я знал, что, стоит нам сойти с корабля, имя потеряет силу. Так что решение было принято как бы помимо меня. Я сойду на берег, проведу на берегу ночь. Настроение овладело мной; я ему не препятствовал — я ему отдался. Потом мне пришло в голову, что и я, убрав портфель, бумаги, письма, паспорт, способен кое на что притязать. Я ведь тоже пытался налепить на себя ярлыки, но ни один из них не мог убедить меня, что я принадлежу себе.

Это — составная часть моего настроения, и она увеличивает беспокойство. Мне кажется, что весь мир смыло прочь и меня смывает вместе с ним. Мне кажется, что времени у меня в обрез. Ребенок, испытывая свою храбрость, ступает в быструю речку, и пусть вода достает ему только до лодыжек — вот исчезла из-под ног надежная земля, и остается лишь ужас от неба и деревьев и то, что толкается в ноги. Мгновение ясности только обостряет ужас. Так, мы годами пользуемся одной зубной пастой и

кончаем тем, что не можем вспомнить цвет тюбика; но едва окружат нас незнакомые ярлыки, выведет из равновесия незнакомый пейзаж, и всякая обиходная мелочь, которой мы пользовались механически, делается самостоятельной и напоминает нам о нашей странной зависимости.

— Проведете ночь на берегу?

Вопрос задал маленький смышленого вида человечек с круглым добрым лицом. Он так же сторонился судовой жизни, как я, зато был неразлучен с крупным мужчиной в сером костюме — лицо второго я никак не мог запомнить. До меня доходили слухи, что маленький очень богат, но я не обращал на них внимания; так же как не обращал внимания на другой слух — что на борту у нас находится пленный русский шпион.

— Да, решил быть храбрым.

— Очень рад,— сказал он,— мы с вами отлично развлечемся.

— Спасибо за приглашение.

— Я говорю «развлечемся» не в том смысле, как вы думаете.

— Тогда я не знаю, в каком вы смысле.

Он продолжал улыбаться.

— Мне кажется, вы собираетесь искать на берегу удовольствий.

— Ну что ж, можно и так сказать.

— Я рад, что мы сюда пристали.— У него сделался вид человека, обремененного обязанностями.— Понимаете, у меня здесь небольшое дельце.— Он говорил сдержанно, но было заметно, что он волнуется.— Вы знаете этот остров?

— Когда-то знал его вдоль и поперек.

— Ужасно рад, что мы познакомились. Мне нужен именно такой человек. Вы можете оказать мне громадную помощь.

— Я облегчу вам жизнь — дам список мест, которых вы не должны посещать ни в коем случае.

Он поглядел на меня с обидой.

— Я правда здесь по делам.

— Дела здесь можно делать. Я делал.

Развлекаться? Я и так уже обессилел. В животе у меня образовался узел; и вся энергия, не растраченная за многие дни и недели, словно закисла во мне.

Меня уже позывало на моллюсков и прочие дары моря. Я уже чувствовал их затхлый поганый вкус на языке и по прежнему опыту знал, что если уж это настроение напало на меня, то в ближайшее время я ни разу не поем как следует, а удовольствия, которых я ищу, быстро превратятся в приятное, но изнурительное испытание на выносливость и кончатся тем, что станут болью.

До сих пор я был самым равнодушным из туристов, непредвиденный отдых меня не радовал. Теперь, когда мы причалили, я стал одним из самых ретивых.

— Э, быстренько вы ее прочли.

— Я прочел последнюю страницу — убийцей был дворецкий.

В элегантном здании для пассажиров ухоженные, старательно-обаятельные девушки, подобранные по расе и цвету кожи — две или три совершенно, дипломатически, черные,— навязывали нам сувениры: игрушечные барабаны, кукол — рыночных торговок из ваты, музыкантов из проволоки, лица из кокосовых орехов, вырезанные в стиле тотемов. За оградой из проволочной сетки кишели таксисты. Ограда казалась непрочной.

— Как в зоопарке,— сказала туристка.

— Да,— отозвался озлобленный муж.— Могут кинуть тебе орешков.

Я поискал телефон. Я попросил телефонный справочник. Справочник был маленький.

— Игрушечный справочник,— заметил радостный турист.

— Там телефоны кукол,— ответил я.

Я набрал номер. Подождал. Знакомый голос сказал: «Алло». Я закрыл глаза и слушал. Голос сказал: «Алло, алло». Я положил трубку.

— Шалунишка.

Это был мой знакомец с корабля. Его приятель стоял в другом конце зала, к нам спиной; он разглядывал книги на вращающемся стенде.

— Чем это, по-вашему, заинтересовался Синклер? Подойдем посмотрим?

Мы подошли. Синклер зашаркал прочь.

Большинство книг на стенде принадлежали перу Х. Д. Ч. Бела. На задней обложке каждой был портрет автора. Измученное писательское фотолицо. Но мне показалось, что оно подмигивает. Я подмигнул в ответ.

— Вы его знаете? — спросил мой знакомец.

— Едва ли кто из нас по-настоящему знал мистера Черенбела,— сказал я.— Этот человек шел в ногу со временем.

— Местный писатель?

— Очень местный.

Почтительным пальцем он пересчитал названия.

— Он выглядит потрясающе. Надеюсь, что мне удастся его повидать. А вот эта, наверно, отличная.

Книга, которую он выбрал, называлась «Ненавижу вас» с подзаголовком «Человек, который хотел стать собой». Мой друг жадно открыл книгу и зашевелил губами: «Я — человек, не ставший собой. Мое «я» съела ненависть. Моя личность изуродована ненавистью. В гимнах моих — не хвала, а ненависть. Ужасно быть Калибаном, говорите вы. А я говорю: потрясающе. О потрясающем поведу я мою неожиданную речь».

Он прервал чтение, протянул книгу продавщице и сказал:

— Девушка, девушка, я хочу ее купить.— И, расстреливая пальцем титул за титулом: — И эту, и эту, и эту, и эту.

Он был не одинок. Туристов умело направляли к полке.

— Туземный автор.

— Не произносите этого слова.

— Наверно, уйма местного колорита.

— Выбирайте выражения.

— Смотрите, он нападает на нас.

— Нет, он просто нападает на туристов.

Группа двинулась дальше, почти очистив полки. Я купил все книжки Х. Д. Ч. Бела. Продавщица сказала мне:

— Туристы обычно хватаются за «Ненавижу», а мне больше нравятся романы. Они согревают душу.

— Добрый честный секс?

— Нет, расовые отношения.

— Извините, мне нужен другой язык.

Я надел очки и прочел посвящение на одной книжке: «Автор выражает благодарность фонду Хаакера, чья щедрая поддержка помогла ему воплотить свой замысел в книгу». В другой книжке благодарность выражали фонду Стоквела. Мой приятель — он на глазах превращался в приятеля,— держа свои книги под мышкой, заглядывал в мою.

— Вот видите. Они все за ним гоняются. Он и глядеть на меня вряд ли захочет.

Нам преподнесли маленькие бутылочки с ромом — подарки от разных фирм. Проспекты и брошюрки, фотографии и карты со стрелками и крестиками знакомили нас с красотами острова, теперь полностью обследованного картографами. Девушка была особенно приветлива, рассказывая о достопримечательностях.

— Тут у вас грязевые вулканы,— сказал я.— Это довольно любопытно. Но в проспектах не обозначено, где теперь лучший публичный дом?

Туристы уставились. Девушка позвала: «Мистер Филлипс». А мой приятель взял меня под руку, улыбнулся, как ребенку, и сказал:

— Ого, кажется, мне придется за вами присматривать. Я знаю, каково это, когда тебя закрутит.

— Знаете, охотно вам верю.

— Меня зовут Леонард.

— Меня — Фрэнк,— сказал я.

— Уменьшительное от Франкенштейна. Не обращайте внимания, это я пошутил. А видите вон моего друга — он к нам спиной? Это Синклер.

Синклер стоял к нам спиной, изучая измученную живопись — черный берег под грозовым небом.

— Только Синклер не станет с вами разговаривать — особенно после того, как я разговаривал с вами.

В бурлящем зале мы были тремя неподвижными точками.

— Почему Синклер не станет со мной разговаривать?

— Ревнует.

— Ура вам.

Я удрал от него к такси.

— Эй, вы уж теперь не теряйтесь. Я за вас беспокоюсь, помните?

Под деревянной аркой с надписью ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА НАШ ЖИВОПИСНЫЙ ОСТРОВ таксисты, чинные, в темно-серых брюках, белых рубашках, некоторые даже при галстуках, вели себя как люди, сведенные с ума радиопризывами к вежливости. Они накинулись на туристов — легкую добычу в карибских ситцах, разрисованных пальмами, тростниковыми хижинами и танцовщицами в юбках из листьев. Казалось, тропики существуют только у них на спинах; когда они влезали в такси, тропики скрывались вместе с ними.

Мы выехали на проспект, застроенный стеклянными зданиями, барами с кондиционированным воздухом и заправочными станциями с забористой рекламой. На каждом углу висел лозунг: ГОРДОСТЬ, ТРУД, КУЛЬТУРА. Над таможней — флаг. Незнакомый: желтое солнце с лучами над голубыми волнами моря.

— Куда вы девали британский?

Таксист ответил:

— Его сняли, а прислали этот. По правде сказать, мне больше нравился старый Юнион Джек. Нет, поймите меня правильно, я говорю про сам флаг. Присылают нам эту, я извиняюсь, штуковину и подслащивают ее старинной трепотней насчет червленого, лазоревого, перевязей и прочего. Подслащивают; но мне больше по вкусу старый Юнион Джек. То, я понимаю, был флаг. А это — вроде что-то выдуманное. Знаете, вроде иностранных денег.

Когда-то остров казался мне бесфлажным. Юнион Джек, конечно, присутствовал, но это было неубедительное самоутверждение. Остров парил без привязи, и, если угодно, вы могли явиться туда с собственным флагом. Ежедневно при заходе солнца мы спускали у себя на базе наш звездно-полосатый; играл горн, и по всему городу, на узких улочках, среди больших деревьев и старых деревянных домишек, каждый американский солдат становился по стойке «смирно». Это было самоутверждение смехотворное — местные ребятишки нас передразнивали,— но лишь одно из многих в этом городе смехотворных самоутверждений. В парадной комнате у мистера Черенбела долго висел цветной портрет Хайле Селассие; а в угловой бакалее Ма Хо между китайскими календарями висела фотография Чан Кайши. На бесфлажном острове мы, салютуя нашему флагу, собирались вернуться в Америку; Ма Хо собирался в Кантон, как только кончится война; а портрет Хайле Селассие должен был напоминать мистеру Черенбелу и всем нам, что ему тоже есть куда вернуться. «Это место несуществующее»,— говорил он, и он был мудрее всех нас.

Теперь, проезжая по городу, чьи черты так изменились, что изменение, казалось, затронуло и саму землю, структуру почвы, я снова почувствовал, что пейзаж и, может быть, все человеческие связи существуют только в воображении. Впрочем, теперь остров существовал: об этом извещал флаг.

Дорога пошла в гору. Над водопропускной трубой сидели двое калипсян [1], соответственно одетых, и уныло поджидали слушателей. Чуть позже мы увидели двух более удачливых. Они пели серенаду жизнерадостной туристке. Таксист праздно ждал, руки в карманах, зубочистка во рту. Озлобленный муж стоял также праздно, но у него был вид человека, который пытается побороть ярость.

Гостиница была новая. Панно в вестибюле прославляли пейзаж и народ, существование которых как бы отрицала сама гостиница. На доске объявлений значилось название нашего теплохода с припиской: «Отплытие откладывается». Афиша рекламировала «Кокосовую рощу». Другая приглашала на Ночь жарко́го в «Хилтоне», распорядитель — Гари Попленд, звезда голубого экрана. На фотографии он был окружен своими фигурантками. Но я видел только Попа, Попа в белом балахоне, укротителя языка, повелителя шестерых певчих девочек. Он мне не подмигивал. Он хмурился; он угрожал. Я прикрыл его лицо ладонью.

Когда на меня находит стих, я пытаюсь уговорить себя, что мир не утекает прочь; что время еще есть; что смешение фантазии с действительностью, которое рождает во мне беспомощное чувство, существует только в моем разуме. Но все равно

[1] Калипсо — музыка, родившаяся на Тринидаде, представляет собой сплав западноафриканских и европейских элементов. Песни калипсо — обычно со злободневным импровизированным текстом *(прим. перев.)*.

знаю, что разум — это инородное и недружественное и мне ни с чем не совладать. Хилтон, Хилтон. Даже тут, даже в Книге на тумбочке. И опять «Кокосовая роща» — в проспекте на столе, возле вазы с фруктами в зеленом целлофане, перевязанном красной ленточкой.

Я позвонил, чтобы принесли выпить; потом снова позвонил, чтобы послушать голос и ничего не сказать. И еще до второго завтрака успел выпить слишком много.

«Фрэнк, ты все такой же, глаза у тебя рыщут, а язык спит».

Такая была на острове поговорка; мне показалось, я слышу эти слова по телефону.

Второй завтрак, второй завтрак. Пусть он будет порядочным во всех смыслах. Дыню или авокадо для начала и что-нибудь потом... но что? Но что? Едва я вошел в столовую, позыв на устрицы и креветки стал непреодолимым. По залу прошествовал мальчик в ливрее, стуча в игрушечный тазик и выкликая имя. Я вообразил, что мое: «Фрэнки. Фрэнки». Но понимал, конечно, что это не так.

Я увидел спину Синклера, который подошел к одному из столиков. Он сел в дальнем конце, как бы с намерением держать перед глазами всю панораму.

— Вам уже лучше?

— Леонард?

— Фрэнк.

— Вы любите устриц, Леонард?

— Умеренно.

— Я возьму устрицы.

— Неплохо для начала. Давайте возьмем, я возьму полдюжины.

На лацкане у официанта была эмблема с желтым солнцем и голубыми волнами; мой взгляд поплыл по волнам.

— Ему — полдюжины. Мне — полсотни.

— Полсотни? — сказал Леонард.

— Хорошо, тогда сотню.

Леонард улыбнулся.

— До чего же я рад, что познакомился с вами. Вы мне верите, Фрэнк?

— Я вам верю.

— Знаете, мне не верят, что я приехал сюда по делам. Думают, что я сочиняю.

Официант подал Леонарду шесть устриц и мне сотню. Устрицы были местные, крохотные; шесть штук не заполнили бы ложку.

— Это — шесть устриц?— спросил Леонард официанта.

— Это шесть устриц.

— Ладно, ладно,— миролюбиво сказал Леонард,— я просто хотел выяснить. Конечно,— обратился он ко мне,— кое-кому это не покажется делом. Понимаете...

Тут мальчик в ливрее прошел обратно через зал, выстукивая веселый ритм на игрушечном тазике и выкликая имя.

— ...понимаете, мне надо подарить миллион долларов.

Устрицы мне были поданы в винном стакане. Я зачерпнул десяток и проглотил.

— Ровно миллион,— сказал Леонард.— Может показаться — какое же это дело? А между тем еще какое. Хочется знать наверняка, что деньги употреблены разумно. Я всегда говорю: заработать миллион легко. Гораздо труднее его истратить.

— И мне всегда так казалось. Прошу прощения.

Я ушел к себе в номер. Устриц оказалось многовато. Они лежали у меня в животе муторной тяжестью. Уже сейчас, в самом начале, мне приходилось себя подгонять.

Как всегда в таких случаях, я подготовился основательно. Я начинил пояс новыми чудными банкнотами острова; рассовал их по всем карманам; даже заложил в туфли.

Среди моих бумаг письмо из дому. Ничего существенного; никаких новостей; так, немного о канализации, о чудесных, добросовестных слесарях. Мужественная девочка. Мужественная.

Опять вспомнил. Поднял трубку телефона, попросил город, набрал номер. Ответил тот же голос, и храбрость опять мне изменила, я слушал кваканье, пока телефон не замолк.

Я стащил с себя все ярлыки, откинул все свои притязания. Скоро я буду свободен. Хилтон, Хилтон: человек как бог. Теперь прощай все это. Волнение мое росло.

Я спустился к дежурному, поместил некоторую сумму в гостиничный сейф. Последнее мошенничество, которого не избежать: какой бы побег мы ни затевали, мы всегда предусматриваем убежище от побега.

Пока дежурный занимался моими деньгами, я взял со стола ручку и зачернил белки глаз Гари Попленда, а шею ему пронзил стрелой. Дежурный был вышколенный. Он снял испорченный плакат и заменил его новым не раньше, чем я отвернулся.

Швейцар в ливрее высвистал такси. Я дал ему местный доллар; многовато, но мне понравилось, как он старается скрыть свое удивление. Он открыл дверь такси, закрыл ее, отдал честь. Это был последний миг ответственности. Никакого бара я таксисту не назвал; я назвал ему универсальный магазин в центре города. И когда вылез из машины, действительно вошел в этот магазин, словно таксист наблюдал за мной и важно было оправдать его представление обо мне.

В магазине был кондиционированный воздух. Прохладный, приглушенный мир. Раздражение мое усилилось.

— Чем могу служить, сэр?

— Благодарю, я мимоходом.

Я ответил излишне резко; несколько покупателей оглянулись, и я инстинктивно ждал вмешательства Леонарда.

— Леонард,— прошептал я и обернулся.

Но его не было.

Продавщица отступила на шаг, и я через другую дверь нырнул в перину влажной жары, белого света, сточных запахов. Ура кондиционеру! Настроение овладело мной совершенно. Я был пьян больше чем и меньше чем от спиртного.

Деньги потекли у меня промеж пальцев. Это придает дополнительную остроту: деньги превратились в бумагу, из-за которой другие дерутся. Два доллара за вход тут; доллар за пиво там; сигареты за двойную цену: я платил бумагой. Светлые помещения, убийственно светлые, шумные, как море. Цвета: желтые, зеленые, красные — в напитках и наклейках, календари на стенах. По телевизору, с перерывами на дорогу из бара в бар,— Гари Попленд председательствует на дискуссии о любви и браке. И совершенно черное лицо, женское, настолько черное, что черт не разглядеть, сообщает: «Я замуж вышла по любви».— «Нет, она вышла из ненависти». Океанический хохот. Кто-то повертел ручку телевизора; и у меня — мысль, возможно, кем-то высказанная: «Недоброе, однако, изобретение».

Сквозь светлые комнаты, светлые моря — я плыл. И я обследовал темные пещеры, такие темные, что движешься ощупью, потом сидишь тихо и наконец обнаруживаешь, что ты один.

— Где все?

— Уже идут сюда.

В почти пустой комнате — тусклые лампы, темные стены, темные стулья — человек, сидевший с краю за столом, подозвал нас к себе. Мы, все шестеро, кто был в комнате, окружили его, словно ресторанную певичку. Он закинул ногу на ногу и поболтал ей. «Будет делать стриптиз?»

Снова неразбериха. Дверь; кафельный коридорчик; скромная дощечка:

БРИТАНСКИЙ СОВЕТ
**Елизаветинская лирика**
**Цикл из шести лекций**

Я всегда считал, что гораздо лучше сперва осмотреться, потом выбирать. Каждый раз я обещаю себе, что так и буду делать. Но когда девушка подошла и объявила (и, показалось мне, так грустно): «Пойдешь со мной», я понял, что с этого и начнется; что у меня не хватит воли воспротивиться.

ГОРДОСТЬ — вспыхнуло неоном на площади.

Она заказала портер.

— Ты честная девушка.

— Портер прибавляет мне сил.

ТРУД.

Явился портер.

— Ага,— сказала она,— бульдожка мой хороший.

И с наклейки на горлышке на меня зарычал бульдог. Вместе с портером явились двое, одетые как калипсяне в туристских проспектах, как калипсяне на горке перед отелем.

— Позвольте мне приветствовать джентльмена на нашем живописном острове. КУЛЬТУРА.

Я крикнул:

— Пошли вон.

Она немного занервничала; неуверенно кивнула кому-то у меня за спиной и сказала:

— Все в порядке, Перси.— Потом мне: — Почему ты их гонишь?

— Они меня смущают.

— Как так смущают?

— На самом деле их нет. Смотри, моя рука сквозь них проходит.

Человек с гитарой загородился рукой; моя рука прошла сквозь него.

Песня продолжалась: «Ну и пусть, ну и пусть, у господина от водки грусть».

— Боже!

Когда я отнял от лица ладони, передо мной была рука с кольцом. Рука берущего. Я заплатил; я выпил.

На возвышении толстая белая женщина приступила к простенькому танцу. Я не мог на это смотреть.

— Что с тобой?

И когда женщина сделала движение, чтобы избавиться от остатков своего туалета, я встал и крикнул: «Нет!»

— Ну почему — большой мужчина, а так меня позорит?

Человек с палкой, который сидел на верхней ступеньке, подошел к нашему столу. Он обвел рукой комнату, картины, изображавшие стил-бенды [1] и женские пляски на золотом песке, и указал на объявление:

**Посетителей просят воздерживаться**
**от непристойных и оскорбительных жестов.**
**Приказ министерства общественного порядка и образования**

— Все в порядке, Перси,— сказала девушка.

Перси мог только показывать руками. Из-за стального оркестра о разговорах не могло быть и речи. Я сел.

Перси отошел, а девушка ласково сказала:

— Сядь и объясни мне, почему тебя все смущает. Зачем же тогда вы, туристы, сюда ездите? — Она поманила официантку.— Я хочу жареную цыпу.

— Ни черта подобного,— сказал я.— Никаких жареных цып.

В этот миг стальной оркестр смолк, и мои слова разнеслись по всему залу. Японские матросы — мы видели их траулеры в гавани — подняли головы. Американские летчики подняли головы. Перси поднял голову.

И в тишине девушка крикнула на весь зал:

— Его тут, видите ли, все смущает, какой вредный.— Она встала и показала на меня.— Он по всему свету ездит. А я только жареную курицу попросила.

— Фрэнк,— прошептали мне.

— Леонард,— прошептал я в ответ.

— Слава богу, наконец-то я вас разыскал. Ну и набегался же я. Сколько баров обошел, сколько баров! Какие красивые имена, какие интересные люди, которым я должен помочь, дать деньги. Иногда трудновато разобрать имена. А люди, знаете, это неправильно толкуют. Я за вас беспокоился. Синклер тоже за вас беспокоился.

Синклер сидел за столиком поодаль, спиной к нам, пил.

В клещах между Леонардом и требованием жареной курицы я заказал жареную курицу.

— Знаете,— доверительно сказал Леонард,— куда нам надо, по-моему, пойти — это в «Кокосовую рощу». Судя по всему, это потрясающее место, как раз такое я искал. Вы знаете его?

— Я знаю его.

— Так слушайте, может быть, прямо и пойдем, все трое?

— В «Кокосовую рощу» — ни за что,— сказала девушка.

---

[1] Стил-бенд (букв: стальной оркестр) — оркестры, распространенные на островах Карибского моря. Инструментами, как правило, служат стальные бочки из-под топлива, подвергнутые тепловой и механической обработке таким образом, чтобы из них можно было извлекать звуки разной высоты.

Леонард пояснил мне:

— Я имел в виду вас, себя и Синклера.

— Чего ты имел? — Она встала и наклонила над головой Леонарда бутылку портера, видимо собираясь вылить. Она позвала: — Перси!

Леонард в покорном ожидании закрыл глаза.

— Я на минуту, Леонард,— сказал я и сбежал по ступенькам вместе с девушкой, которая все еще держала бутылку пива.

— Почему это тебе вдруг загорелось?

— Не знаю, но ты лови удачу.

Открытая дверь машины перед подъездом словно приглашала. Мы влезли, дверь за нами захлопнулась.

— Мне надо скрыться от этой парочки. Они сумасшедшие, совсем сумасшедшие. Ты даже не подозреваешь, от чего я тебя спас.

Она посмотрела на меня.

И началось: откуда-то выходили мимо столиков; чьи-то косые взгляды; отказывалась пройти сто метров до отеля; такси за два доллара; неметеные цементные ступени; тускло освещенные комнаты; мебель из дешевого дерева; аляповатые календари на стене — насмешка над плотью, насмешка над желанием; голубой мандраж телевизионных экранов; Гари Попленд — на этот раз с последними известиями об урагане; неуместная чинность хрустальных горок; видавшая виды кровать.

И в минуты прояснения — телефон: квак, щелк.

И началось. Бары, отели, беспредметные разговоры с девушками. «Как вас зовут? Откуда вы приехали? Чего вы хотите?» Напитки; разбухание в животе; затхлый вкус островных устриц и соуса с красным перцем; безвоздушные комнаты; корзины для бумаг; белые умывальники, напоминающие распростертому на затхлой кровати о больницах, лекарствах, операциях, о жаре, горячке.

— Нет!

— Да я до тебя даже не дотронулась.

Надо мной глупое лицо, бедное тело предлагает свои прелести, лишенные прелести. Бедное тело; бедная плоть; бедный человек.

И снова неразбериха. Я, наверно, что-то сказал. Женщина воет, ее оскорбили, созывает добрых людей, и некрашеная деревянная лестница летит навстречу гулко. Потом среди шпалер и роз, десятков призрачно-белых роз, лает собака, рычит. Оскорбленное черное тело стало белым от обиды. Те же крики, тот же призыв к мести. По проходу, между стульями, между сотнями и сотнями полностью одетых мужчин в очках, с блокнотами и карандашами, тело гонится за мной. Другой вход, другой кафельный коридорчик; другая скромная дощечка:

**Курсы живописи**
**Парижская натурщица**
**(Вход бесплатный)**

И урывками — Леонард: сцены, как из пасьянсов фантазии,— человек, которому надо подарить миллион долларов, Волшебный Дудочник, шествует, словно у меня во сне, перед процессией стальных оркестрантов, певцов, женщин, вымогающих у него деньги. Он шел во главе, с кроткой, ошалелой улыбкой.

День потух, ночь двигалась скачками, глотками часов. Мудрыми, терпеливыми мордами смотрели освещенные циферблаты.

Бар пах ромом и уборной. Через дыру в проволочной сетке мне протягивали пиво, сдачу бумажками и серебром. Меня схватили за правую руку, и черное лицо, которое я разглядывал — пóра за пóрой, волос за волосом,— с упрожающей, насмешливой, страшной улыбкой говорило: «Сдачу оставь мне, ну».

Неразбериха. Мелькание лиц, скорее любопытствующих, чем враждебных. Спотыкаюсь, ударяюсь; мокрый пол; слышу свой крик: «Не надо!» — и многократное эхо ответной фразы: «В другой раз ходи с деньгами».

И на тихой улице, возле пустынной площади — полночь, час Золушки,— я сижу на тротуаре, с ясной головой, свесив ноги в канаву, сосу апельсин. Надо мной старая дама в соломенной шляпе, освещенная желтым, чадным пламенем коптилки. На телевизионном экране в витрине магазина — Гари Попленд и квартет Ма Хо, немо неистовствующие за зеркальным стеклом.

— Лучше? — сказала она.

— Лучше.

— Эти нынешние — у них никогда ничего нет, они только хотят.

— Чего они хотят?

— Что у тебя есть. Смотрите.

Голос был ложноамериканский:

— Что-нибудь надо, старик?

— А что есть?

— Есть белые,— сказал таксист.— Есть китаянки, есть португалки, есть индуски, есть испанки. Черных не спрашивайте. Черных мне не надо.

— Вот и правильно, мальчик,— сказала старая дама.— Будут от греха подальше.

— Мне сейчас ни черных, ни белых не надо.

— Я так и подумала,— сказала апельсиновая дама.

— Тогда вам надо в «Кокосовую рощу»,— сказал таксист.— Очень культурно. Старые стрелки́ все туда ходят.

— Вас послушать — веселое место.

— Понимаю, о чем вы. Культура — дело хорошее, но недоходное. А меня спросить — так это одна сплошная провокация. Одежек, гадость,— кот наплакал, а рукам работы — только хлопать. Старые стрелки́, они как? — душа просит, а плоть немощна.

Кажется, это про меня. По зрелом размышлении я склоняюсь к «Кокосовой роще».

— А еще я хотел сказать, они вас так не пустят, старик. Поглядите на себя.

— Не пойму, я что-то потерял нить ваших рассуждений. Вы хотите, чтобы я туда поехал?

— Ничего я не хочу. Я просто заметил, что вас туда не пустят.

— Попробуем.

— В этих культурных шалманах, знаете, здоровые вышибалы.

Мы поехали по безлюдным улицам, где то и дело вспыхивали неоновые ГОРДОСТЬ, ТРУД, КУЛЬТУРА. Автомобильный приемник поймал ночные известия. Потрясающие известия — судя по тому, как их подали. Затем последовало сообщение о скорости ветра, температуре и об урагане, который еще маячил где-то там.

— Теперь поняли, про что я говорил? — сказал таксист, когда мы остановились.

— Он изменился,— сказал я.— Раньше это был обыкновенный дом. Знаете, деревянные дома с высокой крышей и резными карнизами?

— А-а, старинные. Мы их все сносим. Не думайте, что таких много осталось.

Дом Генри был новый и прямоугольный, сплошное стекло. За стеклом — растения в горшках; за ними — жалюзи. Рваный камень стен, утопленные швы, тяжелая стеклянная дверь, тяжелая еще и от рекомендаций, данных разными клубами и туристскими агентствами,— как чемодан путешественника былых времен. А за дверью — вышибала.

— Здоровый, а? — сказал таксист.

— Крупный мужчина.

— Хотите попытать счастья?

— Может быть, попозже. А сейчас езжайте-ка не торопясь по улице.

Вышибала провожал нас взглядом. Я оглянулся; он продолжал смотреть на меня. Но как же я мог забыть? Напротив «Кокосовой рощи» — что? Я поглядел. Я увидел.

**Министерство общественного порядка и образования.**
**Университетский колледж.**
**Отделение художественной литературы.**
**Директор Х. Д. Ч. Бел.**
**Телегр. Олимп.**

— Ничего, что мы медленно едем? — спросил я водителя.

— Ничего, я часто работаю на похоронах, когда не вожу по девочкам.

На улице теперь — никаких перевернутых урн; никаких застенчиво мародерствующих псов-отщепенцев. Улица, по которой мы ехали, как с чертежа архитектора. Над опрятными новыми зданиями мотались кроны деревьев. Ветер был крепкий; неслись тучи, черные с серебром. Мы остановились на перекрестке.

— Супермаркет,— показал шофер.

— Супермаркет.

Чуть дальше беспокойство мое развеялось. Где я ожидал и боялся увидеть дом, был пустырь. Я вылез из машины и пошел посмотреть.

— Чего вы ищете? — спросил таксист.

— Свой дом.

— Вы точно помните, что здесь его оставили? Очень неосторожно с вашей стороны.

— Мой дом снесли. — Я прошел по бурьяну, посмотрел.

— Дома тут нет,— сказал шофер. — Чего вы ищете?

— Объяснения. Ну-ка, езжайте отсюда. — Я заплатил ему. Он не уехал. Он остался на месте и наблюдал за мной. Я быстро зашагал назад, к «Кокосовой роще», ветер трепал мне волосы, хлопал рубашкой, и мне казалось, что именно так, хотя не ночью и не под грозовым небом, а ясным днем, при свете солнца, я впервые пришел на эту улицу. Ужас от неба и деревьев, и что-то толкается в ноги.

## 2

Тогда мне казалось, что мы сами привезли тропики на этот остров. В былые дни город оканчивался не песчаными пляжами и кокосовыми пальмами, а гнилым болотом, мангровыми зарослями и грязью. Потом землю отвоевали у моря, и люди, собиравшие устриц среди мангров, исчезли. На осушенной земле мы развели тропики. Мы сколотили наши армейские бараки, подняли наш флаг, посадили наши кокосы и живые изгороди. Между деревянными громадами с окнами, забранными сеткой, мы разбросали миленькие хижины, крытые пальмовым листом.

Мы привезли на остров тропики. А островитянам, наверно, казалось, что мы привезли им Америку. Все работали на нас. Ты спрашивал человека, что он делает; он не говорил, что водит грузовик или плотничает; он просто отвечал, что работает у американцев. Каждое утро по городу проезжали грузовики и собирали рабочих; каждый вечер грузовики выезжали с базы, чтобы отвезти их домой.

Островитяне являлись в наш кусок тропиков. Мы обследовали их кусок. В те дни ничего не было организовано. Рекламные листовки не объясняли вам, где покупать, где веселиться. Разбираться надо было самому. В барах ты начинал разбираться быстро; удовольствия мало, когда тебя бьют или грабят.

Про заведение Генри я услышал от одного человека на базе. Он сказал, что Генри держит на заднем дворе коз и иногда по воскресеньям их режет. Он сказал, что Генри тот еще тип. Это почему-то не очень вдохновляло. Тем не менее как-то в четверг вечером я взял возле базы такси и решил поглядеть сам. Таксисты знают все — так они говорят.

— Вы знаете тут Генри? — спросил я шофера. — Он держит коз.

— Остров у нас маленький, начальник, но не такой маленький.

— Вы должны его знать. Он коз держит.

— Нет, начальник, вы со мной начистоту, и я с вами начистоту. Если вы до коз охотник...

Я предоставил выбор маршрута ему. Мы ехали по старому ветхому городку: деревянные домишки, каждый на своем участке; сплошной упадок среди ярчайшей растительности. В таком городе добровольно не станешь искать развлечений; он наводил на мысли лишь о пустых послеполуденных часах. Одинаковые, тихие улочки. Одинаковые, унылые и скучные дома; очень мало народу и занимаются очень маленькими делами.

Таксист водил меня по разным комнатам, душным, занавешенным и таким грязным, что пропадала всякая охота развлекаться. В одной комнате был даже грудной ребенок. «Не мой, не мой»,— сказала девушка. К тому времени, когда мы выехали на улицу, где, по словам таксиста, я мог найти заведение Генри, мне это немного надоело и таксисту надоело.

Молодой воин в поисках развлечений. Пыл угас, и, по правде говоря, я немного смущался. Мне хотелось ягриться к Генри в одиночку. Я расплатился с таксистом.

Видимо, я надеялся увидеть хотя бы какое-то подобие коммерческого заведения. Я искал надпись, вывеску. Ничего не увидел. Я прошел мимо домов с запертыми ставнями к бакалее с запертыми ставнями, да и тут единственным указанием была маленькая черная дощечка с самодельной надписью, что Ма Хо имеет разрешение торговать спиртными напитками. Я перешел на другую сторону. И тут нашел то, чего мне не хватало. На доме, завешенном вьюнами, была вывеска:

**Начальный коммерческий колледж**
**Стенография и бухгалтерия**
**Директор Х. Д. Черенбел**

Там и сям волновались занавески. Мои прогулки взад-вперед по короткой улочке привлекли внимание. Но идти на попятный поздно. Я еще раз прошел мимо Начального коммерческого колледжа. На этот раз из окна высунулся мальчишка. Он был в галстуке и хихикал. Я спросил его:

— Эй, с твоей сестрой можно договориться?

Мальчишка разинул рот, заныл, убрался из окна. За вьюнами послышались смешки. Высокий мужчина распахнул дверь с цветными стеклами и вышел на веранду. Он был сумрачен. На нем были черные брюки, белая рубашка и черный галстук. И трость в руке! Он сказал с английским выговором:

— Уходите отсюда со своими непристойностями. Это школа. Мы ищем радости в духовном. — Он строго указал на вывеску.

— Извините, мистер...

Он снова указал на вывеску.

— Черенбел. Мистер Х. Д. Черенбел. Мое терпение иссякло. Сейчас я сяду и напечатаю письмо протеста в газеты.

— Мне самому хочется написать протест. Вы не знаете, где тут живет Генри?

— З д е с ь Генри не живет.

— Извините, извините. Но пока вы не ушли, скажите мне, что вы все тут делаете?

— В каком смысле — делаете?

— Что вы все делаете, когда вы ничего не делаете? Ради чего стараетесь?

За вьюнами опять послышались смешки. Мистер Черенбел повернулся и вбежал через разноцветную дверь в залу. Я услышал, как он стукнул тростью по столу и закричал: «Тишина, тишина». В тишине, которую он восстановил мгновенно, мистер Черенбел высек мальчика. После этого он появился на веранде с засученными рукавами и несколько потным лицом. Он, видимо, был не прочь продолжить беседу со мной, но как раз в это время из-за угла выскочили армейские джипы, и мы услышали возгласы мужчин и женщин. Пережимают по части веселья, подумал я. Приподнятость мистера Черенбела сменилась отвращением и тревогой.

— Ваши коллеги и подруги,— сказал он.

Со сдерживаемой поспешностью он исчез за стеклянными дверьми. Его класс запел: «Утихни, мой Афтон». Джипы остановились перед неогороженным участком напротив колледжа. На участке стояли два деревянных домика без веранд. Маленькие домики на низких бетонных сваях; возможно, сзади пряталось еще несколько домиков. Я стоял на тротуаре; содержимое вывалилось из джипов. Я даже понадеялся, не внесет ли и меня туда этим потоком веселья. Но мужчины и девушки только обтекли меня с обеих сторон, и, когда поток расплескался по комнатам и двору, я остался где был, на мели, один.

Ясно было, что у Генри что-то вроде клуба. Как видно, все всех знали и вели себя так, как будто это большое дело. Я стоял отдельно. Меня никто не замечал. Я сделал вид, будто кого-то жду. Я чувствовал себя весьма глупо. Меньше всего я думал сейчас о наслаждениях. И гораздо больше о собственном достоинстве.

Попасть к Генри оказалось тем труднее, что учреждение было по видимости некоммерческое. Бара не было, не было официантов. Веселящиеся просто расселись на бетонных ступеньках, которые вели с каменистой земли к дверям. Ни стола, ни стульев. Нечто напоминающее мебель я увидел в некоторых комнатах, но сомневался, имею ли право войти в одну из них. Место, очевидно, было такое, куда в одиночку не ходят.

В конце концов Генри сам заговорил со мной. Он сказал, что я действую ему на нервы и действую на нервы девушкам. Девушки — как скаковые лошади, сказал Генри, они очень нервные и впечатлительные. И, как бы объясняя положение, добавил: «А что тут есть, все перед вами».

— Тут очень мило,— сказал я.

— Подмазываться не нужно; хотите остаться — на здоровье, не хотите остаться — тоже на здоровье.

Генри пока не был типом. Он еще только натаскивал себя. Типов я не люблю. Мне с ними неспокойно, и, может быть, как раз потому, что Генри еще не был ти-

пом — работающим на публику, приветливым, но вполне разборчивым,— мы с ним так быстро спелись. Позже, когда он стал-таки типом, я был одним из тех типов, что водились с ним; разборчивыми мы сделались вместе.

Повторю: в тот первый день я прилепился к нему, чтобы сохранить достоинство. Вдобавок я немножко сердился на других за то, что они такие веселые и дружные, и боялся остаться в одиночестве.

— Мы катались,— пояснил Генри. — Маленькая экскурсия. В бухту за холмами — вы нам только ее и оставили. Не понимаю, вы вот всё говорите, что приплыли сюда воевать, а первым делом отбираете у нас пляжи. Отбираете все пляжи с белым песком; нам оставляете только черный песок.

— Вы ведь знаете этих бюрократов. Любят во всем опрятность.

— Знаю,— сказал он. — Наши тоже любят опрятность. Сколько тут народу хочет выжить меня из города — не сочтешь.

— Вроде вашего соседа напротив?

— А, познакомились с нашим Черенбелом?

— Он хочет напечатать про меня письмо в газету. Кстати, и про вас, наверное. И про ваших коллег и подруг

— Там не все его письма печатают. Знаете — дружба народов и всякое такое. Он думает, если на пищущей машинке, так у него скорей пройдет. Скажите, чем вы ему насолили? В жизни не видел такого смирного человека, как вы.

— Я спросил у его ученика, сговорчивая ли у него сестра.

Улыбка странно сочеталась с хмурым лицом Генри. Оно было аскетического склада. Волосы он зачесывал назад, а его брюки были перевязаны на тонкой талии галстуком. В его костюме это была единственная вызывающая, франтовская деталь. Генри продолжал:

— Беда с туземцами...

Меня покоробило это слово.

— Да, с туземцами. Беда в том, что туземцы меня не любят. Понимаете, я нездешний. Как вы. Я сюда приехал из другого места. С красивенького острова, если хотите знать. На голом месте начинал. — Он обвел двор рукой. — Люди здесь ленивые и вдобавок завистливые как не знаю кто. Всё норовят меня выслать. Незаконный въезд в страну и прочее. Только руки коротки. Все местные шишки у меня в кулаке. Слышали тут разговоры про Гордона? Черный, между прочим, а лучший у нас адвокат. Гордон отсюда не вылезал до истории с разводом. Большое дело. Да вы, поди, слыхали на базе.

— Конечно, слыхали.

— Ну, и когда меня немного прижимают с незаконным въездом, я иду прямиком к Гордону, как мужчина к мужчине. Секретаришки — ребята с галстуками — пробуют мне грубить, а я им только говорю: «Скажите Альфреду — его Альфредом зовут,— скажите Альфреду, Генри пришел». Тут они все рты разевают от удивления: выходит сам мистер Гордон, жмет мне руку и сильно перед всеми уважает. «Вы,— говорит,— все ждите. Я хочу побыть с моим старым другом Генри». Обратно — зубы.

— Зубы?

— Зубы. Надо мне зубы тащить — я сразу бегу к кому? К Линь Виню — китаец, между прочим, а лучше его зубного врача тут нет,— и он сразу выдергивает мне зубы. Надо иметь жизненную философию. Я вам так скажу,— продолжал он,— отец мой был охламон. Одно знал — карты, игра называлась вапи и семь сверху. Бывало, мать начнет скандалить, жаловаться: «Езекия, что ты оставишь своим детям?» — а отец ей так говорит: «Земли у меня нет. Денег у меня нет. Зато я оставлю моим детям прекрасных друзей».

— Замечательная философия,— сказал я.

— Мы все должны сотрудничать, так или иначе. Одни сотрудничают так, другие сотрудничают иначе. Мне сдается, что мы с вами поладим. Мейвис, налей человеку. Он большой говорун.

Генри все время посасывал ром с кока-колой и теперь совсем расчувствовался. Я и сам был на взводе.

К нам подошел один из американцев, ездивших с экскурсией в бухту. Его пошатывало. Он сказал, что уходит.

— Понимаю,— сказал Генри. — Война и так далее.

— Генри, сколько я тебе должен?

— Ты сам знаешь, сколько ты должен. Я счетов не веду.

— Дай сообразить. Кажется, я взял плов из курицы. Три или четыре рома с кока-колой.

— Хорошо,— сказал Генри. — Вот и плати за них.

Американец уплатил. Генри взял у него деньги без разговоров. Когда американец ушел, он сказал:

— Вино не оправдание. Не верю я, чтобы человек мог не соображать, что делает. Ноги его здесь больше не будет. Он взял два плова, шесть ромов с кока-колой, пять бутылок газированной и два виски. Вот что я называю пороком.

— Это порок, и мне за него стыдно.

— Я тебе так скажу,— продолжал Генри. — Когда старая королева преставилась...

— Старая королева?

— Моя мать. Я был сам не свой. А потом увидел маленький такой сон. Как будто бы старик ко мне явился.

— Твой отец Езекия?

— Нет, бог. И говорит: «Генри, окружи себя любовью, но порока избегай». На том островке, что я тебе говорил — красивенький, скажу тебе, островок,— там была одна женщина, красивенькая, но вредная. Рожает мне пару-тройку детей и — айда жениться.

Солнце садилось. С базы из уголка наших самодельных тропиков горн заиграл отбой. Генри щелкнул пальцами, призывая всех встать. Мы встали и отдавали честь до самого конца.

— Люблю такие маленькие обычаи,— сказал он. — Хороший маленький обычай завезли вы к нам, ребята.

— А что эта женщина с парой-тройкой детей — ну, на красивеньком островке?

Генри сказал:

— Я избежал порока. Бежал как ошпаренный. Пустил слух, что я умер. Можно и так посмотреть, что я на самом деле умер. Мне не вернуться на мой красивенький островок. Нет, красивей этого. Красивенький, красивенький. Но она поджидает меня.

С улицы послышалось церковное пение.

— Деньги,— сказал Генри. — Вы, девушки, приготовили деньги?

Они, девушки, достали монетки, и вся компания высыпала на тротуар. Высокий бородатый человек в белом балахоне и сандалиях вел шестерых чернокожих девочек в белых платьях. Они пели духовные гимны; мы слушали молча.

Потом бородатый сказал:

— Братья и сестры, в подобных случаях принято говорить, что еще не поздно раскаяться. — Видно было, что он наслаждается плавностью своей речи. Выговор у него был очень английский. — Мне представляется, однако, что в наши дни это всего лишь утешительная ложь нечистоплотных проповедников, кои озабочены более счетом денег, нежели тем, что я назвал бы обратным счетом секунд перед неминуемым истреблением. — Он вдруг переменился. Он умолк, закрыл глаза, качнулся, воздел руки и закричал совсем другим голосом: — Слово Библии сбудется!

Некоторые девушки напевно откликнулись:

— Какое слово?

— Из какой части? — напевно подхватили другие.

Человек в белом сказал:

— Из той части, где говорится: если молодые будут вести себя плохо, бедствия и злодеяния пойдут по земле. Вот из какой части.

Маленький хор запел, а он стал обходить нас и собирать деньги, приговаривая:

— Не примите это на свой счет, понимаете. Не примите на свой счет. Я знаю: вас, ребята, сюда прислали защищать наш остров и так далее, но правда все равно не перестает быть правдой.

Он собрал деньги, спустил их в карман своего балахона, похлопал по карману; но на этом похлопывание не кончилось. Он похлопал каждую из своих девочек, то ли от большой любви, то ли желая увериться, что они не припрятали монетки. Потом, перекрывая их пение, скомандовал: «Правое плечо вперед!» — и, похлопав по плечу каждую прошедшую мимо него девочку, направился следом за ними к угловой бакалее. Там, под ржавым свесом крыши, хоровые упражнения продолжались.

Стемнело. Во дворе у Генри установилась атмосфера пикника. В разных комнатах готовили еду; играли патефоны. Из дальних дворов доносились звуки стальных оркестров. Ночь укрыла двор, и здесь стало совсем уютно, как на семейном празднике. Только я еще не принадлежал к семье.

Пришла девушка с сумкой через плечо. Она поздоровалась с Генри, он приветствовал ее с размашистым радушием, в котором тем не менее угадывались некоторая оглядка, почтительный страх. Он назвал ее Сельмой. Я ее выделил. Я стал третьим лишним; я занервничал.

Красота всегда меня нервирует; а в такой обстановке, перед женщиной, которую я не мог классифицировать, я немного оробел. Я не знал, какие правила действуют у Генри, между тем было ясно, что свои правила тут есть. Я был неопытен. Неопытен, повторяю. Хотя что хорошего дал мне с тех пор опыт? Как и прежде, в таких положениях и в таких местах меня бросает из крайней вежливости в крайнюю шумливость.

Сельма держалась обособленно и невозмутимо. Я подумал, что таким невозмутимым человек может быть либо от сознания своей власти, либо от сознания своей подвластности. Это не меньше чем одежда, манеры и душевное равновесие выделяло ее среди всех собравшихся во дворе. Может быть, она — девушка Генри, заместительница той, брошенной на красивеньком островке; или же принадлежит кому-то, кто еще не появился.

После очень интимного обмена приветствиями Генри представил нас друг другу.

— Он большой говорун,— сказал Генри.

— Он хороший слушатель,— сказал я.

Она спросила Генри:

— А как Поп говорит, он слышал?

Я ответил:

— Слышал. Проповедь была что надо.

— Мне нравится, когда человек хорошо владеет языком,— сказала она.

— Он хорошо владеет,— ответил я.

— Сразу видно,— сказала она,— образованного человека.

— Сразу видно.

Наступила пауза.

— Он занимается страховкой,— сказала она,— когда не проповедует.

— По-моему, чудесное сочетание. Пугает нас смертью, а потом предлагает страховку.

Ее это не рассмешило.

— Я хотела бы застраховаться.

— Вы еще слишком молоды.

— Нет, сейчас самое время. Условия лучше. Не знаю, мне почему-то хочется. По-моему, это хорошо. У меня тетка в деревне. Живет по-старинному, потому что застрахована. И когда вложит в страховку еще немного, обязательно рассказывает.

— Почему же вы сами не застрахуетесь?

Она сказала:

— Я очень бедная.

И произнесла эти слова так, как будто поставила точку в нашей беседе. Я терпеть не могу бедных и смиренных. Мне кажется, бедность нам следует скрывать. Сельма сказала о бедности так, как будто и не гордилась ею и не стыдилась ее; просто — как о положении, которое скоро должно измениться. Такие мелочи возникают при всяком знакомстве — небольшие предостерегающие шероховатости в плавном ходе начального сближения,— и мы склонны не замечать их. Мы всегда себя обманываем; а ведь нельзя сказать, что нас не предупредили.

— Что бы вы сделали, если бы разбогатели?

— Купила бы много вещей,— сказала она, подумав.— Много хороших современных вещей.

— Какого рода?

— Гарнитур-тройку. Такие глубокие. Когда тонешь. Я бы купила красивое одеяло, атласное, толстое, стеганое. Я видела такое у Нормы Ширер в «Побеге».

— Странно. Это все, что я запомнил из картины. А что она, по-вашему, делала тогда в постели? Но знаете, у нее же было пуховое. В вашем климате пуховое ни к чему. Слишком жарко.

— Не знаю, пуховое там или нет, а мне оно понравилось. И туфли — накуплю туфель. У вас бывают страшные сны?

— Непременно.

— У меня знаете какой?

— Расскажите.

— Понимаете, я в городе. Иду по Риджент-стрит, люди глядят на меня, и я чувствую — не так, как раньше. Не стесняюсь. Чувствую себя как королева красоты. Потом вижу себя в витрине. Я босая. И тут я всегда просыпаюсь. Ноги у меня свисают с кровати.

Я по-прежнему нервничал. Беседа вышла из того русла, куда я считал нужным ее направить, но, по правде говоря, у меня пропало желание направлять ее. Тем не менее у нас есть обязательства перед собой. Я сказал:

— Вы родились в городе?

— Я родилась в деревне.

Вопрос, ответ, точка. Я попробовал снова. Генри стоял рядом с бутылкой в руке. Я сказал:

— Зачем такой девушке, как вы, ходить в такое место, как это? — И правда, устыдился своих слов раньше, чем произнес последнее.

— Вот это я называю порочным вопросом,— сказал Генри.

Одновременно Сельма дала мне пощечину.

— По-твоему, это красивый вопрос? — сказал Генри.— По-моему, это порочный вопрос. По-моему, это похабный вопрос.— Он показал через открытую дверь на маленькую вывеску в одной из задних комнат: «Похабничай, но чтобы тебя не слышали».— О таких вещах мы не говорим.

— Извините.

— Я не за себя беспокоюсь,— сказал он.— За Сельму. Не понимаю, эта девушка всегда будит в людях порочное. Она разбудила порочное в Черенбеле, напротив. Ничего не говорит, но вижу по глазам: он хочет ее перевоспитать. А ты знаешь, что такое перевоспитание? Перевоспитание значит: береги для меня одного. Она разбудила порок в Попе. Он перевоспитывать не хочет. Просто хочет. Слушай, Фрэнки, сюда приходит одна публика, потом приходит совсем другая публика. Знаешь, Сельма — образованная девушка. Два года Кембриджа. Латынь, французский, геометрия и всякая такая штука. Работает в большом универмаге. Понимаешь, не в какой-нибудь сирийской лавке. Приходит сюда время от времени — и ты приходишь. Такова жизнь. Порок оставим за дверьми, порок оставим за дверьми. Из девушек многие работают в магазинах. Мне нужна рубашка — иду по магазинам, и девушки дают мне рубашки. Мы должны помогать друг другу.

Я сказал:

— У тебя, наверно, много рубашек.

— Да, у меня много рубашек. Слушай, вот что я тебе скажу. Сельма и еще двое-трое из тех, кого ты тут видишь,— они у нас называются ва́бинки.

— Вабинки?

— Есть у нас такая пресноводная рыбка. Малость распущенные. Малость. Не для всех и каждого. Ты понял? Вабинка — не спуха.

— Спуха?

— Спуха — это... слушай, Фрэнк, не заставляй меня похабничать. Спух ты видишь перед собой.— Он обнял руками двор.

Стальные оркестры звучали все ближе, и вот через ворота в ржавом железном заборе на задний двор вышли музыканты. Инструменты у них были сделаны из старых мусорных ящиков, и на этих инструментах они исполняли грубую музыку, какой я еще не слышал.

— Понимаешь, они должны прятаться,— пояснил мне Генри.— Это запрещено. Война и прочее. Работаем на оборону.

Сзади стоял небольшой навес. Там была школьная доска. Я давно заметил доску, но не понял ее назначения. Теперь под этим навесом несколько человек начали плясать. Они привлекли зрителей; зрителей вовлекли в пляску. Из комнат в домах на участке Генри, из комнат в других дворах и из промоины сзади неуклонно тек народ. Каждый плясал сам по себе. Каждый остался наедине со своим исступлением. Некоторые зрительницы выламывали прутики из живой изгороди и время от времени,

словно благословляя или поощряя плясунов, хлопали их по пыльным ногам зелеными листьями.

Генри обнял меня за плечи и подвел к Сельме. Одну руку он держал у меня на плече, другую — у нее. Мы стояли и смотрели молча. Его руки примиряли нас, соединяли.

Раздался свист. Крикнули: «Полиция!» — и двор вмиг преобразился. Там и сям мусорные ящики встали нормально, а в них исчезли бутылки; плясуны и зрители расселись под навесом ровными рядами, а один встал перед школьной доской и начал писать. Многие девушки Генри надели очки, кое-кто даже достал вышивание.

Мне показалось, что полиция где-то мешкает. Наконец она появилась, инспектор пожал Генри руку и сказал:

— Как всегда вечерняя школа, а?

— Как видите,— сказал Генри,— уча учись, учи учась.

Когда он отпустил руку инспектора, у того она почему-то оказалась сжатой в кулак. Инспектор сделался разговорчивым.

— Не знаю, дружище,— сказал он.— Работа у нас такая. Черенбел, как клещ, в вас вцепился. И эта миссис Ламберт тоже подала жалобу.

Я, однако, не уверен, что подружился бы с Сельмой и остальными, если бы в наш первый вечер, лежа рядом с Сельмой, не увидел, как моя одежда заплясала в окне. Она плясала, как будто зажила своей жизнью.

Я крикнул Сельме.

Она не удивилась. Она сказала:

— Наверно, сегодня удят.

— Удят? — Я побежал к окну за улетающей одеждой.

— Ну да, удят — в окнах. Тут стянут рубашку, там — брюки. Гнаться за ними бесполезно. Знаешь, скоро карнавал, каждому хочется принарядиться.

Она была права. Утром я проснулся и вспомнил, что из одежды у меня остались только брюки и майка. Я распахнул заднее окно и увидел, что из других окон высовываются голые американцы. Мы глядели друг на друга. Ни слова не говоря. Вечер прошел; утро оказалось мудренее.

В колледж мистера Черенбела шли ученики и ученицы. Сельма сказала, что собирается на работу. Очевидно, Генри не соврал, что многие девушки работают в магазинах. Сам Генри принес мне чашку кофе.

— Рубашку можешь взять у меня. Понимаешь, я прихожу туда, и мне их просто дают.

Утренняя жизнь во дворе у Генри ничем не напоминала вечернюю. Повсюду приглушенная деловая суета. Высокий худой человек делал разминку. Он был в нижней рубашке и трусах и время от времени растирался маслом из маленького флакона.

— Канадский бальзам,— сказал Генри.— Стараюсь его поощрять. Понимаешь, Мано занимается ходьбой. Но немного нетерпелив; на финише каждый раз начинает бежать, и его снимают.

— Это ужасно,— сказал я.— Но как мне быть с одеждой?

— Тебе надо научиться терпимости. У нас на острове этому обязательно надо научиться.

Мано приседал и подпрыгивал. Вокруг женщины раздували жаровни, готовили завтрак. Во дворе — масса зелени, больше, чем мне показалось вчера. За промоиной виднелись такие же лесистые дворы вдоль другой улицы, и кое-где на этих дворах с бельевых веревок вяло свисала армейская защитная форма или белая матросская.

Генри проследил за моим взглядом.

— Скоро карнавал, Фрэнк. А вы, ребята, владеете целым миром. Одни люди сотрудничают так, другие — по-другому.

Сейчас мне было не до его философий. Я выбежал на тротуар в чем был. По уличным меркам я был одет не так уж плохо — майка и брюки. В дверях соседнего дома загорал старый негр, и комната у него за спиной напоминала запущенную букинистическую лавку. Он был в тесном костюме защитного цвета. На внутренней стороне двери — витиеватая надпись: МИСТЕР В. ЛАМБЕРТ, ПЕРЕПЛЕТЧИК,— и я понял, что стоит закрыть парадную дверь, и дом превращается в респектабельный особняк, который я видел накануне, а сейчас, при открытой двери, это — мастерская.

Возле мистера Ламберта — а можно было с уверенностью предположить, что это сам мистер Ламберт,— стоял стаканчик рома. Когда я проходил мимо, он поднял стаканчик на свет, прищурясь, поглядел сквозь него, кивнул мне и сказал:

— День добрый, друг янки, благослови вас бог спозаранку.— С этими словами он залпом выпил ром, и на лице его наслаждение сменилось совершеннейшей мукой, словно и ром и утреннее приветствие были частью тяжкой ежедневной епитимьи.

— Доброе утро.

— Извините, сэр, если вопрос мой груб, почему у вас голый пуп?

— Мне нечего надеть.

— Бывают в жизни передряги. Приходим наги и уходим наги.

Это было занятно и заслуживало изучения, но тут в начале улицы я увидел джип. Я не знал, какое положено взыскание за потерю формы и появление на улице в голом виде. Я пробежал назад мимо мистера Ламберта. Вид у него сделался ошарашенный, как будто ему явился дух. Я забежал сбоку во двор Генри и по черной лестнице поднялся в первый дом. В ту же секунду скороход Мано вышел из парадной двери и спортивным шагом двинулся по дороге. Я услышал, как в джипе кто-то сказал:

— Тебе не показалось, что он вошел белым, а вышел черным?

В соседней комнате отворилось окно, и американский голос крикнул с улицы:

— Вы не видели сегодня утром, несколько минут назад, сюда не забегал голый белый?

Женский голос ответил:

— Слушай, дядька, я отдыхаю. Еще утром их не хватало.

Молчание, потом береговой патруль отъехал.

Однако проблема одежды оставалась нерешенной. Генри предложил мне кое-что из своих вещей. Они оказались не совсем впору.

— Но ты можешь,— сказал он,— зайти в магазин к Сельме и взять рубашку. Слушай адрес.

На дороге дзинькнул велосипедный звонок. Это был почтальон, в форме.

— Генри, Генри,— сказал он.— Смотри, что я сегодня везу.

Он вошел в дом и показал пакет. Пакет предназначался м-ру Черенбелу и послан был из издательства в Соединенных Штатах.

— Еще одну вернули, еще одну.

— О господи! — сказал Генри.— Опять Черенбел будет плакать у меня на груди. А про что была эта?

— Да все про то же,— ответил почтальон.— С удовольствием почитал. Знаешь, местами там даже смешно.— Он вытащил рукопись.— Хочешь послушать?

Генри посмотрел на меня.

— Я слушатель поневоле,— ответил я.

— Устраивайтесь поудобнее,— сказал почтальон. Он начал читать: — «Не было в графстве Шропшир более завидной невесты, чем леди Тереза Филлипс. Прекрасная собой и при этом наследница, умная, смолоду дружная с классиками, равно находчивая в колкой беседе и за пяльцами — словом, одаренная во всех отношениях, она страдала лишь одним изъяном — гордостью. Она надменно отвергала всех поклонников. Прочь отъезжали удрученные воздыхатели — тот в Италию, тот в дальние колонии,— чтобы в сугубом одиночестве избывать тоску. Но не дремала Немезида. На балу, который давал лорд Северн, знатнейший лорд в тех краях, леди Тереза повстречалась с лордом Алистером Грантом. Он был высок, широкоплеч и строен, но меланхолический взгляд его говорил о глубоком страдании — и недаром, ибо лорд Алистер вырос сиротой».

— Боже мой! Он всегда про это пишет?

— Все время,— ответил Генри.— Только про лордов и леди. Стучит как ненормальный с утра до ночи. А особенно слыхать его машинку по воскресеньям.

Парадная дверь была открыта, и через нее донесся голос мистера Черенбела.

— Генри, сегодня утром я все видел, и только что ко мне заходила миссис Ламберт. Я напечатаю письмо в газеты. Я не желаю, чтобы у меня по улице бегали голые.— Мистер Черенбел заметил почтальона и заметил рукопись у почтальона в руках. Он даже спал с лица. Он взбежал по цементным ступенькам в комнату и выхватил рукопись.— Альберт, сколько раз я тебе говорил? Не смей копаться в почте Ее Величества. За такие безобразия тебе голову отрубят.

— Опять вернули, сосед,— сказал Генри.— Если хотите знать, Черенбел, по-моему, тут чистой воды предвзятость. Это ясно как дважды два. Я вот сидел тихонько, слушал, как читает Альберт, и это было очень славно. Очень славно.

Черенбел размяк.

— Вы правда так думаете, Генри?

— Говорю вам, очень славно. Мочи нет, как хочется узнать, что там будет с леди Терезой Филлипс.

— Нет. Вы лжете, лжете.

— А чем все кончится, мистер Черенбел? — Я прихлопнул муравья на ноге.

— А вы-то чего хлопочете? Помалкивали бы,— сказал он мне.— Ненавижу вас. Не поверю, что вы и читать-то умеете. Думаете, писать — это не для черных, а?

Почтальон Альберт сказал:

— Это очень славная книга, Черенбел. Предсказываю вам — придет день, и все эти белые, которые отсылают ваши книги обратно, сами сбегутся сюда и будут просить, чтобы вы для них писали.

— Пусть попросят, пусть попросят. Они попросят, а я для них писать не буду. О господи. Волнения, перепечатка. Ни строчки больше не напишу. Ни строчки, будь они прокляты.— Он снова разъярился.— И вас ненавижу, Генри. Я добьюсь, чтобы ваш притон закрыли, костьми лягу, а добьюсь.

Генри поднял руки.

— Ну вас к черту,— сказал Черенбел.— К черту леди Терезу Филлипс.— И, показывая пальцем на меня: — Вы меня не любите.— Потом Генри: — И вы меня не любите. Генри, я не понимаю, как может человек так измениться. В свое время от вас только и слышно было: н и я б и н г и, смерть белым. Теперь вы готовы завернуться в звездно-полосатый флаг и шествовать по улицам.

— Н и я б и н г и? — переспросил я.

— Это — в Абиссинскую войну,— сказал Генри,— и только что умерла старая королева. Смерть белым. Двадцать миллионов в строю. Вы знаете наших черных. Великое возмездие. Двадцать миллионов в строю. А оглянешься назад — ты один. Ни души сзади. А вот насчет звездно-полосатого,— добавил он,— вы знаете, Черенбел, в этой вашей мысли что-то есть. Для карнавала, а? Я — в виде Дяди Сэма. Джентльмен, у вас есть на базе звезды и полосы?

— А, так он тоже из них? — сказал Черенбел.— Из наших американских маркитантов?

— Я, наверно, смогу достать вам звезды и полосы,— сказал я.

Черенбел умолк. Я видел, что он заинтригован. Сердитый тон его был не слишком убедителен:

— Надо думать, у вас и пишущие машинки самые большие в мире, как все остальное самое большое?

— Не рановато ли для похабных разговоров? — сказал Генри.

— Я не хвастаюсь,— вступил я.— Но меня всегда интересовали писатели и литература. Скажите мне, мистер Черенбел, вы работаете в определенные часы или дожидаетесь вдохновения?

Вопрос был ему приятен. Он ответил:

— Я сочетаю оба метода, сочетаю.

— Вы пишете от руки или пользуетесь машинкой?

— Машинкой. Но я не клюну на лесть, учтите. Я не клюну на лесть. Впрочем, если голый джентльмен интересуется нашими национальными обычаями и местными праздниками, я готов его выслушать.— Он переменил тон.— Слушайте, у вас там есть какой-нибудь каталог мундиров? Я, знаете ли, не хотел бы прийти на карнавал в первом попавшемся костюме.

— Среди этих костюмов попадаются дорогие,— сказал я.

— Деньги, деньги,— сказал Черенбел.— Это и следовало ожидать. Ну, разумеется, я заплачу.

Так все и началось; так я начал поставлять флотское имущество. Сначала мистеру Генри и мистеру Черенбелу, потом всей улице. Я поставлял обмундирование; деньги переходили из рук в руки. Я поставлял стальные бочки; деньги переходили из рук в руки. Я поставлял сигареты в блоках и жевательную резинку; деньги переходили из

рук в руки. Я поставил парочку стандартных машинок «Ундервуд». Деньги остались у прежнего владельца. Черенбел сказал:

— Фрэнки, я считаю, что искусство само должно служить себе наградой.

Но, видно, оно не хотело служить. На вывеске у Черенбела появилась новая строчка:

**А также уроки машинописи**

— А также уроки машинописи, Черенбел?

— А также уроки машинописи. Пишущая машинка — не для черных?

Это стало у него шуткой. Мы сидели в его комнате. Стены были увешаны картинками весенней английской природы. Их было много, но не так много, как фотографий хозяина, черно-белых, в сепии, ландринно-цветных. Самое большое его фото висело между меньшими — Черчилля и Рузвельта.

— Беда ваша в том, Черенбел,— сказал я,— что никакой вы не черный.

— Что вы хотите сказать?

— Вы ужасно белый.

— Я не позволю всякому шаромыжнику оскорблять меня.

— Шаромыжнику. Допустим. Но вы не просто белый. Вы англичанин. Все эти лорды и леди, Черенбел. Вся эта джейностиновщина.

— А что тут плохого? Почему я не могу отобразить мир во всем его многообразии?

— Труха. Я подумал, не попробовать ли вам написать об этом острове. Написать о Сельме и Мано, о Генри и об остальных.

— Вы думаете, кто-нибудь захочет читать об этих людях? Эти люди не существуют, понимаете? Для вас, Фрэнки, это эпизод. Маленький Гринвич-Вилледж. Кое-что знаем, грамотные. Трах, трах, тарарах. Весело. А потом вы уезжаете. Это место, слышите, оно нигде. Оно не существует. Люди здесь только рождаются. И все хотят уехать, а для вас это только каникулы. Я не хочу участвовать в этом спектакле вам на потребу. Вы шаромыжник, вы покупаете дружбу. За фасадом любви — богатый дядя, и «я такой же, как вы». Я слышал, как вы заливались о Штатах на дворе у Генри: и про большие кинотеатры с широкими экранами, и про холодильники, большие, как дом, и все до одного там становятся кинозвездами и президентами. А сами всем этим напуганы до чертовой матери. Только и ждете, как бы принять рому да побрататься с добрыми, простодушными туземцами.

Он был прав. Мы непрерывно лепим из опыта вымыслы, чтобы скрасить скуку, чтобы уважать себя. Но мы никогда себя не видим; лишь изредка мелькнет перед нами неискаженное отражение. Он был прав. Я покупал дружбу, покупал приятельство. И гораздо яснее, чем Черенбел, сознавал, в какой сомнительной роли я выступаю на этой улице.

Он показал на портрет Черчилля.

— Что из него вышло бы, по-вашему, родись он здесь?

— Поверните голову вот так, Черенбел. Да, определенно черчиллевское.

— Забавно. Вы думаете, мы бы сегодня про него знали? Работал бы в банке. Служил бы городским чиновником. Ввозил бы швейные машинки и вывозил какао.

Я поглядел на фотографию.

— Вам нравится эта улица. Нравится, как черненькие колотят на заднем дворе по кастрюлям. Нравится Сельма — бедная вабинка, которой некуда деваться. Большое дело, большая любовь. Но она — всего-навсего вабинка, а вы вернетесь домой, и вам не обмануть друг друга. Вам нравится, как мистер Ламберт выпивает утром на ступеньках стаканчик рома и сшивает несколько папок. Потому что мистер Ламберт может выпить утром только один стакан рому и сшить какие-нибудь две-три папки. Вам нравится наблюдать, как Мано готовится к состязанию, из которого ничего не выйдет. Вы смотрите на все это и говорите: «Как мило, как причудливо, вот какой должна быть жизнь». Вы не замечаете, что все мы тут сумасшедшие и сходим с ума все бесповоротнее — превращаем жизнь в карнавал.

И карнавал наступил.

В этот год он был разрешен под строгим надзором полиции. Люди из дворов по соседству с Генри составили свои оркестры в обмундировании, которое получили от меня; и маршем прошли по улицам. Генри был Дядей Сэмом; Сельма — императрицей Феодорой; другие девушки — рабынями и наложницами. Тут были морские пехотинцы и просто пехотинцы, летчики ВВС с тихоокеанских атоллов; а в джипе, который

тоже пригнал я, стоял мистер Черенбел. Он стоял как изваяние, в фантастически расшитом мундире. Он был в темных очках, курил кукурузную трубку, и левая рука его была поднята в салюте, похожем на благословение. Он не плясал, не раскачивался под музыку. Он был Макартуром и обещал вернуться с победой.

Вечером во вторник, когда улицы кишели великими людьми: Наполеон, Юлий Цезарь, Ричард Львиное Сердце, все шествовали сосредоточенно,— Черенбел был среди них, одетый Шекспиром.

В отношениях, которые установились у нас с Сельмой, бури случались лишь изредка. По совету мистера Генри я утром пошел к ней в магазин. Она меня не признала. Мой приблизительный наряд, на самом деле принадлежавший Генри, привлек критические взгляды и вызвал много критических замечаний о повадках американцев. Признательность она выразила позже: ей было приятно, что я посетил ее в столь зябкое и пресное время — на другое утро.

В домах Генри, как я уже сказал, по-видимому, действовали свои особые правила. Это был клуб, место собраний, свиданий, пристанище. Сюда тянулась самая разная публика. Сельма принадлежала к тому типу молодых островитянок, которые переходят от связи к связи, от мужчины к мужчине. Она боялась замужества, потому что замужество для девушки из народа было полно опасностей и означало быстрый упадок. Она чувствовала, что если полностью отдастся одному человеку, то потеряет власть над ним и ее красота станет бесполезным, напрасным даром. Она говорила:

— Гуляю иногда, смотрю на них и думаю, что для какой-то девочки это животное — господин и хозяин. Он. Он не любит кукурузных хлопьев. Он не любит ром. Он то, он се.

Работа в магазине и покровительство Генри обеспечивали ей независимость. Терять ее она не хотела; шикарной жизнью не прельщалась. Она могла без конца рассказывать о знакомых девушках, которые нарушили законы своего сословия и вышли замуж за посетителей; и тут для них начиналась черная жизнь — и без свободы, которую они отдали, и без почтенности, которая есть свобода от борьбы за существование и должна была бы прийти с замужеством. Итак, мы сошлись, заключив маленький пакт.

— Запомни,— сказала она,— ты свободен, и я свободна. Я свободна делать, что мне хочется, и ты — то же самое.

Навязчивость проявлял я один. Пакт был для меня нелегкий. Я знал, что эта свобода в любой день может включить в себя либо Черенбела, стеснительного перевоспитателя, который держится пока в тени, либо проповедника в белом балахоне, которого мы звали Попом. Оба по-прежнему не скрывали своего интереса к Сельме.

Однако вначале, когда мы поселились на этой улице, в маленьком доме с жалюзи — а в те дни можно было купить дом за полторы тысячи долларов,— мы встретили противодействие не этих людей. Нет, не они стали нам поперек дороги, а миссис Ламберт, соседка Генри, жена человека в хаки, который выпивал по утрам стаканчик рому и выражал свой восторг и страдание в рифмах.

Эта миссис Ламберт меня удивила. Я не раз встречал ее на улице, но никак не связывал с мистером Ламбертом. Мистер Ламберт был черный, а миссис Ламберт — белая. Лет ей было около пятидесяти, и вела она себя как все на улице. Отчасти я сам был виноват, что она меня невзлюбила. Из-за меня перед Ламбертами замаячили деньги, благодаря мне они приобрели на склоне дней положение, которое можно сохранить, а можно и потерять.

Мистера Ламберта взволновал бум, охвативший всю улицу. Формулировка принадлежала Ма Хо, который держал на углу бакалею. Ма Хо стал расширяться и в дополнение к торговле открыл кафе, где люди с базы и местные люди сидели на высоких табуретах, ели сосиски и пили кока-колу и где, ожидая угощения, собирались дети с близлежащих улиц.

— Грубо говоря,— объявил Ма Хо, любивший поговорить,— сейчас у нас происходит бум.— Из всех слов только «грубо говоря» и «бум» были произнесены вполне отчетливо. Каждую фразу он начинал с «грубо говоря»; остальное понять было очень трудно. Тем не менее он всегда был занят беседой с каким-нибудь слушателем поневоле.

В его бакалее висели портреты Чан Кайши и мадам Чан Кайши... Еще там висели иллюстрированные календари разных сроков давности — с пастельными китайскими

красотками, томными или игривыми, на фоне упорядоченных камней и дисциплинированного бурьяна, живописных птичек и водопадов, изливавшихся, как масло,— неуместные в магазинчике с щербатым прилавком, раскрытыми мешками муки, сахаром в мешках цвета хаки, открытыми железными банками красного жидкого сливочного масла. Эти картинки были как мечты о другом мире; Ма Хо и в самом деле не собирался оставаться на острове. Если вы заводили с ним беседу — особенно в тех случаях, когда были без денег и рассчитывали на небольшой кредит,— то на вопрос: «Ну, по-прежнему уезжаете?» — он отвечал: «Грубо говоря, годика через два — четыре».

Его потомство существовало на улице отдельно: построившись в форме маленького аккуратного крокодильчика, где каждый ребенок был вооружен аккуратной сумочкой и аккуратным пенальчиком, они невозмутимо направлялись утром в школу и так же невозмутимо возвращались после занятий, словно ничто не коснулось их за целый день и ничто не могло запачкать. Утром задняя дверь бакалеи отворялась и выпускала детей; во второй половине дня задняя дверь отворялась, чтобы проглотить их обратно; и больше их не было слышно, и больше их не было видно.

Бум затронул Ма Хо. Он затронул миссис Ламберт. Однажды вечером мистер Ламберт в своем костюме хаки нанес мне очень официальный визит и сделал предложение.

— Я не хочу, чтобы у вас были неприятности,— сказал он.— Мы с миссис Ламберт поразмыслили и считаем, что вы подвергаете себя ненужному риску при доставке этих... как бы мне поточнее выразиться?.. этих продуктов нуждающимся нашего бедного острова.

Я сказал:

— До сих пор все обходилось. Вы бы видели, сколько добра мы выбрасываем.

— Не поймите меня превратно,— сказал он.— Я не порицаю вас за то, что вы делаете. Но мою супругу особенно волнуют грузовики. Ей кажется, что если они выезжают с этими продуктами, а потом приезжают обратно, то не исключена возможность, что их осмотрят оба раза.

— Понял вас. Спасибо, мистер Ламберт. Значит, миссис Ламберт считает, что грузовик мог бы, например, уехать с базы и не вернуться?

— Миссис Ламберт считает, что так безопасней. У миссис Ламберт есть родственник, который знает все, что можно знать о грузовиках и вообще об автомобильном транспорте.

Я помолчал, прикинул, чем это чревато.

Мистер Ламберт не выдержал тона. Он сделался фамильярным. У всех обитателей улицы были две манеры поведения, одна — чрезвычайно официальная, другая — непринужденная и шутливая.

— Слушайте,— сказал мистер Ламберт.— Грузовик приезжает на базу — начинаются всякие расспросы. Остается здесь — десять против одного, что о нем вообще забудут. Вы, ребята, владеете целым миром.

И однажды вкатился во двор к мистеру Ламберту грузовик; через две недели или около того, когда грузовик оттуда выкатился, его было не узнать.

— Аренда, а по-вашему ленд-лиз: подарено, так не ленись,— в восторге заметил мистер Ламберт. Этот самый грузовик у мистера Ламберта арендовали подрядчики на базе. Подрядчики выделили шофера и хотели, можно сказать жаждали, чтобы грузовик работал в две смены.

— Мы получаем двадцать долларов в день,— сказал мистер Ламберт.— Какой успех, мой друг, какой успех! Какая радость этот грузовик для всех!

Надо ли говорить, что успех этот он делил со мной?

Тем не менее миссис Ламберт все еще оставалась фигурой заднего плана. Фигура в окошке с занавесками; некто, деловито шагающий в магазин. Не та, с кем случается поговорить. Она так и не вошла в жизнь улицы.

— Вот человек, которому ты отравил старость,— сказал Генри.— Понимаешь? Она ведет себя так, как будто они к у п и л и этот грузовик. По-моему, это добром не кончится.

Двадцать долларов в день минус комиссионные и бензин. Деньги липли к деньгам; и вот в один прекрасный день рабочие окружили дом мистера Ламберта, как муравьи — дохлого таракана. Вся улица вышла поглазеть. Дом, деревянный и маленький, был поднят со свай. Парадная дверь с вывеской «Мистер У. Ламберт, переплетчик» распахнулась и хлопала, пока дом переносили на задний двор, чтобы поставить

там не на сваи, а на голую землю. Рабочие отметили свое достижение стаканчиками рома. Улица — приветственными криками. Но тут мы увидели, что сквозь толпу проталкивается мистер Ламберт. Он шел с таким видом, как будто ожидал услышать известие о чьей-то смерти. Он увидел сваи; он увидел свой дом на земле; и он сказал:

— Мой дом! Мой дом на землю сел,. о, незадача! Зачем мне дача! Где дом был, нынче свай унылый строй; торчат, как фиги, из земли пустой.— Он ушел и отправился к Ма Хо. Он напился пьян; он обращался в стихах ко всем. Привычка вкоренилась. Нам показалось, что он так и остался пьяным до самой смерти.

Генри сказал:

— Жила-была бедная девушка,— сейчас это в самом деле походило на сказку,— и родители ее, этой миссис Ламберт, были с Корсики. Жили себе там, наверху, в какаовых долинах под вечнозелеными деревьями. Времена были трудные. Какао и подарить было некому. А у Ламберта — место на казенной службе. Посыльный. Форма, постоянное жалованье, пенсия по старости, и никто тебя не уволит. Сыграли свадьбу там же, в горах,— зеленые деревья, красные цветочки. Счастье! Жили-были, не тужили. Молочная речка, какаовые берега. Гензель и Гретель. А потом жизнь стала помаленьку их догонять.

Сваи посшибали, и на месте старого деревянного дома стал подниматься дом из узорчатых бетонных блоков. Я видел, что дом будет как сотни других в городе: три спальни с одной стороны, веранда, гостиная и столовая с другой стороны, веранда сзади.

И без крылечка, где сидел бы по утрам мистер Ламберт со стаканчиком рома и приветствовал нас, прохожих. Старый дом продали; разобрали — рама за рамой, жалюзи за жалюзи,— и покупатель собрал его где-то далеко, в деревне. И не стало по утрам мистера Ламберта. Он уходил со двора рано. В своем хаки он был похож на рабочего, который отправляется на полную смену. Мы часто видели его с Мано. Мано, скороход со двора Генри, после утренней тренировки надевал форму посыльного, тоже цвета хаки, и шел в свое правительственное учреждение. Костюмы у них были одинаковые, но пару они составляли несуразную: Мано — поджарый и спортивный, мистер Ламберт — спозаранку нетрезвый и нетвердо стоящий на ногах.

Мистер Ламберт прирабатывал на стороне. В дни спортивных соревнований, бегов, футбольных и крикетных матчей он открывал ларек. Торговал он отвратной сладкой жидкостью собственного производства. В эти дни он появлялся не в обычном своем пробковом шлеме, а обвязавши голову платком. Звонил в колокольчик и выкрикивал рекламные стишки, зачастую совершенно бессмысленные: «Зритель! Зритель! Где ты друг? А я тут! Тук-тук-тук!» Иногда он показывал на ядовитую лохань, где в красной жидкости плавали льдинки, и призывал: «Заходи! Забегай! Заскочи! Залетай! Заползай! Заворачивай!»

Таким был мистер Ламберт в более счастливые времена. Теперь, когда дом переживал упадок, он, кажется, и с ларьком распрощался. Но он подружился с Мано и из верности другу объявил, что придет на соревнования с его участием.

Генри сказал:

— Его хозяйке это не нравится. Когда старый черный муж, перевязавши голову платком, скачет и звонит в бубенчик, ее это вроде роняет — тем более у ней новый дом строится. Она говорит: еще раз пойдешь туда и будешь звонить — между нами все кончено. Построят дом — она его на порог не пустит.

Так что мы переживали и за мистера Ламберта, и за Мано. Во второй половине дня мы часто отправлялись с Мано в большой парк и сопровождали его на велосипедах, чтобы помочь ему избавиться от нетерпеливости,— из-за нее он бегал на состязаниях по ходьбе, и его дисквалифицировали.

Генри сказал:

— Фрэнки, по-моему, ты принимаешь Мано слишком близко к сердцу. Следи за собой. Смотри, что ты сделал с миссис Ламберт. Знаешь, мне кажется, если люди говорят, что они хотят что-то сделать, это вовсе не значит, что они на самом деле хотят. Если люди говорят, что хотят что-то получить, и мы помогаем им получить это, мне кажется, мы причиняем им одни неприятности. Некоторые смотрят на черного и видят только черного. Ты смотришь на бедного и видишь только бедного. Ты думаешь, что он хочет только денег. И между прочим, очень ошибаешься.

Однажды, выезжая из парка следом за Мано и обогнав по пути крокодильчик детей Ма Хо, мы с ужасом увидели, что на тротуаре, как мертвый, лежит мистер Ламберт. Он не был мертв; мы вздохнули с облегчением. Он был просто пьян — но это только так говорится, что «просто». Сельма побежала к миссис Ламберт и вернулась с холодным ответом: «Миссис Ламберт говорит, чтобы мы не портили себе кровь из-за этого лоботряса».

Генри сказал:

— Все наши заботы о Ламберте ему не впрок. Я бы сказал, что миссис Ламберт относится ко всем нам недружелюбно, очень недружелюбно.

В эту минуту мистер Ламберт отчасти очнулся и сказал:

— Они говорят, я черный. Но это не так, друзья. Я никакой не черный — шотландец я.

Генри сказал:

— Между прочим, это не так уж смешно. Его дед был большим человеком, большим землевладельцем. До войны даже ходил слух, что по какому-то наследственному праву мистер Ламберт — законный вождь шотландского клана.

Дом строился. Наступил день состязаний. Мано ужасно нервничал. С приближением старта у него даже сделался испуганный вид. Это озадачивало, потому что я всегда считал его человеком отрешенным, безразличным к успеху, неудаче, поощрению.

Генри сказал:

— Ты знаешь, Мано никогда не читает газет. Вчера по дороге ему взбрело в голову заглянуть в вечернюю газету, он посмотрел гороскоп и прочел: «Сегодня вы вознесетесь».

— Так это хорошо,— сказал я.

— Он перепугался. Дикое какое-то слово для газеты. Мано стал думать о боге и вратах, значит, царства.

Когда мы отправились на стадион, Мано был очень напуган. Мистера Ламберта мы нигде не встретили и решили, что он тоже напуган — женой — и, чтобы не уронить достоинства, на время куда-то скрылся. Но когда соревнования начались и Мано отправился в путь — а путь был длинный, и вы должны представить себе, как он шагает и шагает, а в это время происходят разные другие состязания, никак друг с другом не связанные, так что в итоге возникает картина многофигурного и напрасного неистовства,— когда Мано отшагал уже порядочный кусок, мы услышали звон колокольчика. Для нас он звучал погребальным колоколом.

— Мано сегодня не побежит, Мано сегодня взойдет на небеса.

Экзальтация была не только на лице мистера Ламберта, в его словах и звоне колокольчика. Она сказалась и в его наряде.

— Во мне шотландской крови порция. Вот мое последнее слово — надел юбку горца я.— И дальше пошли его всегдашние стишки.

И Мано не побежал. Он дошел и выиграл. А мистер Ламберт звонил в колокольчик и выкрикивал:

— Мано сегодня не побежит. Сегодня он придет в объятия господа.

Мы все потрудились для победы Мано. Победа пришла, но нам она показалась нежданной. Сам Мано был ошарашен. Он не принимал поздравлений. Мы и не поздравляли. Мы поискали мистера Ламберта, но не могли его найти. И с ощущением двойного и глубокого непорядка в том, что было устроено и налажено, мы отправились домой. На вечеринку. Она вылилась в нечто большее. Мы не заметили, когда нас покинул Мано.

Позже, ночью, мы набрели на пьяного мистера Ламберта, который валялся на тротуаре. Он сказал:

— Из грязи вытащил ее, дал ей хлеб и дал жилье. И в благодарность — опозорен. Нет, белый — бел, а черный — черен.

Мы отвели его к дому. Генри зашел к миссис Ламберт. Но напрасно. Она отказалась пустить мужа в дом. Она отказалась выйти к нему.

— Ходу нету мне теперь домой. Смотрите же, друзья, мой танец гробовой.

На другой день у нас были двойные похороны. Мано сделал то, что многие на острове делали до него. Он пошел купаться, заплыл далеко в синее море, откуда не было возврата.

— Знаешь,— сказал Генри, когда мы шли на кладбище,— беда Мано в том, что у него никогда не хватало храбрости. Он не хотел быть скороходом. Он хотел быть бегуном. Но у него не хватало храбрости. Поэтому, когда он выиграл соревнование по ходьбе, он пошел и утопился.

В похоронной процессии шел почтальон Альберт. Он сказал:

— Новость, Фрэнки. Черенбелу вернули еще одну книгу.

Черенбел услышал. Он сказал мне:

— Вы во всем виноваты. Вы заставили меня писать про это. Как я пал. Кому захочется читать про наш остров?

Я сказал:

— Когда-то вы были насквозь белый, и это была неправда. Теперь вы пытаетесь стать насквозь черным, и это тоже неправда. На самом деле ваш оттенок — сероватый, Черенбел.

— Ура мне, если воспользоваться вашим выражением. Этот остров — нигде. На этот остров приезжают только умирать. Но я не Мано. Меня вам не убить.

— Черенбел, старая вы дева, я вас люблю.

— Старая дева? Кто вам сказал?

— Мы одного поля ягоды.

— Фрэнки, зачем вы пьете? Ведь это только тоска по сладкому.

А я сказал ему:

— Милый мой, зачем вы плачете? Ром — порождение сладкого. Какое сладкое слово — сладкое. Я люблю, когда от меня сладко пахнет. Люблю, чтобы сладость сочилась из моих пор.

И в траурной процессии, которая расстраивала уличное движение, снимала с прохожих шляпы и омрачала их лица, я плакал по Мано, по Ламберту и по себе, оплакивал свою любовь к сладкому; а Черенбел оплакивал нас и свою девственность. Мы шли бок о бок.

Сельма сказала, что Генри прав.

— Хватит тебе вмешиваться в чужие жизни. Люди хотят не того, что ты думаешь.

— Верно,— сказал я.— С нынешнего дня начинаем жить тихо.

Тихо. Сколько значений у этого слова. Тихо — утро, например, после свидания, тихо — очки у меня на носу, тихо — в уголке трезвенника. Теперь я был типом. Я получил свидетельство. Сладкое смягчало меня. Во дворе у Генри, в доме у Сельмы, на песке укромной бухты за холмами, целебной бухты, где островитяне прятались от радости и печали.

Поп обличал нас, меня, все яростнее. А Черенбел за хлопающими занавесками своей залы в симпатическом раже бил по клавишам машинки.

И вот однажды, туманным похмельным утром, я нашел на крыльце маленький гробик, а в гробике — изувеченную куклу моряка и игрушечный венок.

Все подошли посмотреть.

— Примитивно,— сказал Черенбел.— Отвратительно. Это нас позорит.

— Попа работа,— сказал Генри.

— Я же говорила, чтобы ты меня застраховал,— сказала Сельма.

— Ах, вот какие у него приемчики?

Генри сказал:

— Поп относится к своей работе серьезно. Вот понять бы только, какая у него работа. Не пойму, то ли он проповедник, то ли страховой агент. По-моему, он и сам не понимает. Видно, у него это как-то сочетается.

По правде говоря, эти гробики на крыльце у Сельмы меня расстраивали. Они продолжали появляться, и я не знал, что делать. Сельма все больше и больше нервничала. То она говорила мне, чтобы я забрал ее с собой; то говорила, чтобы я сам убрался. Еще она предлагала умиротворить Попа, а для этого застраховаться.

— Умиротворить Попа? По-моему, это не то слово. Генри, ты слышишь?

Генри сказал:

— Я тебе вот что скажу про страховку. Не знаю почему, но кажется, на острове она становится светским мероприятием. Как душ принять, как образование получить, как жениться. Теперь, если ты не застрахован, ты в глаза смотреть не можешь людям. Все считают, что ты беден, как церковная крыса. Да погляди. Вон он сам идет.

К нам шел Поп, в костюме, с виду очень веселый и совсем не злой.

— Заглянул по случаю небольшого праздника,— сказал он.

Сельма оробела, и трудно было понять, чем это вызвано — костюмом ли Попа, гробами или же его величественными манерами.

— Что празднуем? — сказал я.— Похороны?

Он не смутился.

— Новую должность, Фрэнки, новую должность. Больше денег, понимаете? Больше комиссионных, выше жалованье. Фрэнки, вы говорили, что живете в Штатах? Ну так ждите меня там. Могу отправиться со дня на день. Так говорят мои начальники.

Я сказал:

— Безумно буду рад вас видеть.

— Знаете,— сказал он,— в страховом агентстве у меня чудесная репутация. Но эти местные...— тут он задрал бороду, почесал кадык, скосил глаза,— но эти местные, понимаете, трясутся над деньгами. И вот является, понимаете, эта новая компания, и, конечно, спрашивает про меня. Я к ним не являюсь. За мной посылают. Прихожу к ним, и меня, понимаете, встречают, как бога. Притом, скажу я вам, там черт знает сколько белых. И я, понимаете, в этой компании был как... ну, как вам сказать?.. п л е й б о й, прямо как плейбой. И смотрите, как мне повезло, какая привалила удача. Что я главное-то хочу отпраздновать? Вы знаете, сколько лет я упрашивал Ма Хо застраховаться. И знаете, что он, Ма Хо, не хотел страховаться. В Китай, говорит, поеду, к супу вантон да к Чан Кайши. Так вот, начиная с нынешнего дня он застрахован.

Генри спросил:

— Врач его смотрел?

Я сказал:

— Грубо говоря, понимаете, этот человек, по-моему, болен хуже некуда.

— Смотрел его врач, смотрел,— сказал Поп.

— Он ходил к врачу,— спросил Генри,— или врач к нему?

— Да что вы о таких пустяках волнуетесь? Что, вы не знаете этих китайцев? Дай им свой магазинчик, и они просидят там до страшного суда. Здоровая жизнь, понимаете.

Генри сказал:

— Ма Хо мне рассказывал, что, когда приехал на остров в двадцатом году и корабль вошел в бухту, а он выглянул и увидел только мангры, он заплакал.

Сельма сказала:

— Не представляю, чтобы Ма Хо плакал.

Генри сказал:

— А мне кажется, он с тех пор только и делает, что плачет.

— Грубо говоря,— сказал я,— с гробами покончено, а?

— Да не услышу я больше о смерти,— сказал Поп опять богослужебным голосом. Он расхохотался и хлопнул меня по спине.

И в самом деле, на крыльце у Сельмы больше не появлялись гробики с мертвыми матросами и игрушечными венками.

Как-то, недели две спустя, я постучался к Сельме.

— Сегодня гроб не нужен, мадам?

— Сегодня нет, спасибо.

Сельма увлеченно занималась своим домом. Маленький домик весь блестел и пропах разнообразными политурами. На стенах висели картинки в паспарту, а на мраморных трехногих столиках, к которым у Сельмы была слабость, стояли комнатные цветы в горшках и латунных вазах. В тот день она показала мне обновку: туалетный столик с мраморной крышкой, фаянсовой чашей и кувшином.

— Тебе нравится?

— Очень мило. А он тебе нужен?

— Я всю жизнь такой хотела. У тети всю жизнь такой был. Я не буду им пользоваться. Хочу только смотреть на него.

— Прекрасно.

Немного погодя я сказал:

— Что ты намерена делать?

— Как — делать?

— Ну, война не вечно будет длиться. Я не могу жить здесь вечно.

— Ну, как говорит Черенбел, ты вернешься домой, мы останемся здесь. Не плачь по мне, и я...— она обвела рукой комнату и небогатое свое имущество,— и я не буду плакать по тебе. Нет, это неправильно. Давай немного поплачем.

— Я вижу,— сказал я,— что ты увлеклась стариком Черенбелом. Он тебя заговорил, Сельма. Позволь тебя предупредить. От него не будет толку. Такие мужчины опасны.

— Только не Черенбел. Честно говоря, я его немного боюсь.

— Больше, чем Попа?

— Попа я совсем не боюсь,— сказала она.— Знаешь, мне всегда казалось, что Поп владеет языком, как ученый и воспитанный человек.

Я стоял у окна.

— Интересно, что ты теперь скажешь.

Поп бежал по улице в костюме и причитал:

— Слушайте, слушайте. Ма Хо помер, Ма Хо помер.

А из домов нараспев откликались:

— Кто помер?

— Ма Хо помер.

— Какой хороший был. Хороший. Хороший.

— Кто?

— Ма Хо.

— Не как человек, а как клиент хороший. В смысле,— пояснял Поп, отдаваясь своей отдельной скорби,— в смысле здоровый. Он был крепкий. Он не хворал. А теперь, а теперь — помер.

— Кто помер?

— Ма Хо. Я не потому плачу, что замарал свою папку на новой службе. Не потому плачу, что в первый раз у меня застрахованный помер. Не потому плачу, что белые уважали меня, когда брали на новую службу.

— Однако, Поп, похоже, что поэтому.

— Мало ли что похоже. О братья, поймите правильно. Я плачу по человеку.

— Какому человеку?

— Ма Хо.

— Он хотел вернуться.

— Куда?

— В Китай.

— В Китай?

— В Китай.

— Бедный Ма Хо.

— Знаешь, у него в комнате, в заду лавки висели китайские картины.

— А сколько детей!

— А какой был симпатичный, сам-то.

— Сам был симпатичный.

— Идешь к Ма Хо и просишь на цент красного масла. А он дает тебе большой кусок.

— И еще шматок сала.

— И всегда согласен поверить немного в долг.

— Немного поверить в долг.

— А теперь помер.

— Помер.

— И больше не даст сала.

— Не даст сала.

— И в Китай к себе не поедет.

— Помер.

Поп брел по растревоженной улице и плакался каждому встречному мужчине и каждой встречной женщине. И в тот вечер под карнизом лавки Ма Хо, перед закрытыми дверьми, он произнес потрясающую поминальную речь. А шесть его девочек пели гимны. Потом, грустный и торжественный, он пришел к Генри и начал пить пиво.

Генри сказал:

— Честно говоря, Поп, я опомниться не мог, когда услышал, что вы застраховали Ма Хо. Как же это вы не знали, что у него сахарная болезнь. Но вы тут все

заставили гробами, и я решил, что это не мое дело. И помалкивал. Ничего не говорил. Я всегда говорю: каждому свое дело виднее.

— Сахарная болезнь? — повторил Поп, чуть не макнув бороду в пиво.— Но врач его проверил по всем статьям.— Он делал круговые движения рукой.— Врач его обследовал, и все было в порядке. Все как есть обследовал. Он был здоровый, здоровый, здоровый, слышите? Маленький был, но вы же все, все видели, как он втаскивал на прилавок тяжеленные мешки с сахаром и с мукой.

Генри спросил:

— Вы мочу у него проверяли?

— Она была хорошая. Она была как слеза.— Поп тихонько плакал.— Вы знаете, какие эти китайцы опрятные. Он ушел в заднюю комнатку со всем своим выводком и вынес маленькую бутылочку — маленькую бутылочку из-под канадского бальзама.— Не переставая плакать, он показал большим и указательным пальцами высоту бутылочки.

— Не его моча,— сказал Генри.— Вот почему он не хотел сам идти на осмотр. Вот почему он хотел, чтобы врач к нему пришел.

— О господи! — сказал Поп.— О господи! Китайская подлюга. Из-за него я премии лишился. А вы, Генри? Вы черный, как я, и ничего мне не сказали. Вам понятно,— обратился он к остальным,— почему здесь черные не продвигаются? Никакого сотрудничества.

— Одни люди сотрудничают так,— сказал Генри.— Другие люди сотрудничают по-другому.

— Поп,— сказал я,— застрахуйте мне Сельму.

— Нет,— нервно вмешалась Сельма.— Не хочу, чтобы Поп меня страховал. У него дурной глаз.

— Не глумитесь над падшими,— сказал Поп.— Не глумитесь над падшими. Я уйду. Я переберусь в другой район. Я исчезну. Но ненадолго.

И он действительно переехал в другой район города. Он превратился в неврастеника, он боялся заключать страховые договоры, мало того — он нагонял ужас на людей, которых пытался застраховать: известие о внезапной смерти Ма Хо распространилось по городу довольно быстро.

Ма Хо не стало, и вместе с ним не стало китайских эмблем в его лавке. Аккуратный крокодильчик уже не выползал из задней двери; и его домочадцы — эти люди, которые всегда держались особняком, которые казались лишь временными обитателями острова, постоянно сидящими на чемоданах,— его домочадцы вышли на свет. Девочки стали ездить на велосипедах. Страховка оказалась солидной. Мальчики стали играть в крикет на тротуаре. А сама миссис Ма Хо, ни слова не говорившая по-английски, вдруг обнаружила хорошее знание языка.

— Мне начинает казаться,— сказал Черенбел,— что я был неправ. Мне начинает казаться, что остров начинает вести самостоятельное существование.

Нам предстояло вскоре спустить наш флаг. Война кончилась. И после стольких лет ее окончание показалось нам неожиданным. Когда пришло это известие, начался карнавал. Теперь прятаться было не надо. Оркестры выросли, как грибы. Из ничего родилась песня «Марианна». А местные мужчины, столько лет наблюдавшие, как островом владеют чужие, пели, хотя и беззлобно: «Спуха, спуха, натерпелась ты от янки», предупреждая всех, что наступает местное, постное время.

Атмосфера у Генри неуловимо менялась. В годы военного бума исподволь вводились усовершенствования. Изменились теперь и сами посетители. С базы приходили офицеры с женами — поглядеть на пляски. Их примеру последовали обеспеченные люди из местных. Иногда появлялись люди с магнитофонами. И среди этой растущей популярности сам Генри становился все несчастнее. Он наконец сделался типом, его упоминали в газетах. Наиболее доступные девушки испарились; зато появились новые вабинки, настолько дорогие, что их не отличить было от женщин, обреченных на супружество. Как-то раз Генри сообщил, что одного из здешних барабанщиков, человека по кличке Змей, изловила чья-то жена, обрядила в пиджак и галстук и отправила в Соединенные Штаты учиться музыке.

Генри, и сам становившийся все чище и все бритее, пал духом. К нему пришел успех, и это его пугало. А Черенбел, который несколько лет твердил, что люди,

подобные Змею, позорят остров, подкрепляя миф о туземцах — детях природы, Черенбел пришел в ярость. Бывало, он говорил: «Змей занимается трудным делом — выколачивает музыку из мусорных ящиков. Это все равно что валить дерево перочинным ножом и требовать рукоплесканий». Теперь, если речь заходила о том, как похитили Змея, он рассуждал о загнивании культуры на острове.

— Но вы должны радоваться,— сказал я.— Ведь это доказывает, что остров существует.

— Существует он с той минуты,— возразил Черенбел,— когда начинают уничтожать нас самих. Знаете, я в последнее время немало размышлял. Знаете, Фрэнки, мне теперь кажется, что изъян моих книг идет не от меня самого, а от языка, на котором они написаны. Знаете, по-английски черный — сквернейшее слово. Мы говорим «черное дело». Как же мне писать на этом языке?

— Я вам уже говорил. Для меня вы становитесь чересчур черным.

— Наш собственный язык — вот что нам нужно. Я намерен писать на нашем собственном языке. Вы ведь знаете, что такое наш диалект. Не английский и не французский, а что-то нами изобретенное. Вот это — наше. Вы были правы. К черту лордов и леди. К черту Джейн Остин. Вот что наше, вот с чем мы должны работать. И я уверен, что Генри, каковы бы ни были его соображения, со мной согласится.

— Да,— сказал Генри.— Мы должны защищать нашу культуру. И, грустно озирая новую публику, добавил: — Мы должны вернуться к прежним дням.

На вывеске у Черенбела появилась новая строчка:

**Здесь обучают диалекту.**

Сельма начала ходить в Имперский институт на уроки кройки и шитья. Первые уроки были посвящены, кажется, мережке, и она не очень успевала. Работа над наволочкой продвигалась крайне медленно, наволочка все больше и больше пачкалась, и я сомневался, что потом ее удастся отстирать. Тем не менее Сельма по-прежнему наслаждалась своим домом и не желала разговаривать о том, что меня волновало больше всего: что мне скоро уезжать с базы.

Заговорили мы об этом однажды поздно ночью, когда я, наверно, вообще не имел права говорить. Я только что вернулся после ночных похождений — один, как уже не раз бывало. У всех нас есть свои причины для досады, и моя была вот какая: Сельма не желала предъявлять какие бы то ни было права на меня. Я мог уходить и приходить когда заблагорассудится. Ночь выдалась тяжелая. Я не мог попасть ключом в скважину; я завалился у порога. Она меня все-таки впустила. Она жалела меня и огорчалась, но не так огорчалась, как могла бы. Однако эта крохотная сцена спасения засела у меня в голове: и моя беспомощность, и отвращение к себе, и полное отчаяние перед дверью, которая вскоре, в ответ на мое царапанье, словно по волшебству открылась.

Мы начали с разговора не о моем состоянии, а об уроках шитья. Она сказала:

— После этих уроков я смогу подрабатывать шитьем.

Я сказал:

— Представляю, сколько ты заработаешь.

Она сказала:

— В деревне тетка каждый вечер садилась у керосиновой лампы и вышивала. У нее был такой довольный, такой счастливый вид. И я пообещала себе, что, когда вырасту, тоже каждый вечер буду вышивать. Нет, правда, Фрэнк, я не могу понять, кто за кого боится.

Опять неискаженное отражение. Я сказал:

— Сельма, сегодня, когда ты меня впустила, такой милой я тебя еще не видел.

— А что тут такого?

— Ты была очень милой.— Чувства глупы и опасны; меня охватила нежность.— Если кто тебя обидит, я его убью.

Это ее развеселило.

— Нет, правда, я его убью.

Она засмеялась.

— Не смейся.

— Да я и не очень-то смеюсь. Но за это, за то, что ты сейчас сказал, давай условимся. Скоро ты уедешь. Но потом, когда бы мы ни встретились и что бы ни случилось, давай условимся, что первый вечер проведем вместе.

На этом мы и порешили.

Теперь нас осталось четверо, собиравшихся у Генри не столько для веселья, сколько для того, чтобы побыть вместе, да еще отметить какую-нибудь очередную перемену: Генри, Черенбел, Сельма и я, люди пока что с общими интересами. Что меняется — меняется. Вместе нам оставалось быть недолго. Что ни день, на улице появлялось новое лицо, а однажды появились сразу два и развели нас как будто навсегда.

Однажды, когда мы сидели у Генри, к нашему столику нерешительно подошел средних лет мужчина в хорошем костюме и представился: мистер де Рюйтер из Совета по колониальным культурам. Они с Черенбелом сошлись сразу. Черенбел заговорил о том, что для острова должен быть создан новый язык. Он сказал, что уже давно над ним работает. Последнее время он носил с собой несколько стеклографированных страничек: словарик, состоявший из слов, которые он сотворил.

— Я все время придумываю новые слова. Как вам понравится к о щ у р? По-моему, удачное слово.

— Приятное слово,— сказал мистер де Рюйтер.— Что оно означает?

— Означает взгляд искоса. Вот такой.

— Отличное слово,— сказал мистер де Рюйтер.

— Я рисую себе,— сказал Черенбел,— институт, который будет трудиться над переводом всех великих книг мировой литературы на этот язык.

— Колоссальная работа.

— Н у ж д а в ней колоссальная.

Я сказал Генри и Сельме:

— Знаете, мне кажется, мы теряем Черенбела.

— Мне кажется, вы не правы,— сказал мистер де Рюйтер.— Мы должны поощрять подобные труды. Мы должны идти в ногу со временем.

— Мое любимое выражение,— сказал Черенбел.

Мистер де Рюйтер сказал:

— Я, хотя и не без робости, хотел бы предложить вам некий план. Как бы вы отнеслись к тому, чтобы продолжить работу над вашим языком в Кембридже? В области филологии Оксфорд, конечно, пользуется большей известностью, но...— Мистер де Рюйтер засмеялся.

И Черенбел засмеялся вместе с ним, уже включившись в эту игру: Оксфорд — Кембридж. Де Рюйтер еще не закончил фразу, а я уже понял, что Черенбел соблазнен. Но он не сдался без борьбы.

— Кембридж, Оксфорд? Но моя работа здесь, среди моего народа.

— Разумеется, разумеется,— сказал мистер де Рюйтер.— Но вы увидите Кем.

— Далеко больно ездить — Кем смотреть,— сказал Генри.

— Это река,— сказал мистер де Рюйтер.

— И что же, большая? — спросил Генри.

— У нас в Англии все большое считается несколько вульгарным.

— Видать, совсем плевая речушка,— сказал Генри.

Мистер де Рюйтер продолжал:

— Вы увидите часовню Королевского колледжа. Вы увидите белые скалы Дувра.

С каждой новой приманкой накал в глазах у Черенбела повышался.

Мистер де Рюйтер включил еще несколько рубильников.

— Вы переплывете Атлантический океан. Вы поднимитесь по Темзе. Вы увидите лондонский Тауэр. Вы увидите снег и лед. Вы будете носить пальто. Вы будете хорошо выглядеть в пальто.

В это время Генри медленно и воровато встал и попросил извинения за уход. Он сказал:

— Никогда не думал, что мне придется это увидеть.

В дальнем конце комнаты мы увидели толстую, свирепую женщину, которая вглядывалась в полутьму, словно кого-то отыскивая. Фотографию этой женщины Генри часто показывал, вокруг нее вились разнообразные его повести о любви и измене. Даже сейчас, в минуту бедствия, он успел сказать:

— Когда я ее знал, на ней такого сала не было.

Успех, статейки в газетах вышли ему боком. В тот вечер он сбежал, но через полмесяца был пойман, вымыт и водворен на место. И правила теперь его супруга — если ее можно так назвать. В его заведении она заработала, как новая метла: от нее пошли порядок, чистота, кассовые аппараты, блокнотики у официантов, объявления в газетах и вывеска: «КОКОСОВАЯ РОЩА — Добро пожаловать, зарубежные гости».

Место не про нас. Перемены, перемены. Они были стремительны и яростны. По разминированным, безопасным проливчикам приходили суда из Европы и Соединенных Штатов: иные — серые, иные — еще в военном камуфляже, но уже два или три белых — первые туристские суда.

А на базе, где раньше висели строгие предупреждения: «максимальная скорость 5 миль в час» и «опасно для жизни», появилась надпись: ДЛЯ ПРОДАЖИ НА ПУБЛИЧНОМ АУКЦИОНЕ.

База была продана, и был установлен срок ее передачи в местное пользование. До тех пор мои полномочия кое-что значили. Я обходил на улице дом за домом. И в это ничейное время — между Последним Отбоем и прибытием местного покупателя, который повесил новое объявление:

ЗДЕСЬ БУДЕТ ВОЗВЕДЕНА
РУБАШЕЧНАЯ ФАБРИКА «ФЛОРИДА»,—

в это ничейное время, на заре, через открытые и неохраняемые ворота базы приходили люди с улицы и брали все, что могли унести. Они уносили пишущие машинки, они уносили печки, уносили ванны, раковины, холодильники, шкафчики. Они уносили двери, окна и проволочную сетку.

На моих глазах бульдозеры крушили здания. На моих глазах тропическая трава шустро лезла из трещин в асфальтированных дорогах. На моих глазах росли и цвели вразброс среди наших рукотворных тропиков бугенвилея, пойнсеттия, гибискус.

Я прощался в доме, забитом холодильниками, раковинами, печками и пишущими машинками.

— У нас с тобой так,— сказала Сельма.— Лучше так, чем вот так.— Она показала на дом Генри, где Генри с несчастным видом стоял в дверях, а за спиной у него маячила давящая миссис Генри.— Вот чем всегда кончается любовь и большое веселье.

Когда я прощался, Черенбел печатал на машинке.

3

Теперь в дверях стоял вышибала.

— Я за вами наблюдал.

— Я тоже. Ты очень хорошенький.

Он сделал движение рукой.

— Хорошенький, как с картинки в журнале. Что сегодня рекламируешь? Виски?

— Вам сюда нельзя.

— Нет, я думаю, не виски. Я думаю, рисовую водку.

— А я думаю, вам и в галстуке здесь не место.

— Виски, рисовая, мне ни к чему. Переворачиваю страницу: где у вас комиксы?

— Вам сюда нельзя.

— В твое заведение даже интересно прорваться.

Заведение было роскошное, как декорация старой музыкальной комедии. Официанты в диковинных нарядах — видимо, подразумевался национальный костюм. Столики со свечами, туристы; сцена с крышей из пальмовых листьев. И за длинным столом в обществе дорого одетых пожилых людей — мистер Черенбел.

— Сюда нельзя без галстука.

Я сильно дернул его за галстук.

Голос сказал:

— А ну-ка одолжи ему свой, пока ты на нем не повесился.

Это был голос Генри. Бедный Генри — в костюме и при галстуке; в красных глазах — пьяное бессилие; похудевший и лицо покислей, чем раньше.

— Генри, что с тобой сделали?

— Мне кажется,— вступил другой голос,— мне кажется, что этот вопрос с бо́льшим правом он мог бы задать вам.

Это был Черенбел. Х. Д. Ч. Бел, изборожденное страданиями писательское лицо с подмигивающего фотопортрета. Сейчас самое обыкновенное лицо.

— Я купил все ваши книги до одной.

— Ура вам, как говорилось раньше. Фрэнк, я ужасно рад вас видеть. Но вы нас немного пугаете.

— Вы меня тоже пугаете.— В притворном ужасе я поднял руки.— Ух, как вы меня напугали.

Генри сказал:

— Делай это почаще, и тебя возьмут на сцену.— Он кивнул в глубину зала.

Черенбел окинул зал быстрым встревоженным взглядом. Некоторые туристы, среди них утренняя дружная пара и озлобленная пара, глядели на меня с опаской и стыдом. Позорю команду.

Черенбел сказал:

— Знаете, мне кажется, вы не только нас пугаете.

Я возился с галстуком, который мне подарил вышибала. Сальный.

— Смотри,— сказал я Генри, показывая на вышибалу.— Этот человек без галстука. Гони его вон.

— Вот опять на вас нашло,— сказал Черенбел.— По-моему, вы не можете понять, что мы шагали в ногу со временем.

— Ух, я вас боюсь.

— Пьянчуга,— сказал Черенбел.

— Это только тоска по сладкому, помните?

— Мне кажется, Фрэнк,— говорю вам как друг — вам нужен новый остров. Новая орава детей природы.

— Так вы съездили в Кембридж?

— Скучнейшее место.

— Тем не менее результаты налицо.

Оркестр начал настраиваться. Черенбел забеспокоился, ему не терпелось вернуться к гостям.

— Слушайте, Фрэнк, пошли бы вы с Генри на кухню, выпили бы, потолковали о былом? Видите ли, сегодня у нас высокие гости из различных фондов. Предстоят очень важные переговоры, дорогой мой. Нельзя, чтобы у них создалось превратное представление о нашей стране, правда? Не тратьте времени даром. Послушайтесь совета. Ищите скорей новый остров.— Он поглядел на меня; он смягчился.— Хотя не думаю, чтобы для вас нашлось еще какое-нибудь место, кроме дома. Заберите его, Генри. Да, послушайте, Генри, когда придет Пабло и остальные лодыри, почистите их сперва на кухне, а потом уж пускайте сюда. Ладно?

Мужчины и женщины в диковинных нарядах, похожих на наряды официантов, вышли на сцену и начали исполнять диковинный народный танец. Они символически собирали хлопок, символически рубили тростник, символически носили воду. Они присаживались на корточки, раскачивались и стонали песню. Время от времени среди них пробегала личность в белой маске и щелкала бичом; они воздевали руки в миловидном ужасе.

— Видишь, как мы, черномазые, страдали,— сказал Генри, подводя меня к двери с надписью: ТОЛЬКО ДЛЯ ПЕРСОНАЛА.— Всё — затеи Черенбела. Он говорит, что это ты его надоумил. Не велел ему больше писать книги про английских лордов и леди. Попросил его писать о черных. Знаешь, Фрэнки, если подумать, ты тут наломал дров. Удивляюсь, почему ты не попробовал меня разженить. Удивляюсь? Огорчаюсь. Помнишь, ты любил говорить, что бы ты сделал, если бы у тебя был миллион долларов? Что бы ты сделал для острова, для улицы?

— Миллион долларов.

Шаги у меня за спиной. Я обернулся.

— Фрэнки.

— Леонард.

— Фрэнки, я рад, что нашел вас. Я, правда, за вас беспокоился. Но боже мой, какое это потрясающее место! Вы видели последний танец?

До нас доносилось хлопанье бичей, оркестрованные рыдания, топанье и шарканье. И наконец размеренный, сдержанный плеск ладоней.

— Леонард, вам лучше вернуться в зал,— сказал я.— Там мистером Белом уже завладели несколько человек из разных фондов. Вы можете потерять его, если будете отвлекаться.

— Ах, вот они кто? Спасибо, что предупредили. Бегу немедленно. Просто не знаю, как ему представиться. Люди мне почему-то не верят...

— Что-нибудь придумаете. Генри, где телефон?

— Вы все еще шалите с телефоном? Смотрите, доберется до вас полиция.

Я набрал номер. Раздались гудки. Я ждал. Раскатистый мужской голос гаркнул: «Фрэнк! Не суйтесь». Так громко, что даже Генри услышал.

— Поп,— сказал я.— Гари Попленд. Скажи, как он узнал?

Генри сказал:

— Ты тут так расходился, что про тебя, наверно, весь город знает. Ты знаешь, что ты сорвал лекцию в Британском Совете — про Шекспира или кого-то такого?

— Боже.— Я вспомнил комнату. Шестеро; человек в брюках защитного цвета весело закидывает ноги на стол.

— Ты думал, это бар.

— Генри, что стало с островом? Ты хочешь сказать, они всерьез взялись дарить вам культуру? Шекспира и все прочее?

— Они дарят нам, мы дарим им. Обоюдный процесс, как говорит наш Черенбел. И, как говорят они, они у нас многому учатся. Не пойму, как это вдруг все понеслось. Видишь, у нас теперь прямо маленький Нью-Йорк. Вот на что они, по-моему, покупаются. Чувствуют себя как дома. Кубики льда в холодильнике и в то же время, пожалуйста, экзотическая древняя культура. У нас, в «Кокосовой роще», есть даже правление. Следующим номером они, пожалуй, попросят меня баллотироваться в городской совет. Меня уже сделали кобом, знаешь?

— Кобом?

— Кавалером ордена Британской империи. Его дают певцам и деятелям культуры. Фрэнки, тебе даже про коба неинтересно слушать. Отцепись ты от телефона. Отцепись от Сельмы. Иногда хочется, чтобы всему этому пришел конец. Нельзя вернуться и сделать все, как было. Начинается все незаметно, получается хорошо. Только ты-то не видишь, что это хорошо, пока оно не кончится. Охота, чтобы ураган пришел и сдул все к черту. По-моему, миру время от времени нужна такая встряска. Начать сначала, отправиться налегке. Но не кончается мир, будь он неладен. И мы не умираем вовремя.

— Что с Сельмой?

— Тебе правда интересно?

— Говори.

— Я слыхал, она на днях купила новый миксер.

— Вот это, я понимаю, новости.

— Не знаю, что еще тебе сказать. На днях я ходил в «Хилтон». Ночь жарко́го. Видел там Сельму — стала разборчивая и привередливая, как все. Все идут в ногу со временем, Фрэнки. Только мы с тобой пятимся раком.

В комнату вошла миссис Генри. Она могла не объяснять мне, что я ей не понравился. Генри съежился. Она сказала:

— Не понимаю, Генри. На пять минут оставишь ресторан под твоим присмотром, и начинается кавардак. Мне только что пришлось уволить швейцара. Он был без галстука, без ничего. А мистер Бел сегодня просил тебя проявить особую внимательность.

Я пощупал галстук швейцара. Когда миссис Генри вышла, Генри полил дверь очередью из воображаемого автомата. Я вдруг заметил, где я нахожусь. Нас окружали цветы. Сотни пластмассовых цветов.

— Смотришь? — сказал Генри.— Это не я. Я люблю цветы, но люблю их не так сильно.

Заднюю дверь снова распахнули. Генри съежился, понизил голос. Но это была не миссис Генри.

— Я Пабло,— сказал сердитый мужчина.— Чего эта злая толстая тетка велела мне идти через зад?

— Это не тетка,— сказал Генри.— Это моя жена.

Пабло был одним из трех сердитых людей. Трех людей из народа: свежевымытые, свеженапомаженные волосы, свеженадетые костюмы. Они были похожи на тройняшек.

Пабло сказал:

— Мистер Бел специально нас позвал. Он позвал меня. Позвал его.— Пабло показал на одного из своих друзей. Друг сказал:

— Я Сандро.

— Он меня позвал.

— Я Педро.

— Пабло, Сандро, Педро,— сказал Генри,— охолоните.

— Мистеру Белу это не понравится,— сказал Пабло.

— Велят гостям и художникам ходить через зад,— сказал Сандро.

— Когда их пригласили маленько поужинать,— сказал Педро.

Генри измерил их взглядом.

— Гости и художники. Маленько поужинать. Ну, что ж, ничего выглядите. Как говорится, на безрыбье — и рак рыба. Ступайте наверх. Мистер Бел ждет вас.

Они шли умиротворенные. В походке их была решимость не допустить дальнейших унижений. Генри, проводив их, как будто осел.

Я заметил за окном сердитое лицо. Это был уволенный швейцар. Я насилу узнал его без галстука. Он делал угрожающие жесты; похоже было, что он собирается сюда влезть. Я подтянул на горле его галстук и без промедления отправился за Генри в главный зал.

За длинным столом маленько поужинать как раз собирались. Черенбел встал, чтобы поздороваться с Пабло, Сандро и Педро. Рядом встали трое в дорогих костюмах, чтобы представиться. Леонард и Синклер нерешительно слонялись поодаль.

Черенбел воззрился на Леонарда. Леонард вздрогнул. Он увидел меня и подбежал.

— У меня не хватает смелости,— прошептал он.

— Я вас представлю.

Я подвел его к столу.

— Я вас представлю,— повторил я.— Черенбел — мой старинный друг.

Я притащил два стула от другого стола. Один я поставил от Черенбела справа. Для Леонарда. Другой от Черенбела слева. Для себя. Изумление на лицах людей из фондов; тревога — у Черенбела; оценивающее сочувствие на лицах Пабло, Сандро и Педро, которым было неуютно среди хрусталя и полотна, цветов и свечей.

Официант раздавал меню. Я тоже попытался взять. Он отдернул руку. Он вопросительно поглядел на Черенбела. Черенбел поглядел на меня. Он поглядел на Леонарда. Леонард робко улыбнулся, пошевелил пальцами и поглядел на стол между приборами. Он придвинул к себе вилки справа и ножи слева.

— Да,— сказал Черенбел.— Пожалуй. Накормите их.

Подбежали с ножами, вилками и ложками.

Пабло, Сандро и Педро читали меню, шевеля губами.

Пабло сказал:

— Мне бифштекс Шатобриан.

— Сэр,— сказал официант.— Но это на двоих.

Пабло сказал:

— Ты не слыхал? Шатобриан.

— Шатобриан,— сказал Сандро.

— Шатобриан,— сказал Педро.

— Устрицы,— сказал я.— Полсотни. Нет, сотню.

— Для начала?

— И конца.

— Мне креветки,— сказал Леонард.— Знаете? Отварные. И в скорлупе. Я люблю их чистить.

— Он ваш горячий поклонник, Черенбел,— сказал я.— Его зовут Леонард. Леонард — меценат.

— Совершенно верно,— сказал Леонард.— Мистер Бел, я крайне рад. Ваша «Ненавижу» — чудесная книга. Это... это... необычайно обаятельная книга.

— Я не ставил перед собой задачи написать обаятельную книгу,— сказал Черенбел.

— Боже мой, надеюсь, я не сказал бестактности.

— Вам это не угрожает, Леонард,— сказал я.— Леонард желает пожертвовать деньги.

Черенбел отрегулировал выражение своего взгляда. Пабло, Сандро и Педро навострили уши. Люди из фондов уставились.

— Вы его знаете, Чиппи?

— По-моему, нет. Спрошу Биппи.

— Я его не знаю, Типпи.

— Леонард,— сказал Чиппи.— Никогда не слышал такой фамилии в Фондландии.

— Очень может быть,— сказал Черенбел.— Но у Леонарда — здоровая идея.

— Мистер Бел,— обиженно сказал Биппи.

— Мы вас никогда не подводили,— сказал Чиппи.

— Вы ведь не перебежите от нас, правда, мистер Бел? — спросил Чиппи.

— А что для вас, мистер Бел? — спросил официант.

Черенбел размышлял над меню.

— Я, пожалуй, начну с авокадо Лукулл.

— Авокадо Лукулл.— Официант сделал одобрительную пометку в блокноте.

— Что вы имели в виду, говоря о здоровой идее, мистер Бел?

— Затем, пожалуй, я возьму камбалу. Как у вас сегодня, по-деревенски? Здоровая идея?

Официант сложил большой и указательный палец колечком.

— Значит, так и решили: камбала по-деревенски. И со шпинатиком. Джентльмены, скажу вам откровенно. Положение художника в послеколониальную эпоху отмечено специфическими трудностями.

— Как прикажете подать шпинат, мистер Бел?

— Целиком... И вы можете помочь ему — как? Деньгами... Вот именно, джентльмены; помочь ему, Пабло, вы можете...

— Карта вин, мистер Бел.

— Продолжайте. Мы слушаем.

— Помочь Пабло... а, это вы, соммелье [1]. Впрочем, спросим наших хозяев.

— Нет, нет. Мы полагаемся на ваш вкус, мистер Бел.

— Вот именно — деньгами. Не нарушить ли нам правила? Пабло, вы с ребятами не возражаете против рейнского? Или вы решительно настаиваете, чтобы к Шатобриану подали бургундское?

— Как скажете, мистер Бел.

— Пожалуй, рейнское. Скажите, у вас еще остался этот отличный рудесхаймер?

— Конечно, мистер Бел. Охлажденный.

— Согласны, джентльмены? Чуточку сладковат. И тем не менее.

— Отлично. Официант, пару бутылок того, что сказал мистер Бел. Так как мы поможем Пабло?

— Пабло? Вы дадите Пабло десять тысяч долларов. И возможность завершить работу.

— А над чем он работает? — спросил Биппи.

— Это — частность,— сказал Черенбел.— Сейчас я веду разговор в общем плане.

— Абсолютно согласен,— сказал Чиппи.

— Официант,— позвал Черенбел.— Мне кажется, вы забыли наших хозяев.

— Извините, джентльмены. Что для вас?

— Но если вас это интересует, Пабло и его ребята работают методом групповой живописи. Они работают одновременно над одним холстом.

— Бифштекс по-татарски. Как итальянцы. Или голландцы.

— Бифштекс по-татарски. Один пишет лицо.

— Бифштекс по-татарски. Другой пишет фон. Бифштекс по-татарски. Так о чем я говорил? Да—с салатиком.

— Не совсем так,— сказал Черенбел.— Это — скорее эксперимент в области возрождения племенного подсознательного.

— С уксусной приправкой, не возражаете?

— В каком смысле?

— Ну, вы, конечно, слышали о Юнге и расовой памяти?

— С уксусом.

— С удовольствием присоединяюсь.

— Они добились довольно интересных результатов. Своего рода художественная эстафета потока сознания. Но в цвете. Своего рода непрерывные перекрестные помехи.

— В вашем изложении это очень увлекательно, мистер Бел,— сказал Биппи.

— Не в обиду Пабло будь сказано,— сказал Типпи.

— И Сандро, и Педро,— добавил Чиппи.

— Но у нас должна быть гарантия, мистер Бел.

— В Фондландии — свои законы, мистер Бел.

— Мистер Бел, мы должны представить отчеты.

---

[1] Официант, подающий вино *(франц.)*.

— Мистер Бел, помогите нам.

— Мистер Бел, мы совершили это путешествие, чтобы встретиться с вами.

— Не знаю, джентльмены. Мы не можем отмахнуться от Пабло и его ребят вот так, походя. Уместное слово, вам не кажется? Давайте выясним, как они на это смотрят.

Биппи, Типпи и Чиппи посмотрели на Пабло, Сандро и Педро.

— Спросите их,— сказал Черенбел.— Ну, ну, спросите.

— Как вы на это смотрите, мистер Пабло? — спросил Биппи.

— Если подкинут деньжат, отдайте их Черенбелу,— сказал Пабло.

— Отдайте их мистеру Белу,— сказал Сандро.

— Я так же смотрю,— сказал Педро.

— Вот видите, мистер Бел,— сказал Чиппи.— Вы не должны слагать с себя ответственность. Мы высоко ценим ваше желание пестовать пробивающиеся таланты. Но...

— Именно,— сказал Типпи.

Незаметно было, чтобы Черенбел огорчился.

Подали еду. Пабло и его друзья начали пилить. Черенбел выгреб середку из авокадо, налил вино.

Черенбел сказал:

— Я не хотел, чтобы сложилось впечатление, будто я продвигаю себя. Я хотел познакомить вас с Пабло и его ребятами в надежде, что вам захочется поощрить нечто новое. Мне кажется, что вы, друзья, и так выудили из меня вполне достаточно.

Послышались почтительные смешки «ах, полно вам». Я глотал устрицы. Леонард лущил креветки.

— А кроме того,— продолжал Черенбел,— мне казалось, что вас не слишком вдохновит экспериментальное произведение, к которому я приступил.

— Экспериментальное? — сказал Типпи.

— О, это хорошо,— сказал Леонард.

— Джентльмены, художник не имеет права повторяться. Мои повести о межрасовой любви, не сочтите за нескромность, встретили благожелательный, если не сказать восторженный, прием.

— Безусловно,— сказали Биппи, Типпи и Чиппи.

— Господа, прежде чем говорить, выслушайте. Я решил расстаться с этой проблемой.

— Это хорошо,— сказал Леонард.— Это очень хорошо.

— Как мы расстаемся с проблемой? — сказал Черенбел.

Пабло протянул руку и поднял бутылку из-под вина. Она была пуста. Он посмотрел ее на просвет, поболтал. Чиппи отнял у него бутылку и поставил на стол.

— Там ничего нет,— сказал он.

— Я долго над этим думал. Я считаю, что надо идти в ногу со временем.

— Слышу прежнего Черенбела,— сказал я.

— Я хочу,— сказал Черенбел,— написать роман о черном.

— О! Хорошо,— сказал Леонард.

— Роман о любви черного.

— Капитально,— сказали Биппи, Типпи и Чиппи.

— К черной женщине.

— Мистер Бел!

— Мистер Бел!

— Мистер Бел!

— Я предвидел, что вас это огорошит,— сказал Черенбел.— Но мне хотелось бы рассматривать такой роман как окончательную декларацию независимости.

— Изумительная идея,— сказал Леонард.

— Трудности, конечно, неимоверные,— сказал Черенбел.

— Мистер Бел! — сказал Биппи.

— Мы тоже должны написать,— сказал Чиппи.

— Наши отчеты,— сказал Типпи.

— Спокойно, мальчики,— сказал Биппи.— Мистер Бел, вы не могли бы рассказать нам, как вы намерены трактовать этот сюжет?

— В том-то и затруднение,— сказал Черенбел.

— Ваше затруднение,— заметил Чиппи.— А что сказать о наших?

— Черный парень знакомится с черной девушкой,— сказал Типпи.

— У них возникает чувство,— сказал Биппи.

— И черные детишки,— сказал Чиппи.

— Мистер Бел, это не сюжет.

— В этом есть старомодная сусальность. То, против чего мы боремся.

— Либералы устроят вам темную.

— Вы подведете нас под монастырь.

— Мистер Бел, поставьте себя на наше место.

— Спокойно, ребята. Дайте я с ним поговорю. Это странно — вы скатываетесь со своих позиций, мистер Бел.

— Да, я бы сказал! Вы скатываетесь прямехонько к Дядюшке Римусу, прямехонько к Братцу Кролику и Братцу Лису.

— Дайте нам новую «Ненавижу», и мы будем стоять за вас горой.

— Борца нам дайте снова, мистер Бел.

— Спокойно, ребята. Многое зависит от того, к а к это будет преподнесено. В искусстве важно не ч т о, а к а к.

— Безусловно,— сказал Черенбел, зачерпывая деревенский соус из блюда в благоговейных руках официанта.

— Не знаю. Вы могли бы что-нибудь придумать. Например, черный спасается от скверной белой женщины.

— Или черная женщина спасается от скверного белого мужчины.

— Или что-нибудь еще.

— Мы должны быть осмотрительны,— сказал Черенбел.— Я продумал сюжет довольно основательно. Я не хочу обидеть ни одну этническую группу.

— Что вы хотите сказать, мистер Бел?

— Он прав,— сказал Леонард.— Мистер Бел, по-моему, вы замечательный человек.

— Спасибо, Леонард. А кроме того, я забавлялся мыслью, не сделать ли мне героем плохого черного. Забавлялся — не более.

— Мистер Бел!

— Мистер Бел!

— Мистер Бел!

— Простите. Я употребил дурацкое слово. Привыкаешь так говорить. Когда сводишь к простейшим формулировкам то, что несводимо. Я не имел в виду «плохого». Вернее будет сказать — заурядного.

— Мистер Бел!

— Спокойно, Типпи.

— В каком смысле, мистер Бел? Плохого футболиста?

— И лишенного слуха?

— Вам нужен просто калека,— сказал Леонард.

— Мне эта мысль тоже приходила в голову, Леонард,— сказал Черенбел.— Им нужен просто калека.

— Да кто тут говорил о калеках, черт возьми?

— Спокойно, Биппи.

— Дружок,— сказал Чиппи.— Извините за такое обращение. Но вы совершаете самоубийство. У вас сложилась приличненькая репутация. Неужели вы плюнете на нее из-за каких-то сумасбродных идей?

— Шли бы вы домой да сочинили нам еще одни «Темные ливреи».

— Еще одну «Ненавижу».

Леонард сказал:

— Я намерен поддержать вас, мистер Бел.

Черенбел сказал:

— Я даже рад, что все так обернулось. Мне кажется, я понял вас, господа, и получил представление о том, кого вы представляете. Так что, может быть, это действительно неплохая идея — взять вам Пабло и его ребят на довольствие.

— Что-нибудь еще, мистер Бел? — спросил официант.— Сабайон? Каштановый крем?

— Мне больше ничего не надо, кроме счета,— сказал Черенбел.— А вот ребятам, судя по их виду, надо поесть.

Он кивнул на Пабло и его друзей.

Официант подал счет. Черенбел махнул в сторону Биппи, Типпи и Чиппи, которые привычно потянули за счетом руки.

— Мистер Бел, мы не хотели вас обидеть.

— Но обидели,— сказал Леонард.

— Ненавижу вас,— сказал Черенбел Биппи. Он показал на Чиппи.— Ненавижу вас.— Он показал на Типпи.— И вас ненавижу.

Они заулыбались.

— Узнаю прежнего Х. Д. Ч. Бела.

— Я вижу, мы потеряли друга.

— Но кажется, спасли художника.

— С нынешнего дня кормите Пабло и его ребят,— сказал Черенбел.

— Да,— сказал Леонард, поднимаясь.— Кормите Пабло. Мистер Бел, я с вами. Я считаю, ваша черная идея великолепна. Я вас поддержу. Вы ни в чем не будете нуждаться.

— Да кто он такой? — спросил Биппи.

— Благодарю за устрицы,— сказал я.— У него миллион лежит без дела. Он еще оставит вас в дураках.

— Как знать? — сказал Чиппи.— Из этой сумасбродной идеи может выйти толк.

— Нью-Йорку это не понравится,— сказал Биппи.

— Спокойно,— сказал Типпи.

Они направились к бару.

— Конец зимним поездкам.

— И продленным командировкам.

— Конец конференциям.

— Дневным и ночным.

— Конец трапезам по проблемам прозы.

— И семинарам по синематографу.

— Нет, погодите,— сказал Биппи.— Может быть, Черенбел прав. Может быть, в Пабло и его ребятах что-то есть. Племенное подсознательное.

Ребята еще ели.

— Мистер Пабло?

— Мистер Сандро?

— Мистер Педро?

Я оставил Черенбела с Леонардом. И Синклера тоже оставил. Он все это время был в зале. Я пошел на кухню.

С экрана телевизора Гари Попленд объявлял: «Слушайте важное сообщение. Ураган «Ирэн» несколько изменил направление. Это значит, что наш остров оказался у него на пути. Как вы знаете, «Ирэн»,— он произнес название почти любовно,— разрушила острова Кариба и Морокой». На экране появились фотографии. Развороченные дома, трупы, автомобили в неожиданных местах, кокосовая роща, где вырванные с корнем пальмы лежали почти параллельно друг дружке, словно их кто-то разложил рядами для посадки. Гари Попленд приводил число погибших, раненых, размеры экономического ущерба. Он напоминал спортивного комментатора, который взволнован небывалым счетом. «Чтобы держать вас в курсе событий, сегодня ночью телецентр острова не прекратит своих передач. Мы будем регулярно выходить в эфир, чтобы держать вас в курсе происходящего. Я имею сообщение Красного Креста. Но прежде...»

Вышли сестры Ма Хо в коротких оборчатых юбочках и проржали песенку в честь местного рома.

Пока они пели, зазвонил телефон.

Генри неотрывно глядел на экран; видимо, его притягивало нечто большее, чем сами известия. Он оторвался от телевизора и поднял трубку.

— Тебя.

— Фрэнки...

Голос был не Гари Поплéнда, диктора и распорядителя церемоний. Это был голос Попа.

— ...Фрэнки, я же вам сказал. Не суйтесь. Не вмешивайтесь. Сегодня мои мысли заняты только смертью. Оставьте Сельму в покое. Не провоцируйте ее.

На экране телевизора я увидел, как он положил трубку, и сразу повадки Попа уступили место повадкам Попленда. Затем, как божество, он сотворил новые стоп-кадры бедствия на островах Кариба и Морокой.

Потолок в кухне был низкий. Лампа — люминесцентная. Ни ветра, ни шума, кроме вытяжки. Мир был снаружи. Укрытие — внутри.

Генри, глядя на картинки гибели и разорения, воодушевился.

— Ураган, Фрэнки. Ураган, браток. Как думаешь, он все-таки придет к нам?

— Ты хочешь, чтобы он пришел?

Взгляд у него был ошалелый.

Я покинул его и направился к уборным. Устричная болезнь. На одной двери был выгравирован по металлу мужчина, на другой — дама. Их жеманность меня раздражала. По очереди они кинулись мне навстречу. Женщину я толкнул в лицо. Визг. Я устремился в дверь с мужчиной.

Зеркало запотело. Я протер кусочек ладонью. Впервые за день, за ночь, за утро я увидел свое лицо. Свое лицо, свои глаза. Рубашку, галстук вышибалы. Я был потрясен. Племенное подсознательное. Автопортрет. Я расписался в нижнем углу.

— Да. После всего, что сказано-сделано, я считаю, что ты великолепен. Храбрец. Настоящий мужчина среди мужчин. Ты берешь таксомоторы. Покупаешь рубашки. Называешь себя главой семьи. Путешествуешь. Слышишь голоса других людей и не боишься. Ты прямо великолепен. Откуда ты черпаешь мужество?

Рука у меня на локте.

— Леонард,— прошептал я, оборачиваясь.

Но это был Генри — чуть потверже, чем нынче вечером, чуть бодрее, чуть менее унылый.

— Ураган идет, браток. В первый раз. И ты хочешь встретить его в таком месте?

Я вышел. И увидел Сельму.

— Ты,— сказал я.

— Загадочный телефонный незнакомец,— ответила она.— Только для меня никакой загадки — после первых двух раз. Я знала, что это ты. Генри мне передал. Я убежала из «Хилтона» при первом удобном случае.

— Ночь жарко́го. Распорядитель Гари Попленд. Знаю. Сельма, мне надо с тобой поговорить. Сельма, ты снесла наш дом. Я ходил, смотрел. Ты отдала наш дом на слом.

— У меня теперь лучше дом.

— Бедная Сельма.

— Богатая Сельма,— сказал Генри.— Бедный Генри.

Мы были на кухне. Экран был голубой. Вытяжка ревела.

— Я продала дом одному фонду. Там построят Национальный театр острова.— Она кивнула на экран.— Это была идея Гари. Дело оказалось выгодное.

— Все вы тут наделали выгодных дел. Кто пьесы будет писать? Гари?

— Театр только для хэппенингов. Без декораций, без всего. Зрители ходят по сцене когда хотят. Даже сами участвуют. Как в прежнее время у Генри.

— Ураган идет,— сказал Генри.

— Это идея Гари.

— Уж не ураган ли? — сказал я.

— И ураган.— Она повернулась к экрану, словно говоря: гляди.

Попленд, Поп, снова поднимал голову. От подробностей гибели и разрушения на других островах, подробностей, преподнесенных с вещей дрожью в голосе, он взмыл до религиозного экстаза. И следующим номером были не сестры Ма Хо с рекламой, а шестеро черных девочек с духовными гимнами.

Она отвела взгляд.

— Ну как, пойдем ко мне домой?

— Ты хочешь показать мне дом?

— Как ты.

— Ураган идет,— сказал Генри. Его стало покачивать.— Конец всему этому. Мы станем новыми людьми.

— Покайтесь! — закричал с телеэкрана Поп.

— Покаяться? — закричал ему Генри.— Конец всему этому.

— Возрадуйтесь! — сказал Поп.— Конец всему этому.

— Теперь зачем бежать? — сказал Генри.

— Зачем бежать? — сказал Поп.— Бежать не к чему. Скоро будет и не от чего бежать. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец — их путь к смерти. Покайтесь! Возрадуйтесь! Как спасемся, ежели пренебрегли спасением великим?

— Эмельда! — позвал Генри.— Эмельда!

Мне и Сельме он сказал:

— Погодите. Не уходите. Выпьем по последней. По последней. Эмельда! — Он заходил по кухне и по соседней комнате.— Эти пластмассовые цветочки! Эта мебель! Эти украшения! Уничтожь их, господи!

В дверях появилась миссис Генри.

— Эмельда, дорогая моя,— сказал Генри.

— Опять тебя разбирает?

Он отцепил от стены яркую птичку и метнул ей в голову. Она уклонилась нырком. Птичка разбилась о дверь.

— Это стоит сорок долларов,— сказала она.

Он метнул в нее другую:

— Итого, восемьдесят.

— Генри, не забывайся.

— Для ровного счета — сотня.— Он поднял вазу.

Сельма сказала:

— Пойдем.

Я сказал:

— По-моему, пора.

— Нет. Вы мои друзья. Нам надо выпить на прощание. Эмельда, ты подашь моим друзьям?

— Да, Генри.

— Называй меня мистером, Эмельда. Будем держаться старых обычаев.

— Да, мистер Генри.

— Водки и кокосовой воды, Эмельда.— Он поставил вазу.

Черные девочки пели гимны.

— В ту ночь ты впустила меня, Сельма,— сказал я.— Я это запомнил.

— Я помню. Поэтому и пришла.

Эмельда — миссис Генри — принесла водку, графин и стаканы. Генри сказал:

— Эмельда, ты столько лет учила меня манерам, чтобы подать моим друзьям стакашки с налипшими волосами?

— Тогда ухаживай за ними сам, старая пьяная губка.

— Старая губка, старая губка,— сказал Генри. И с радостными криками, которым вторил гимн из телевизора, разбил бутылку, графин и стаканы. И двинулся по кухне, круша все подряд. Эмельда шла за ним и приговаривала:

— Это стоило двадцать долларов. Это стоило тридцать два доллара. Это стоило пятнадцать долларов. На распродаже.

— Эмельда, сидеть!

Она села.

— Покажи им рот.

Она открыла рот.

— Большой и красивый. У тебя большой рот, знаешь, Эмельда? Зубной врач может влезть туда вместе со своими обеденными судками и шуровать там целый день.

Зубов у Эмельды не было.

— Фрэнки, полюбуйся, с чем ты меня оставил. Сидеть, Эмельда. Они с сестрой соревновались. Сестра выдрала все зубы. И наша невеста, понятно, тоже не оставила ни одного. Полюбуйся. Я должен любоваться этим с утра до ночи. Я разорвать тебя готов от злости, рот Рот, я разорвать тебя готов.

— Нет, Генри. Рот стоил мне почти тысячу долларов. Ты же знаешь.

— Конец свету, конец всему этому!

— Возрадуйтесь! — призывал Поп с экрана. Он поднял трубку телефона на столе и набрал номер.

Телефон зазвонил в кухне у Генри.

— Не подходи,— сказала Сельма.— Ну — наш уговор. Наш первый вечер. Пойдем ко мне?

Пение с голубого экрана. Вопли Эмельды. Звон стекла и фаянса. Главный зал «Кокосовой рощи», полностью освещенный, был пуст. Сцена под пальмовой кровлей была пуста.

— Расцвет искусства драмы. Декораций нет. Пьесы нет. Зрителей нет. Давай посмотрим.

Она вывела меня на улицу. Здесь — люди. Кто из «Рощи», кто из соседних домов. Они стояли тихо, молча.

— Как в аквариуме,— сказала Сельма.

Низкие черные тучи неслись. Свет непрестанно менялся.

— Твоя машина, Сельма?

— Я всегда мечтала о спортивной модели.

— Человек — это стиль, это автомобиль. Куда ты меня повезешь?

— Домой.

— Ты мне не сказала, где это?

— Манхэттен-парк. Новый район. Там была цитрусовая плантация. Участки большие, в четверть гектара.

— Красивые газоны и садики?

— Теперь все увлекаются кустарниками. Ты, наверно, сам заметил. Тебе район понравится. Очень приятный.

Район был приятный, а дом Сельмы — в современном стиле, как всё на острове. Газон, сад, плавательный бассейн в форме слезы. Крышу веранды поддерживали наклонные металлические трубы. Потолок обшит мореной лакированной сосной. Обстановка тоже была современная. Обкатанные морем коряги, электрические лампы, притворившиеся керосиновыми; неправильной формы столы, крышками которых были спилы древесных стволов, в коре. Она явно ненавидела прямые линии, круги, квадраты и овалы.

— Где ты черпаешь мужество, Сельма?

— Это на тебя просто нашло. Мужество есть у всех.

Местная живопись на стенах, современная, как и все остальное.

— Мне всегда казалось, что женщины очень мужественны. Представляю — надеть новую сногсшибательную вещь и выйти на люди. Надо иметь мужество.

— Но и ты, я вижу, перебился. Чем торгуешь? Уверена, что ты торгуешь.

— Энциклопедиями. Учебниками. Дрессированной культурой. «Гекльберри Финном» без ниггера Джима, по десять центов.

— Вот видишь? Я бы никогда не смогла. Мир на самом деле — не страшное место. Люди бóльшую часть времени играют. Как только ты это поняла, сразу видишь, что люди— такие же, как ты. Не сильнее и не слабее.

— Ну, меня-то они сильнее. Черенбел, Поп, ты, даже Генри — вы все сильнее меня.

— Смотришь на коряги? Красивые вещи встречаются в природе.

— Но мы их там не оставляем. Красивый домик, Сельма. Красивый, жуткий, омерзительный, страшный дом.

— Мой дом — не жуткий.

— Нет. Для тебя, конечно, нет.

— Оскорбить меня не старайся. Ты перепуган, как не знаю кто. Ты не любишь домов. Предпочитаешь дому жилье. Чтобы подстраиваться к чужой жизни.

— Да. Предпочитаю жилье. Я на топчаке. И не могу сойти. Я окружен чужими великими именами.

— Ты сдаешь, Фрэнк. Ну. Будь хорошим. Помнишь уговор? Сейчас я покажу тебе мою спальню.

— Прелюбодейство имеет свои нормы. На супружеском ложе — никогда.

— Еще не супружеское. Это только предстоит.

Человек на экране успел переодеться. Он был в белом балахоне. Новости — побоку; теперь он только проповедовал. Он сказал:

— Все мы заблудились, как овцы потерянные; каждый бредет куда глаза глядят.

Как бы поддерживая его переоблачение, я тоже начал расстегивать рубашку.

Клекот его был слышен даже в спальне. На кровати лежало стеганое атласное одеяло, пуховое.

— Ты как Норма Ширер в «Побеге».

— Не надо. Кончай это. Будь хорошим.

— Постараюсь...

— Ты слишком долго сюда собирался. Ты тратишь свою храбрость на страх.

— Трачу свою храбрость на страх. «Смотри, что ты наделал».

— Не понимаю.

— Так мне много лет назад сказала одна женщина. Мне было пятнадцать. Я шел из школы, она меня зазвала. А потом сказала: «Смотри, что ты наделал». Разговаривала со мной, как с ребенком. Ужасно. Секс — отвратительная штука. Я решил. Я против секса.

— Ты решил за нас обоих.

— Единственное, что я могу сказать,— долгое время мы вели себя странно.

— Ты сам все начал. Скажи, ты верил, что я выполню уговор, или нет?

— Не знаю.

В гостиной по-прежнему стонал телевизор. Черные девочки пели псалмы. Я пошел в ванную. Коврик гласил: ДЛЯ НОГ. На туалетном сиденье было уведомление — слово — цветочек, слово — цветочек: «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПОДНИМАЙТЕ СИДЕНЬЕ ОНО КОРОЧЕ ЧЕМ ВЫ ДУМАЕТЕ ДАМЫ ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЧАТЬ СЯДЬТЕ». Пепельница; книжечка с сортирным и спальным юмором. То и другое часто неразлучны. Бедная Сельма. Я дважды дернул за цепочку.

Ветер был крепкий.

— Сельма, будь слабой, как я. Генри прав. Поп прав. Все будет стерто с лица земли. Будем радоваться. Поедем в бухту. Возьмем Генри. А потом, если будет «потом», Генри отвезет нас на свой красивенький островок.

— Островов больше нет. Это не ты говоришь. Это ветер.

Керосиновая лампа, в которой светило электричество, опрокинулась. Тьма; только голубое мерцание экрана. Ветер заглушал голос Попа.

Сельма ударилась в панику.

— Пойдем отсюда. Вернемся в город. На улицу, со всеми.

— Нет, поехали в бухту.

Генри сидел среди разбросанных пластмассовых цветов в безлюдной «Кокосовой роще».

— В бухту!

— В бухту!

Втроем на машине мы перевалили через холмы. Мы слышали ветер. Мы скатились на пляж и услышали море. Хотя бы это нельзя изменить. Когда-то пляж был опасным: с кокосовых пальм падали орехи. Теперь почти всё свели — под стоянку для машин. На четвереньках среди пляжа стоял громадный бетонный павильон, заброшенный,— продукт современности, который не удался, туристское пристанище, которое ни на что не сгодилось. Поселок зато разросся. Он почти выполз на берег — деревенская приморская трущоба. Во многих хибарках горел свет.

— Никак не думал, что вам удастся изгадить бухту.

— Даст бог, теперь мы сможем начать сначала.

Мы шли сквозь ветер. Подходили бродячие собаки — чего-то ждали от нас, опасливо плелись следом. Ветер то и дело приносил вонь тухлой рыбы. Мы решили переночевать в павильоне.

Утро, бурное и хмурое, обнажило всю мерзость берега. На песке полулежали или полусидели рыбачьи лодки; песок еще был золотой, но повсюду на нем стояли желтые стальные бочки для рыбацких отбросов; рыбацкие же дома из пустотелого кирпича и некрашеных досок высыпали к самой кромке сухого песка. Песок был взрыт, разворочен и залит кровью, как на арене; усыпан рыбьими головами и потрохами. Шелудивые псы — кожа да кости, все вылинявшие до невразумительной пегой масти — тащились, поджав хвосты, от желтой бочки к желтой бочке. Черные грифы пригибали своей тяжестью листья кокосовых пальм; иные врастопырку прыгали по песку; еще больше кружило над нами.

Генри мочился в море. Я окликнул его:

— Поехали обратно. Видеть этого не могу.

— Мне всегда хотелось это сделать,— сказал он.— При народе.

— Не оторчайся, не у тебя одного так,— сказала Сельма.— По утрам всегда муторно.

Муторно.

Мы поехали в город. Мы ехали все время под низким темным небом. Было рано, но остров уже пробудился. На улицах полно людей. Их первый ураган, их первая драма — и они вышли на улицы, чтобы ничего не пропустить. Вся нормальная деятельность приостановилась. Продолжалась вчерашняя ночь; улицы еще больше походили на аквариумы — кишащие жизнью, но немые. Только ночная тьма исчезла, и только это говорило, что сегодня — сегодня, а не вчера; только это да бельма телевизоров за распахнутыми дверьми домов (кое-где еще горели бесполезно лампы) и ресторанчиков, стоявших без дела.

Потом снова была ночь. Бесполезные лампы горели со смыслом. В черном небе нескончаемо проносились еще более черные точки: все птицы острова улетали на юг. Это было как последние проводы. Мы жили внутри сплошного рева, в котором изредка можно было различить отдельные стоны домов и деревьев и железное громыханье полуоторванных кровельных листов. Но страха — ни на одном лице. Только удивление и ожидание.

Телевизионные экраны замерцали. Вновь появился Поп — изнуренный, лоснящийся от пота и объявил о том, что мы и без него знали,— что близится конец света.

— Се день спасения,— сказал он.

Город откликнулся. Слабо сперва, как дальний перезвон, сквозь рев ветра прорвались звуки стальных оркестров. Бродячие собаки и домашние собаки подняли эстафетный лай — взад и вперед по улицам и поперек на перекрестках. Зашаркали ноги. Поп ругался, как пророк, изнемогая от усилий сосредоточиться. Он ругался; город корчился в музыке и пляске.

Наступал конец света, и крики, встречавшие конец, были криками радости. Мы все пустились в пляс. Мы видели такие же пляски, как в прежнее время на дворе у Генри. Без собирания хлопка, без рубки тростника, без ношения воды, без оркестрованных стонов. Мы плясали взаправду. Мы и не думали никогда, что можем так извиваться.

Мы увидели Черенбела, который плясал с Леонардом, Черенбела не черного и не белого, а Черенбела такого, каким всегда хотели его видеть,— человека, освобожденного от подвижничества, от натуги увидеть себя (автопортрет; племенное подсознательное), человека, примирившегося с миром, все приемлющего, как Леонард. Мы увидели Биппи, Типпи и Чиппи рука об руку с Пабло, Сандро и Педро — словно ухаживание, начавшееся в «Кокосовой роще», продолжалось вторые сутки; но жест уже лишен был смысла,— заученная поза обряда, в которой всех настигло известие об урагане. Время от времени один из фондландцев о чем-то умолял Черенбела. И по-прежнему, без злобы и торжества, он отвергал их просьбы, картинно топая ногой в знак простого отказа: наконец-то частное лицо. Словно на плоской сцене, уходящей в бесконечность,— бесконечность — точка, где сходятся крашеные половицы,— перед нашими глазами разыгрывались пантомимы товарищества и ухаживания, домогательства и уклонения. И только Леонард, который плясал упрямо, плясал всерьез, как человек, который жаждет попасть в тон общему настроению и не сделать чего-то неподобающего,— только Леонард, несмотря на все свои старания, оставался тем же, что всегда: ошарашенным, добрым, безликим. Повстречавшись с Черенбелом, они плясали в паре, а Синклер, большой и грузный Синклер отплясывал между ними. И позавчерашние супружеские пары: счастливая — как будто забыв о существовании слова, означающего противоположное; озлобленная — о, несравненно менее озлобленная, чем раньше.

На улицах, расплющенных в сценические подмостки, мы плясали, ожидая последнего благословения. Небо нависало низко, поднималось, нависало низко. Ветер нежно забивал нам уши, утихал, снова забивал уши. Мы плясали и ждали. Мы ждали и плясали.

Благословения так и не дождались. Пляски стали вялыми. Усталость заглушила муку. Но надежда не совсем заглохла, даже когда мы увидели Попа, преобразившегося в Попленда, пророка — в телекомментатора, человека, чьи мысли были заняты только смертью,— в человека, умалявшего жизнь. Могли ли мы отступиться?

Мы поставили крест на урагане. Мы сидели на улицах. Свет был серым, потом серебристым. Сцена снова превращалась в улицу; дом обретал объем. Я услышал плач Биппи, Типпи и Чиппи. Пабло и ребята утешали их.

Синклер одернул пиджак, поправил галстук. При свете утра, которое уже наступило, он подошел к Леонарду, отделил его от Черенбела и сказал:

Довольно, Леонард. Довольно, мальчик. Повеселились и будет. Пора домой.

— До свидания, мистер Бел,— сказал Леонард.— Хорошо, Синклер. Вы были очень милы. Пойдемте.

Черенбел увидел и понял.

— Леонард! — сказал он, цепенея.— Леонард, а как же мой черный роман? Вы обещали поддержку. Вы отвадили людей из Фондландии. Вы сказали, я ни в чем не буду нуждаться.

— До свидания, мистер Бел. Как самочувствие, Синклер?

— Леонард! Вы обещали поддержку. Биппи, Типпи, Чиппи! Постойте, постойте. Пабло, оттащи своих тунеядцев! Пабло! Биппи! Мистер Типпи! Мистер Чиппи!

Из преследуемого он превратился в преследователя. Пабло, Сандро и Педро убегали от него, а также Биппи, Типпи и Чиппи. Он гнался за ними, они увиливали, и часто все шестеро сбивались кучкой. На сцене, уходившей в бесконечность, разворачивалась погоня: преследователь и шестерка преследуемых у нас на глазах исчезали вдали. Сияло солнце; были тени.

Я пошел с Сельмой в «Кокосовую рощу». Генри прибирал кухню. Эмельда стояла над ним. Он расставлял пластмассовые цветы, он складывал разбитые вазы.

По телевизору Гари Попленд объявил, что ураган прошел стороной. Но кое-какие новости он для нас припас — новости о бедствии на другом острове. Он припас новости. Он припас факты, статистику жертв. Он припас снимки.

В гавани корабли прогудели отбой.

Появились сестры Ма Хо и сыграли рекламную местной сигарете.

Объявили программу передач.

— Домой,— сказала Сельма.

— Коряги зовут. Красивые вещи встречаются в природе.

— Гари придет усталый.

— Что и говорить.

И через город, где каждый изнуренный житель должен был заново приспосабливаться к своей судьбе, к жизни, которая не остановилась, я пошел в гостиницу.

Хилтон, Хилтон.

Отплытие в 13 часов — значилось на объявлении у входа.

Мур-Маккормак, Мур-Маккормак.

■

---

**ГОЛЫШЕВ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ** (род. в 1937 г.).

Советский переводчик с английского. Переводил произведения У. Стайрона, Р. П. Уоррена, Т. Вулфа, У. Фолкнера, Дж. Стейнбека и др. В «ИЛ» в его переводе напечатан роман Т. Уайлдера «Теофил Норт» (№ 6—8, 1976).

# Критика

Д. ЛИХАЧЕВ,
Ю. АНДРЕЕВ

# ИСТОКИ И ХАРАКТЕР СОДРУЖЕСТВА БРАТСКИХ ЛИТЕРАТУР ЕВРОПЫ

Возникновение и развитие единой по своим идеалам социалистической культуры в системе, состоящей из многих стран,—качественно новое для человеческого общества явление. Оно, разумеется, привлечет и уже привлекает внимание историков, социологов, филологов, искусствоведов. Анализ закономерностей этого процесса — задача, безусловно, интереснейшая и вместе с тем чрезвычайно сложная. В данной статье мы хотели бы остановиться на таких существенных аспектах, как истоки содружества, взаимовлияния и взаимообогащения литератур социалистических стран Европы, на современном характере и перспективах этого содружества...

## 1

Близость социалистических культур, в частности литератур, которая наблюдается ныне, смогла сложиться в значительной степени потому, что к этому были серьезные предпосылки ранее. Антинаучны представления о том, что самобытные черты национальной культуры развиваются в некоей ее изоляции, вне общения народов между собой. Истоки сближения уходят в далекую историю — историю общности прогрессивных устремлений наших народов, историю совместной борьбы за освобождение от всяческого гнета, в историю взаимовлияния наших культур.

Культурные контакты, издавна существовавшие между всеми славянскими народами и народами, исторически связанными с ними — в первую очередь румынским и венгерским,— воспитывали сознание общности, заинтересованности во взаимной поддержке.

Общение и взаимопомощь, отсутствие национальной ограниченности в отношениях друг с другом — устойчивые черты восточнославянских и южнославянских культур и, шире, всего юга и востока Европы за все его более чем тысячелетнее развитие.

В самом деле, проповедь создателей славянской письменности и славянского литературного языка Кирилла и Мефодия (IX век) развивала корни, общие всему славянству, а не только болгарам. Сознание свое-

**ЛИХАЧЕВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ** (род. в 1906 г.).

Советский литературовед и историк культуры, академик. С 1938 г. ведет научную работу в Институте русской литературы АН СССР (Пушкинский Дом). Автор многих трудов по истории русской культуры, начиная с древнейших времен. Иностранный член Болгарской, Австрийской, Сербской, Венгерской АН, член-корреспондент Британской Академии, почетный доктор Оксфордского, Эдинбургского университетов, лауреат Государственной премии СССР.

**АНДРЕЕВ ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ** (род. в 1930 г.).

Советский литературовед и прозаик, доктор филологических наук, ведет научную работу в Институте русской литературы АН СССР (Пушкинский Дом). Автор книг по истории и теории литературы, в том числе «Русский советский исторический роман. 20—30-е годы» (1962), «Революция и литература» (1969, 1975), «Движение реализма» (1978), «В поисках закономерностей» (1978) и др.

го дела как дела всего славянства было в высокой степени свойственно и ученикам Кирилла и Мефодия.

Широта взглядов древнеболгарской литературы была перенесена и на Русь, и здесь в силу ряда благоприятных обстоятельств и прежде всего потому, что в сложении Киевского государства сыграли значительную роль не одни славяне, а также угрофинские и тюркские народности, она прочно укрепилась и стала национальной чертой всех трех восточнославянских литератур.

Восприимчивость Древней Руси к болгарским памятникам имела огромное значение и для самой Болгарии, на что прежде не обращалось достаточного внимания. Большое число болгарских рукописей было перевезено на Русь, здесь они читались и переписывались, благодаря чему болгарская письменность сохранилась и отсюда возвращалась на родину после многочисленных разорений, которым Болгария подвергалась еще до османского завоевания. Во всяком случае, болгарскую литературу ее золотого века мы знаем только в русской или в сербской письменной традиции.

Летопись уже в XI веке подчеркивает общее происхождение всех славян, родство их языков, единство их письменности. Эти идеи с полной ясностью и последовательностью развиваются затем и в древневеликорусской, и в древнеукраинской, и в древнебелорусской литературах на всем протяжении их истории, со времени их разделения после монголо-татарского нашествия. В «Русском хронографе» 1512 года говорится, например, о сербах, болгарах и других славянских народностях, что все они «едино есть».

Каждая славянская страна поддерживала другую, когда та попадала в беду, не давала погибнуть ее письменности, «возвращала» ей в той или иной форме после временного захирения ее собственные памятники, близкие ей по потребностям, из своей оригинальной части литературы. Текст произведения, созданный в одной стране, затем перерабатывался в другой, и исследователям подчас трудно установить, в какой стране он создавался первоначально, а в какой лишь подвергался переработке.

Кирилло-мефодиевская литературная и языковая традиция была жива и в западноевропейских странах — Чехии и Моравии — в ранний период развития восточнославянской письменности. Поэтому неудивительно существование литературных связей между Русью, Чехией и Моравией уже в XI веке. Древнейшая славянская рукопись, написанная кириллическим письмом — Супрасльская, — свидетельствует, что уже в самом начале XI века сын киевского князя Владимира Святославовича Борис читал житие Вячеслава Чешского.

На юге Польши также существовали в конце X века — как убедительно доказывает чешский академик Богуслав Гавранек — кирилло-мефодиевская традиция и интенсивные связи с Чехией и Моравией, а возможно и с Русью.

Югославский ученый Владимир Мошин, открывший в Сербии влияние письменности Руси на грани XII—XIII веков, выдвинул и интересное соображение о путях, которыми осуществлялось это влияние. Он напомнил, что Венгрия в XI—XIII веках сохраняла еще кирилло-мефодиевскую традицию и имела тесное общение с Русью, особенно в XII веке. В середине XII века на венгерском престоле находился Гейза II, женатый на киевской княжне Ефросинии. Сын Гейзы II Стефан III был женат на дочери галичского князя Ярослава Осмомысла — родной сестре героини «Слова о полку Игореве», Ярославны.

Идея славянской общности отнюдь не являлась в древности достоянием узкого круга людей книжных. Книжники были в данном случае лишь выразителями убеждений, которые жили глубоко в сознании народных масс всего восточного и южного славянства.

Особенно тесным стало в XVIII веке общение балканских стран с Украиной. В Киеве учатся многие сербы, болгары и румыны. Книги, писанные «у Русии» (иногда под «Русией» понимаются такие отдаленные друг от друга места, как Ипатьевский монастырь в Костроме и украинский Львов), привозятся в Сербию и Болгарию. В Сербию же привозятся печатные издания из Украины и России.

Можно даже говорить о спонтанном возникновении в XVIII веке своеобразного книжного «русско-сербского языка», родившегося в Сербии под влиянием 400 букварей Феофана Прокоповича и 100 грамматик Мелетия Смотрицкого, которые доставил в 1724 году из России в Сремские Карловцы церковный деятель Максим Суворов.

В XVIII и XIX веках русская литература вышла на пути общеевропейского развития. Ее традиции обогащаются традициями всех стран Европы. Однако если говорить об обратном влиянии — русской литературы на литературы других стран,— то следует в первую очередь отметить огромное значение русской литературы для формирования реализма в Болгарии, Сербии, Чехии и Венгрии. Широко известно также воздействие прогрессивных идей русской литературы и пламенных статей русских революционных демократов на становление революционных взглядов славянских писателей. Вспомним и об общеевропейском характере поэзии Пушкина, о его стремлении освоить для русской литературы все культурное наследие Европы, его проникновенные «подражания» различным поэзиям, начиная с античной. Вспомним исключительное внимание ко всему славянству в творчестве Лермонтова, Л. Толстого, Горького и других классиков русской литературы. В условиях советской действительности эта черта стала одним из слагаемых пролетарского интернационализма литературы социалистического реализма.

## 2

Рассматривая исторические причины, благоприятствовавшие активному современному взаимовлиянию литератур социалистических стран, мы не можем не указать и

на их идеологическую общность в XX веке. Особенно после Октября, когда воздействие вновь возникшей, но сразу же набравшей невиданный разбег советской литературы сказывалось все сильнее и заметнее.

Огромная популярность Максима Горького объясняется прежде всего тем, что ему удалось в яркой художественной форме выразить эстетические и политические тенденции, которые созрели отнюдь не в одной лишь России, беспощадно вскрыть совокупность нравственных противоречий, характерных и для других стран, вступивших на путь капиталистического развития. Советский ученый Д. Марков в книге «Из истории болгарской литературы» наглядно показал, как складывание капиталистических отношений в Болгарии усилило в ее литературе на стыке XIX—XX веков критическое начало. Разоблачение буржуазии и сочувственное изображение тяжелой участи крестьянства явилось главной темой произведений также и И. Вазова, А. Константинова, С. Михайловского, Елина Пелина, А. Страшимирова, Т. Влайкова. Эти писатели дали широкие обобщения жизни болгарского народа конца XIX — начала XX в. Имя Бай Ганю — хищного болгарского буржуа, героя сатирических рассказов-очерков А. Константинова — стало нарицательным.

Исследователями ныне установлено, что уже в двадцатые годы революционно-пролетарские литературы были представлены во многих европейских, особенно славянских, странах не отдельными писателями, а целыми группами и даже течениями.

Аналогичные процессы совершались не только в славянских странах. В книге венгерского академика Миклоша Сабольчи «Изменяющийся мир и социалистическая литература» (1972) убедительно доказано, что за недолгий срок (133 дня) существования в 1919 году пролетарской диктатуры в Венгрии были заложены основы социалистической литературы, близко совпадающие с направлением идейных поисков начального этапа литературного развития в других социалистических странах.

В первом томе академической «Истории русской советской литературы» (1973), изданной в ГДР под редакцией профессора Гарри Юнгера, большая глава посвящена восприятию и бытованию русской советской литературы в Германии 1917—1941 годов. В этом серьезном аналитическом исследовании речь идет не только о переводах на немецкий язык советских произведений и постановках советских пьес на германской сцене, не только о реакции критики и общественности на эти пьесы, но и о творческой платформе, социально-художественной деятельности и конкретных произведениях социалистических писателей Германии. Славные имена И. Бехера, Б. Брехта, Ф. Вольфа говорят сами за себя всякому, кому дорога прогрессивная культура. Воздействие на мировой литературный процесс этих мастеров, чьи взгляды сформировались под влиянием Октября, чрезвычайно благодатно. Думается, не будет преувеличением сказать, например, что эстетическая система Б. Брехта представляет собой новое слово в художественном развитии всего человечества.

Авторы изданной в ГДР «Истории русской советской литературы» с полным правом говорят о воздействии Октября и новой действительности на творчество и таких крупнейших представителей критического реализма XX века, как Томас Манн, Генрих Манн, Стефан Цвейг, Лион Фейхтвангер,— писателей, чей талант, обогащенный историческим опытом революционной эпохи, в свою очередь явился источником многих художественных открытий.

Я. Гашек, М. Майерова, В. Незвал, М. Пуйманова, М. Садовяну, Н. Вапцаров, Л. Стоянов, Х. Смирненский, А. Зегерс, Ю. Пшибось, Б. Ясенский, Я. Ивашкевич, Ю. Тувим, чье творчество началось и активно развивалось еще до 1945 года, оказали заметное воздействие на литературы других стран, в том числе и литературу Советского Союза. Мы упомянули чеха, бойца Красной Армии Я. Гашека, чей бравый солдат Швейк завоевал в нашей стране воистину всенародную популярность, но, говоря о дофевральской чешской социалистической литературе, можно ли забыть другую книгу, также обретшую у нас вторую родину,— «Репортаж с петлей на шее» Ю. Фучика? Герой, личным примером доказавший верность идеям социализма, Ю. Фучик завещал нам бдительность в борьбе с силами зла, завещал любовь к людям, героизм и незыблемую принципиальность. Его уроки — весомый вклад в литературу стран социализма.

Таким образом, уверенно можно утверждать, что современное братство литератур социалистических стран опирается не только на многовековые исторические традиции взаимовлияния и взаимообогащения культур наших народов, но и на могучие революционно-освободительные тенденции, общие для наших стран в XX веке и особенно отчетливо проявившие себя после торжества Великой Октябрьской социалистической революции. Эти условия и позволили в дальнейшем, после победы советского народа в Великой Отечественной войне, углублять взаимоотношения братских литератур на принципах взаимопонимания, взаимодействия и взаимообогащения. Прочной основой этого процесса было формирование и укрепление мировой системы социализма.

## 3

Общественно-исторические предпосылки сближения культур получают после разгрома фашизма весомое материальное воплощение в содружестве социалистических стран благодаря единству их социальных целей и идеологии, все более тесной согласованности действий в экономике и политике, общности закономерностей их реальной жизни. Следствие этой органической связи — постоянно растущий обмен и взаимообогащение всем тем лучшим, что вырабатывается в духовной культуре мировой социалистической системы.

В теоретическом плане следует подчеркнуть, что сама возможность плодотворного восприятия инокультурных воздействий определяется сходством условий жизни и духовных потребностей, существующих во взаимовлияющих странах. Практически это означает, что, полностью оставаясь в русле своих национальных особенностей и опира-

ясь на свои национальные традиции, литература той или иной страны осваивает жизненный материал и решает проблемы, возникающие в ходе общественного движения ее и — вместе с тем — близких ей по социальным устремлениям стран.

«Истинное царство свободы», о котором писали классики марксизма-ленинизма,— коммунистическое общество — ставит главной задачей «развитие человеческих сил, которое является самоцелью»[1]. Такова наша общая высокогуманистическая цель, таковы масштабы, ее определяющие,— крупнее их не было в истории человечества!

Единая социальная концепция теснейшим образом переплетается с единой концепцией человека — в разработке не только экономической политики, но и культурной. Товарищ Л. И. Брежнев, выступая на XXV съезде, говорил: «... важнейший итог прошедшего шестидесятилетия — это советский человек. Человек, который сумел, завоевав свободу, отстоять ее в самых тяжких боях. Человек, который строил будущее, не жалея сил и идя на любые жертвы. Человек, который, пройдя все испытания, сам неузнаваемо изменился, соединил в себе идейную убежденность и огромную жизненную энергию, культуру, знания и умение их применять. Это человек, который, будучи горячим патриотом, был и всегда будет последовательным интернационалистом»[2].

Разумеется, литература — человековедение, по определению Максима Горького,— с пристальным вниманием вглядывается и отражает те необыкновенной важности и сложности процессы, которые сопутствуют преобразованию духовного мира человека в условиях социализма. И естественно, что чем более совпадает внутреннее содержание жизни в социалистических странах Европы, тем больший общественный резонанс произведения социалистической литературы вызывают у читателей разных стран социализма.

Думается, есть все основания полагать, что сейчас национальные литературы европейских социалистических стран вступили в новую стадию своего интернационального развития. Она соответствует новому этапу взаимодействия стран социализма, взявших решительный курс на более тесную связь в экономической, политической, научной и культурной областях.

Новая стадия в жизни социалистических литератур обусловлена также и происшедшими весьма заметными качественными изменениями в самом художественном мышлении большинства писателей стран социализма: это мышление писателей-интернационалистов, которые не представляют себе видения и изображения мира и человека в нем с позиций иных, чем позиции социалистические, интернационалистские. Подобные изменения мировоззренческой основы художественного мышления ведут к эстетической переоценке изображаемых событий, характеров, отношений. Становление идейно-художественной общности литератур социалистических стран позволяет говорить о формировании системы литератур, представляющих собой диалектическое единство. Они едины по своим гуманистическим устремлениям, самобытны по национальным традициям и привносят свое, особенное в процесс создания литературы нового мира.

Не будем упрощать картину. Эта система еще складывается, немало издержек непонимания или нежелания понять суть происходящих в мире необратимых перемен сопровождало и сопровождает ее становление. Известны и торопливые попытки выдать желаемое за действительное, которые приносили только вред. Однако мы говорим о главенствующей тенденции, которая уверенно прокладывает себе путь.

Естественным на этом фоне выглядит пристальный интерес народов социалистических стран к опыту советской литературы как наиболее значительному по времени и достижениям в формировании человека нового строя, в отражении новой действительности — с ее завоеваниями и противоречиями,— в создании разветвленных и разнообразных изобразительных форм.

Значительную роль играет в этом процессе изучение творчества выдающихся мастеров слова XX века М. Горького, В. Маяковского, М. Шолохова. Симптоматичный факт: первой публикацией о советской литературе в послевоенной Германии (1945) стала статья известного советского литературоведа Л. Тимофеева о Максиме Горьком. С тех пор количество оригинальных публикаций о Горьком в ГДР исчисляется многими сотнями.

Революционный пафос и поэтическое новаторство В. Маяковского вызвали и продолжают вызывать огромный резонанс во всем мире и особенно в братских странах социализма.

Воздействие зрелой советской литературы на относительно более молодые литературы социалистических стран — очень интересная и отнюдь не простая научная проблема. Конечно же, романы В. Маха «Дом Явора» и Э. Штритматтера «Оле Бинкоп», раскрывающие влияние социальных изменений на единоличника-крестьянина, в котором уживается и раб, и свободный человек, и собственник, и труженик, опираются прежде всего на реальную действительность своих стран — ПНР и ГДР, но смело можно утверждать вслед за целым рядом авторитетных исследователей, что расстановка акцентов и смысл наблюдаемых изменений в характерах изображаемых крестьян стали возможны благодаря «глубокой пахоте» темы, которая отличает «Поднятую целину» М. Шолохова.

В этой связи обращает на себя внимание весьма сложный тип взаимовлияний: вполне возможно, что романтически целеустремленные, волевые геологи из романа «Территория» молодого советского писателя О. Куваева были написаны не без косвенного влияния центрального персонажа романа болгарского писателя А. Гуляшки «Семь дней нашей жизни», могучего телом

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 25, ч. II, с. 387.
[2] Материалы XXV съезда. М., 1976, с. 87.

и духом геолога-первопроходца. Но с немалой долей уверенности можно утверждать также, что героическая концепция жизни, принятая А. Гуляшки в ее сложной, драматической форме, непосредственно восходит к концепции «оптимистической трагедии», открытой и подаренной миру советской литературой...

Безусловно положительную роль в духовной жизни наших стран играют издания советской литературы, построенные с учетом национальных условий и обращенные к широкой массе читателей, такие, например, как вышедшие в Венгрии антологии «Русская поэзия советской эпохи», «Русская новеллистика советской эпохи», «Русская драматургия советской эпохи».

Положительно следует оценить деятельность советского издательства «Прогресс», которое широко переводит на зарубежные языки лучшие произведения советской литературы и вместе с тем регулярно предлагает читателям нашей страны книги писателей и многотомные библиотеки литератур социалистических стран.

Знакомство с достижениями дружественных литератур способствует сближению культур социалистических стран. Однако жизнь настоятельно выдвигает новые формы сотрудничества и взаимообогащения литератур социалистических стран, соответствующие современному этапу их отношений. Смысл этих форм заключается в значительном расширении координированных действий литературных кругов социалистических стран. Широко практикуются совместные обсуждения наиболее актуальных литературно-художественных и организационных проблем руководителями писательских организаций братских стран. Традиционными стали ежегодные встречи главных редакторов литературных газет и журналов социалистических стран. Важнейшие творческие вопросы рассматриваются на многосторонних и двусторонних встречах. Большой популярностью пользуются дни советской литературы в социалистических странах и, соответственно, дни братских литератур у нас в Союзе. Словом, осуществляется активный переход от обмена информацией к коллективным обсуждениям и действиям, к глубокой аналитической разработке общих для наших литератур проблем.

Большой интерес вызывают такие издания как «Современная литературная критика европейских социалистических стран», «Новые явления в литературе европейских социалистических стран», «Литература в изменяющемся мире. Актуальные проблемы современной идейно-эстетической борьбы», и ряд других. Богатый материал для понимания процессов, совершающихся ныне в литературах социалистических стран Европы, дают конференции «Общее и особенное в литературах социалистических стран», созываемые Институтом мировой литературы им. А. М. Горького, «круглые столы», посвященные общим для этих литератур проблемам, конференции, проводимые Институтом славяноведения и балканистики АН СССР.

Как полезное начинание следует приветствовать выпускаемые с известной регулярностью «Вопросами литературы», «Детской литературой» и некоторыми другими нашими журналами специальные номера, анализирующие связи советской литературы с другими братскими литературами.

Таким образом, движение в области взаимодействия братских литератур очевидно. Но, думается, уровень согласованных действий в других сферах общественной жизни (в частности, экономической) европейских стран социализма пока превосходит то, что достигнуто в координации усилий в области литературы. Следовало бы, на наш взгляд, углублять взаимное знакомство писателей и народов социалистических стран с теми достижениями литературы, которые у них имеются.

На уровень серьезной государственной задачи надо поставить и отбор книг для перевода. Компетентные комиссии могли бы составлять рекомендательные списки, чтобы мимо внимания читателей из стран социализма не прошло ничего действительно достойного внимания. Разумеется, только идейно-художественная ценность книги является критерием для отбора ее и рекомендации братским странам: это дело большой важности.

Перед социалистическими странами, а значит, и перед литературами встают сходные проблемы, решение которых требует глубокого, вдумчивого подхода. Среди них такие, например, как НТР и человек, типы конфликта и пути его разрешения при социализме, национальное и интернациональное. Чрезвычайно важны также и специфические вопросы теории художественного перевода, творческого метода, теории творческой индивидуальности. Все это диктует необходимость уже нового — сопоставительного — подхода и более широкой, чем прежде, комплексной подготовки самих теоретиков, ибо резко возрастает объем применения выработанных положений. Думается, что внимание к сопоставительному анализу процессов, совершающихся в европейских литературах стран социализма, должно быть резко усилено.

Социалистические литературы живут и развиваются и в ряде неевропейских государств, таких, как Монголия, Вьетнам, Куба; к социализму идут новые страны — это означает, что в повестку дня встает изучение социалистической литературы как всемирного явления.

Процесс сближения и взаимообогащения социалистических литератур Европы — одно из ярких и прогрессивных явлений в культуре современного мира. Оно порождено историческими причинами, его корни уходят в многовековую общность судеб наших народов, его движущие силы определяются единством их социальных условий и общественных идеалов, его живая практика обогащается и постоянно совершенствуется.

Крепнущее содружество литератур социалистических государств находится на самом стрежне развития современной культуры и отвечает интересам всего прогрессивного человечества.

◆

# ДОРОГАМИ НАШИХ ПРИВЯЗАННОСТЕЙ

*«Встреча с человеком, знакомство с ним, если это доброе знакомство, остается потом в памяти и звучит в тебе притягательной музыкальной фразой»,— пишет Уильям Сарсян в книжке «Случайные встречи» (1978). Особенно если это — встреча, беседа с яркой личностью, оставившей по себе заметный след в нашей духовной истории. Главы из будущих книг Татьяны Тэсс и Константина Серебрякова, которые мы предлагаем вниманию читателя, посвящены выдающимся писателям XX века, чье творчество широко известно в нашей стране,— Иво Андричу, автору романов «Мост на Дрине», «Травницкая хроника», «Барышня», и Уильяму Сарояну, автору «Человеческой комедии», «Приключений Весли Джексона» и еще многих-многих других романов, повестей, рассказов, пьес.*

*Эти беседы состоялись не сегодня и не вчера, а несколько лет тому назад, но их актуальность и ценность очевидны.*

*В тот год Иво Андрича наградили югославским орденом Героя Социалистического Труда, сделали почетным доктором Белградского университета. В Вышеграде тогда праздновали двойной юбилей: четыреста лет моста на Дрине и восемьдесят лет, исполнившихся автору книги «Мост на Дрине». И хотя Андрич не был любителем давать интервью, встреча с гостем из Советского Союза состоялась.*

*А Уильям Сароян в тот год во второй раз приехал к нам спустя двадцать пять лет.*

*Недавно в Армении на русском языке вышли две книги. Автор одной, «Меня зовут Арам»,— Сароян, другой — классик средневековой армянской поэзии Наапет Кучак. Предисловия к обеим книгам написаны американским писателем. «Для меня большая честь, что мои произведения переводят на русский язык, такой живой и такой бесконечно богатый, язык, на котором говорят Пушкин, Лермонтов, Толстой, Чехов, Горький, Бабель, Шолохов, Катаев, Айтматов и Матевосян Правда, Матевосян пишет на своем прекрасном родном языке, на армянском, но все написанное им почти сразу же переводится на русский, а это значит, что он говорит и как русский писатель, и я надеюсь, что также будет оно и со мной»,— замечает он в одном из них. Конечно же, конкретная, реальная дружба художника с многомиллионным советским читателем, его вера в силу добра и справедливости («Нам надо жить в мире. Спорить, соревноваться. Без меча!» — призывает он) куда весомее бессмысленных попыток разжечь между нашими народами вражду, которые все еще предпринимают сторонники «холодной войны».*

ТАТЬЯНА ТЭСС

# ОДНАЖДЫ У ИВО АНДРИЧА

Было у меня такое утро, когда пишущая машинка вдруг вызвала желание уйти подальше от ее гладкого черного валика, вокруг которого, чуть похрустывая, уже обвился лист бумаги, блещущий прекрасной и грозной чистотой. И все же сесть за стол было необходимо, ибо, как известно, только работа возвращает силы — те особые, прочные, невесть откуда берущиеся силы, которые помогают справиться и с усталостью, и со стремлением дать самой себе поблажку. Но порой начинаешь хитрить, придумывать всяческие лазейки, чтобы оттянуть время, пускаешься на розыски какого-нибудь старого блокнота, записной книжки или давно полученного письма....

Так было и в то утро, и я потащила в коридор тяжелую стремянку, чтобы разыскать папку, без которой, честно говоря, могла отлично обойтись. Оказалось, что она стоит на полке рядом с большой нарядной книгой в яркой суперобложке. На корешке книги было написано: «Словения».

Сняв книгу, я раскрыла ее, и тотчас же, как бывало уже не раз, сердце мое дрогнуло.

На титульном листе, в нижнем его углу, косым, летящим, необыкновенно изящным почерком было написано:

«Иво Андрич».

Эту книгу я получила в подарок от Иво Андрича, одного из самых блистательных европейских романистов нашего века, крупнейшего писателя Югославии. Я никогда не собирала автографов, ни к кому, даже в ранней юности, не обращалась с просьбой о них; не просила я автографа и у Иво Андрича. Но тонкий росчерк этой подписи мне очень дорог, потому что Иво Андрич — художник, бесконечно близкий моей душе. Дорого и то, что книгу он подарил мне у себя в доме, когда я сказала, что, наверное, не сумею побывать в Словении.

Он тотчас же встал, подошел к книжной полке, снял книгу, которая стояла рядом с несколькими такими же яркими томами, и, улыбнувшись, сказал, что с ее помощью я смогу хотя бы мысленно совершить путешествие по Словении и увидеть самые красивые ее места. Потом, чуть помедлив, вынул ручку и поставил на титульном листе свою подпись.

Бог ты мой, как мне хотелось, чтобы он снял с полки не эту нарядную монографию, составленную неизвестными мне авторами, а любую из написанных им книг! Но я удержалась и не попросила об этом.

Я уже знала, что писатель, в дом к которому я пришла, не любит ни вопросов, ни просьб, хотя бы отдаленно касающихся его работы. Известные слова о том, что литература — это дело одинокое, отвечают характеру Иво Андрича, может быть, точней и глубже, чем кого-либо другого. Много позже, в недавно напечатанных у нас отрывках из книги, работе над которой Иво Андрич посвятил последние годы жизни, я прочла:

«Писатель должен быть молчалив, как молчалива его книга на полке. Он должен заставить людей читать свои книги, если хочет, чтобы люди что-либо узнали о его личности».

Нет, Иво Андрич не был молчалив в буквальном значении этого слова.

Он был интереснейшим собеседником, обладавшим изящной лексикой, чувством юмора и той спокойной непринужденностью общения, какая является одним из признаков подлинной воспитанности.

И вместе с тем в беседе с ним ощущалась граница, за которой таилось молчание, тайная черта, какую было не дано переступить никому из посторонних. Казалось, что его огромный внутренний мир охраняет невидимая, уходящая ввысь ограда.

Каждый раз, когда я вспоминаю встречу с Иво Андричем, она кажется мне подарком судьбы, выпавшим на мою долю.

В Белград я приехала тогда впервые, и, как часто бывает, первое знакомство с городом отпечаталось в памяти, словно моментальный снимок. И едва пробуждается воспоминание, как сначала неясно, словно не в фокусе, а потом все отчетливей проступает передо мной Белград, каким я увидела его в тот час.

С высокой точки открывался сразу и старый город, умытый, пахнущий влагой и осенними листьями, с улицами, вдоль которых, как в теснине, струился поток машин, и Новый Белград, выросший на левом берегу Савы. Белоснежные, многоэтажные здания Нового Белграда возникали вдали, в розоватом тумане, наполненном светом осеннего солнца. И, глядя на берега Савы, нельзя было не подумать об удивительной истории этой реки.

В течение многих веков река Сава была границей не только двух государств, но и двух разных культур, разных религий и цивилизаций. Лишь в социалистической Югославии стало возможным осуществить грандиозный замысел — построить на левом берегу Савы Новый Белград. Вместо крепостей, создававшихся в давние времена вдоль реки, ее берега украсил новый мост. Он как бы соединил века: из Белграда, бережно хранящего старинные архитектурные памятники Востока и Запада, попадаешь в Новый Белград, где все дома молоды, где не сыс-

---

**ТЭСС ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА.**

**Советский прозаик. Автор более двадцати пяти книг очерков и рассказов. Публикуемые воспоминания об Иво Андриче являются одной из глав готовящейся к печати книги «Друзья моей души».**

кать, наверное, здания, возраст которого превышал бы тридцать лет...

И как же красив этот мост, свободно и гордо простертый над рекой!

Красив утром, когда несет стремительный, шуршащий поток автомобилей, а ясная вода Савы отражает голубизну неба и белые, медленные облака.

Красив вечером, освещенный огнями высоких фонарей, весь в подвижных тенях и бликах, когда таинственно-тихая Сава вспыхивает скользящим светом, отраженным в ее молчаливой, темной воде...

И едва я вступила на этот мост, соединивший два берега реки, как мне захотелось произнести слова, которые повторяю так часто, что помню их наизусть, словно стихи:

«Из всего, что воздвигает и строит человек, повинуясь жизненному инстинкту, на мой взгляд, нет ничего лучше и ценнее мостов».

Эти слова я прочла в книге Иво Андрича и запомнила их, ибо они отвечают тому чувству, какое всегда испытываю сама, когда иду по какому-либо мосту или смотрю на него. И не только потому, что мост, как сооружение, созданное человеком, заставляет восхищаться мощью современной техники и красотой очертаний. Каждый мост— от современных стальных конструкций до переброшенных через лесной ручей потемневших от непогоды и ветра старых стволов,— каждый мост служит одной главной цели: ему дано соединить два берега.

Повиснув над широкой рекой, или над тонкой, звенящей нитью ручья, или над молчаливой прохладой обрыва, мост тянется от одной полосы земли к другой, от одного берега к другому, сближая их, делая проходимыми и доступными людям.

В книге Иво Андрича «Мост на Дрине» древний каменный мост предстает как главный ее герой, основное действующее лицо, объединяющее все описанные автором события, происходящие в жизни его народа на протяжении нескольких столетий. Роман «Мост на Дрине», так же как и другие произведения Иво Андрича, у нас переведен, и многие, возможно, его читали. И тот, кто прочел однажды этот роман, я уверена, будет перечитывать его вновь.

Эта историческая хроника, рассказывающая о далеком прошлом, глубоко связана с настоящим: у нее живое, обжигающе-горячее дыхание. В речи при получении Нобелевской премии Иво Андрич сказал об этом так:

«...Разве в прошлом, как и в современности, мы не сталкиваемся с одинаковыми явлениями и одинаковыми проблемами?.. И по ту сторону черты, которая произвольно отделяет прошлое от современности, писатель находит ту самую человеческую судьбу, которую он должен разглядеть и как можно лучше понять, отождествиться с ней и своим дыханием и своей кровью согреть ее, пока она не станет живой тканью повествования...»

В бесстрашии людей, которые шли на смерть, отстаивая свободу своей маленькой, гордой Боснии, угадываешь то же вольнолюбивое мужество, что спустя многие годы поднимало на подвиг боснийских партизан. И мост на Дрине волшебно превращается в мост, переброшенный через прожитую людьми жизнь, через многие времена и годы...

И вот, наконец, я оказалась в городе, где жил писатель, написавший столько прекрасных книг и среди них одну, наиболее близкую моей душе. И, стоя на мосту, легко и мощно переброшенном через Саву, я вдруг поняла, что не прощу себе, если уеду из Белграда, не увидев Иво Андрича.

Щедрая судьба не раз дарила мне знакомство с талантливыми, блестящими людьми: иные из них становились потом близкими друзьями. Сама же я никогда не искала таких встреч и, уж конечно, не пыталась их добиваться.

Но на этот раз все обстояло иначе.

В Белград я приехала ненадолго, и сроки поездки требовали от меня немедленных действий. Но когда я во время беседы, проходившей в одной из белградских организаций, решилась осторожно упомянуть о желании встретиться с Иво Андричем, то тут же поняла, что это невыполнимо.

Разговор наш, как обычно здесь бывает, проходил за чашкой кофе. Собеседник мой был разговорчив, любезен и до этого охотно и по-деловому обсуждал мои планы, стараясь всячески помочь. И тем не менее беседа сразу оборвалась, как только он услышал мою просьбу.

— Что вы! — сказал он. — Это совершенно невозможно! Иво Андрич и в обычное время избегает всяческих встреч и бесед, почти никого не принимает. А сейчас... Вы представляете, как он устал за дни юбилея? Не буду напоминать о его возрасте, о напряженной работе — ведь вы и сами знаете это...

Конечно, я все это знала.

В тот год Иво Андричу исполнилось восемьдесят лет.

Из сообщений в белградских газетах я знала о награждении его югославским орденом Героя Социалистического Труда, о вручении диплома почетного доктора Белградского университета, о торжественном чествовании, о многолюдных собраниях... Знала я и о поездке Иво Андрича в родной Травник, а потом в Вышеград, где прошло его раннее детство. В Вышеграде праздновали тогда сразу два юбилея: четыреста лет существования моста на Дрине и восемьдесят лет, исполнившихся автору книги, носящей то же название.

В одной из газет рассказывалось, как встречали Иво Андрича в родных местах. И помню, как, просматривая эту небольшую заметку, я вдруг увидела перед собою все, о чем в ней говорилось,— увидела так явственно, словно сама была в это время в Вышеграде.

Вот она, знаменитая, не раз описанная Иво Андричем капия — площадка, украшающая центральную часть моста.

На капии писателя встречали его земляки и читатели, представители города; рядом с ними стояли вышеградские школьники — от малышей до старшеклассников — с букетами цветов. Встречал писателя и мост,

ставший его героем и его славой. В течение многих лет работы над книгой мост на Дрине был частью его жизни, его мукой и радостью, его неотступной мыслью. И когда писатель, вступив на древний мост, пошел к капии, легко и неторопливо шагая, такая светлая, такая прозрачная разлилась вокруг тишина...

За мостом над Дриной ждал Иво Андрича город его детства, и вся дорога, которая туда вела, была усыпана цветами.

Он шагал по алым гвоздикам, по нежным осенним розам, по георгинам с туго скрученными упругими лепестками, по пышным астрам и белоснежным колокольчикам на длинных стеблях. Он шел к родным ему местам, а люди, встречавшие его, продолжали бросать цветы, и писатель ступал по их яркой, душистой плоти словно по волшебному ковру.

После поездки в Боснию Иво Андрич вернулся в Белград, в свою городскую квартиру. Мне рассказали, что лишь изредка, вместе с друзьями его молодых лет, он отправлялся вечером в маленькую кофейню, расположенную в старой части города, и сидел там за чашечкой черного, как ночь, кофе, вспоминая давно прошедшие дни. И опять, слушая этот рассказ, я явственно увидела человека, с которым ни разу в жизни не встречалась,— высокого человека с гордой седой головой, идущего по старинным улочкам, вымощенным кривым, замшелым булыжником, сохранившимся с далеких времен, по узким улочкам, полным тайн и волшебства.

Обо всем этом я думала, пока мой собеседник вежливо пояснял мне всю невозможность встречи с Иво Андричем и щедро предлагал организовать взамен беседу с любым, самым известным и прославленным деятелем искусства.

Я слушала его, вздыхая, и думала, что действительно мое желание встретиться с Иво Андричем неосуществимо. Но чем больше старалась я себя в этом убедить, тем ясней ощущала таившуюся в глубинах сознания странную уверенность, что Иво Андрича я все-таки увижу.

А время шло, и до моего отъезда из Белграда оставались считанные дни

Ни к кому больше я со своей просьбой не обращалась И вот однажды в доме поэта Десанки Максимович, где собрались в тот вечер югославские и советские переводчики, я встретила милую женщину, доброго человека, переводчицу многих произведений советских писателей и поэтов. Мы разговорились, она спрашивала, что я успела повидать в Югославии, и вдруг, неожиданно для самой себя, я снова упомянула о своем заветном желании.

Новая моя знакомая серьезно и испытующе на меня посмотрела.

— А почему вы хотите встретиться именно с Иво Андричем?

— Просто потому, что это писатель, близкий моей душе,— ответила я, боясь, что снова услышу все те же слова о невозможности встречи. — Для меня его книги обладают магической силой — целые абзацы из них я могу запоминать, как стихи. Сейчас я в городе, где живет этот писатель. И как уехать, не увидев его?

Моя собеседница задумалась.

— Сколько дней вы еще пробудете в Белграде? — спросила она. — Я ничего вам не обещаю, но...

Она записала номер моего телефона.

И вдруг именно тогда, когда исчезла всякая надежда, зазвонил телефон, и добрый голос в трубке сказал, что завтра в одиннадцать утра Иво Андрич будет ждать меня у себя дома.

...Это был осенний день, повитый дымкой тумана, серебристо-светлый, словно жемчужина. Мягкий воздух пахнул бензином и розами; высоко в небе плыли серебряные облака. И когда я вошла в комнату, ее большие удобные кресла, хризантемы в вазе на овальном столе, ковер на полу, блестящие стекла окон — все показалось мне тоже серебристо-светлым, чуть призрачным, полным той же хрупкости, что и этот осенний день.

Послышались шаги, и в комнату вошел хозяин дома.

Мне кажется, я узнала бы его где угодно, в любой уличной толпе. Как же было не узнать сразу эту прекрасную седую голову, мудрые усталые глаза за стеклами очков, прямую, как у горца, осанку.

Он был быстр и легок в движениях, строен и безукоризненно элегантен. Черты его лица показались мне в первую минуту строгими, даже несколько суровыми, но вот он улыбнулся — и мгновенно преобразился. Строгое это лицо, вылепленное четко и твердо, приобрело особую мягкость. Поразил меня и его взгляд: Иво Андрич смотрел так, будто давно меня знал, и вместе с тем в его глазах угадывалась спокойная, доброжелательная, но не допускающая ошибок наблюдательность.

Мы сели за овальный стол, и хозяин дома, чуть отодвинув вазу с хризантемами, предложил мне, как водится, чашку кофе. Худенькая, словно сухой стебелек, старушка внесла в комнату поднос с чашками и кофейником. Поставив поднос, она исчезла так же бесшумно, как и появилась, словно растворилась в воздухе, и лишь едва заметное колебание штор да запах кофе напоминали о том, что она только что здесь была.

По дороге к Иво Андричу я старалась угадать, на каком языке будет проходить наша беседа.

Очевидно, на английском, решила я, и при одной мысли об этом меня охватило неуютное сознание, что беседа, которой я с таким нетерпением ждала, пройдет на языке, чужом для нас обоих.

Но Иво Андрич заговорил по-сербски, и я с изумлением почувствовала, что понимаю каждое слово. Я до сих пор не знаю, как произошло это чудо. Думаю, потому, что мне был близок и дорог предмет, о котором шел разговор.

А заговорил Иво Андрич с самого же начала о русской литературе.

Первым русским поэтом, которого он прочел в юности и на всю жизнь полюбил, был Лермонтов. Больше всего его пленила поэма «Мцыри», и он так увлекся ею, что выучил на русском языке большой отрывок из поэмы и свободно читал его наизусть.

В ту пору в Белграде у него был один знакомый из России, и молодой Андрич изредка к нему заходил. Повторив вслух полюбившийся отрывок, Андрич направился к этому знакомому, чтобы показать свое знание Лермонтова в подлиннике и прочесть по-русски стихи.

Знакомый внимательно и с видимым удовольствием слушал, как молодой гость, пылая от волнения и стараясь как можно точнее и красивее произносить по-русски каждую строку, читал вслух «Мцыри». Когда чтение было закончено, знакомый сказал:

— Как это прекрасно! Вы доставили мне истинное наслаждение. Сколько искренности, какое чувство ритма... Вы, наверное, очень любите Лермонтова?

— О да! — горячо ответил юноша.

— Это просто чудо! Жаль только, что вы не можете прочесть эти стихи по-русски, на том языке, на каком они были написаны. Почему бы вам, мой друг, не научиться русскому языку? Тогда вы смогли бы прочесть Лермонтова в подлиннике...

Рассказав эту историю, Иво Андрич рассмеялся, и я снова с изумлением увидела, как может меняться его лицо. Глаза, уголки рта — все словно заискрилось от смеха, темные брови чуть приподнялись, легкие морщинки у глаз разбежались смеющимся веером... Но тут же черты его лица снова обрели чеканную строгость, и он сказал:

— Это был первый урок, заставивший призадуматься над тем, что такое мелодия языка. У русского языка есть своя мелодия, она не похожа ни на какую другую. Мелодия нашего языка звучит совсем иначе. С того времени, пожалуй, я понял, что прежде всего надо научиться чувствовать музыку русской речи: отсюда и начинается, видимо, истинное понимание души языка.

И чем дальше продолжался наш разговор, тем ясней становилось, как глубоко Иво Андрич чувствует эту душу.

Русская литература прочно вошла в его жизнь. Любимыми прозаиками стали Толстой, Достоевский, Тургенев, и он говорил об их книгах с той благородной свободой, какую дает знание творчества писателей. От литературы беседа наша перешла к театральному искусству. Иво Андрич вспомнил, как в Белград, много лет назад, приезжал на гастроли Московский Художественный театр.

Он называл пьесы, которые удалось тогда посмотреть, перечислял имена артистов театра, пленивших его мастерством.

— Книппер... — говорил он, называя Ольгу Леонардовну так, как звалась она в те далекие годы. — Какая игра, какой поразительный глубокий голос! Этот голос нельзя забыть... Лилина, Качалов, Артем... Я видел на сцене Станиславского. А Москвин — какой блестящий мастер!

Для моего собеседника эти имена принадлежали не только истории искусства, но его личному, живому воспоминанию. В этой жемчужно-светлой комнате с голубым белградским небом за окном как бы проступили вновь очертания волшебного моста, с давних времен соединившего все прекрасное, что было создано на родных берегах наших стран...

Вдруг в соседней комнате раздался телефонный звонок. И я с испугом подумала, что беседа наша может прерваться. «Почему он не выключает телефона? — размышляла я про себя. — Он так дорожит своим временем, уединением...».

Пока я размышляла, в соседней комнате сняли трубку: хозяина дома, по счастью, к телефону не позвали.

Иво Андрич посмотрел на меня и, словно угадав мои мысли, сказал:

— Иногда, чтобы работа шла спокойней, я отключаю телефон. Звонков нет, телефон молчит, ничто, казалось, меня не отвлекает. Но — странное дело! — я все время помню о выключенном телефоне, и от этого становится беспокойно и неуютно. Начинает казаться, что я, быть может, кого-то обидел, что-то важное упустил; тишина и покой, которых я добился, выдернув телефонный шнур, кажутся мне насильственными, совсем не похожими на тот настоящий покой, который необходим для работы... — Он пожал плечами и добавил, улыбнувшись: — И тогда я включаю телефон снова.

Беседа опять перешла к книгам, Иво Андрич заговорил о мировой литературе.

— Я принадлежу к старому начитанному поколению,— сказал он и повторил с неожиданной твердостью, словно продолжал давно с кем-то начатый и неизвестный мне спор: — Люди моего времени много читали, это было начитанное поколение.

Он стал называть книги, которые больше всего любил, а я смотрела на этого восьмидесятилетнего человека, и передо мной стоял маленький мальчик, застывший у окна книжной лавки. Влюбленный в книги, застенчивый мальчик, каким когда-то был этот знаменитый писатель.

Мальчик по нескольку раз уходил от книжной витрины и снова к ней возвращался и знал ее так хорошо, что сразу обнаруживал малейшую перемену. Каждой новой книге, появившейся в витрине, каждой перемене за большим витринным стеклом он радовался так, будто в его собственной жизни произошло что-то хорошее.

Все это я отлично знала и легко могла представить, ибо об этом рассказывал сам Иво Андрич в одной из прекрасных своих миниатюр «Мое окно в мир».

Я напомнила о ней писателю и вдруг заметила, что по его лицу прошла тень, будто я коснулась темы, которой он не предполагал затрагивать. И когда он заговорил, в его интонациях снова почудился отголосок какого-то непрекращающегося, давнего спора.

Он сказал, что такого рода миниатюры я не должна считать писательским дневником. Никакого отношения к дневнику они не имеют. В его понимании «Мое окно в мир» — это этюд, зарисовка, что угодно, только не дневник. Он не любит этого жанра, ставшего сейчас модным в литературе.

И, помолчав, добавил:

— Мемуары, пожалуй, еще хуже.

После паузы он снова вернулся к этой теме, и я уж не знала, радоваться мне или

огорчаться, что затронула ее. И все же, вероятно, радоваться, ибо я узнала многое, что осталось бы мне неизвестным, если бы не упоминание о «Моем окне в мир».

Так я узнала, что сам Иво Андрич был очень внимательным читателем писательских дневников и прочел множество таких дневников. И чем больше читал, тем больше убеждался, что как бы различны ни были их авторы, в дневниках всегда чувствовалось, что они считают себя выше, лучше и значительнее других людей.

— Очевидно, те, что считают иначе, дневников не пишут,— сказал он, чуть улыбнувшись.

Он снова вернулся к миниатюре «Мое окно в мир» и опять с твердостью отвел самую возможность ее близости к такому жанру, как дневник. По его ощущению, она была одним из тех знаков, какие человек расставляет вдоль своей дороги, чтобы знать, где он прошел.

Иво Андрич говорил, а я смотрела на него и думала: какой же огромной и сложной была эта дорога!

В его жизни скрестились целые эпохи. Подумать только: человек, в доме которого я находилась, был когда-то членом той же организации «Молодая Босния», что и Гаврило Принцип, сараевский юноша, чье роковое имя навсегда связано для нас с выстрелом, развязавшим первую мировую войну. Еще гимназистом Иво Андрич участвовал в борьбе за освобождение, став основателем и председателем тайной молодежной организации. Он был узником многих австро-венгерских тюрем, и небо разных городов запомнилось ему своими дождями, своей голубизной и тревожащими сердце тенями, что ложились на пол камеры сквозь тюремную решетку. Даже облака родного Травника показались ему совсем иными, когда он впервые поглядел на них сквозь зарешеченное окно...

Заветы бесстрашной своей юности Иво Андрич пронес через всю жизнь, давно определив для себя цель, которую почитал главной. Ибо, как сказал он в Нобелевской речи, по его убеждению, «писатель и его творчество не служат ничему, если тем или иным образом не служат человеку и человечности».

...Беседа наша продолжалась, и Иво Андрич спросил, где я успела за эти дни побывать и собираюсь ли поехать к Адриатическому морю.

Я сказала, что, очевидно, попасть туда не успею. Он огорченно покачал головой: это самая живописная часть Югославии, и я буду жалеть, если не увижу Дубровник. Я ответила, что, безусловно, буду жалеть, но есть другое место, где мне еще больше хочется побывать. Тогда он спросил, что же это за место, и я призналась, что хочу поехать в Боснию.

Иво Андрич внимательно взглянул на меня.

— В Боснию? — переспросил он. — Почему именно в Боснию?

Я сказала, что еще в ранней юности, сама не зная почему, мечтала туда поехать. Меня манил этот маленький гордый край, манило Сараево с его мостами, узкими улочками, душистым, шумным базаром, с его разноцветными домами, рассыпанными по крутым горным склонам... Мне казалось, что там ждут меня друзья, хотя в Сараево у меня не было ни одного знакомого человека. Такое чувство всегда испытываешь, если тебе близка душа города.

Мой собеседник слушал так внимательно, что я не удержалась и добавила, что есть еще одна причина, по которой меня влечет в этот край: я хотела бы побывать в его родных местах. Сказала — и тут же пожалела об этом.

Иво Андрич покачал головой, и в его взгляде я прочла неодобрение. Он не любил ничего, в чем могло бы почувствоваться преувеличение его личности, «музейное» отношение к стенам, в которых писатель когда-либо жил.

— Нет,— сказал он серьезно. — По-моему, там вы не найдете ничего, что представляло бы для вас такого рода интерес. Я считаю, что только один дом заслужил подлинное право стать музеем: дом Льва Толстого в Ясной Поляне. Там была жизнь Толстого, его труд, его судьба. Этот дом действительно может рассказать о многом. — Он помолчал и, пожав плечами, добавил: — Но что такое дом, в котором писатель прожил всего несколько лет и давно его покинул? И что могут рассказать о писателе «вещи его времени», если он не рассказал об этом времени сам?

Очевидно, я не сумела скрыть огорчения, и Иво Андрич улыбнулся.

— Это не значит, что я хочу отговорить вас от поездки,— сказал он мягко. — Конечно поезжайте! Вы увидите боснийскую природу, вдохнете воздух этого края... А в Словении вы были?

И тут, услышав, что я в Словении не была и попасть туда уже, наверное, не успею, Иво Андрич снял с книжной полки и подарил мне книгу, которая стоит сейчас у меня дома,— большую, нарядную, украшенную множеством фотографий, на корешке которой написано «Словения».

Время летело так быстро, что, взглянув на часы, я не поверила своим глазам. Пора было прощаться.

Иво Андрич пошел проводить меня в переднюю. Уходя, я оглянулась и со счастливой ясностью, словно впервые, охватила взглядом жемчужно-светлую комнату, залитую осенним солнцем, хризантемы в вазе и стоящего у дверей высокого седого человека с гордой и прямой, как у горца, осанкой...

На следующее утро, сидя в большом, полупустом самолете, я смотрела на плывущие внизу, пухлые, как перина, облака и ждала, когда они расступятся и станет видна котловина, горные склоны и разноцветная россыпь домов Сараево.

Город оказался именно таким, каким я его представляла, а это случается не так часто.

Мне чудилось, что я бывала здесь не раз. Странное это ощущение не покидало меня, когда я бродила по его улицам, вдыхала горячий запах пряностей и крепкого кофе, ела в маленькой базарной харчевне поджаренное на решетке мясо, нарезанное мелкими, густо поперченными кусочками, смотрела с моста на безмолвную воду реки...

Шагая по улицам, я разглядывала дома и пыталась угадать, о каком из них рассказал мне на прощанье Иво Андрич. Он вспоминал, как однажды провел в сараевском доме целое лето, и этот невысокий скромный дом надолго запомнился ему ощущением царящего там покоя. Такого покоя, которого он, по его словам, всегда желал, но редко находил, а найдя, подчас не умел им пользоваться. В том доме ему было хорошо жить и работать и просыпаться по утрам, зная, что сейчас выйдешь на просторную террасу и оттуда откроется залитая солнцем долина.

Таких домов, во внешнем рисунке которых как бы сталкивались два стиля — современный и старинный турецкий,— в Сараево оказалось немало, и у каждого я останавливалась, стараясь угадать, не о нем ли рассказывал мне Иво Андрич и не здесь ли писатель жил. А ночью, перед сном, лежа в большом, холодноватом номере современной гостиницы, я вдруг мысленно видела перед собой этот дом, который оказывался не похожим ни на какие другие.

Он всплывал передо мной в светлой дымке — тихий дом, стоящий на крутом склоне у самой вершины, его просторные светлые комнаты с глиняными боснийскими печами, украшенная резьбой решетка широкой террасы, открытая солнечная долина внизу... И меня вдруг охватило такое ощущение покоя, что я мгновенно и счастливо заснула.

Из Сараево я поехала в Травник. Все-таки поехала, ибо, несмотря на все уговоры и возражения автора «Травницкой хроники», мне неудержимо хотелось там побывать.

В Травнике я снова вспомнила сараевский дом; в этом горном городке тоже как бы столкнулись две разные эпохи. За старыми, сложенными из дикого камня зданиями, за древней крепостью, вздымающейся на холме, возвышался новый город с его многоэтажными домами. По тенистым улицам рядом с современными юными модницами шагали смуглые, костистые, прямые, как штык, старухи в широких шелковых шальварах, стянутых у щиколоток на восточный манер...

А потом я все же забрела на улочку, где крутая тропа пахла камнем и сухой землей, и постояла немного у «домика детства» Иво Андрича. Оттуда пошла на книжную выставку. И там снова с ним встретилась, потому что на выставке было множество его книг.

Среди них оказались и томики, изданные у нас, на русском языке, и была у них особенность, которая глубоко меня тронула. Мне жаль, что я не рассказала об этих томиках писателю и теперь уже никогда не смогу ему рассказать.

Книги были привезены на выставку не из магазинов и не с книжных складов, а из библиотек. Это были книги с инвентарными пометками и номерами на титульных листах, читаные и перечитанные, хранящие теплое прикосновение многих людей, которым они приносили радость.

Все это я вспоминаю сейчас, когда пишу эти строки за своим столом в Москве. Передо мной лежит подарок Иво Андрича — книга о Словении. И я — в который раз!— вспоминаю сказанные им на прощанье слова:

— Когда вернетесь домой, раскройте эту книгу. С ее помощью вы все-таки совершите путешествие по Словении.

Но каждый раз, раскрывая эту книгу, я совершаю совсем другое путешествие.

Пройдя по волшебному мосту воспоминаний, я снова вхожу в дом человека, которого уже нет на свете, и вижу его таким, каким был он в тот далекий осенний день. ■

## КОНСТАНТИН СЕРЕБРЯКОВ

# ПРОСТОТА ДУХА

Это был его второй приезд в Армению. Впервые он побывал здесь в 1935 году. Тогда познакомился и подружился с Егише Чаренцем. И Чаренц сказал ему: «Ты пишешь по-английски, и все-таки ты армянский писатель». Спустя год в Нью-Йорке вышла книга Уильяма Сарояна «Вдох и выдох» с авторским посвящением: «Английскому языку, американской земле и армянскому духу».

И вот он снова в Армении. Для него это не экзотическая страна, а родной край, земля его предков, где он слышит язык, на котором мать учила его молитве в калифорнийском городе Фресно,— туда привела ее горькая доля таких, как и она, скитальцев из западноармянского города Битлиса.

Чаренца уже не было. Был его друг — поэт Гурген Маари, ставший другом и Сарояна. Подружился он и с прозаиком Рачией Кочаром — умным собеседником, владевшим различными армянскими диалектами, в том числе битлисским, и с драматургом Ашотом Папаяном, чьи родители, как и у Сарояна, родом из Битлиса. Да мало

---

**СЕРЕБРЯКОВ КОНСТАНТИН БАГРАТОВИЧ.**

Советский публицист, очеркист, переводчик. Автор книг «По городам Европы», «Мудрость движения», «Уроки жизни» и др. Перевел с армянского языка произведения Н. Зарьяна, С. Ханзадяна, В. Арамяна и др. Публикуемые воспоминания являются одной из глав готовящейся к печати книги «Дороги и люди».

ли с кем свели его насыщенные встречами яркие осенние ереванские дни 1960 года?

Непосредственный, импульсивный, быстрый в движениях, он тогда, в свои 52 года, казался непоседой. На представлении своей пьесы «В горах мое сердце» трижды вставал с места и, нагнувшись, быстро пересаживался в другой ряд. Невольно думалось: как же он подолгу сидит за письменным столом?

А за стол Сароян садится ежедневно. Даже когда находится в путешествиях. Вот и в те дни он каждое утро отстукивал на машинке, которую повсюду возит с собой, три-четыре странички, а то и больше — и только после этого выходил из гостиничного номера. Иначе как бы он мог создать около тысячи рассказов, больше двадцати романов и пьес, написать множество сценариев, очерков, эссе, как?..

Сестра Погоса пригласила Сарояна к себе в село Джанфида — недалеко от Еревана.

Приехали к обеду. У дома собрались сельчане поглядеть на знаменитого писателя. Сароян вышел из машины и стал радушно здороваться со всеми: «Здравствуй, брат, здравствуй, сестра».

К дому прилегал виноградник. Из-под зеленых листьев выглядывали спелые желтые гроздья. Сароян быстро оказался среди лоз. Сорвал гроздь, попробовал:

— Такой в Калифорнии не родится.

— Кушайте, кушайте,— послышались голоса.

Он нарвал целую охапку и вышел из виноградника.

— Берите, кушайте,— предлагал собравшимся.

Никто, конечно, не брал. Обеими ладонями прижимая к груди гроздья, он стал подниматься по лестнице, вдоль которой стояли хозяева дома — взрослые и дети.

— Берите, кушайте,— продолжал он.

Все заулыбались.

— Странно, такой почтенный виноград, а вы не пробуете.

Он любит слово «почтенный» и часто «прикладывает» его к людям, предметам, животным.

Уселись за стол. Гроздья он аккуратно положил рядом с собой. Кочар провозгласил тост за гостя. Сароян пригубил рюмку и закусил виноградинкой.

— Теперь давайте выпьем за этот виноград, за эту землю и за руки, что оживляют ее,— сказал Сароян.

Всегда трудно угадать, что сейчас скажет Сароян и что он, непоседа, сделает. В самом разгаре обеда, когда внесли дымящиеся душистые шашлыки и появились шампуры с нанизанными на них крупными, чуть подгоревшими, будто покрытыми красно-черной палитурой, помидорами, зеленым перцем и густо-синими баклажанами, Сароян вдруг встал, взял высвободившийся шампур, обошел стол, надел чью-то папаху и уселся на тахту, поджав под себя ноги и взлохматив черные усы.

— Похож я на фидаи? [1] Похож?

— Шашлык остынет,— заметил ему Кочар.

— Не беда, лишь бы память не остыла. Нужно помнить свое прошлое, тогда и шашлык и виноград вкусней будут.

Кто-то запел песню армянских фидаи.

Все подхватили. Пел и Сароян.

Прощаясь, он спохватился:

— А виноград? Мой виноград! Я сохраню косточки и посею их во Фресно. Пусть растет там армянский виноград.

Ашот Папаян — величавый, с бело-сизой гривой свободно спадающих на лоб волос, с грозным и в то же время ласковым взглядом больших глаз — статный, красивый мужчина.

— Ты настоящий битлисец,— сказал ему Сароян. — Моя мать и дядя говорили, что в нашем городе все были красавцы.

Сароян побывал в доме Папаяна. Мать драматурга Грап (ей тогда было уже восемьдесят) поцеловала Сарояна в лоб, а он склонился и нежно поцеловал ей руку.

Разговорились. И Сароян узнал в тот вечер, что Папаяны жили в Битлисе по соседству с его родителями — отцом Арменаком и матерью Такуи — дом к дому. Старая Грап вспомнила, что во дворе у Сароянов росло большое тутовое дерево. Его крупные белые плоды были сладки как мед. Летом мальчишки взбирались на дерево, трясли ветки, и спелые ягоды сыпались на полотно, разостланное на земле. В такие дни Сарояны приглашали Папаянов полакомиться сочной тутой.

— Жаль, меня не было тогда на свете, а то бы и я съел.— Помолчал и как бы про себя добавил: — Может, когда-нибудь побываю в Битлисе. Ведь я никогда там не был.

Спустя два года ему удалось съездить в Битлис — «в город, выстроенный в горах», где и улицы «были пробиты в горах». Позже он сообщил Ашоту Папаяну, что без труда разыскал отчий дом — так точны были рассказы матери, дяди и старушки Грап.

Руины Звартноца, храма VII века. Суровая голизна громадных камней, четкий орнамент на низвергнутых капителях: орел, виноградная гроздь, гранат. И, будто туго закрученная пружина,— символ «вечного движения».

Сароян ходит молча, непривычно медленно, погруженный в себя. «Удивляться надо молча»,— скажет он позже.

Я был тогда корреспондентом «Литературной газеты» по республикам Закавказья и, конечно же, собирался написать репортаж о пребывании Уильяма Сарояна в Армении. Вот и поджидал удобного момента, чтоб побеседовать с ним.

Когда был закончен осмотр Звартноца и Сароян вернулся к привычной своей общительности, я попросил его об интервью.

— Хоть сейчас. Задавайте вопросы.

Тут по моей просьбе хотел было вступить в свои обязанности переводчик: мне казалось, что Сарояну будет легче изъясняться по-английски. Он категорически отказался от услуг переводчика и повел разговор на армянском языке. Иногда затруднялся, искал подходящее слово, но ни

[1] Воины — участники народно-освободительной борьбы против османских поработителей.

разу не перешел на английский. А о беседе и о том, как она далее обернулась для нашего гостя, скажу чуточку позже.

Сароян уезжал из Советского Союза. Рачия Кочар, Ашот Папаян и я решили проводить его до Тбилиси, откуда он отправится в Батуми, потом морем — в Грецию.

Ровно в девять утра, как условились, мы выехали из Еревана. В машине я спросил Сарояна, неужели и сегодня он успел поработать, «настучать» свои странички.

— Это для меня так же необходимо, как вышить чашечку кофе или побриться,— ответил он.

Остановились на Севане. Подошли к берегу. Вода в озере, согретая летним горным солнцем, успела уже остыть. Было довольно зябко. Ашот Папаян скинул с себя костюм: купаться, купаться!

— Вот это битлисец! — с гордостью сказал Сароян.

Пока мы с Кочаром наблюдали, как здоровенное тело Ашота барахтается в холодной воде, Сароян куда-то исчез. Мы обернулись и увидели его совершающим какие-то странные перебежки. Он прыгал через камни, останавливался, нагибался к земле, вскакивал и снова устремлялся вверх по крутому берегу.

— Что случилось, Уильям? — крикнул Кочар.

Сароян не унимался. Наконец остановился и, держа что-то в руке, стал внимательно рассматривать.

Мы подошли к нему.

— Почтенное животное. Солнце любит. А какие глаза! — с детской восторженностью говорил он.

В руке у него была обыкновенная, серая, как камень, маленькая ящерица с удивленно выпученными глазами.

— Как она смотрит, а? Как смотрит! — снова сказал он и бережно опустил ящерицу на плоский валун. Она тут же скрылась.

Этот эпизод показался мне особенно примечательным после того, как я прочитал в сборнике Уильяма Сарояна «Меня зовут Арам» рассказ «Гранатовая роща» [1]. Там есть смешной, порой нарочито несуразный, внешне предельно простой, а по сути многозначительный диалог Арама и дяди Мелика. Позволю себе процитировать некоторые места.

«Рогатая жаба выползла на поверхность прямо у него из-под ног. Дядя стиснул мне плечо и замер в благоговейной неподвижности.

— Что это за животное?

— Это крохотная ящерица?

— Это мышь с рожками. Что это такое?

— Не знаю наверное. Мы их зовем рогатыми жабами...

— Она не ядовитая? — сказал он.

— Если ее съесть? Или если укусит?

— В том и другом случае,— говорит дядя.

— По-моему, они несъедобные,— говорю я. — Но, кажется, безвредные. Я их много ловил. В неволе они тоскуют, но не кусаются. Поймать ее?

— Пожалуйста,— говорит дядя.

Я подкрался и схватил рогатую жабу, а дядя за мной набаюдал...

Я протянул рогатую жабу дяде. Он старался показать, что он ни чуточки не боится.

— Прелестная крошка, правда? — сказал он не совсем твердым голосом.

— Хотите ее подержать?

— Нет,— сказал дядя. — Лучше ты сам. Я никогда так близко не видел этих зверюшек. Гляди-ка, да у нее есть глаза! Она, наверное, нас видит.

— Конечно,— говорю я. — Она смотрит прямо на вас.

— Какие огромные глаза для такого маленького создания. Ты уверен, что они не сердятся, когда их хватают руками?

— Они, наверное, сейчас же забывают об этом, как только их отпустишь.

— Ты в самом деле так думаешь?

— Да, вряд ли у них хорошая память.

Дядя выпрямился и глубоко вздохнул.

— Отпусти ее с миром,— сказал он. — Не надо быть жестоким с невинными тварями божьими. Раз она не ядовита и не злопамятна... отпусти эту робкую крошку на землю. Будем добры ко всем зверюшкам, которые живут на земле вместе с нами».

Сначала я подумал, что диалог этот навеян эпизодом, случившимся на Севане. Но потом узнал, что рассказ «Гранатовая роща» написан задолго до этого, и тогда... тогда меня поразило, как сильно и непосредственно живут в художнике творчески уже выпестованные детали. Ведь на севанском берегу Сароян вел себя прямо по рассказу — сам по своему рассказу...

Мы уже принялись за еду в прибрежном ресторане, когда появился посиневший от холодной воды Ашот Папаян. Он обтирал платком затылок, шею, потом просунул платок под сорочку. Заметив насмешливый взгляд Кочара, объяснил:

— Не просох. Полотенца-то не было.

— Не смущайся, хорошенько ощупай себя — не застряла ль где под мышками форель? Выпусти бедняг в озеро, пока мы не уехали отсюда. Будем добры с невинными тварями божьими,— неожиданно произнес Сароян.

Позади остался перевал. На смену суровой пустынности гор хлынули нам в очи зеленые волны леса. Дохнуло терпким воздухом хвои и прохладой ручьев.

— Армянский рай! — воскликнул Сароян. — Тут не машина нужна — велосипед. А еще лучше — пешком. — Улыбнулся и добавил: — Ашот быстрее бы просох.

Позже в одном из интервью он скажет: «Вершиной лечения считаю ходьбу и езду на велосипеде». И еще скажет: «Не могу жить без иронии».

Миновав Дилижан, поехали лесным ущельем реки Агстев. Среди деревьев мелькнули фигуры людей в пестрых одеждах.

— Это кто, цыгане? — спросил Сароян.

— Нет, курды,— ответил Кочар.

[1] Уильям Сароян. Меня зовут Арам. Рассказы. Ереван, издательство «Советакан грох», 1980.

— О, это страшно интересно! Остановите машину.

Кочар, владевший курдским языком, тут же установил контакт.

— Они из Тбилиси. Невесту везут на свадьбу,— сказал он нам после того, как обменялся с курдами быстрыми вопросами-ответами.

— А можно взглянуть на невесту? — не унимался Сароян.

Кочар перевел на курдский его просьбу, и нас подвели к невесте. Это была прехорошенькая девушка в длинном пунцово-желто-зеленом платье, увешанном поверху тяжелыми рядами ожерелий из монет. Она кротко сидела на камне со своей подружкой и, когда обернулась к нам, вся зазвенела.

— А кто здесь ее отец? — спросил Сароян.

— С отцом я и разговариваю,— ответил Кочар.

Сароян пожал руку рослому, крепкому человеку — и если бы не огромные, низко спадающие усы, которые придавали приличествующую возрасту солидность, отца девушки вполне можно было бы принять за ее жениха.

— Вот это усы! — Сароян был в восхищении. — Сколько лет понадобилось, чтобы отрастить такие?

Переговорив с носителем огромных усов, Кочар объяснил:

— Он стал отпускать их двадцать лет назад. Теперь только подрезает.

— Пожелай ему много внуков с такими же усами....

В машине Сароян сказал:

— За кого, интересно, он меня принял? Наверно, за странствующего бизнесмена или чудаковатого клерка.

— Нет, я сказал, что ты писатель,— ответил Кочар.

— А он?

— Он сказал, что раз писатель — значит, почтенный человек.

— Неправда, он не сказал «почтенный».

— Ну, «уважаемый».

— Это не одно и то же.

— Уильям, почему ты лишаешь меня права на вымысел?

— Потому что мне нужна правда о человеке с такими почтенными усами.

— Не вздумал ли ты написать о нем?

— Нет, чтобы написать о нем, мне понадобилось бы узнать все его беды.

— Но если они у него и есть, сегодня он их забыл. Сегодня у него такой важный день! Пожалуй, даже счастливый день.

— Может, и счастливый. Но, дорогой Кочар, день погаснет, наступит ночь, а она может оказаться чересчур темной. Ты заметил тревогу в его добрых глазах? Он, наверно, и сам не чувствует ее, а глаза выдают.

Кочар неожиданно спросил:

— Уильям, в чем ты видишь призвание писателя?

— Помогать человеку познавать самого себя.

В Тбилиси мы распрощались с Сарояном. И с тех пор я его не встречал. Он еще дважды приезжал в Советский Союз и оба раза был в Армении. Я читал в газетах беседы с ним, видел на фотографиях заметно изменившееся лицо. Он отрастил усы, пожалуй, еще длиннее, чем у того счастливого (с тревогой в глазах) отца, что встретился нам за Дилижаном.

Ну, а теперь об интервью с Уильямом Сарояном, том самом, о котором я недоговорил.

Мы отошли под тень разрушенной колонны Звартноца. Сароян провел рукой по камню, которому тринадцать столетий назад безвестный резчик придал дивный орнамент. Мне показалось, что Сароян прикоснулся к этой резьбе так, словно желал благодарно пожать руку своему далекому предку, что оставил людям не покоренную никакими невзгодами красоту.

— Ну, спрашивайте что хотите,— снова предложил Сароян, возвращая меня к конкретному, сиюминутному делу.

Я спросил, и он ответил:

— Вас интересует мое мнение о динамике советского развития? — И, улыбаясь, добавил: — О, я «крупный эксперт» в области политики и экономики... Но шутки в сторону. Второй раз приезжая в Советский Союз, я вижу прямо-таки невероятные изменения к лучшему. Эти огромные успехи не могут не вызвать уважение. И думаю, что в предстоящем десятилетии успехов у вас будет больше, чем за все прошедшие сорок с лишним трудных лет. Америка не может не замечать перемен, и не случайно она опасается, что Россия перегонит ее. Американцы были ошеломлены, когда увидели ваши спутники,— они вдруг постигли, что стали уже второй, а не первой державой в мире. Америка вынуждена будет учиться у вас, и прежде всего тому, как относиться к другим народам. Простые американцы начали понимать русских еще во время войны, когда увидели, как советские люди защищали Ленинград, Сталинград, Одессу, и они любят русский народ. Но у него есть в Америке и враги... Людям прежде казалось, что спорные вопросы надо решать только силой. Теперь всем пора бы понять, что нельзя в спорах прибегать к мечу, ведь меч стал слишком большим и слишком страшным. Смысл слова «победить» ныне изменился. Он стал бессмысленным. Нам надо жить в мире. Спорить, соревноваться. Без меча! Русские учат терпению. Надо быть терпеливыми всем: теперь война — самоубийство. А далеко не все хотят быть самоубийцами...

Наш разговор продолжился во второй день встречи. В девять утра я пришел к Уильяму Сарояну в гостиницу. У него уже были гости — артисты, студенты. В номер вошла пожилая женщина. Видно было, что Сароян ждал ее. Они трогательно обнялись. Это была его родственница. Судьба скитальцев-армян разбросала их по разным странам. И вот они встретились. Впервые в жизни: крупный писатель, познавший на чужбине приютскую жизнь, труд продавца газет, батрака на калифорнийских фермах, чернорабочего, и уже старая Марта, лишь в советские годы вернувшаяся на родину и обретшая здесь душевный покой.

Зашел разговор о литературе. Я спросил Сарояна о его литературных симпатиях и антипатиях.

— Я читаю только по-английски. Поэтому могу судить лишь о произведениях, написанных на английском. Но на каком бы языке ни писать, я всегда считал, что писать нужно так, чтобы литература помогала людям. Иной литературы я не признаю. Литература должна быть близка человеку, потому что она живет его жизнью. Русский народ великодушен, и о величии его души мир знает из произведений Толстого, Достоевского, Чехова, Горького, Маяковского...

— Что вы думаете о современном романе?

— Литература двадцатого столетия не должна быть похожа на литературу прошлых веков. Времена изменились. Раньше люди передвигались пешком и на лошадях. Теперь, как известно, со средствами передвижения дело обстоит совсем иначе. Современный человек очень занят, у него нет времени и терпения читать неторопливые и объемистые романы. Такие романы люди читают, когда лежат в больнице. А если мы пишем не для больных, а для здоровых, то должны писать лаконично. Существует много хороших писателей, которые этого мнения не разделяют. Они пишут объемистые вещи, и люди их читают. Больные и здоровые. И не ловите меня на противоречии...

Сароян посмотрел на часы:

— О, уже десять. Надо спешить к Мартиросу Сарьяну. Он пожелал написать мой портрет. Это большая честь для меня.

Вот, собственно, и все ответы на мои вопросы. Они вошли в репортаж, напечатанный в те дни «Литературной газетой».

Вернувшись в Америку, Уильям Сароян получил письмо из государственного департамента...

Нет, все-таки опять придется прервать рассказ об интервью, потому что мне довелось видеть — правда, в течение короткого времени, — как Сарьян писал Сарояна, и хочется вспомнить о тех минутах.

Художник усадил писателя на стул, а сам стал медленно обходить его то с одной, то с другой стороны. Потом уселся перед мольбертом, взял со стола палитру, выбрал в банке кисть, выдавил из тюбиков краски. Лицо художника, до тех пор задумчиво-спокойное, неожиданно напряглось, и он пронзил гостя своим острым, цепким взглядом. Вскоре быстрые, решительные движения его руки вывели на полотне первые контуры будущего портрета.

Никаких указаний, как сидеть, как держать голову — наклонить ее или приподнять, — художник не делал. Писатель понимал его каким-то тонким чутьем, будто сам был художником. Сароян понимал Сарьяна.

Художник, сделав очередной мазок на полотне, вдруг чему-то улыбнулся, откинулся на спинку стула, расслабился и сказал:

— А нас ведь легко перепутать: Сароян, Сарьян...

— Выиграю я, — заметил Сароян.

— Скромничаете, — ответил Сарьян и снова ушел в работу.

Не знаю, только ли сходное звучание фамилий имел в виду Сарьян, но я подумал: как, однако, много общего между художником Сарьяном и писателем Сарояном!

Сыны одного народа, перенесшего в своей истории жестокие испытания, они сохранили неистребимость духа и жизнелюбие. Оба они несут в себе доброту, душевную чистоту, человечность. Искренность, непосредственность. И простоту. Большую, необходимую в жизни и в искусстве простоту.

«Художник должен обладать той простотой духа, которая позволяет ему думать, что он писал лишь то, что видел... И, даже отступая от натуры, он должен быть убежден, что делает это в целях более полной ее передачи», — это слова Анри Матисса. Их, я думаю, справедливо отнести и к полотнам Сарьяна, и к книгам Сарояна.

Пейзажи и портреты Сарьяна — это биография виденного и пережитого, глубокие размышления о жизни, изображенные не изощренно-сложными формами, а простыми, действенно красочными.

То же и у Сарояна. Его рассказы, пьесы, романы в основе своей жизненно-конкретны, более того — автобиографичны. Потому-то, наверно, в них так остро ощущение жизни, такая достоверность образов, естественность всех деталей; потому-то в них так рельефно лирическое начало и так глубинна и ясна философия жизни. Это и есть та высокая простота духа, о которой писал Матисс.

В творчестве Сарояна живет все, что он впитал в себя с молоком матери, все, что он видел и пережил в детские годы и с чем встречается по сей день, — национальные черты, обычаи и нравы, горести и радости, житейские неурядицы и удачи, надежды и иллюзии армян-иммигрантов, давно покинувших свою «старую родину» и расселившихся в калифорнийской долине Сан-Хаокин, в городе Фресно. Армянские мотивы, армянские образы, опоэтизированные талантливым пером художника, обрели звучание всеамериканское и всечеловеческое. И это тоже роднит его с Сарьяном. Хотя у Сарьяна горы и небо своей «старой родины» и люди, живущие в иных условиях, иной жизнью, его отличает иное мироощущение, иные взгляды на устройство мира, на пути и способы обретения человеческого счастья. Но двух творцов из разных по социальному строю стран объединяет вера в силу и доброту человека...

Портрет Сарояна Сарьян дописал на второй день. Писатель долго смотрел на полотно. Отходил от него, снова приближался, даже, как говорят, принюхивался к теплым краскам. И, сердечно поблагодарив художника, сказал:

— Теперь я себя буду знать лучше.

Как всегда, и в этом портрете Сарьян выразил характер человека, главные черты его личности, его души, быть может, увидел то, что не видит другой, даже сам Сароян. Это был простой и емкий рассказ о человеке, созданный кистью, — такой же простой и емкий, как рассказ Сарояна, созданный словом.

Кстати, поэт Геворг Эмин, побывавший немало лет спустя во Фресно, сказал мне,

что Сароян очень увлекается живописью и украсил квартиру своими работами.

Но снова об интервью, теперь уже не сворачивая в сторону.

Итак, вернувшись в Америку, Уильям Сароян получил письмо из государственного департамента США:

«У нас возникли сомнения относительно точности заявлений, приписываемых Вам московской «Литературной газетой» в номере от 29 сентября 1960 года. Прилагаем к сему фотокопию статьи и ее перевод».

Еще шла «холодная война», все, кто подозревался в «антиамериканской деятельности» там, в Америке, брались на заметку, и похвалы Сарояна нашей стране бесследно не прошли.

Ответил он не сразу. Спустя год. Ответил, как подобает писателю. В автобиографической книге, которую он тогда написал. Вышла книга в Нью-Йорке под названием «То приедет, то уедет, сами знаете кто». В ней есть глава «Паспорт». И в этой главе такие строки:

«Уважаемый Паспортный отдел государственного департамента!

Ваше письмо я прочел, с приложениями ознакомился. Что-то не пойму я из этого письма, ждете Вы от меня ответа или нет. Но, с другой стороны, я ума не приложу, с какой бы стати было Вам посылать мне письмо с приложениями, если бы Вы не ожидали моего ответа Или, может быть, я просто-напросто не понимаю языка, на котором изъясняются различные правительственные ведомства? Как знать, быть может, на самом деле тут черным по белому написано: «Вам лучше бы ответить, не то...»? Иначе как объяснить связь между Паспортным отделом и тем, что я недавно побывал в России? Я привык говорить то, что думаю, или, во всяком случае, стараться говорить то, что думаю. Я не умею читать между строк, разгадывая скрытый смысл того, о чем вообще ни слова не говорится.

Уж не кроется ли здесь завуалированная угроза — так, кажется это называется?

Ну, если это и впрямь завуалированная угроза, значит, так уж, наверно, положено, чтобы взяли да и адресовали мне завуалированную угрозу...»

И далее каждой своей строкой писатель высмеивает попытки вырвать у него что-то вроде «покаяния» или отречения от высказанных им в советской газете взглядов. Своим ироническим замечанием (вспоминается его: «не могу жить без иронии») по поводу «сухой газетной манеры» изложения его высказываний Сароян еще сильнее подчеркивает свой решительный отказ подчиниться подсказке госдепартамента опорочить содержание интервью. А ведь именно эта «газетная манера» и могла бы послужить удобным предлогом для «отречения».

«Так чего же Вы хотите — чтобы я написал Вам письмо такого вот содержания: «Не беспокойтесь, мистер Паспортный отдел. Я патриот. Я люблю Америку и ненавижу Россию...»

Ну, а я не стану этого делать. Если бы Вы рассчитывали получить от меня ответ такого рода (а очень и очень возможно, что как раз на это Вы и рассчитываете), мне пришлось бы считать себя оскорбленным подобным отношением ко мне... Так что, увольте, не могу пойти Вам навстречу. Отказываюсь.

Я ведь не состою на государственной службе. И никогда не состоял... Куда бы я ни ездил, я езжу на свои деньги и говорю от своего имени.

Если Ваше письмо нужно понимать как предписание не высказываться даже от моего собственного имени, то, простите, подобные инструкции для меня неприемлемы...»

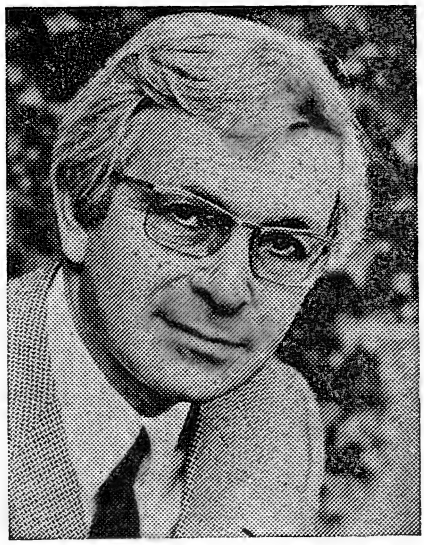
Много воды утекло с тех пор, многое изменилось. «Холодная война» сменилась годами разрядки. Но вот снова на горизонте мира повеяло холодом. И мне захотелось спросить Уильяма Сарояна о том же, о чем я спрашивал его двадцать лет назад.

Я узнал его телефон во Фресно и в Париже, где он нередко бывает, и собрался было позвонить. Но не сделал этого. Я был уверен, что честный, добрый и мужественный человек Сароян и честный, добрый и мужественный писатель Сароян ответит так же здраво, как и двадцать лет назад. Что он, собственно, и делал не раз за эти двадцать лет — и в Москве, и в Ереване, и в Софии, и в своей стране. Я мог бы легко привести здесь цитаты, которые перекликались бы со старым интервью. Но еще раз спрашивать, чтобы, чего доброго, госдепартамент снова запросил от Уильяма Сарояна разъяснений?..

Я не стал ему звонить.

◆

# Интервью



# РОЖЕ ГРЕНЬЕ: «...СЧАСТЛИВ, ЧТО ОТНЫНЕ СУЩЕСТВУЮ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ»

**Четыре года назад я послала французскому писателю Роже Гренье журнал «Знамя», где опубликовала перевод его «Кинороманa» [1]. Гренье откликнулся письмом:**

*«Я очень горд и счастлив, что отныне существую на русском языке — языке писателей, которыми восторгаюсь. Интересно узнать, что могут думать о подобной книге в Москве. Какой далекой должна казаться вам описанная в ней довоенная жизнь французской провинции где-то вблизи Испании». (5 ноября 1976 г.)*

**Письмо это положило начало переписке и заочной дружбе с Роже Гренье, чему в дальнейшем способствовала работа над переводами его рассказов и повести «Круиз» (они вошли в книгу «Зеркало вод», выпущенную издательством «Прогресс» в 1979 году)[2].**

*«Благодарю за приятный сюрприз, который вы сделали мне, прислав экземпляр книги «Зеркало вод». Я очень тронут, потому что для меня важно обрести читателей в вашей стране — одной из самых читающих в мире, где книги ценятся превыше всего». (Письмо от 25 апреля 1979 г.)*

**Мое личное знакомство с писателем состоялось лишь в прошлом году, в издательстве «Галлимар». Здесь публикуются его произведения, здесь Гренье работает долгие годы и не оставляет службу, хотя на счету у него с десяток книг и некоторые отмечены серьезными литературными премиями: «Кинороман» — «Фемина», 1972; сборник рассказов «Зеркало вод» — «Гран-при» Французской Академии, 1975; Общество литераторов наградило его «Гран-при» за все творчество в совокупности. К тому же он отдает много времени кино, пишет сценарии, выступает с беседами по телевидению.**

*«Я провел уик-энд, перечитывая русские рассказы и пытаясь найти что-либо подходящее для телевидения. Мне хотелось бы использовать «Семеро повешенных» Андреева или же «Крысолова» Александра Грина. И потом — правда, это все же слишком злая вещь — «Мелкого беса» Соллогуба. Что вы думаете на этот счет?» (Письмо от 7 ноября 1979 г.)*

**Как известно, «Галлимар» — крупное парижское издательство. Знакомый на память адрес, примелькавшийся по фирменным конвертам, рисует в воображении огромное здание, издательскую суету. Ничего подобного. «Галлимар» занимает дом, скорее напоминающий частный особняк на тихой улочке в тупике, где царит спокойная, для стороннего взгляда ненапряженная атмосфера.**

**Извещенный секретарями о моем приходе, Гренье выходит навстречу в сопровождении своего любимца Улисса — собаки-«рекордсмена» по части знакомства с французскими писателями, галлимаровски-**

[1] «Знамя», 1978, № 9, 10.
[2] См. рецензию в «ИЛ», 1980, № 5.

**ми авторами. Улисс нередко красуется рядом с Гренье в газетах и журналах на фотографиях, украшающих рецензии на новое произведение писателя.**

**Мы располагаемся в скромном кабинете Гренье, который выполняет в издательстве не такие уж скромные обязанности, практически являясь его литературным директором. Говорим о его жизни, службе в издательстве, о влиянии на его творчество других видов искусства — кино и музыки, о его приверженности русской литературе.**

РОЖЕ ГРЕНЬЕ: Работа в издательстве меня очень увлекает. Постоянное общение с писателями, знакомство с новыми произведениями литературы рождают дух соревнования, который стимулирует личное творчество.

*«Я перегружен работой: рукописи, которые ждут прочтения, авторы, которых надо повидать, и множество разных издательских забот. Не знаю, как у вас, но здесь писатели склонны принимать кабинет литсотрудников за кабинет врача-психоаналитика. Они являются к вам и рассказывают про все свои невзгоды, и приходится не столько работать над рукописью, сколько помогать им в денежных вопросах, сердечных неурядицах и других делах». (Письмо от 20 декабря 1976 г.)*

РОЖЕ ГРЕНЬЕ: Публикация русских классиков — Пушкина, Лермонтова, Грибоедова, Л. Толстого, советских авторов — традиция нашего издательства. Достаточно сказать, что из советских писателей за последние десять лет «Галлимар» опубликовал произведения А. Толстого, Шолохова, Маяковского, Катаева, Всеволода Иванова, Паустовского, Тынянова, Платонова, Шукшина, Трифонова — вот далеко не полный перечень имен. Но русский дорог мне лично, наверное, тем, что это язык близких моих друзей, и всегда хочется платить им взаимностью, а также потому, что это — язык моих любимых писателей. К сожалению, я читаю их не в подлиннике, а только по-французски, но мне кажется, что я становлюсь к ним все ближе и ближе по мере того, как меня переводят на этот язык, такой красивый, поэтичный и всегда столь трудно переводимый на французский. И причина не в неуменье переводчиков — не они виноваты, бедняги,— а в природе нашего языка, лишенного этой напевности.

Итак, в числе русских писателей есть такие, творчеством которых я сам занимался вплотную. Например, я написал предисловие к «Вечному мужу» Достоевского и пьесам Чехова. «Вечный муж» — не самое великое произведение Достоевского, но в нем содержится поразительная доля истины, и это толкнуло меня поделиться своими мыслями о том выборе, который Достоевский предлагает читателям в своей повести.

*«По-моему, сила воздействия «Вечного мужа» проистекает от сознания, что эта повесть совершенна по своему построению, отличается кажущейся простотой, и в то же время она настолько многозначна, что каждый эпизод, каждая фраза толкают на бесконечные размышления...» (Из предисловия к повести Достоевского «Вечный муж», «Галлимар», 1972.)*

РОЖЕ ГРЕНЬЕ: Мне сдается, что сам Достоевский не очень любил это произведение — он написал своей племяннице Сонечке Ивановой: «С самого начала я невзлюбил эту мерзкую повесть». В ней выражена альтернатива: либо ты подобен бедняге — вечному мужу, либо ужасному соблазнителю, провинциальному донжуану, а что лучше — неизвестно, и в конце концов еще неизвестно, на кого же из этих двоих ложится большая вина.

Вы просите меня рассказать также о моем отношении к Чехову, поскольку я немало писал о нем и неоднократно выступал с беседами о его творчестве,— вот и совсем недавно меня приглашали для этой цели на бельгийское телевидение.

У нас не так уж и много знатоков творчества Чехова: если пьесы его известны довольно широко, то намного хуже обстоит с новеллистикой,— я считаю, что его рассказы не получили у французского читателя того признания, какого они, несомненно, заслуживают.

Однако мне трудно говорить о Чехове, как трудно бывает всегда говорить о чем-то глубоко личном. Я неоднократно читал его произведения, в моей библиотеке собраны воспоминания о нем его современников, критические статьи, исследования, биографии...

У меня такое ощущение, что чем больше я постигаю Чехова, тем ближе он становится мне, даже его недостатки. Мне хорошо с ним, как с немногими другими писателями, хотя я люблю также и Флобера, Стендаля, Скотта Фицджеральда, Павезе, но первым для меня был и остается Чехов.

*«...Чехов — моя страсть, единственный писатель, которого, как мне кажется, я понимаю «изнутри» — вплоть до его самых потаенных мыслей. Прошлым летом я читал подробнейшую биографию Чехова, написанную одним англичанином,— этот автор знает все, решительно все, но не понял ничего. Есть также много других русских писателей, которых я люблю: Лермонтова, Толстого — за «Смерть Ивана Ильича», Бабеля, Тынянова — за «Смерть Вазир-Мухтара», Паустовского — за его «Повесть о жизни», в которой он выглядит таким беспечным... Вс. Иванова — за «Воспоминания факира», где он рассказывает про свое путешествие в Индию... Люблю также Булгакова. И это далеко не полный перечень...» (Письмо от 11 января 1977 г.)*

РОЖЕ ГРЕНЬЕ: Русская литература на XIX веке не кончается. Есть и современные писатели, которые не оставляют меня равнодушным. Например, «Смерть Вазир-Мухтара» Юрия Тынянова — несомненный шедевр. Эта книга, наверное, не пробудила широкого читательского интереса. А у нас она издана карманным форматом, но оказала значительное влияние на многих писателей. Мне думается, что этим влиянием отмечен даже очень хороший роман Луи

Арагона — «Страстная неделя». И еще одного писателя я воспринимаю как своего друга — Паустовского. Я встречался с ним всего однажды, когда он был проездом в Париже. Тогда я еще не читал всего, что он написал, а теперь, прочтя его «Повесть о жизни»—подлинное чудо, испытываю чувство вины и восхищения.

Вы спрашиваете, как я оказался в Париже? Точнее было бы сказать, что я вернулся туда, поскольку родом я из парижской семьи: мой отец родился на улице Мазарини, в самом сердце Латинского квартала, а дед был типографским служащим и под конец жизни приобрел собственную небольшую типографию на Страсбургском бульваре — словом, по отцовской линии мы парижане. Со стороны матери — крестьяне из Лангедока, где развито виноградарство и делают красное вино.

*«В конечном счете мы исконные парижане. Не каждый может сказать, что его отец родился на улице Мазарини. Я осознал это довольно поздно, осев в провинции, где протекали мои детство и отрочество. Я позабыл свои первые впечатления от Парижа, куда мы приезжали повидаться с родственниками или друзьями,— мне было тогда года три-четыре. С Пиренеев Париж казался невероятно далеким, будто на другой планете. Меня посылали туда в десять лет — побывать на колониальной выставке, которая меня так поразила, что я больше ни на что не стал смотреть. Еще раз я ездил в Париж — на свадьбу и почему-то испытал разочарование настолько, что некоторое время глупо повторял: «Мне не нравится Париж». Подростки любят выламываться, а за неимением опыта и возможностей пользуются любым поводом. А теперь я впал в другую крайность. Мне кажется, что жизнь вне Парижа была бы для меня равносильна изгнанию. Это мой город, и я никогда не устаю искать тут улицы и дома, где прошла жизнь моих дедушки с бабушкой, которых я не знал, где мои родители провели свою молодость — мне трудно себе ее даже вообразить, а также искать все те места, где я оставил частицы своего прошлого. И тут мне начинает казаться, что у меня отняли мой город. Мимо проходят молодые люди, уверенные в себе, в своей красоте, а иные — в своем богатстве так, словно Париж принадлежит им. Их самоуверенность граничит с наглостью. Проспекты, террасы открываются перед ними как будущее. Подобно времени город расстилается под их ногами без конца и края. Им и невдомек, что однажды ловушка улиц и времени за ними захлопнется.*

*А мой Париж состоит из одних руин. И когда я гуляю по кварталам, которые любил, такое впечатление, словно меня уже нет в живых». («Семейная мелодия», «Галлимар», 1979.)*

РОЖЕ ГРЕНЬЕ: Мои родители — типичные мелкие буржуа образца 1900 года, какими они описаны в романах натуралистической школы,— я говорю не о Золя, поскольку это более поздние годы. Они были очень экономны, очень трудолюбивы, постоянно стремились подняться по общественной лестнице Им это удавалось, но затем они неизменно опять скатывались вниз — потребовался бы серьезный анализ, чтобы выяснить почему, но я думаю, что социальными причинами всего не объяснить, имелись и другие — морального порядка. Мои родители были наделены богатым воображением, люди увлекающиеся, порою одержимые безумными идеями. Например, они владели магазином «Оптика», и дела шли хорошо, а они возьми и продай его, чтобы купить захудалый кинотеатр. Так что я как бы прожил несколько жизней, ничем не связанных между собой, кроме моей скромной персоны. И вот это-то интересно, потому что уже имеет отношение к литературе. Я думаю, что есть писатели, которым удается вместить весь свой жизненный опыт в одну книгу, вспомните хотя бы Марселя Пруста. А есть такие, у которых жизнь раздроблена на части, и они как бы прожили несколько жизней. Я прожил пять или шесть жизней, достойных стать сюжетом романа, и пользовался этим в своих романах, создаваемых один за другим, но совершенно несхожих. Один описывает историю незадачливой провинциальной певицы («Зимний дворец», 1965), второй — историю кинотеатра («Кинороман», 1972), третий — приключения молодого человека в годы войны и Сопротивления («Ловушки», 1958) и так далее, и все они вобрали опыт моей жизни. Но мои книги — не автобиография, а романы.

Вы спрашиваете, да и я сам неизменно задаюсь этим вопросом, как человеку, детство и юность которого прошли в городе По, глубоко провинциальном, затерянном у подножия Пиренейских гор, далеко от Парижа, где жили люди, твердившие конечно же не «В Москву, в Москву, в Москву», а «В Париж, в Париж», даже не зная, что можно ждать от Парижа,—как удалось ему вырваться оттуда и поступить на службу к Галлимару. В этом есть нечто от чуда, не правда ли? Должен признаться, хотя так говорить — святотатство, ведь нельзя забывать об ужасах войны, но это случилось отчасти из-за нее. В разгар войны я оказался в городе Клермон-Ферране, в неоккупированной зоне. Там укрывалось много парижан. Моя знакомая еще с довоенных лет — преподавательница математики, которая тоже скрывалась там,— ввела меня в компанию, состоявшую в основном из парижских интеллигентов. И вот среди них по капризу судьбы оказался я, парень из провинции. А потом все вместе мы «поднялись» в Париж, сказав себе, что пережить Освобождение в Париже будет куда интереснее, нежели в Клермон-Ферране. Вас коробит это слово в таком контексте? Просто я хочу сказать, что в годы фашистской оккупации, когда наши родители боролись за Освобождение, мы были молоды, радовались жизни и тому немногому, что нам было дозволено.

И вот мне снова повезло — по счастливой случайности все мы оказались в числе тех, кто захватил Парижскую ратушу. То была

совершенно безумная неделя: мы удерживали ее в своих руках, а немецкие танки стреляли по ней — свидетелю истории. Нам казалось, что мы переживаем вторую Парижскую Коммуну. Так завершались мрачнейшие годы войны, на которые мы оглядываемся теперь с чувством некоторого самолюбования,— ведь то были годы нашей юности.

Мне самому приходилось сталкиваться со случаями безграничного произвола, творившегося в годы оккупации, когда людей арестовывали, угоняли и зверски истребляли. Один из таких случаев, с которым я никогда не смогу примириться, описан в моем рассказе «Берта», где каждое слово — правда. Берта была моим другом, другом нашей семьи, воплощением радости жизни, и, представьте себе ее схватили, и она так и не вернулась из концлагеря.

Потом жизнь потекла своим чередом. После Освобождения в Париже стали издаваться новые журналы и газеты. Меня пригласили сотрудничать в одной из них. И вот моя статья привлекла внимание Альбера Камю. Он взял меня к себе в «Комба». Какой увлекательнейший опыт, и как он меня обогатил! Мне нравилась царившая тут атмосфера, что все, начиная с самого Камю, были писателями, и я захотел проверить, способен ли и я на что-нибудь. И вот в 1949 году я написал эссе «Роль обвиняемого» — о том, как функционирует юридическая машина. Оно было отмечено печатью экзистенциализма, который вошел тогда в моду. Я отнес рукопись в издательство «Галлимар». Альбер Камю опубликовал ее в своей серии и заставил меня подписать контракт на десять книг. Ну, я подписал этот контракт — в шутку, говоря ему, что второй книги никогда не напишу. На что он ответил: «Посмотрим, посмотрим, это еще неизвестно». И в самом деле, потом у меня возникло желание написать роман. А теперь это стало потребностью.

Вы говорите о влиянии кино на мое творчество. Но мне кажется, оно ощутимо у всех писателей нашего времени. Какими бы великими ни были такие писатели, как Бальзак и Стендаль или Достоевский и Толстой, писать, как они, уже невозможно именно потому, что мы живем в век кино, и оно научило нас многим новым приемам, в частности, рапиду[1] и искусству монтажа... Я очень хорошо помню, как однажды в Соединенных Штатах брал интервью у Дос Пассоса, который слывет крупным теоретиком романа и обновил жанр романа своей трилогией «США». Он сказал: «Нет ничего проще, и лично я тут ничего не изобрел — я всему научился у Эйзенштейна; искусству монтажа я тоже научился у Эйзенштейна». Все мы в той или иной мере восприняли приемы кино. Я сам написал книгу под названием «Кинороман». В прежнее время во Франции так назывались популярные брошюрки, пересказывающие фильмы наподобие романа. Я же написал роман, главным героем которого является не мужчина, не женщина, не семья, а кинотеатр на краю города, с его бедами в предвоенные годы, когда дела шли плохо, один хозяин сменял другого и все по очереди терпели крах, что, однако, не мешало им восторгаться, скажем, Гарри Купером или Гретой Гарбо. Совершенно очевидно, что этот роман «полон кино», что определило манеру письма и источник моего вдохновения.

Однако для меня важно не только кино, но и нечто наиболее трудно переводимое на язык слов — музыка. Я не большой знаток музыки, и есть множество людей куда более в ней сведущих, но я из числа тех, кто пропитан ею и не может без нее существовать. Если бы мне пришлось играть в игру «что бы ты взял с собой на необитаемый остров» и выбирать между книгами и музыкой, думаю, мой выбор пал бы на музыку. И в моих книгах это явно идет по нарастающей, поскольку предпоследняя даже названа—«Семейная мелодия». «Мелодия» имеет двойной смысл—это и семейная хроника, и музыкальный термин, потому что литература и музыка сливаются здесь воедино.

*«Вот я и вернулся из Италии, где провел очень насыщенный отпуск на границе Тосканы и Умбрии. Я много разъезжал по городам, где еще не бывал,— Перуза, Урбино, Кортоне, Витербо, Орвьето и др., но главное, я написал все то, над чем размышлял в течение года, не имея времени писать. Так, я закончил книгу, которая называется «Семейная мелодия». Это и не роман, и не рассказы, и не автобиография, но понемножку все, вместе взятое, и плохо поддается объяснению». (Письмо от 8 августа 1978 г.)*

**И в самом деле, музыка занимает большое место в этой книге, которая состоит из воспоминаний писателя и ряда новелл, и каждая из них обозначена в заголовке музыкальной темой или названием музыкального произведения (например, «Баркаролла» из «Сказок Гофмана», «Концерт № 1 Паганини», «К радости», «Кармен»).**

РОЖЕ ГРЕНЬЕ: И в довершение ко всему недавно вышел мой новый роман «Фолия», что по-итальянски значит безумие, но это также название танца, модного в XVII веке, варианта чаконы. Музыку для него сочиняли многие композиторы того времени, к примеру, итальянцы Доменико Скарлатти и Корелли, немец Иоганн Себастьян Бах, о нем упоминается у мадам де Севиньи, в арии из оперы Моцарта «Дон Жуан». Но этот роман вовсе не из жизни XVII века — его действие начинается в 50-е годы, то есть он основан на современном материале. Героиня романа испытывает пристрастие к музыке фолия, построенной на повторах,— чарующей, трагичной. Художник, влюбленный в героиню, пишет картину, которую назовет «Фолия», и она тоже будет играть большую роль в повествовании. Итак, в «Фолии» много сюжетных ходов и сложная композиция.

*«Содержание романа трудно пересказать. Действие начинается после войны, в пятидесятые годы. В нем фигурируют бо-*

[1] Ускоренная съемка (от *франц.* rapide).

*гатый и таинственный бизнесмен и его жена; художник и его жена; комический актер мюзик-холла и его жена; знаменитый футболист; посредственный самозваный поэт и другие персонажи. В нем есть что-то от водевиля — перекрещиваются интриги, qui pro quo[1] и даже стрельба из револьвера. Но главным образом это опыт, поставленный, чтобы увидеть, как исчезают люди, как время стирает их с лица земли. Моделями для меня послужили, возможно, «Мемуары» Эдмунда Вильсона и «Скучная история» моего дорогого Антона Павловича». (Письмо от 7 сентября 1979 г.)*

РОЖЕ ГРЕНЬЕ: Среди композиторов мне особенно дорог Франц Шуберт. К нему относится все то, что я говорил вам только что о Чехове. Я чувствую себя очень близким к нему — поди узнай, почему кто-то говорит вашему сердцу больше другого, это тайна, которую трудно разгадать. И все-таки, пожалуй, причина существует. В По, где, как вы знаете, прошли мои детство и юность, я слышал лишь несерьезную музыку—родители признавали только оперетки, например, «Корневильские колокола», «Мушкетеры в монастыре», «Свадьба Жанетты», и мы ходили слушать их в казино «Зимний дворец». И вот я написал роман «Зимний дворец», повествующий об этом времени и обо всем, что с ним связано. Прототипом героини Лидии стала наша соседка, которая мечтала о карьере великой певицы, но ее родители-мещане, считая пение занятием предосудительным, всячески препятствовали ей в этом. Мечтая об успехе, она целыми днями сидела за пианино и пела вокальные циклы Шуберта. Возможно, это способствовало формированию моего музыкального вкуса. Еще сегодня, когда я слышу «Зимний путь» или «Лесного царя», я испытываю волнение от нахлынувших воспоминаний детства. «Зимний путь» Шуберта послужил для меня толчком к созданию рассказа, которым открывается сборник «В редакции газеты». Он посвящен профессии журналиста, почти все его герои — репортеры. Рассказ этот — своего рода размышление об их тяжких скитаниях, в чем-то сравнимых со скитаниями шубертовского путника из «Зимнего пути».

[1] Буквально: кто за кого *(лат.)*.

*«Многие годы я был репортером отдела происшествий. Каждую неделю, а то и по нескольку раз в неделю чье-то преступление или самоубийство вынуждало меня отправляться в путь. Любое такое путешествие, думал я, похоже на «Зимний путь» Шуберта — мрачное, полное отчаяния шествие к смерти». («Зеркало вод», «Прогресс», 1979, с. 20.)*

РОЖЕ ГРЕНЬЕ: Некоторые считают, что я слишком часто пишу про печальные вещи, привожу многих своих персонажей к смерти. Мне понятно такое мягкосердечие читателя. Чехов сказал по поводу «Войны и мира»: «Если бы я знал князя Андрея, я бы вылечил его»

Быть может, мое видение жизни и пессимистично, но в то же время оно сглаживается легким характером, который мне присущ. Можно считать, что мир ужасен, и все-таки обладать веселым нравом, воспринимать любую шутку, смеяться даже по пустякам.

Но пусть вас и гнетут все беды мира, пусть мир в ваших глазах — извечная юдоль несправедливости и несчастий, одним из утешений (и не иллюзорных, а вполне реальных) является творчество. Именно в этом смысле Шуберт и сказал (его слова я поставил эпиграфом к «Семейной мелодии»): «В печали черпаю я последнее наслаждение этой жизни». В своих произведениях я оглядываюсь на прошлое, остро ощущаю страдания и беды мира, но стоит мне передать свои чувства в книге, и я уже нашел для себя утешение...

**...Пока шла эта беседа, можно было постигнуть всю справедливость характеристики Роже Гренье, которая принадлежит его собрату по перу — французскому писателю Роже Шатоне. Она прекрасно дописывает портрет человека и художника: «Роже Гренье не из тех, кто тешит себя надеждами и ищет легкого успеха. Это человек, не живущий иллюзиями и не нуждающийся в них. В его взгляде на мир, однако, нет горечи, а есть выстраданное чувство радости бытия, которое поддерживает и подбадривает нас на каждом повороте, чтобы мы могли пережить и смешное, и печальное, и отталкивающее».**

*Беседу записала и перевела*
*ЛИЯ ЗАВЬЯЛОВА*

◆

# Публицистика

В. ХАЙНОВСКИЙ, Г. ШОЙМАН

# КАМПУЧИЯ — ГИБЕЛЬ И ВОЗРОЖДЕНИЕ

## Сценарий документального фильма

*Перевод с немецкого М. ОСИПОВОЙ*

### Вступительное интервью

— В конце 1977 года, представляя зрителям «Железную крепость» — последний из четырех ваших фильмов о победившем Вьетнаме,— вы на вопрос о ваших дальнейших планах ответили словами Эриха Вайнерта: «Страну, судьба которой нас так страшила и волновала, мы полюбили навек».

— И все же тогда мы не предполагали, что нам придется так скоро вернуться в Юго-Восточную Азию. В феврале 1978 года, когда заместитель министра иностранных дел СРВ взволнованно рассказывал нам о тяжелом положении на границе его страны с Кампучией, мы о работе над фильмом еще не думали. Но уже через год с небольшим довелось в Пномпене вновь свидеться с этим товарищем: он был назначен послом СРВ в только что образованной Народной Республике Кампучии. Так что события развивались быстрей, чем можно было ожидать. После свержения клики Пол Пота — Йенг Сари все, происходившее в этой стране с 1975-го по 1979 год, раскрылось полностью, и тут уж молчать стало невозможно: мы были обязаны ехать в Кампучию или в то, что от нее осталось...

— Что от нее осталось — это нам, благодаря ряду уже опубликованных репортажей, известно.

— Наш фильм тоже содержит «опись наследства» клики Пол Пота — Йенг Сари. Но мы рассматриваем ее прежде всего как материал для ответа на вопрос о причинах, о корнях страшных событий в Кампучии. И одновременно нам хотелось заострить внимание общественности на некоторых абсурдных явлениях, последовавших за кампучийской трагедией.

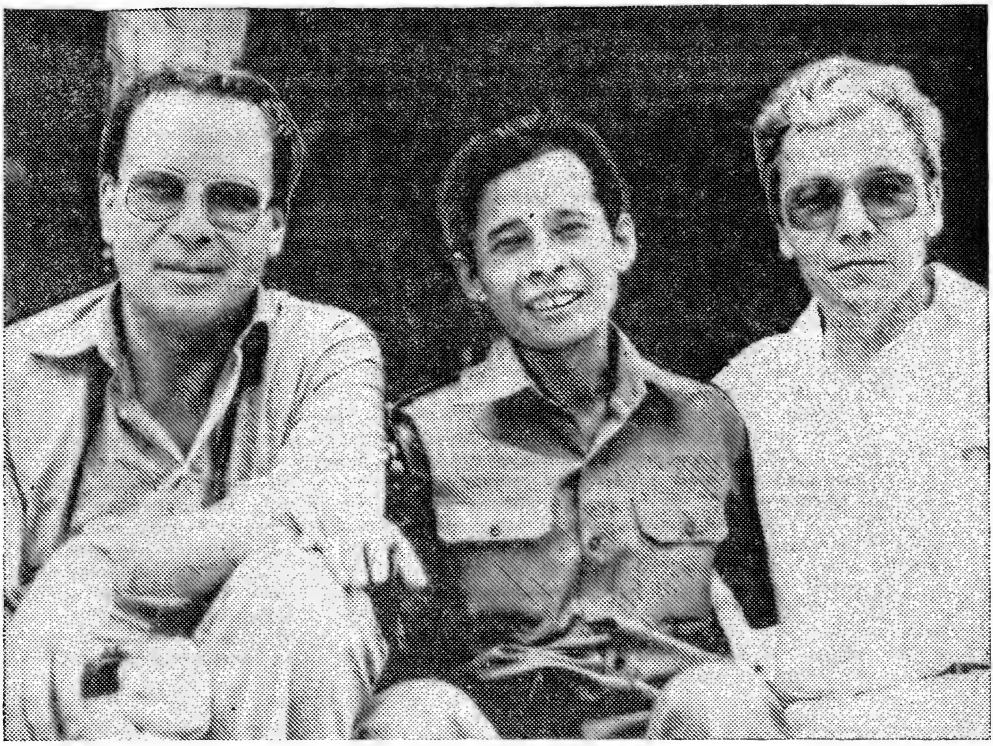
— О каких абсурдных явлениях вы говорите?

— Мы имеем в виду тот факт, что предводители свергнутой клики Пол Пота все еще странствуют по свету, делая вид, что представляют законное правительство

---

© Studio H & S, 1980.

**ВАЛЬТЕР ХАЙНОВСКИЙ** — **WALTER HEYNOWSKI** (род. в 1927 г.).
Немецкий журналист, сценарист, режиссер (ГДР). Начал печататься с 1946 г. Был главным редактором сатирического журнала «Уленшпигель», работал на телевидении. Автор серий телепередач и документальных фильмов «Убийство во Львове», «Акция Йот» и др. Им написан также ряд сценариев документальных фильмов для киностудии «ДЕФА». Творчество В. Хайновского отмечено тремя Национальными премиями ГДР.
**ГЕРХАРД ШОЙМАН** — **GERHARD SCHEUMANN** (род. в 1930 г.).
Немецкий журналист, сценарист, режиссер (ГДР). Работал на Берлинском радио, затем на телевидении — занимался репортажами и социологическими исследованиями Трижды лауреат Национальной премии ГДР.
Творческое содружество В. Хайновского и Г. Шоймана осуществляется с 1965 г.— сначала на киностудии «ДЕФА», а затем на киностудии «Х. и Ш.». В «Иностранной литературе» (1969, № 6) об их творчестве печаталась статья А. Новогрудского.
Сценарий В. Хайновского и Г. Шоймана «Кампучия. Гибель и возрождение» был опубликован в 1980 г. («Kampuchea. Sterben und Auferstehn». Studio H & S, 1980). Текст печатается с небольшими сокращениями.



**Герхард Шойман, Кео Чанда — министр культуры, информации и прессы Народной Республики Кампучия — и Вальтер Хайновский**

так называемой Демократической Кампучии — т. е. того самого режима, без свержения которого было бы невозможно спасти кампучийский народ от геноцида. И не к чести ООН тот факт, что непосредственно после освобождения страны эта организация изъявила готовность и впредь поддерживать с кликой Пол Пота нечто вроде дипломатических отношений.

— В традициях вашей работы было показать в фильме и кого-то из представителей клики.

— Да, такой персонаж есть в нашей картине и принадлежит он к «самому избранному» кругу. Йенг Тирит, которую мы имеем в виду,— не только жена Йенг Сари, второго по значению человека клики — она именует себя и «министром социальных проблем» правительства Демократической Кампучии. Стоит привести выдержки на этот счет из опубликованных в Париже записей принца Сианука. «Это мнимое правительство,— пишет он,— фактически состоит из четырех лиц: Пол Пот, Йенг Сари, мадам Пол Пот, мадам Йенг Сари». И в другом месте, характеризуя ее должность «министра социальных проблем», отмечает: «В действительности же она крепко держит в своих руках организацию культурной, общественной, экономической и прочей жизни всех «подданных» олигархии Пол Пота — Йенг Сари. Именно эту мадам Йенг Сари (с Пол Потом она, кстати, тоже в родстве) нам удалось заснять на пленку в Стокгольме, где она выступала перед представителями маоистских группок из разных стран Европы.

В нашем фильме мы предоставляем мадам Йенг Сари возможность показать себя во всей красе — и прежде всего привести свои чудовищные обвинения в адрес Вьетнама. Вам предлагают поверить в то, что все преступления, совершенные в Кампучии с 1975 по 1979 год, были делом рук «вьетнамских агентов» — так, во всяком случае, это выглядит в устах мадам Йенг Сари. Возникает любопытный эффект: мадам сама доводит свои утверждения до абсурда; безмерность ее лжи делает излишним ее опровержение. И мы надеемся, что каждый, кто по каким бы то ни было причинам и сегодня продолжает признавать клику Пол Пота — Йенг Сари, всерьез задумается, увидав и услыхав эту «министершу» с экрана.

— Тем самым ваш фильм ставит вопрос: кто полномочен говорить от имени народа Кампучии?

— Данный вопрос действительно основополагающий — как сегодня, так и на ближайшее будущее. Когда 7 января 1979 года Пномпень был освобожден войсками Национального фронта спасения Кампучии — не в последнюю очередь произошло это благодаря вооруженной помощи Вьетнама,— это явилось фактом необратимым. Ситуацию не в состоянии изменить никакие вооруженные банды, мародерствующие в районе границы с Таиландом,— банды, оплачиваемые и снаряжаемые Пекином и ЦРУ.

Задача сейчас — показать широкой международной общественности, что представлять интересы кампучийского народа вправе только правительство Народной Республики Кампучии. Необходимо, чтобы все в полной мере осознали это.

— Весь ход истории Кампучии, и не только в новейшее время, был исключительно сложным. Подлежат ли вообще исторические проблемы раскрытию средствами кино?

— Задача нелегкая, конечно, — материал трудный, кинематографическому воспроизведению сопротивляется. И все же, если мы хотим понять тяжкое настоящее, нужно представить себе и некоторые важнейшие линии истории. Не из преисподней же в самом деле вылезла клика Пол Пота! Всего, что произошло в этой стране, голым волюнтаризмом не объяснишь. Поэтому нам пришлось обратиться к социальным причинам, сделавшим возможным появление Пол Пота и временно обеспечившим ему известное число сторонников, — таким причинам, как феодализм, не преодоленный окончательно до самого последнего времени, как острейший контраст между городом и деревней. Не могли мы игнорировать и того, что идеологические вдохновители Пол Пота — Йенг Сари находятся в Пекине. В Кампучии впервые за пределами Китая была применена модель маоистской «культурной революции», и участвовали в этом «эксперименте» двадцать тысяч китайских «советников». Что они «советовали» — мы сейчас видим по результатам.

— Не здесь ли, собственно, истинный корень всей проблемы?

— Нам это представляется следующим образом. Сначала великая победа народов Индокитая над американским империализмом и его марионетками в Сайгоне и Пномпене создала для этих народов историческую возможность национального и социального освобождения. Но у кампучийского народа эту победу узурпировало правительство Пол Пота, взявшее на себя роль защитника гегемонистских устремлений Пекина. Время с апреля 1975-го по январь 1979 года было, как свидетельствуют факты, временем агонии Кампучии. После того, как господство клики Пол Пота в этой стране было сломлено и она приступила к восстановлению нормальной жизни, после того, как народы Кампучии и Вьетнама заключили договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, мы вправе говорить о возрождении — длительном, связанном со многими трудностями и лишениями процессе, в котором еще долгое время будут необходимы наша солидарность, наша помощь.

■

Стали уже историей картины, заснятые на пленку весной 1979 года,— покинутая, заросшая сорняками столица, чудовищные горы черепов, горестные лица, разоренные поля и рассказы плачущих людей о том, что они пережили; рассказы, в которых без конца повторяется одно и то же слово «самлап» — «убит»...

Вопрос о предпосылках и причинах — как внутренних, так и внешних — этого возмущающего совесть явления социально-политической истории нашего века фильм показывает уже с позиций возрожденной человечности и созидательного труда, а следовательно, и с верой в будущее. Рассказы выживших — крестьянок и государственных деятелей, учителей, а также истории бывших военнослужащих клики звучат с потрясающей убедительностью. И рядом с ними — раскаяние мелких и бесстыдная ложь крупных убийц; и продолжающаяся погоня за зловещими великодержавными целями...

Это фильм красноречивых фактов и упорного исследования причин. Его последнее слово — «необратимо».

Проходящие на экране кадры запечатлели годы ужаса в свидетельствах выживших жертв, палачей и тех, кто сумел этих палачей обезвредить.

**Перед премьерой фильма**

АВТОР

**Флажки на столе. Подписывающий договор Хенг Сомрин.**

На столе в бывшем королевском дворце в Пномпене — два государственных флажка. Ставят подписи: за Народную Республику Кампучию — Хенг Сомрин.

**Рука подписывающего договор Фам Ван Донга.**

За Социалистическую Республику Вьетнам — Фам Ван Донг. Договор подписан.

**Обмен подписанными экземплярами.**

Обмен подписанными экземплярами, рукопожатия, объятия...

**Подписавшие договор чокаются. Фам Ван Донг с бокалом в руке.**

Что произошло сейчас в Пномпене? Не увековечена ли тут агрессия, оккупация? Не стоят ли тут друг против друга завоеватели и завоеванные, оккупанты и их сателлиты? Не скрывается ли за всем этим рука Москвы?

**Подписи (крупный план).**

И что происходило в Кампучии до того, как были поставлены эти подписи?

АВТОР

Выступает заместитель председателя Революционного народного совета Народной Республики Кампучии, министр национальной обороны Пен Сован:

**Говорит Пен Сован.**

Когда народ Кампучии поднялся на борьбу против империализма США и добился победы, когда он изгнал из Кампучии американцев и с ними всех марионеток американского империализма — тогда клика Пол Пота — Йенг Сари воровски похитила у народа эту победу.

**Фотография: смеющиеся Пол Пот и Йенг Сари.**

АВТОР

**Автомашина едет по безлюдным улицам.**

Украденная победа... Столичный город Пномпень считался прежде жемчужиной Юго-Восточной Азии. Во время своего господства клика Пол Пота — Йенг Сари цинично именовала страну Демократической Кампучией. В ту пору опустел не только Пномпень — жизнь замерла во всех городах страны.

**Голубятня.**

Опустели даже голубятни Пномпеня, в которых прежде обитали тысячи голубей.

**Фотография на стене одной из квартир.**

В опустевших квартирах Пномпеня кое-где еще висят семейные фотографии... Где сейчас они, эти люди, с немым вопросом глядящие на нас со стен?

**Жилая комната с хаотически разбросанной мебелью.**

Когда-то они жили в этих комнатах, спали на этих кроватях. Они вешали свои платья в шкафы, они пользовались домашней утварью — утюгами, например.

У них были радиоприемники

**Стоящий в саду телевизор.**

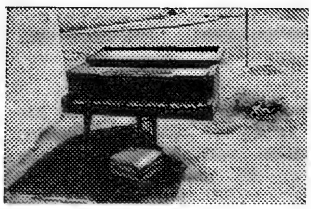
и телевизоры.

**Покрывшаяся мусором и сорняками автомашина под открытым небом.**

Они ездили на машинах.

**Выброшенная на улицу обувь.**

Кто носил когда-то эти туфли?



Кто играл на этом рояле?

**Рояль на мостовой.**

**Цветок крупным планом. Пустая улица.**

Какой зловещий контраст: красота природы на фоне запустения;

**Другой цветок (так же крупно). Снова пустая улица.**

она лишь подчеркивает его еще больше.

**Башня городского водопровода, обслуживающий персонал. Рука, поворачивающая водопроводный кран.**

Здесь трудятся вьетнамские специалисты. Чтобы город стал вновь обитаемым, надо, чтобы из кранов опять потекла вода.

**Специалисты за пультом электростанции.**

Специалисты из Вьетнама вместе со своими пномпеньскими коллегами стремятся как можно скорее восстановить энергоснабжение города.

**Работающие вентиляторы, горящие лампы.**

Когда городу дали ток, в пустых домах вновь заработали вентиляторы, их забыли выключить несколько лет назад; вновь загудели кондиционеры; в город робко вернулось что-то вроде жизни.

**Струя воды из крана в ванной. Вода течет и из крана во дворе.**

**Фото: портрет Мао Цзэдуна среди мусора и консервных банок.**

АВТОР

**Фасад китайского посольства.**

Опустело и это здание — бывшее китайское посольство.

**Революционные войска со знаменами на улицах Пномпеня.**

Седьмого января, когда войска Национального единого фронта спасения Кампучии при поддержке вьетнамских частей вступили в Пномпень,

**Длинный коридор и дверь в его конце.**

эти длинные коридоры опустели, и двадцать тысяч так называемых китайских советников покинули страну.

**Китайцы на границе, пытающиеся руками заслонить лица от кинокамеры. Снятая вывеска посольства. Снова длинный коридор.**

Некоторых из этих советников позднее видели на пограничных заставах Таиланда.

**Здание главного почтамта в Пномпене. Портал, решетка.**

Пустым стало в последние годы и это здание: главный почтамт. В так называемой Демократической Кампучии письма и телеграммы не принимались и не отправлялись;

**Корешки телефонных справочников выпуска 1971 года.**

бездействовала телефонная сеть. Покрылись пылью телефонные справочники.

**Адрес на конверте: «Посольство Кампучии...»**

Тот, кто хотел связаться письменно с властителями в Пномпене, должен был делать это через Пекин.

**Проросшая между рельсами трава.**

Заросшие травою рельсы.

**Каркас вагона.**

Сожженные железнодорожные составы...

**Выставленная на перрон мебель.**

На пномпеньском вокзале движение прекратилось — поезда не отправлялись и не приходили.

**Самолет на посадочной полосе; перед ним развернутый красный ковер.**

Конечно, в Пномпене есть и аэродром, но пока страна называлась Демократической Кампучией,

**Табличка с обозначением маршрута Пномпень—Пекин.**

взлетали и садились лишь самолеты рейса СА 951-52:

**Изображение этого маршрута на карте.**

Пномпень — Пекин и обратно.

**Гости и хозяева в момент встречи — улыбки, аплодисменты.**

Визит дружбы в Пекин. Пол Пот и Йенг Сари, председатель Хуа Гофэн и его заместитель Дэн Сяопин.

**Делегация перед фронтом почетного караула.**

Ответный визит в Пномпень. Йенг Сари приветствует китайскую делегацию.

**Жилой дом с остатками обстановки.**

Этот Пномпень, каким мы его еще застали, кошмарен, история не знает ничего подобного.

**Дом и заросшая сорняками улица.**

Мы хотели найти свидетелей, которые могли бы поведать о том неправдоподобном, что выпало на долю этого города, его людей; и мы нашли их в этом только что заселенном доме — сначала детей, оставшихся в живых потому, что их матери бежали с ними в соседний Вьетнам.

**Лица детей крупным планом.**

Они вернулись в Пномпень на военном грузовике.

**Лицо и ноги ребенка. Четверо женщин в пестрых платьях за чайным столом. Цветы.**

Дети уже оправились от страха или были слишком малы, чтобы все осознать. Но их матери не могут забыть, что произошло в тот день 17 апреля 1975 года, который, как они верили вначале, станет днем освобождения.

## ДИКТОР

**Вступление революционных войск в Пномпень. Ликующие люди на тротуарах, белые флаги.**

17 апреля 1975 года войска тогдашнего Национального единого фронта Кампучии, именовавшиеся «красными кхмерами», заняли столицу страны Пномпень.

**Лон Нол в сопровождении группы военных инспектирует войска.**

Диктатор — маршал Лон Нол к этому моменту уже бежал из Кампучии. В марте 1970 года Лон Нол сверг правительство Сианука, следовавшее политике нейтралитета[1]. Ведущая роль в этом перевороте принадлежала американской секретной службе ЦРУ.
Ответной мерой явилось образование в джунглях Единого национального фронта патриотических сил. Его вооруженные соединения борются против предательского режима в Пномпене и его американских союзников. За пять лет они освобождают девяносто процентов территории страны.

---

[1] Как известно, позиция принца Сианука не была последовательной. Он не раз оказывался в союзе с кликой Пол Пота и ее вдохновителями из Пекина и Вашингтона *(прим. ред.)*.

**Вертолеты в воздухе. Ракетный и пулеметный огонь.**

Пять лет бушевала в Кампучии кровопролитная война, в ходе которой США, не колеблясь, наносили по этой стране мощные удары с воздуха.

**Раненые жители города на улицах.**

В огне американских бомб и ракет погибло около пятисот тысяч человек.

**Солдат Лон Нола угрожает военнопленному ножом; нож крупным планом; многочисленных военнопленных в оковах уводят.**

Как и в соседнем Вьетнаме, здесь одновременно велась и гражданская война, в которой силам марионеточного режима противостояли боевые части Национального единого фронта.

**Вступление в Пномпень. Ликующие лица мирных жителей.**

Наконец, 17 апреля 1975 года войска Национального единого фронта вступают в Пномпень. Индо-китайская военная эпопея США на территории Кампучии бесславно завершена.

Наша радость была неописуема. Все мы думали: наконец-то война для нас кончилась, наконец-то к нам вернулось счастье и мы со своими семьями снова сможем жить в мире. Но против наших ожиданий клика Пол Пота — Йенг Сари после прихода к власти распорядилась иначе. Всех жителей Пномпеня согнали в одно место.

**Говорит первая свидетельница (лицо крупным планом).**

**Входящий в ворота солдат с поднятым автоматом.**

Солдаты с оружием в руках выгоняли людей из домов.

Они угрожали нам расстрелом, нам приходилось покидать свои жилища, не имея возможности взять с собой хоть что-нибудь из имущества. Нам сказали, что всех перебрасывают в другое место только на один день, якобы для того, чтобы спасти от американских бомб. Мы — мой муж, мои дети и я — ушли из своей квартиры босиком. По дороге я слышала крики детей, потерявших родителей. Матери искали детей, дети — матерей. Больных выгоняли из больниц, раненые, нуждавшиеся в перевязке, молили о помощи, но помочь им было некому. Каждый стремился спастись сам.

**Бегущие люди со скарбом.**

**Бегущие монахи с чемоданами и узлами.**

**Снова первая свидетельница.**

**Угрожающий жест солдата с пистолетом.**

Монахов, даже совсем старых, тоже изгоняли из пагод, они вынуждены были присоединиться к нам. Многие беременные женщины рожали в дороге и умирали; многие старые женщины умерли от голода.

**Снова первая свидетельница; лицо крупным планом.**

С этого полудня 17 апреля 1975 года я долгое время видела только жестокость, нищету и болезни...

АВТОР

**Город с воздуха. Крыши. Город кажется вымершим.**

Там, внизу, в домах Пномпеня, жили прежде такие же люди, как и в других городах: рабочие, ремесленники, предприниматели, священники, студенты, школьники, учителя, медики, художники, писатели, музыканты, офицеры, солдаты, политические деятели. Всем им, за исключением группы предателей — семи человек, возглавлявших марионеточный режим на службе США,

**Фотография: руководители Единого фронта.**

Национальный единый фронт Кампучии под председательством принца Сианука еще в феврале 1975 года обещал:

ДИКТОР

Осуществлять политику широкого единства всей нации и всего народа без различия социального положения, политических взглядов и религии и невзирая на прошлое каждого отдельного человека.

АВТОР

Целью этой политики объявлялось «создание цветущей Кампучии»...

ДИКТОР

в которой каждый сможет есть досыта, пристойно одеваться, иметь квартиру, получить образование, пользоваться медицинским обслуживанием.

АВТОР

**Снова фотография группы руководителей. Рамкой обводится лицо Пол Пота, затем — Йенг Сари. Снова вся группа целиком.**

Большинство руководителей Национального единого фронта Кампучии принимало эту программу всерьез. Памятуя о дальнейшем, выделим из этой группы двоих. Одного из них зовут Салот Сар, он руководит военными операциями освободительных сил. Другой — Йенг Сари, «специальный политический советник» главнокомандующего. В группе руководителей Национального единого фронта стоят Йенг Сари и Салот Сар (позднее он будет называть себя Пол Потом) — приверженцы политических идей Мао Цзэдуна.

**Фотография: смеющемуся Пол Поту пожимает руку Мао Цзэдун.**

**Фотография: смеющиеся Йенг Сари и Мао Цзэдун.**

Судя по их собственным высказываниям, на них произвела глубочайшее впечатление так называемая «культурная революция» маоистов.

**Снова фотография группы руководителей.**

Еще 25 февраля 1975 года они участвовали в утверждении программы «умиротворения и равновесия».

**Ликующие люди на улице.**

Но 17 апреля 1975 года, когда жители Пномпеня ждали вступления в город солдат Фронта освобождения.

**Фотография группы руководителей. Наплыв; остаются Пол Пот и Йенг Сари.**

Пол Поту и Йенг Сари удалось взять верх над другими его руководителями. Политика их оказалась совершенно иной. Узурпировав завоеванную народом в тяжких боях победу, они вводят режим террора, в истории Кампучии беспримерный.

**Фотография: гора черепов.**

**Говорит первая свидетельница. Брошенный кабинет врача. Шкаф; выброшенные и растоптанные лекарства. Валяющиеся медицинские инструменты.**

Мой муж был врачом в больнице «Кхмеро-советской дружбы». Через два дня после того, как он попал в село, его забрали. Сказали: на «переобучение», обещали, что он скоро вернется. После этого ареста я никаких известий о нем не получала. Не знаю, жив ли он еще или мертв, а если жив, то где находится.

АВТОР

Итак, ее муж был врачом в этой больнице, которая была построена Советским Союзом в нейтральной Камбодже.

Оборудование разбито, повсюду — следы явно преднамеренного уничтожения.

Слепая ненависть клики Пол Пота — Йенг Сари к Советскому Союзу обратилась и на медицинское учреждение, принадлежавшее прежде к числу самых современных во всей Юго-Восточной Азии.

**Говорит вторая свидетельница; она плачет.**

Мой муж был начальником аэропорта Почентонг. Вскоре после нашего прибытия в мое родное село его забрали на «переобучение» — якобы ненадолго. Но с тех пор я о нем ничего не знаю. После этого я жила с двумя детьми, с сестрой и кузиной. Меня постигло страшное горе: от голода погиб мой четырехлетний сын, у нас нечего было есть, он заболел и умер. Я никогда не успокоюсь.

**Первая свидетельница вытирает слезы платком.**

Я могу только ненавидеть эту клику предателей за ее страшные преступления

**Вторая свидетельница говорит сквозь слезы.**

**против меня и против всего кампучийского народа.**

**Говорит первая свидетельница.**

Когда меня пригнали из Пномпеня в мое родное село, я должна была жить в принудительной «коммуне», как относящаяся к так называемому «новому населению».

**Говорит бывший полпотовский солдат.**

Я принадлежу к «старому населению».

**Говорит первая свидетельница.**

Жизнь в принудительной «коммуне» для каждого, кого относили к «новому населению», означала лишение свободы.

**Говорит бывший полпотовский солдат.**

«Старое население» живет в деревне, «новое» прибывает из города.

**Говорит первая свидетельница.**

Руководители принудительной «коммуны», да и многие жители из «старого населения» постоянно нас оскорбляли, преследовали, угнетали.

**Говорит бывший полпотовский солдат.**

«Старое» население должно было быть непременно отделено от «нового».

**Говорит первая свидетельница.**

Это было страшное, жестокое время — я знала, что в любой момент мучителям может прийти в голову решение пытать или казнить меня.

**Говорит бывший полпотовский солдат (лицо крупным планом).**

Горожане — это «новое население». Их следовало убивать.

**Говорит первая свидетельница (лицо крупным планом).**

Каждый день людей из нашей «коммуны» забирали и бросали в тюрьму или убивали. И только за то, что они жаловались, что устали или голодны.

**Группа бывших солдат; отдельно — младший из этих солдат, почти детей. Говорят по очереди.**

Я принадлежу к старому населению.

Я принадлежу к старому населению.

Я принадлежу к старому населению.

Старое население.

Старое население. (10 аналогичных ответов.)

АВТОР

Эти мальчишки были военнослужащими Пол Пота, и именно они, почти еще дети, относятся к «старому населению». Необходимо поразмыслить над некоторыми понятиями, доныне неслыханными. Если мы правильно поняли то, что понять почти невозможно,

**Четыре вдовы за столом.**

то жителей городов причисляли к так называемому «новому населению».

**Смятые бумаги и семейные фотоснимки на полу.**

Пол Пот и Йенг Сари считали город развращенным, вырождающимся и в конечном счете — недостойным существовать.

**Пустая дорога. Деревянные ворота.**

По этим длинным дорогам тянулись депортированные горожане, и те, кто во время перехода выживал, попадали за такие ворота, через которые можно было только войти, но нельзя было выйти, ибо эти ворота охранялись

**Снова мальчик и группа полпотовских солдат.**

стражниками — такими, как эти.

**Поселок за деревянными воротами.**

Полпотовцы называли это «товариществами» — принудительными «коммунами» депортированных.

**Говорит первая свидетельница.**

Работа была неописуемо тяжелой. С трех часов утра до шести вечера — таков был наш рабочий день, лишь после этого можно было идти домой. Единственный перерыв — 15 минут днем после еды. Она состояла из пиалы риса с солью. В течение всех трех лет, что я там была, я не знала, что значит быть сытой, не знала никакой радости.

**Говорит пожилая женщина в очках.**

Там было ужасно. Спать я ложилась на голую землю и накрывалась мешком. Мы работали на рисовых полях и спали под открытым небом, никаких подстилок даже не было.

**Говорит молодая женщина.**

Моя тетка в деревне заболела. Они сказали, что эта болезнь идет еще от старого общества, а сейчас лекарств нет, поэтому ей лучше умереть. И если она умрет, сэкономят хоть на медицине. И они оставили ее умирать.

**Другая женщина с ребенком на руках;**

Так было со стариками и больными. Когда мы заболевали, нам говорили: вы что, совсем с ума сошли — от работы улизнуть хотите? А кто падал от изнеможения, того просто утаскивали с поля.

**снова молодая.**

Для больных перерывов тоже не было — они работали, пока не падали.

**Женщина с ребенком на руках.**

Даже беременным приходилось, как и всем, работать день и ночь.

**Говорит пожилая женщина. Дети на переднем плане. Снова говорящая.**

Такие вот малыши должны были с утра до десяти вечера таскать землю. Мы работали без перерывов, ели на солнцепеке, спали под открытым небом — никаких бараков, никакой тени. А во время половодья сидели в воде, дрожа от холода; там же мы и ели. И мы должны были продолжать работу — продолжать, несмотря на холод...

**Говорит беззубая старуха.**

Мучили они нас! Еды не было, только суп — вода и чуть-чуть зелени...

**Говорит стоящая под деревом женщина.**

В таком большом котле лишь две-три горстки риса, и этого должно было хватать на сотни людей! Каждый получал пиалу, как мог человек этим насытиться?

**Руки говорящей; женщина в очках; дети.**

Некоторые ели сырые листья и отравлялись. Дети ели какие-то ягоды и тоже отравлялись; и после работы матери находили детей харкающими кровью, так сильно они отравились. Многие дети умирали из-за того, что ели ядовитые плоды.

**Говорит женщина; другая плачет.**

Вместо того чтобы учиться, дети должны были убирать навоз и нечистоты.

**Говорит мужчина.**

Им не разрешалось учиться. В пять-шесть лет они должны были уже таскать землю для плотины или рыть оросительные каналы.

**Жест его руки в сторону группы детей. Детские лица.**

Да, да — землю для плотины или оросительные каналы в пять-шесть лет!

**Говорит плачущая женщина с ребенком на руках.**

Они не давали нам никакой одежды, у нас ничего не было. Одни обноски.

**Говорит другой мужчина.**

У нас не было никакой приличной одежды, а если и была, то совсем черная. Тот, кто носил что-либо пестрое, считался противником Пол Пота, а таких полагалось уничтожать.

**Говорит плачущая старуха в лохмотьях. Ее глаза.**

Нам нечем было прикрыться.

АВТОР

Элементарные человеческие потребности: хоть раз в день поесть досыта, прикрыть наготу, иметь крышу над головой — ничего этого в годы господства Пол Пота в Кампучии не было.

**Говорит мужчина в гимнастерке.**

Я хочу рассказать вам об организации кликой Пол Пота — Йенг Сари принудительных «коммун».

**Собрание слушает докладчика, на заднем плане — хижина и пальмы.**

АВТОР

Человек, который это должен знать. Он долго занимал ответственный пост на службе свергнутого ныне режима.

**Мужчина в гимнастерке продолжает говорить.**

При режиме Пол Пота я руководил сельским хозяйством в нашем округе.

**Деревянный дом на сваях, на коньке крыши — изображение государственного герба.**

АВТОР

С крыши его сельскохозяйственной конторы еще даже не снят герб изгнанной клики.

**Говорит мужчина в гимнастерке.**

Сначала по приказу клики отбирали все личное имущество: велосипеды, мотоциклы, посуда, столовые приборы, кухонная утварь — все было отобрано в принудительные «коммуны».

Несмотря на голод и слабость, заставляли людей отдавать последние силы. Работали день и ночь. Люди были вообще едва в состоянии двигаться от слабости и истощения.

**Говорит девушка в косынке.**

Иногда устраивали так называемый «час социализма». Тогда после ужина мы должны были работать еще — до десяти, до одиннадцати часов...

АВТОР

**Вращающаяся гипсовая статуэтка Пол Пота на фоне облаков.**

Именно таким охотно видел себя этот фразер: в виде монумента со сжатым кулаком. Он называл себя не только премьер-министром, но, сверх того, еще и руководителем Коммунистической партии Кампучии.

**Говорит министр Кео Чанда Лицо крупным планом.**

Утверждения Пол Пота — Йенг Сари, что их партия коммунистическая,— это ложь, фальшивка. Они втаптывали в грязь идеалы коммунистической партии. Мы всеми средствами старались защитить марксизм-ленинизм от нападок клики Пол Пота — Йенг Сари.

АВТОР

Это — один из тех марксистов-ленинцев, кто поднимал народ на борьбу с Пол Потом, кто создавал Единый фронт национального спасения. Кео Чанда — сегодня министр культуры и информации.

**Говорит Кео Чанда.**

Товарищ Пен Сован возглавил эту борьбу, повел нас за собой.

**Пен Сован с группой военных. Салютует.**

**Пен Сован говорит.**

Люди, восставшие против клики, боровшиеся против нее за существование своей родины, были патриотами. Чем сильней становилось сопротивление, тем больше клика убивала — открыто и тайно.

**Говорит Кео Чанда.**

Мы твердо решили сделать все возможное, чтобы поднять на борьбу население, а также армию, которая еще находилась под властью Пол Пота — Йенг Сари. Мы хотели общими силами бороться против клики, бороться до победы, которую мы сейчас одержали.

АВТОР

**Группа из четырех человек.**

Они последовали призыву лучших сынов народа, покинули Пол Пота и выступили против него.

**Говорит первый из четверых. Лицо крупным планом.**

25 августа 1978 года я бежал в лес из ненависти к режиму, истреблявшему наш народ и наших активистов. Я воевал в рядах освободительной армии до нашей победы над Пол Потом.

**Говорит второй из четверых.**

При режиме Пол Пота я был командиром полка. 25 мая 78 года я бежал в лес, чтобы примкнуть к тем, кто сопротивляется этому режиму, потому что клика Пол Пота — Йенг Сари истребляла наш кампучийский народ.

**Говорит третий из четверых.**

Я был служащим при режиме Пол Пота. Из-за зверств клики над кампучийским народом в мае 1978 года бежал. До самой победы мы оказывали сопротивление этому режиму.

**Говорит четвертый.**

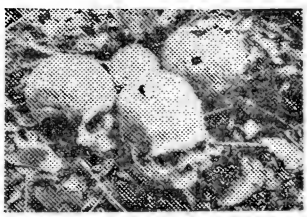
Я был начальником санитарной службы нашего полка. Преступления клики Пол Пота, задумавшей истребить кампучийский народ, вызвали во мне такую ярость, такую боль, что 25 мая 1978 года я бежал в лес. Только вооруженное сопротивление могло спасти нас всех.

**Юноша с лопатой у вскрытой могилы, из которой извлечены человеческие останки. Два черепа.**

Сегодня мне не удалось много выкопать. Почва очень твердая.

**Группа женщин; некоторые плачут. Коротко остриженная женщина говорит сквозь слезы.**

В живых остались лишь те, кто спрятался. Они утверждают, что хотят освободить нас, кхмеров. Почему же тогда они убили всех этих людей? Они — такие же кхмеры, как мы. Почему убивают нас? Только в моей семье — 9 человек! Мое сердце полно ненависти. За моих детей я была готова отдать все на свете. И муравей не смел их обидеть! По какому же праву их убили? Кхмеры убивают кхмеров. А ведь они собирались «освободить» нас. Нет — они хотели только господствовать над всей страной! Какое уж там освобождение...



**Валяющиеся на земле черепа и кости.**

АВТОР

Следы жестокости — по всей стране. Никто не знает, каков был последний час этих людей, плакали они или молчали...

**Плачущая женщина (лицо крупным планом).**

Просто выжить стало высшим благом. Но те, кому это удалось, до конца своих дней будут нести бремя пережитого.

**Говорит первая свидетельница.**

Самой страшной пыткой было то, что нас, женщин, чьих мужей забрали, принуждали выходить замуж за других мужчин. Когда и за кого — это зависело от усмотрения клики.

Они устраивали массовые брачные церемонии, в которых одновременно участвовало от 50 до 100 пар. Намеченные сто пар собирали в общем зале. Сельский староста, действовавший при этом в качестве регистратора актов гражданского состояния, называл отдельные пары по именам и объявлял брак заключенным. Он говорил лишь одно: эта женщина и этот мужчина — отныне муж и жена. Никого — ни вступающих в брак, ни кого-либо из прочих присутствующих ни о чем не спрашивали. Никакой процедуры помимо этого не было, даже маленького празднества. Говорилось лишь одно: эта женщина и этот мужчина — муж и жена...

Наши традиции не позволяют... не позволяют нам, женщинам, выходить замуж вторично, не имея точного известия о смерти первого мужа. Это насилие над нами, женщинами, эта принудительная выдача замуж за чужого человека... Как можно так оскорблять женщину? Это было непереносимо!

АВТОР

**Празднество Старинный национальный танец.**

Мы попали в гости на одну из первых свадеб, состоявшихся в новой Кампучии вновь по традиционному обряду. Перечислять народные обряды — означает одновременно привести список запретов клики Пол Пота. Запрещались личные подарки, запрещался любой вид украшений, запрещалась молитва старцев, запрещались танцы — искусство, которым особо одарен этот артистичный народ.

**Храм Ангкор с высоты.**

Запрещалось и посещение святынь древнего Ангкора.

**Часовой с красной лентой на автомате у входа в Ангкор.**

Нужно было установить новую, народно-демократическую власть, чтобы вновь открыть народу

**Кампучийцы, поднимающиеся по ступеням храма.**

путь к его национальным святыням.

**Монументальная храмовая статуя. Верующие кладут свои подношения.**

Теперь право на свободу вероисповедания обретено вновь.

**Распечатанная пачка банкнот. Одна банкнота крупным планом; оборотная сторона другой.**

ДИКТОР

Банк Кампучии.

Сотенная купюра 1975 года.

Прописью: сто риелей.

АВТОР

**Шесть банкнот с изображением боевых и трудовых сцен.**

Мотивы жизни и борьбы народа Кампучии, воспроизведенные на серии банкнот. В феврале 1975 года Национальный единый фронт, войска его стояли уже у ворот Пномпеня, объявил о выпуске этой новой валюты.

**Многочисленные ящики с банкнотами.**

Но когда ящики с напечатанными за границей банкнотами прибыли в Пномпень, то по распоряжению клики Пол Пота открывать их было запрещено и новые купюры введены не были. За политическим путчем последовал экономический.

**Скудный набор товаров, обмениваемых на толкучке.**

У этих людей, вновь устроивших сейчас нечто вроде рынка, нет денег — они обменивают свои товары по их сегодняшней потребительской стоимости. Но какой примитивной ни казалась бы такая форма торговли на первый взгляд, это — прогресс в сравнении с принудительной экономикой времен Пол Пота, когда действовал только принцип распределения, а любая форма торговли запрещалась.

**Брошенные банкноты.**

Зачем же деньги, когда нет обращения товаров?

**Фотография: смеющиеся Пол Пот и Йенг Сари (крупным планом).**

Пол Пот и Йенг Сари завершили свою «теорию» тем,

**Деньги в канаве. Развалины банка.**

что через два дня после своего прихода к власти демонстративно распорядились взорвать здание Национального банка.

**Две женщины острием топора разрезают кусок ткани.**

Кощунственно манипулируя словом «коммунизм», они низвели кампучийский народ до состояния первобытного общества.

**Уличное освещение ночью; фары приближающейся машины.**

По ночам все городские магистрали освещались, чтобы скрыть, в какой части находятся его правители.

**Забеленные таблички с названиями улиц и номерами маршрутов городского транспорта.**

Днем вновь становилось ясно, что всякое уличное движение прекращено. Указатели улиц и маршрутов городского транспорта были приведены в негодность.

**Фотография: Пол Пот с гостями.**

Только когда шеф банды — на этом фотоснимке он слева — встречал сообщника или

**Фотографии: машины на улицах.**

прощался с ним, тогда по безлюдным улицам, как призраки, проносились два-три «мерседеса».

**Фасад высшего учебного заведения. Надпись на нем.**

Бывшее высшее медицинское училище. Преподавательский состав и студенты рассеялись кто куда.

**Бассейн с трупами.**

В отделении патологии мрачная находка: несколько трупов в формалине, подготовленных для препарирования еще четыре года назад.

**Солдат на плывущем пароме, скользящий мимо берег. Солдаты со знаменами на танках и позади них.**

Раньше я был студентом медицинского факультета. В апреле 1975 года банда Пол Пота — Йенг Сари изгнала меня из Пномпеня... Позднее я бежал во Вьетнам — не мог больше выдержать. Как и многие другие, я вступил в новые революционные вооруженные силы.

**Говорит солдат.**

С 1978 года я снова в Кампучии — помогал освобождать страну. Благодаря поддержке вьетнамских войск наша революционная борьба привела к победе.

**Аудитория со скелетом.**

АВТОР

Студент-медик вернулся домой солдатом. Он станет врачом, занятия в его институте уже возобновились.

**Говорит один из группы мужчин.**

Раньше я был врачом. Я принадлежал к тем, кого угнали, и попал в провинцию Кратие. Там я должен был день и ночь работать. Жить вместе с моим ребенком мне не разрешили. Моя жена умерла. После смерти с нее сняли платье, и она была похоронена голой. Присутствовать при этом мне тоже запретили. Более трех лет меня постоянно оскорбляли, я не смел говорить, я был заключенным. Стоило мне только открыть рот, и мне сковывали руки. У меня была страшная жизнь все эти три года — очень страшная!

Говорит мужчина, стоящий на земле босиком. Ноги; обвязанная платком голова.

Раньше я был доцентом факультета права и экономики. В семье нас было четверо: двое детей, моя жена и я. Затем мы жили в провинции Баттамбанг. Там моя жена и дочь умерли из-за болезней и голода.

Говорит пожилой мужчина. Лицо крупным планом; затем вся фигура.

Сегодня я крестьянин. Раньше был преподавателем английского языка. Я преподавал в лицее Прейвэнг. При режиме Пол Пота меня отправили в Компонгтом — это очень далеко от Прейвэнга. Всю мою семью увезли в другое место. Это меня так мучает — я совсем не в силах об этом думать. Скорее всего все они погибли.

Группа людей, детн, на первом плане — молодой мужчина. Говорит на ломаном немецком.

Меня заставляли очень тяжело работать. Вся моя семья и я работали, как лошади. Я хочу сказать, что это приказал Пол Пот. Но теперь я свободен, я увидел свободу, я очень счастлив. Счастливее всех. И я благодарю вьетнамцев. Они спасли нас, спасли каждого человека тут, в Кампучии. Каждый из нас счастлив благодаря им. В заключение я хочу поблагодарить вас за ваши вопросы. Большое спасибо!

Х. и Ш.

На протяжении всего нашего долгого пути по Кампучии сегодня с нами впервые заговорили по-немецки. Разрешите прежде всего спросить, где вы учили немецкий?

И. Да, я был... я учился в ГДР.

Герб ГДР на дипломе инженера. Диплом выписан на имя Виктора Иойо.

Х. и Ш. В Германской Демократической Республике?

И. Да, в ГДР, в Дрездене, потом в Миттвайде...

Х. и Ш. Что вы там изучали?

И. Электротехнику.

Х. и Ш. И как вы закончили учебу? Какой-нибудь экзамен сдали?

Говорнт Иойо Виктор.

Я... Я инженер... экзамен сдал на «хорошо». После 1975 года мне ничего не приходилось делать, связанного с моей профессией... Сначала, в 1975 году, меня выслали из Пномпеня и отправили в село около джунглей, называется Фум Лао.

Диплом с печатью министерства высшего образования ГДР и дата — 26 июля 1968 года.

Х. и Ш. Что же вам в этом селе пришлось делать?

И. Пришлось делать все, что делали «новые крестьяне». Так можно сказать?

Х. и Ш. Да.

Говорит инженер (лицо крупным планом).

И. Пришлось учиться сеять рис, сажать растения и все такое, да. Потом, через год, я это постиг, да. Мне приходилось сажать овощи, иногда рубить дрова там, в джунглях...

Сандалии. Кусок ткани в руке. Лицо крупным планом.

Всякое тут бывало, да. Я работал день и ночь... день и ночь тяжко работал и мало ел. Горстку риса на целый день — иногда на обед три-четыре банана или картофелина... За три года я получил только вот это... рубаху и штаны. Три года. И три года до того, как получить это, я должен был тяжко работать...

Х. и Ш. А кто вас в этом лесном поселке сторожил? Кто за вами наблюдал?

И. Наблюдал?

Х. и Ш. Кто были ваши сторожа, ваши надзиратели?

И. Кто были?..

Х. и Ш. Ну, кто вас сторожил, чтобы вы не убежали из этих джунглей?

И. Да... солдаты Пол Пота и Йенг Сари сторожили меня, да.

Х. и Ш. И как они вели себя по отношению к вам?

И. Да. Вели себя... как это сказать?.. Вели себя как собаки, как дикие звери! Собака — это еще золото... А моя жизнь стоила меньше собачьей. Меня не били, только ругались, да... потому что я хорошо работал. Мне позволяли работать.

Х. и Ш. А что же было с другими, которые не так хорошо работали или не могли работать так хорошо, как вы?

И. Они все исчезли, увезены — куда и как, не знаю.

Х. и Ш. Вернулся кто-нибудь из них?

И. Никто. Никогда не видал, не слыхал...

Фамилия и дата рождения на дипломе (крупный план). Слово «инженер».

Х. и Ш. Как вы думаете, что было бы с вами, если бы стала известна ваша настоящая профессия?

**Лицо говорящего.**

И. Если б я сказал, что я инженер? Тогда б я живым не остался!

**Фотоснимок: супруги и двое детей. Лицо говорящего.**

Если я буду продолжать рассказывать, то начну плакать. Я думаю о моих детях и о моей жене.

**Фотоснимок: смеющиеся супруги Виктор.**

Х. и Ш. Ваша жена — гражданка ГДР?

И. Да.

**Фотоснимок: Йойо Виктор с женой и обоими детьми.**

Я привез ее в Пномпень из ГДР.

Х. и Ш. У вас двое детей?

**Лицо говорящего.**

И. Да, двое...

Х. и Ш. А когда вы в последний раз имели от них известия?

И. Это было в апреле 1975 года. Очень давно — 23 апреля 1975 года, тогда я видел моих детей и мою жену в последний раз.

Х. и Ш. Сколько лет сейчас вашим детям?

**Двое детей сегодня. Лицо говорящего (крупный план).**

И. Старшему уже двенадцать, а маленькой — десять. Мальчика зовут Синарит Виктор, а девочку — Вероника Виктор.

АВТОР

**Пишущий Йойо Виктор.**

«Мои дорогие жена и дети.

**Строчки на вырванном из блокнота листке. Продолжение записки на обороте.**

Уже долгое время мы разлучены. Я еще жив. Я сильно боролся за жизнь. Горячие приветы и поцелуи от папы. Йойо Виктор».

**Фотоснимок: Йойо Виктор играет с ребенком. Четыре других фотографии, одна рядом с другой.**

Его жена писала из Лейпцига: «Я даже не могу вам передать, как велика была моя радость, когда я узнала от Вас, что мой муж жив».

**Инженер курит сигарету «Клуб». Пачка с сигаретами. Снова лицо инженера.**

И. Когда я курю эту сигарету, я мысленно снова возвращаюсь в ГДР. (Смеется.) Прекрасное было время в ГДР... Я впервые радуюсь, впервые смеюсь! Я никогда не смеялся...

**Портал здания. Свинья, ковыляющая позади стада. Над порталом надпись: «Библиотека».**

Бывшая национальная библиотека в Пномпене Ценные фонды выброшены и уничтожены.

**Надпись крупным планом. Снова общий план с пасущимися свиньями.**

Здание было переоборудовано в свинарник.

**Книга в красном переплете. Портрет автора — Пол Пота; страница с китайскими иероглифами. Книга закрывается.**

Тогда высшей культурной ценностью считались произведения человека, который вел Кампучию к гибели. Вот одна из его программных речей, перепечатанная по-китайски.

ДИКТОР

Наша сегодняшняя независимость и суверенитет являются стопроцентными, чистейшими, такими, какими Кампучия не обладала за всю свою более чем двухтысячелетнюю историю.

**Говорит Пен Сован.**

У клики была лишь одна цель: верой и правдой служить своим наставникам в Пекине.

**Длинная шеренга китайских «советников».**

В политике, экономике, в военной или культурной области — все осуществлялось по их приказам.

**Говорит Пен Сован.**

Вся власть в нашей стране принадлежала Пекину.

АВТОР

**Несколько паспортов; руки, перелистывающие и откладывающие их в сторону.**

Это паспорта так называемой Демократической Кампучии — обычные паспорта и один дипломатический паспорт, мы нашли их в бывшем министерстве иностранных дел правительства Пол Пота. Но среди них были и другие паспорта — еще не заполненные бланки. Китайский служебный паспорт, китайский гражданский паспорт, китайский паспорт для иностранцев. Не было ли тут возможности заменить одно имя другим?

Когда вооруженные силы Народной Республики Кампучии заняли один из опорных пунктов разбитых войск Пол Пота, им попал в руки этот паспорт, выписанный в Пекине 27 января 1979 года на имя Су Хао. На фотографии паспорта изображен не кто иной, как Йенг Сари, второй человек в клике убийц.

**Странички паспорта с фамилией владельца, датой выдачи и фотографией.**

**Лицо Йенг Тирит во время интервью.**

Я — Йенг Тирит, министр социальных проблем Демократической Кампучии.

**Йенг Тирит у себя в гостинице.**

АВТОР

Йенг Тирит — супруга Йенг Сари, свояченица Пол Пота.

С китайским паспортом в кармане она в настоящее время странствует по свету, делая вид, что все еще представляет правительство так называемой Демократической Кампучии. Только что прибыв из Пекина, она выступает тут в Стокгольме перед представителями маоистских группок различных европейских стран — с новым другом и покровителем за спиной.

**Йенг Тирит на трибуне. Слушатели в зале.**

**Йенг Тирит говорит (речь по-английски с субтитрами).**

США воевали против нашей страны, но теперь они выступают за нашу независимость, поэтому они — наши друзья.

**Стартующий бомбардировщик; момент бомбометания.**

**Гора черепов и костей (общий план).**

АВТОР

В течение пяти лет США терзали Кампучию, разрушали ее бомбами и ракетами.

За четыре года своей власти клика Пол Пота — Йенг Сари истребила немалую часть кампучийского народа — теперь же империалисты и маоисты хотят взвалить всю ответственность за страдания народа Кампучии на плечи вьетнамцев и их союзников.

**Тощий, похожий на скелет ребенок на больничной койке.**

**Говорит Йенг Тирит.**

Весь мир знает, что Вьетнам умышленно организует голод, чтобы сломить наше сопротивление.

АВТОР

**Мертвого ребенка укладывают на циновку. Безучастные лица голодающих.**

Подобные кадры, которые с удовольствием распространяются средствами массовой информации империалистических стран и в публикациях маоистских группок, сняты в районах вдоль кампучийско-таиландской границы, где еще орудуют вооруженные банды Пол Пота, терроризирующие население, не дающие ему покоя.

**Девочка-дистрофик.**

Эти снимки используются для подлой лжи; они сделаны не в Народной Республике Кампучии, а в районах, которые народной властью этой страны еще не контролируются.

**Говорит Йенг Тирит.**

Вьетнамцы расхищают все запасы. Они сожгли на корню урожай риса. Все каналы снабжения перекрыты: голод — их оружие, цель — истребление нашего народа.

О, народ Кампучии!

Ты страдал уже три года.

**Распределение риса. Взрослые и дети протягивают шапки и платки. Затем общий план; отдельные лица.**

АВТОР

Это — печальная народная песня, сложенная после свержения Пол Пота.

**Субтитры**

Жена и муж разъединены,
у матери отняли сына.
О! Нигде на земле
не было рабства страшней.

АВТОР

Люди, подставляющие свои платки и шапки, чтобы получить немного риса, все еще не вернулись домой.

**Субтитры**

Замечательное искусство наших предков было недоступно нам.

АВТОР

Этот рис распределяется во имя спасения жизни. Это — дары гуманности и солидарности.

**Субтитры**

Разграблено, разгромлено по варварскому закону иноземцев, опустошено старое царство Кок-Тлок, наша страна поражена в самое сердце.

АВТОР

Народ Вьетнама делит сейчас с народом Кампучии собственные небогатые рационы.

**Субтитры**

Пусто старое царство Кок-Тлок,
наше богатство увезено в Китай.

Наше золото, наш рис, наша жизнь
разграблены и увезены прочь.

И вот мы спаслись от предателей
и, исчерпав свои силы, стоим над пропастью.

**Говорит Йенг Тирит.**

Нам удавалось обеспечить всех достаточным количеством еды, одежды, медицинским обслуживанием.

**Говорит молодая женщина с пустым котелком в руках. Женщина показывает пустой котелок.**

У Кампучии нет риса.
Нет риса в горшках!
Кампучия бедна.

**Говорит сельский староста. Хижины на заднем плане.**

Во время режима Пол Пота наше село снимало хорошие урожаи риса. Но нам от них ничего не оставалось — все отправлялось в Китай.

АВТОР

**Жерло пушки.**

Хорошие урожаи шли в уплату за поставки оружия для клики.

**Говорит Йенг Тирит.**

Там, где сейчас временно хозяйничают вьетнамцы, выращивать рис и овощи запрещено.

**Кампучийские крестьяне работают на рисовом поле.**

**Говорит Йенг Тирит.**

Запрещено даже собирать дикорастущие фрукты.

**Кузница под открытым небом. На наковальне — заготовка ножа (крупный план).**

Нельзя иметь в доме ножа — вот до какой степени они боятся народа!

**Говорит Йенг Тирит.**

Лишенное продовольствия и соли, согнанное на сборные пункты, наше население в городах и селах обречено на голодную смерть.

АВТОР

**Украшенный флагами и транспарантами дом сельского правления в провинции Прейвэнг. Буйволы на дороге.**

Там, где люди возвратились домой, где села вновь стали обитаемыми, где с приходом новой власти наступило спокойствие —

**Рисовое поле; работающие крестьяне.**

там сразу же после освобождения вновь стали сеять рис, уже собраны первые урожаи.

**Представители Национального единого фронта у памятника жертвам.**

Это заслуга Национального единого фронта спасения Кампучии, что жизнь в стране опять

**Отходящий от станции ремонтный поезд.**

понемногу налаживается, что вновь налажено железнодорожное сообщение,

**Работающий ткацкий станок; ткачиха.**

что начинает возобновляться производство предметов первой необходимости,

**Новая банкнота.**

что восстановлено обращение национальной валюты,

**Дети в классе во время урока.**

что городские и сельские дети вновь посещают школы,

**Врач перед доской с графиком работы.**

что этот хирург опять готовится к операциям,

**Документальные кадры с участием Хенг Сомрина на экране кинотеатра.**

что в столице

**Фасад кинотеатра; зрители (общий план).**

вновь открылся первый кинотеатр,

**Футбольный матч — игроки и зрители.**

что на стадионе в Пномпене футбольная сборная Кампучии выиграла у команды вьетнамских войск со счетом 2 : 1.

**Представители трудящихся с венком у памятника жертвам. Надпись на памятнике.**

Ответственность за восстановление страны лежит на плечах немногих. Не хватает многих борцов, павших жертвами режима Пол Пота. Им, мученикам сопротивления, посвящен этот мемориал.

**Пен Сован беседует с группой женщин, берет на руки малыша.**

Вы спрашиваете о наших семьях. Наши семьи страдали точно так же, как и весь кампучийский народ.

**Говорит Пен Сован.**

Вся моя семья уничтожена — старший брат, в 1975 году участвовавший в освобождении Пномпеня, был командиром артиллерийского батальона и освобождал столицу вместе со своим батальоном. Позднее его депортировали на юго-запад страны и там убили.

**Перед памятником жертвам курятся благовония (крупный план).**

Из моей семьи, из всех моих родственников в живых не осталось никого.

**Говорит Йенг Тирит.**

Мы арестовывали агентов «пятой колонны» Вьетнама одного за другим, начиная с 1975 года до мая 1978-го. В мае 1978 года мы разбили эту «пятую колонну» окончательно и арестовали ее главарей.

АВТОР

**Группа из четырех представителей народной власти.**

Арестовать должны были и их — тех, кто в мае 1978 года решился на сопротивление.

**Говорит первый. Лицо крупным планом.**

После моего бегства в лес вся моя семья — жена, дети — были убиты кликой Пол Пота — Йенг Сари.

**Говорит второй.**

После моего бегства в лес клика Пол Пота уничтожила почти всю мою семью.

**Говорит третий.**

После моего побега клика Пол Пота — Йенг Сари убила всех моих близких — мою жену, моих детей.

**Говорит четвертый. Его лицо.**

После того как я ушел в лес, клика Пол Пота — Йенг Сари убила моих родственников: моих троих братьев, жену и двоих детей. Из нашей семьи в живых осталось только двое.

АВТОР

**Снова вся группа.**

Попади эти четверо в руки клики, их постигла бы та же участь, что и тех пленных,

**Фотографии: разлагающиеся трупы на железных койках.**

которых нашли после освобождения в штаб-квартире тайной полиции в Пномпене; их зверски пытали и в конце концов убили. Их фотографии потрясли мир.

**Говорит Йенг Тирит. Лицо крупным планом.**

Что касается этих фотографий, то вьетнамцы хитры. Они инсценируют все, чтобы оправдать свою агрессию. Конечно, были и эксцессы — но их организовывал Ханой. Так что Ханой двулик: его агенты провоцируют эксцессы, и тут же эти немногочисленные эксцессы используются для клеветнической кампании против нашего правительства.

**Лицо ребенка; мужчина с другим ребенком на руках.**

Родители этого ребенка умерли неизвестно где и когда. Он остался один. Вьетнамские солдаты нашли его во время боев. Они принесли его к нам. Уже полтора месяца он находится на нашем попечении.

**Йенг Тирит на трибуне.**

Агрессоры уничтожили более полумиллиона человек — женщин, детей, стариков, которые были слишком слабы, чтобы бежать от их свирепых погромов.

АВТОР

**Йенг Тирит во время интервью.**

Это — Йенг Тирит, жена второй персоны из клики убийц.
Она знала, что означал роковой лозунг, провозглашенный ее супругом Йенг Сари: «Для выращивания риса нам не нужны

**Пробитые черепа (крупный план).**

университеты»,— лозунг, практически поставивший интеллигенцию Кампучии вне закона.

**Говорит молодой мужчина.**

Меня зовут Таинг Сокхом, я бывший студент экономического факультета.

**Фрагмент фотографии: черепа.**

Моя сестра, мой брат, племянники и племянницы — семь человек убиты кликой.

**Говорит женщина.**

Меня зовут Кит Ким Хоурн, я бывшая студентка экономического факультета.

**Фрагмент фотографии: черепа.**

Восемь членов моей семьи убиты.

**Говорит другой мужчина.**

Меня зовут Ким Ни, я учился на подготовительных курсах философского факультета.

**Фрагмент фотографии: черепа.**

Клика убила моих родителей и четырнадцать моих братьев и сестер.

**Говорит другая женщина.**

Меня зовут Хо Хирнг. Я училась в одном из вузов США, изучала экономику.

**Фрагмент фотографии: черепа.**

Моя семья из шести человек убита.

**Говорит третий мужчина.**

Меня зовут Ман Чхоеун, я был студентом-ветеринаром.

**Фрагмент фотографии: черепа.**

В своей семье я оплакиваю одиннадцать человек.

**Говорит третья женщина.**

Меня зовут Тип Сонида, я бывшая студентка Высшей школы изящных искусств, актриса Национального театра, радио и телевидения в Пномпене.
За эти три года клика убила моих родителей и восьмерых моих братьев и сестер.

**Говорит женщина с ребенком.**

Меня зовут Си Дарей, я архитектор.
Банда уничтожила мою мать и троих моих братьев.

АВТОР

**Группа молодых интеллигентов.** Их голоса записаны в первые недели после освобождения на территории Высшей школы изящных искусств. Они вернулись в Пномпень, откуда были изгнаны ровно четыре года назад.

**Говорит учитель.** Я — Троеунг Самрей, прежде был учителем начальной школы.

**Говорит другой учитель.** Ум Хоеунг, бывший учитель лицея Прей Лвир.

**Говорит пожилая учительница.** Меня зовут Соунг Сани, я была учительницей начальной школы в Пномпене.

**Говорит учитель Троеунг Самрей.** Они убили пятерых моих братьев и сестер и их семьи— восемнадцать человек.

**Говорит учитель Ум Хоеунг.** Предательская банда Пол Пота убила четверых моих сестер и братьев.

**Говорит учительница Соунг Сани.** Умереть пришлось десятерым моим близким.

**Говорит мужчина.** Меня зовут Мони Хенг, я был инженером-строителем.

**Говорит другой мужчина.** Меня зовут Хенг Син, я бывший врач больницы «Кхмеро-советская дружба».

**Говорит юноша.** Мое имя Нгин Хамроеун, прежде я был абитуриентом класса математики лицея Пном-Даун-Пен.

**Говорит третий мужчина.** Меня зовут Ти Яо, я архитектор Министерства строительства.

**Говорит четвертый мужчина.** Сим Меам, бывший студент третьего курса философского факультета в Пномпене.

**Говорит пятый мужчина.** Мое имя Сенг Малис, я бывший студент 2-го курса экономического факультета.

**Говорит шестой мужчина.** Я Кхиеу Канхарит, бывший студент Высшей административной школы.

**Говорит молодая женщина.** Меня зовут Ноанг Боеурн, я бывшая студентка экономического факультета.

**Говорит юноша.** Мое имя Кхи Кам Леанг, я бывший студент третьего курса медицинского факультета.

**Говорит Йенг Тирит.** Мы вовсе не истребляем интеллигенцию. Ведь из рядов интеллигенции вышло и все наше правительство.

**Говорит Мони Хенг.** Я потерял свою семью из пяти человек.

**Говорит Хенг Син.** Убиты восемь моих братьев и сестер.

**Говорит Йенг Тирит (лицо крупным планом).** Я сама из интеллигенции. Я училась в парижской Сорбонне.

**Говорит Нгин Хамроеун.** Они убили моих родителей и шестерых моих сестер и братьев. Теперь я одинок, совсем одинок.

**Говорит Ти Яо.** Вся моя семья убита. Мои родители, брат и сестра, племянники, племянницы — восемь человек.

**Говорит Йенг Тирит (лицо крупным планом).**

Итак, неправда, что мы хотим истребить интеллигенцию. Мы ведь нуждаемся в ней, чтобы быстрей восстановить нашу страну.

**Говорит Сим Меам.**

Клика убила тридцать моих родных: родителей, четырех старших сестер, трех старших братьев и двадцать племянников и племянниц.

**Говорят еще двое мужчин и женщина.**

Мои родители, братья, сестры и родственники, всего двадцать два человека, убиты.
Они расстреляли моих родителей и девять моих братьев и сестер.
Клика уничтожила мою семью из девяти человек.

**Говорит Йенг Тирит.**

У нас нет никаких причин убивать их, наших...
Вашу элиту?
Наших коллег!

**Говорит Кхи Кам Леанг; говоря, он снимает и вновь надевает очки.**

При Пол Поте я не смел надевать очки. Нам приходилось их прятать. Теперь мы можем опять носить их, это опять считается нормальным.

**Говорит Йенг Тирит; говоря, она смеется и прикасается к своим очкам.**

Вьетнамцы утверждают даже, что мы убиваем каждого, кто носит очки, так как он выглядит интеллигентом. Но, как видите, я сама ношу очки!

**Говорит один из группы молодых людей (лицо крупным планом).**

Если б мы сказали, что мы — интеллигенты, они бы всех нас убили. В 1979 году революционное правительство спасло меня. Теперь я могу сказать, что я учитель.

АВТОР

**Группа представителей интеллигенции; люди стоят с поднятыми руками. Женщина, показывающая растопыренные десять пальцев. Снова вся группа.**

Каждый из этих 102 человек может обвинить клику Пол Пота — Йенг Сари в убийстве. Эти 102 человека потеряли 873 близких. Встречу и беседу с выжившими организовал нам профессор Иен Сат, прежде возглавлял кафедру художественного танца, затем — участник партизанской войны против Пол Пота, сегодня — один из руководящих деятелей в области культуры.

**Профессор Иен Сат указывает на здание и говорит.**

Там — балетный зал, который мне пришлось покинуть на несколько лет.

АВТОР

Он показывает нам помещение, в котором прежде работал. Вместе с нами он входит в него впервые после долгого перерыва.

**Профессор показывает на балетный станок.**

Здесь я преподавал. Здесь занимались наши студенты.

АВТОР

**Грязное, захламленное помещение. Открывают какой-то ящик. Внутри — кровавое месиво.**

Около балетного зала — раздевалка студентов; там стоит невыносимая вонь.
Взору предстает страшное зрелище: опрокинутый холодильник. В нем лежит человек, убитый в последние дни правления клики.

**Говорит арестованный полпотовец (лицо крупным планом).**

Группа безопасности состояла из 25 человек.
Единственное занятие этих 25 человек убивать?
Мы высаживали рис и убивали людей.
Скольких людей вы убили?
Нам, восьмерым, были поручены 250 человек.
Как вы убивали людей?
Ударом металлического стержня в затылок.
Жертвы умирали сразу?
Сразу.

АВТОР

**Наивные картинки полевых работ в условиях военной дисциплины. Группа охранников на краю поля.**

Эти картинки рисовали члены сторожевых команд и вывешивали в своих жилищах. По ним нельзя было догадаться о крови, которая пропитала тут почву... Да, «кровь и почва» — знакомая фашистская доктрина. Непритязательный и нищий возделыватель риса стал «директивным идеалом» человека — а кто не хотел или не мог походить на него, тот получал от членов так называемых групп безопасности смертельный удар в затылок.

**Арестованный демонстрирует удар киркой по затылку. Говорит и показывает другой арестованный.**

Удар сюда, ниже затылка.
Удар киркой.
Куда?
Я бил по затылку.

**Лицо крупным планом; затем затылок.**

Кто были жертвы?
Женщины, мужчины, старики, дети...

АВТОР

**Он бреет затылок одному из своих товарищей (крупный план).**

Киркой он разбил не один затылок, но с затылком этого арестованного вместе с ним палача обращается бережно, прямо-таки нежно...

**Он говорит (неподвижное изображение, субтитр).**

Я — убивавший людей революционер. Я участвовал в этом с 5 сентября 1975 года.

АВТОР

Это убийца мелкий, стоявший на низшей ступеньке иерархии Пол Пота. Сознания своей вины у него нет. Клика внушила ему, что его убийства служили делу революции.

**Говорит Кео Чанда.**

Кто оказывал сопротивление клике, того немедленно убивали. Они говорили: чем больше убитых, тем лучше для революции.

**Говорит Пен Сован.**

Наш народ ненавидел клику. Она провела свою так называемую революцию, злоупотребляя понятиями социализма и коммунизма, чтобы таким способом обмануть народ и ввести в заблуждение мировое общественное мнение.

**Открывается книга Пол Пота. Портрет автора; текст (китайские иероглифы).**

ДИКТОР ЧИТАЕТ ТЕКСТ КНИГИ:

«Скажем кратко: 98—99 процентов нашего народа — революционеры и всем сердцем преданы сегодняшней социалистической революции и социалистическому строительству. Их воодушевляет глубокая вера в будущее народа и родины».

**Плачущая женщина закрывает лицо платком; поверх кадра продолжают наплывать иероглифы. Потом они исчезают. Крупным планом: мокрое от слез лицо.**

АВТОР

Все то, что кампучийский народ познал и испытал под властью клики, доказывает лживость утверждений Пол Пота. Но возникает вопрос: как же могло случиться, что одна часть народа оказалась вознесенной над другой, что одни люди стали владыками жизни и смерти других? Слезы жертв — это лишь одна сторона жуткого наследия Пол Пота. Другая — это вина тех, кто стал убийцами своих соотечественников и сейчас арестованы сами. Как это могло произойти?
Портреты пострадавших и портреты виновных сами по себе истины не раскрывают. Наше расследование необходимо продолжить.

ДИКТОР

**Королевский дворец в Пномпене. Мифологические фигуры на шпиле башни.**

Это королевский дворец в Пномпене — символ феодализма, до самого последнего времени еще окончательно не преодоленного.

**Архивные фотоснимки королевского дворца и европейских колонизаторов в Кампучии.**

Это кадры пятидесятилетней давности. Традиционная покорность народа королевскому дому с успехом использовалась для того, чтобы скрыть или хоть как-то замаскировать колониальный грабеж.

**Трон с мягким сиденьем.**

Итак, на этом королевском троне восседал не абсолютный монарх, а марионетка, зависимая от колонизаторов, но возглавлявшая всю армию налоговых сборщиков, землевладельцев, арендаторов, заимодавцев и ростовщиков,

**Нищие хижины.**

беспощадно выжимавших соки из сельского населения.

**Женщина с голым ребенком у одной из хижин.**

До недавнего прошлого кампучийское село было отсталым, неразвитым, сравнимым разве что с селами в голодных районах Африки. Острейший

**Примитивная ткацкая мастерская.**

социальный контраст между деревней и столицей страны Пномпенем, равно как и другими городами,

**Деревья городского сада в цвету.**

в которых, конечно же, жили люди, извлекавшие выгоду из феодальных порядков,— этот контраст явился предпосылкой того,

**Женщина с голым ребенком перед хижиной. Несколько ветхих хижин. Поездка по пустому городу.**

что клике Пол Пота удалось превратить псевдореволюционное учение Мао Цзэдуна в ужасающую практику «Деревня окружает город» — вскоре это стало означать, что деревня должна одолеть город.

АВТОР

**Проходит группа арестованных.**

Трагично то, что клике удалось найти именно среди беднейших из бедных этой страны — людей большей частью неграмотных — сторонников, в конце концов слепо уверовавших в безумные лозунги Пол Пота.

**Сменяющие одна другую наплывом фотографии: вступление в Пномпень; рассыпавшиеся по широкой улице солдаты.**

Не будем забывать, что эти люди в 1975 году вступили в Пномпень, после того как они в боях победили американский империализм и его марионеток, но именно у них была украдена победа; ибо

**Группа арестованных.**

вскоре они по приказу клики Пол Пота убили как раз тех своих соотечественников, которые могли научить их читать и писать.

**Мальчик на балконе.**

Вот так же и он, еще мальчик школьного возраста, после победы 1975 года стал не учеником — что означало бы действительную победу —

**Он выходит из дома.**

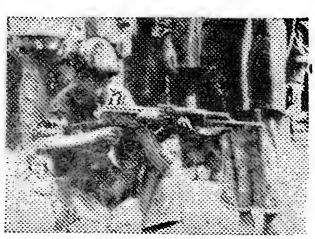
а убийцей!

**Мальчик говорит и считает на пальцах. Фотография: двое детей-солдат с оружием.**

Нас было пятеро убивающих.
Ты стрелял?
Да.
Из винтовки?

**Говорит один из них. Рука интенсивно двигается, как при стрельбе.**

Да, из винтовки.
Детей тоже убивал?
Многих.
Скольких женщин?



**Фотография: оружие в руках ребенка. Оба «солдата» вместе.**

Многих. Всего 300 — детей, взрослых, стариков.

Раскрывается книга Пол Пота. Портрет автора.

ДИКТОР (зачитывает цитату из книги Пол Пота):
«Мы приложим все усилия к тому,

Мумифицированные человеческие останки (скрюченные руки, нога...). Черепа, кости, цепи. Остатки одежды.

чтобы еще быстрей всесторонне повышать жизненный уровень народа, чтобы дать каждому возможность сделаться сильным, здоровым человеком и стойким патриотом. Мы будем стремиться быстро поднять численность населения Кампучии, чтобы облегчить защиту родины и быстрей построить счастливую, цветущую страну. У нас нет никаких причин сокращать численность населения или хотя бы ограничивать его на нынешнем уровне. В настоящее время оно составляет всего около восьми миллионов человек, хотя для нас желательно и вполне достижимо иметь население более двадцати миллионов. Так что разрыв этот сравнительно еще очень велик, и наша цель — возможно быстрей достигнуть крупного прироста населения».

На фоне всего этого возникает цитата из книги Пол Пота, напечатанная китайскими иероглифами. Одна фраза вытесняется наплывом следующей.

АВТОР

Осевшая земля над братскими могилами. Торчащие из нее останки.
Китайские «советники», один из них пытается рукой закрыть лицо от объектива.

Одна братская могила находится тут рядом с другой; многие еще не открыты, но что скрывается под этой осевшей землей, известно теперь каждому. Вся правда об убийствах в Кампучии вышла наружу лишь тогда, когда двадцати тысячам китайских «советников» пришлось покинуть эту страну.

Говорит Кео Чанда.

Фотография: Дэн Сяопин с Пол Потом.

Их намерения и их действия соответствовали предательской политике господствующих кругов Пекина, тех кругов, которые хотят подчинить себе всю Юго-Восточную Азию.

АВТОР

Фотографии: длинная шеренга китайских «советников». Множество чемоданов.

Но планы гегемонистов в отношении Юго-Восточной Азии были перечеркнуты. Вот покидают страну последние китайские «советники». Время их господства в Кампучии кончилось.

Флажки на столе, Хенг Самрин, Фам Ван Донг.

И если мы спросим, что же произошло за этим столом в бывшем королевском дворце Пномпеня, то ответ гласит:

Танк со смеющимися и приветствующими население вьетнамскими солдатами.

17 февраля 1979 года здесь был подписан договор — договор о мире, дружбе и сотрудничестве между Народной Республикой Кампучией и Социалистической Республикой Вьетнам — юридическая основа и для военной поддержки до тех пор, пока она будет нужна.

Говорит женщина с ребенком на руках.

Вьетнамские братья освободили нас. Без них вся моя семья была бы уже мертва.

Говорит пожилой мужчина; группа людей с радостными лицами.

Без освободителей мы все были бы уже мертвы.

**Фам Ван Донг подписывает договор.**
**Фам Ван Донг и Хенг Сомрин обмениваются подписанными экземплярами, пожимают друг другу руки, обнимаются.**

АВТОР

Рукопожатие, объятие... То, что здесь произошло,— необратимо.

## Послесловие авторов

### К СОВЕТСКИМ ЧИТАТЕЛЯМ

Создатели фильма обращаются к читателям — уже в самом этом факте как будто бы заложено некое противоречие. Ведь наше дело — работать с пленкой, воплощать на ней свои замыслы. А сценарий, в сущности, только информация о фильме, но далеко не сам фильм. Без сомнения, все это справедливо. И тем не менее, когда этот солидный журнал, знакомящий читателя с зарубежной литературой, решил опубликовать сценарий нашего фильма «Кампучия — гибель и возрождение», мы были не только польщены оказанной нам честью, но невольно задумались над причинами такого решения редакции.

9 февраля 1981 года исполнилось ровно 15 лет с того дня, когда мы представили на суд общественности свою первую совместную работу. Это был фильм «Смеющийся человек», в котором рассказывалось о наемнике колонизаторов по прозвищу Конго-Мюллер. Советский зритель также знаком с этим фильмом. Вообще стало доброй традицией, что наши важнейшие картины (а в последние годы — все) демонстрируются по советскому Центральному телевидению, причем в хорошем переводе. Вот почему и советские люди — от Калининграда до Петропавловска — знают, с какими регионами связаны истоки нашего творчества.

Наша лента о Кампучии — это уже шестнадцатый по счету фильм, посвященный проблемам в полном смысле слова «горячих» точек планеты.

В то же время это — наш самый трудный фильм. Показать преступления американского империализма во Вьетнаме, фронт освободительной борьбы и фронт внешней агрессии было сравнительно просто: картина здесь вполне ясна. В данном же случае речь идет о преступлениях против кампучийского народа, совершенных марионеточным режимом, шедшим на поводу пекинских гегемонистов. Когда выяснились масштабы этих преступлений, не мог не возникнуть вопрос: как это могло произойти? Почему оказались возможными изуверские расправы, массовые убийства, позволяющие говорить о геноциде?

Наш фильм пытается дать ответ на эти вопросы. Надо было не просто показать ужасы самовластной диктатуры, но дать хотя бы предварительный анализ. И поскольку этот материал публикуется на страницах журнала, редакция, видимо, сочла наши выводы достаточно вескими.

Зрители, видевшие фильм, говорили нам: «Мы хотим узнать больше! Почему такие пол поты называют себя коммунистами? Почему дорогие для нас символы используются в преступных целях? Что еще могут натворить под их прикрытием и кто еще? Копните глубже, чем это пока сделано!» С тех пор это кощунственное узурпаторство не дает нам покоя и мучит нас почти физически: нам кажется, мы не сможем нормально существовать, если не исследуем эту проблему до основания.

Как известно, у луковицы семь оболочек. Быть может, фильмом «Кампучия — гибель и возрождение» мы сняли не только первую из них, но и вторую. А ведь шкурок-то семь!

## ЖУЖА РАБ

# ИЗ ЛИРИЧЕСКОГО ДНЕВНИКА

*Перевод с венгерского и вступление Т. ВОРОНКИНОЙ*

*Имя Жужи Раб — талантливой поэтессы и блестящей переводчицы — широко известно в Венгрии. Ее вдохновенный труд подарил венгерским читателям сокровища древнерусской поэзии, стихи Державина и Пушкина, Есенина, Цветаевой, Ахматовой, Винокурова, Вознесенского, Евтушенко и многих, многих других русских и советских поэтов. Полторы сотни книг с переводами русской литературы! Этот поистине титанический труд по заслугам оценен и в нашей стране: Жужа Раб награждена орденом «Знак Почета», ленинской юбилейной медалью, она — лауреат литературной премии имени Горького. «Рыцарем дружбы», вечной и нерушимой дружбы наших братских народов, назвал Жужу один из советских журналистов, и это звание как нельзя более точно передает ее характер, определяет направленность ее творчества.*

*Жужа Раб — яркая, оригинальная поэтесса — и в художественной прозе обрела свой голос, избрав близкий ей жанр лирической миниатюры. Навеянные мимолетным воспоминанием, нечаянно услышанным словом, беглым впечатлением повседневной жизни, эти миниатюры всегда служат поводом для серьезных раздумий и обобщений, доверительного разговора с читателем. Некоторые из этих миниатюр публикуются ниже.*

### МОИ РУССКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ

Всего лишь год отделяет меня от того поколения, которому довелось изучать русский язык уже в средней школе. На мою же долю пришелся немецкий и французский. И хотя в благословенные годы отрочества свойственное этому возрасту стремление к мировой скорби сделало моим любимым писателем Достоевского, но я тогда не задумывалась над тем, что свои произведения он писал на экзотическом для меня русском языке. С диковинными именами — язык сломаешь, пока выговоришь! — я не слишком-то церемонилась: либо обходила их стороной, либо на свой легкомысленный лад упрощала в созвучные аналоги родного языка: «Карамазов», к примеру, превращался у меня в «Кормозо» («коптящий»), Раскольников — в непочтительное «Росскор никорог» («некстати скрипит»), но, конечно, домысливание совершалось не во время чтения, а после, вечером, перед тем, как уснуть, когда я воссоздавала картину прочитанного.

В живом звучании я впервые столкнулась с русским языком в какой-то кинохронике, да и то представлен он был одним-единственным словом: Днепропетровск. Я билась над ним до мозолей на

**ЖУЖА РАБ — RAB ZSUZSA.**

Венгерская поэтесса и переводчица произведений русских и советских поэтов и прозаиков. Лауреат литературных премий имени Аттилы Йожефа и М. Горького. Автор четырех поэтических сборников.

Публикуемые миниатюры Жужи Раб были получены редакцией в рукописи.

языке, для меня было делом чести научиться выговаривать его. Но и до сих пор я на нем спотыкаюсь.

Вот отец мой, тот русский знал. В 1914 под Перемышлем он попал в плен и только семь лет спустя вернулся домой из Сибири. Впрочем, он знал и греческий, и латынь, и разные другие языки, на семь языков был подкован, как тот сапожок из народной сказки. Беда лишь в том, что я-то сама в ту пору как черт от ладана шарахалась от каких бы то ни было занятий, требующих усидчивости и системы. Отец же весь свой педагогический пыл растрачивал в школе, у него не оставалось ни времени, ни сил, чтобы приструнивать еще и собственных детей, да и запугивать нас у него духу не хватало. Вот так и миновала меня самая большая страсть моего отца — классическая филология.

Мне сровнялось восемнадцать, когда в наш дом вошла История... Непривычная военная форма, худощавое лицо, светлые волосы, на фуражке известная по пропагандистским плакатам звезда. Правда, на плакатах звезда эта исходила кровью, здесь же она излучала мир и спокойствие. Первой фразой этого человека — тогда я посчитала ее за русскую и, помнится, еще удивилась, что она чем-то похожа на немецкую, — было: «Ich nicht schlecht man». Это и был наш первый «квартирант», советский офицер, присланный к нам на постой.

По вечерам он заглядывал на нашу половину, они негромко о чем-то беседовали с отцом, участник второй мировой войны — с фронтовиком первой. Нашего постояльца звали Александр Горький. Я внушила себе, будто он родственник Горького, и мне было невдомек, что тогда он носил бы фамилию Пешков. Мой отец и офицер разговаривали между собой, а я слушала — так внедрился в нашей повседневной практике метод наглядного обучения. «Да» — и наш гость кивал утвердительно. «Нет» — и он отрицательно качал головой. «Добрый вечер» — с этими словами он заходил к нам под конец дня. Тут все было ясно. Но я никак не могла взять в толк, почему, к примеру, он то и дело поминает название газеты. «Правда,— говорил он непрестанно,— да, это правда».

Бежали недели, шли месяцы, сменялись в нашем доме постояльцы: разные лица, имена, воинские звания. Одно время нашим жильцом был настоящий генерал. К тому времени я, нахватав десятка два русских слов, активно пускала в ход этот свой словарный запас и без зазрения совести лепила из них целые фразы. Меня ни разу не высмеяли, и только благодаря этому я при всей своей девчоночьей ранимости не оробела, не замкнулась в себе. С генералом — его звали Федором Бочковым — я научилась бойко здороваться: «Драстути». На что он, по доброте душевной, еще и нахваливал меня: хорошее, мол, у тебя произношение, учись-ка ты русскому,— с тем напутствием он и простился со мной.

Десятью годами позже, летом 1955-го, ему, должно быть, захотелось узнать, послушалась ли я совета. Будучи в Венгрии, он разыскал меня с помощью Министерства обороны. Отправным пунктом в поисках послужили скупые данные: Сусанна, город Папа, отец — школьный учитель. Когда генерала соединили со мной по телефону, а я принялась нанизывать изысканнейшие фразы на русском, мой давний знакомый изумленно воскликнул: «Неужели это вы?» — «Нет, это моя переводчица»,— сострила я, в высшей степени гордая собою.

Впрочем, все это будет потом, а теперь вернусь обратно, к своим русским «университетам», а вернее, пока еще к «начальной школе» русского языка.

Вечер за вечером я вслушивалась в напевно-мягкую речь и через месяц-другой поймала себя на том, что я, оказывается, понимаю, о чем говорят! Андрей (очарованная «Войной и миром», я мысленно окрестила его Болконским, хотя это был узбек с миндалевидными глазами), за ним Лешка (я называла его знакомым словом «Ложка»), а затем Петр (для удобства обращения прозванный Петером) в то первое послевоенное лето сменяли друг друга, словно герои романа с продолжением. Я засыпала их вопросами, мне охотно отвечали, поправляли произношение, я повторяла снова, Ложка однажды показал мне русский алфавит. До этого я умела разбирать по-русски единственное слово: «типограф»,— не иначе как по предначертанию судьбы мне на несколько дней была вверена нарукавная повязка с такой надписью. И еще я знала похожую на раскоряку-жука букву «ж», которая дважды встречается в моем имени.

Постигнув грамоту, можно было начать учение заново. Оказалось, что удвоенное «е» произносится как «её», а давно знакомое «ишчо» пишется как «еще». Затем, перетряхнув собственный скудный запас слов и анализируя построение фразы в живой русской речи, я пыталась вывести для себя законы грамматики. Тут, уж конечно, я постоянно обращалась за помощью к отцу.

И наконец, разжившись маленьким словариком, я принялась за чтение русских книг. Читала все, что попадется под руку. Бесчисленными крохотными огоньками вспыхивали в сознании знакомые слова, обрывки фраз, грамматические правила. Естественно, что параллельно чтению я старалась — теперь уже сознательно — заниматься живым языком. Вот эти-то исподволь, с бору по сосенке нахватанные и накопленные крохи знаний я привезла с собой в Будапешт, в университет на отделение русской и венгерской филологии.

В те годы немногие студенты могли рассчитывать на стипендию. Пожалуй, и теперь я не могла бы с уверенностью сказать, кто на какие средства существовал. Что до меня, то я сдавала кровь, раз в полтора месяца — за деньги. Натаскивала первоклашек азбуке и таблице умножения — за обед. По субботам подряжалась делать уборку в табачной лавке у какой-то старушенции — в обмен на

сигареты. Таким образом и удавалось просуществовать худо ль, бедно ль, но зато разнообразно до чрезвычайности. Мне очень по душе было такое испытание сил. Пусть я тогда перебивалась со дня на день, и все же никогда не было у меня такого безмятежно-беззаботного настроения, как в те годы. Вспоминая о той поре, я писала: «Хлеба краюха, махорки щепоть да крыша над головою... а остальное — само придет, приложится само собою».

Но, конечно, не всегда эти блага сваливались сами собой. После очередной зачетной сессии, решив дать себе небольшую передышку от учебы, я обычно подыскивала работу. В то время в Будапеште размещалось множество объединенных венгеро-советских предприятий и учреждений. Изучив какую-нибудь вывеску, писанную кириллицей и почему-либо внушавшую мне доверие, я не колеблясь стучалась в дверь конторы: не требуется ли толмач, переводчик? Требуется — как правило, слышала я в ответ. Так я попала «переводчицей» в тогдашнее издательство «Уй со», где мой начальник — русский майор, напускной суровостью уравновешивавший доброту сердца,— стал моим очередным учителем, нет, не в смысле прямого, активного обучения, а преподав мне урок терпения. Так, к примеру, начальник не уволил меня, когда он, желая поощрить одного из наших сотрудников, сказал: «хвалю», а я это перевела как «увольняю». Не поняв слова, произнесенного майором, я попыталась угадать его смысл по выражению лица начальника — как всегда, хмурого.

Я чувствовала себя злостной обманщицей, к тому же приближалась экзаменационная пора, так что я решила подобру-поздорову уйти с той работы. А через полгода тяга к приключениям и нужда загнали меня на завод. В первые дни мне приходилось дежурить в заводской конторе. Но вот однажды утром добродушный русский старичок-директор пригласил меня пройти с ним в цех. В цеху откуда-то из-за грохочущих станков вышел мастер и попросил меня: «Скажите, пожалуйста, директору, что у поворотного рычага стерлась нарезка штифта». (Боюсь, что это бессмысленный набор слов, но беда в том, что и тогда, и теперь все технические премудрости для меня — темный лес.) Я стояла в полной растерянности, директор ждал. Наконец меня осенило, и я радостно выпалила: «Машина капут!» Директор улыбнулся, кивнул, мы продолжили обход цехов. Но скоро я ушла с завода. Опять я чувствовала себя обманщицей.

А между тем по университетской программе мы уже подошли к поэзии Пушкина и Лермонтова. Не подготовившись к зачету, я имела дерзость представить профессору Трочани свои первые робкие переводы этих поэтов. Профессор засчитал мою работу и даже удостоил ее отличной оценки. А вскоре предложил мне подготовить перевод стихов для солидной антологии «Сокровищница русской литературы».

И тем не менее я вряд ли ошибусь, если скажу, что истинным моим учителем в языке и наставником в поэзии был Есенин. Как-то роясь в библиотеке русской кафедры, я вытащила завалившийся во второй ряд потрепанный томик. Напечатанное по правилам дореволюционной орфографии, на обложке стояло: «Сергей Есенинъ. Стихотворенія». Заинтересовавшись, я принялась внимательно читать, очень мало понимая; но это немногое так поразило меня, что я, спрятав под пальто, унесла книжку домой и при помощи примитивного карманного словаря засела расшифровывать стихотворные строки. Это был адский труд, но Есенин притягивал меня, как магнит. О нем самом мне ничего не было известно, я не знала даже, жив он или умер. Не могла представить себе его лица. Но он заставлял меня видеть его, понимать его. Отдельные строки, строфы его я даже переложила на родной язык — просто так, для души. И лишь через десять лет строки эти вновь зазвучали для меня — на сей раз уже по заказу издательства.

А все эти десять лет меня учила языку сама русская литература: те многие (более сотни) прозаические произведения, которые были переведены мною. А вместе с каждой книгой сверщики и редакторы — критикуя, хваля, подбадривая — помогали мне выбираться из лабиринтов языковых трудностей. Как мне сдается, учение это не кончено и поныне.

Но я не хочу перескакивать из прошлого в настоящее. Здесь мне хотелось припомнить лишь первые классы моей языковой школы, добрым словом помянуть терпеливейших моих учителей: солдат, начальников по службе, поэтов. Самое историю.

## СЛОВА, ВЫБРОШЕННЫЕ ИЗ ОБИХОДА

Возможно, что мое вступление было бы более уместно для специального психологического исследования, нежели для литературного журнала, и все же я вынуждена начать с этого.

Судьба наградила — или покарала — меня необычной способностью: для меня каждое отдельно взятое слово — образ. Образ или цвет, форма, движение, иногда даже запах, аромат. Что же тут необычного, тотчас возразит читатель, с каждым человеком так бывает: о чем ни говоришь, то и видишь перед собою. Все это верно, но передо мною зримо возникают даже те слова, которые не несут никакого конкретного значения, а стало быть, и не могут вызывать определенного представления: союзы, префиксы, предлоги. Когда я говорю, передо мною проносится диковинный ряд образов, прокручивается, подобно множеству не связанных друг с другом кинокадров, и мне приходится сознательно отклю-

---

ЖУЖА РАВ
ИЗ ЛИРИЧЕСКОГО ДНЕВНИКА

чаться от этого потока, что не всегда легко удается. Схемы отдельных слов при этом всегда одни и те же (к примеру, формула предыдущей фразы составляется так: голые, серые древесные стволы; мелкая эмалированная тарелка, которая горизонтально вращается по кругу; две ягодки черешни; нос, свернутый на сторону указательным пальцем; бумажный кораблик). Имя «Ференц» вызывает представление об очках в проволочной оправе; они наискось лежат на углу стола. «Михай» — и я вижу застреху у крыши. Имя «Дюла» даже и выговорить страшно: мне мерещится вскрытая грудная клетка, и оттуда выглядывают легкие. А вот имя «Мария» ассоциируется у меня с парусными снастями. Однако меня донимают видениями не только имена собственные. Наперсток на указательном пальце — это союз «что». Вытряхивают голубой фартук — я упомянула приставку «из». Слова «грусть» и «интересный» оба вызывают представление об овальном ручном зеркале, но если в первом случае оно наклонено вбок, то во втором зеркальцем этим размахивают из стороны в сторону.

Слова чужого языка не вызывают во мне зрительных представлений, если, конечно, по звучанию своему они никак не ассоциируются с венгерскими словами.

Я всячески пыталась объяснить эту свою особенность; предположим, что иной образ или сцену я видела перед собою, когда впервые в жизни услыхала само это слово. Но где могла я видеть узорно выделанную кожу для набоек в тот момент, когда слышала имя «Карой»? Или вдруг возникающий в моем представлении черный пластырь при имени «Петер»? Не думаю, чтобы это было профессиональной болезнью, ведь эта особенность проявляется у меня с тех пор, как я помню себя. Да и кроме того, мой младший брат, человек весьма прозаического рода занятий (он — ветеринар), обладает той же способностью. Хотя, конечно, у него при этом возникают совсем другие образы. Бывало, мы до хрипоты спорили о том, как можно при имени «Янчи» представлять себе военную фуражку, когда на самом деле это жестяная лейка?

Один мой приятель-невропатолог, которому я однажды имела неосторожность проговориться о словесных ассоциациях, принялся горячо уговаривать меня написать статью для специального медицинского журнала. После этого случая я стала еще настороженнее относиться к причудам образного воображения и никому не упоминала больше о своей прирожденной странности.

Я сейчас завела разговор об этом лишь для того, чтобы дать почувствовать — пусть даже столь необычным способом,— как много значит для меня каждое отдельное слово. В моем восприятии слова обладают четкими контурами, цветом, запахом, голосом, они влекут за собою целые края, ярко высвечивают никогда не виденные мною лица. Слова — неотъемлемая часть моего ремесла, его необходимый материал. Я дорожу ими, храню на счету каждое из них, даже самое незначительное, даже редко встречающееся.

Вот почему мне так больно сознавать, что сокращаются их ряды. Слова стираются, блекнут, и я опасаюсь, что их не возродить к жизни одним лишь произнесением вслух: только бумажная их обертка прошелестит и стихнет. Правда, на наших глазах зарождаются и новые слова, но пропорция между новорожденными и отмирающими словами внушает самую серьезную тревогу.

Желая предотвратить недоразумение, оговорюсь сразу же: у меня и в мыслях нет оплакивать диалектизмы. Хотя поистине непостижимо, почему в Будапеште, этом гигантском конгломерате, который сфокусировал в себе все области страны, как правило, вымирают привезенные из дому звучные, сочные слова. Помню, как позабавило — и огорчило — меня, когда я узнала, что при общей численности в шесть тысяч человек половина народности манси (вогулов) говорит на северном, а половина на южном наречии, с трудом понимая друг друга. Будапешт не нынче — завтра составит половину Венгрии. Пока еще палоцы понимают уроженцев Шомодя...

Однако, повторяю, я не собираюсь произносить надгробную речь диалектизмам. Я имею в виду те слова, которые достались нам в наследство от многообразного, органически многогранного мира, но теперь сохранили лишь одно измерение, поскольку за ними больше не стоит конкретный предмет, обозначенный ими.

Мне вспоминается сейчас, как редакторы прежних лет, читая рукопись, не раз вскидывали на меня удивленный и недоверчивый взгляд: «Разве есть такое слово? Ты уверена? Ну, что же... тебе лучше знать!» Вспоминаются наши бои не на жизнь, а на смерть ради спасения того или иного живого, полнокровного речения. Нынешние редакторы более подкованы, более либеральны; а может, они попросту устали спорить и сражаться. Или, может быть, я своим упорным трудом достигла того, что они начинают мне верить?

Иные, более горькие впечатления исторгают сейчас у меня жалобу. Как-то осенью, во время литературного вечера среди преподавателей, библиотекарей, культмассовых работников одного из городов Задунайского края, мне пришлось выступить в роли лингвиста поневоле, исследуя этимологию слов родного языка. Речь зашла об одном из моих переводов, который, по мнению многих присутствующих, следовало бы снабдить специальным словарем. Словами, которые надлежало расшифровать, оказались следующие: баз, багряница, кармазин. Первого слова они даже не слыхали. Второе — очевидно, по аналогии с краснухой — напоминало слушателям назва-

ние болезни. Ну, а «Кармазин» — это популярный эликсир для волос, пытались они обратить разговор в шутку.

Кстати, если уж мы заговорили о цветах. Красный, алый... Мало-помалу все для нас становится только красным. Хотя каждому хорошо известно, сколько оттенков у этого цвета, и глаз наш пока еще их различает. А вот язык — забыл. Кто в разговорной речи скажет: кармазинный, карминный, багряный, пурпуровый, рубиновый, рдяный, червонный?

Естественный, органический мир вокруг нас все более вытесняется синтетикой, об этом уже достаточно писалось. Мы помним больше названий болтов, шестеренок и прочих разных запчастей, нежели названий растений. Такие слова, как *падь, лог, лощина, крутояр,* превратились в недвижимое имущество нашего языка. Из деревьев мы способны припомнить разве что красное и черное дерево, ну и породы плодовых деревьев — в том случае, если на них в данный момент висят плоды. И много ли людей найдется, кто, не задумываясь, растолкует смысл понятий — «вертопрах», «вертоград», «ретроград»? А между тем ни одно из них не является диалектизмом.

И таким примерам — несть числа...

■

Подобно тому как скупец считает-пересчитывает свои сокровища, так и я иной раз прикидываю, что еще у нас осталось. Прогуливаюсь по заповедным территориям словарей. Щедрой, великой радостью оделил меня новый толковый словарь венгерского языка. И огорчил одновременно: сколько богатства у нас было!

И все-то мы торопимся, спешим — слышится сплошь и рядом. Ужели только спешка тому причиной, что всякий раз, когда мы хотим сказать нечто важное, то хватаем первые попавшиеся слова? Подобно тому, как при дорожных сборах второпях бросаем в чемодан зубную щетку и пижаму.

Мы собираем старинные глиняные горшки, прялки и колокольца, духовые утюги и ременные плети. Иногда нас побуждает к тому мода, но есть от такого собирательства и практическая польза: тем самым сохраняются, оберегаются от гибели редкостные предметы. Каждый, кто входит в комнату, осматривает эти добротные, старинные вещи, и они если не способствуют большему, то хотя бы высекают искру отрывочного воспоминания о далеких годах детства.

Но кто пытается удержать уходящие из жизни слова? В резерваты словарей даже иной из пищущей братии заглядывает лишь в том случае, если то или иное выражение ему необходимо для работы. В повседневной жизни мы словно стыдимся собственного богатства. Боимся, что нашу речь сочтут изысканной, выспренней, высокопарной, если мы станем прибегать не только к тем словам, которые находятся в постоянном обиходе.

Копится, множится громада заброшенных слов, которые дают понятиям прочные и разнообразные названия. А мы привыкли обходиться кучкой стертых и безликих: дерево, цветок, животное, дом.

Множество бесхозных, беспризорных слов засунуто меж книжных страниц. Мы не притрагиваемся к ним — то ли в спешке, то ли из-за лени. Когда-то они обозначали разнообразнейшие оттенки действий, с любовью и тщанием выделанные орудия труда, возраст, пол и масть животных, тысячи видов деревьев и цветов, обозначали края, земли и воды. Эти слова жили полнокровной жизнью, распоряжался ими рачительный хозяин, они всегда были в деле. Теперь же они увядают, как сорванные цветы. И, засохнув, могут рассыпаться во прах.

## СТРАСТЬ К СТЯЖАТЕЛЬСТВУ

Средь мутного потока прописных истин вряд ли сыщется еще одна столь же трескуче-отвратительная, как вот эта: «Время — деньги». Как мне представляется, первым ее пустил в обиход человек бездушный, безжалостно подстегивающий самого себя, а если он выверял свои поступки этой же мерой, то, по всей вероятности, сколотил изрядный капиталец; но вряд ли богатство доставило ему такую уж большую радость в жизни.

Во-первых, сия премудрость далека от истины. И для ее опровержения вовсе не обязательно обладать железной логикой. Ведь коль скоро карман опустеет, мы можем снова разжиться деньгами; правда, ценою времени. А вот времени — взамен потраченного — нам не восполнить ничем, ни за какие деньги.

И чем стремительнее тает время — наш жизненный капитал, тем с большим страхом мы осознаем его невосполнимость. К тому же нам не дано знать, велико ли это наше богатство, изо дня в день мы черпаем и расходуем его, не имея и смутного представления о том, сколько еще у нас на счету осталось.

■

Как-то один знакомый бросил мне упрек: я-де трясусь над каждой минутой. Упрек справедливый, хотя тот человек даже не подозревает, до какой степени я скупа в действительности. Насколько легко я разбрасываюсь деньгами, настолько же мелочной, мерзкой скрягой становлюсь, когда дело доходит до траты времени. Тут я скрупулезно складываю, вычитаю, умножаю, делю и составляю из дробных частей целые, я откладываю минуты, коплю часы, по крохам добавляю к сэкономленному новые крупицы времени, считаю и пересчитываю; если от завтрашнего дня удастся столько же урвать, как нынче, и прибавить это к сегодняшнему капиталу и если послезавтра я смогу прожить по столь же

---

ЖУЖА РАБ
ИЗ ЛИРИЧЕСКОГО ДНЕВНИКА

строгому режиму экономии и у меня останется еще столько же времени, тогда я потрачу его, чтобы наконец-то... Да, а на что, собственно, я его потрачу? Знаю только одно: уж ни в коем случае я не обменяю его на деньги.

Каждую неделю я не раз проезжаю по мосту Маргит и из окна автобуса с вожделением взираю на золотистые, или снежно-белые, или темно-зеленые кущи парка. В последний раз я, помнится, сидела на скамейке в парке лет двадцать назад, раннею весной, одна-одинешенька, и не смотрела на часы — да у меня тогда и не было часов,— и была счастлива одним сознанием, что я живу. Вот бы отыскать ту скамейку!.. Пожалуй, достаточно было бы той скамейки, чтобы вернуть прежнее восприятие жизни. И как мало нужно для этого: всего лишь выскочить на полдороге, спуститься с шумного моста и войти в зеленую прохладу парка. Да, надо бы вырваться хоть разок...

В небольшом городке живут мои родные — из числа тех, что опровергают другую расхожую истину: друзей выбирают, родственников получают в наследство. Этих людей я выбрала бы по своей доброй воле, даже если бы нас не связывали узы кровного родства. Вот уже пятое поколение подрастает под крышей того дома, где я провела блаженнейшие дни детства. Оттуда я унесла жесты, черты лица, позаимствовав их у своей бабушки, низенькой и хрупкой. И очень редко я что-то вношу туда взамен. А дом терпеливо ждет меня, ждет вот уже на протяжении пяти поколений. Пишу я туда изредка, да и то всего лишь: «Как-нибудь выберусь, сейчас вряд ли удастся». Вот если бы выбраться туда хоть на полдня, только ради одного: чтобы почувствовали близкие, что я тоже люблю их. Ведь так неуловимо быстро ушли из жизни уже два поколения из пяти, а у меня все не было времени сказать им о своей привязанности.

Есть у меня давние, испытанные друзья; насколько полнее стала бы моя жизнь, улучи я часок, чтобы посидеть с ними и перекинуться словом; так нет же, я все откладываю встречу, обольщаясь тем, что не сегодня, так завтра я выберусь к ним отвести душу. Друзья же, вероятнее всего, объясняют мое молчание душевной холодностью и, устав ждать, тоже не звонят и не заходят, и постепенно мы перестаем существовать друг для друга,— так атрофируются мускулы, не получая двигательного стимула.

А надо бы еще сходить на выставку, посмотреть новую пьесу, написать письма, выбраться наконец к врачу, надоело перемогать хворь в надежде, что «сама пройдет», и пора бы освежить в памяти свой английский, а в Будайских горах сейчас зацветают серебристо-пышные анемоны. Я могла бы отыскать местечко, где они выбросили упругие стебли, да и, спрашивается, что мне мешает пойти, ведь я — полновластная хозяйка своему времени, к тому же у меня в запасе целых полдня — столько я накоплю до послезавтра. И все это время протрачу! Прокучу, как подвыпивший миллионер!

■

И тут раздается телефонный звонок.

Знакомый приятеля одного из моих зарубежных друзей; естественно, мы никогда не встречались, но он слышал обо мне «столько хорошего». Он впервые в Венгрии, прибыл туристом, и я для него «единственная зацепка». Сегодня у него весь день свободен, так что не смогу ли я ему помочь сделать кое-какие покупки.

Я — из породы тех людей, кто крепок задним умом, каждый раз мне слишком поздно приходит в голову нужный ответ. Прежде чем я успеваю придумать какую-нибудь отговорку, мы уже уславливаемся о встрече. И я, подавив свою болезненную фобию, тащусь с ним из универмага в универмаг, в стоптанных туфлях, которые выглядят столь плачевно вовсе не от нужды, а от моего непреодолимого ужаса перед толкотней в обувных магазинах.

Дома меня поджидает пухлый конверт: ученик средней школы посылает мне свои стихотворные переводы и просит незамедлительно дать подробный художественный анализ. Такое письмо не оставишь без ответа; я трачу часы, подбирая деликатнейшие формулировки, чтобы он, упаси бог, не заподозрил, как однажды некий вопиюще бездарный кандидат в переводчики, будто бы во мне «говорит зависть и боязнь конкуренции».

Затем очередной телефонный звонок. Бывшая школьная подруга, тоном праздной домохозяйки, с напористой резкостью упрека: «Как некрасиво с твоей стороны!» И затем — булавочный укол, удар ниже пояса: «Ну, конечно, что тебе до нас, мы — люди прозаические!» Одним словом, она извлекает на свет божий мою нечистую совесть, цвет которой от подобного «пренебрежения» к ближним давно уже за шкалой стыдливого румянца «изабеллы». Единственное моющее средство: приглашение в гости. Они приходят. «Скажи, сколько ты загребаешь в месяц?» — вопрос в прихожей. В комнате мой письменный стол тут же высекает новую мысль: «Слушай, а что выгоднее писать — прозу или стишки?» Муж признается, что и он, мол, в студенческие годы тоже пописывал стишата, хе-хе, когда был влюблен. Жена добавляет: «Но славу богу, он от этой дури излечился!» На прощание, уже в дверях, спрашивает: «Не страшно тебе тут одной?» И, уверенно подхватив мужа под руку, удаляется.

Гости ушли, теперь на очереди мытье посуды, уборка комнаты; необъяснимое ощущение горечи во рту, бессильная досада и единственная, неотвязная мысль: грабители, грабители!

Прощай, остров Маргит, и вы, родные, не ждите меня в ближайшем будущем; на выставку еще успеется, а пьеса, говорят, слабая; хворь моя и в самом деле пройдет сама собой, браться за английский все равно поздно, а букетик цветов можно купить и на базаре.

■

Каждый час, что мы проживаем, для кого-то является последним часом. И умирающий в момент последнего просветления успевает подумать, чего бы еще ему хотелось от жизни. Возможно, тогда его поразит мысль, что он ни разу не увидел восхода солнца, не наблюдал августовский звездопад, не побывал на бирже и так и не выбрался в больницу к лучшему другу, хотя и знал, что дни его сочтены.

И от этих запоздалых мыслей подлинным избавлением явится смерть.

## КУКУРУЗА НА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ

Кому из вас доводилось видеть кукурузу, горделиво колышущую листьями посреди проезжей части? Лично я — видела. На перерытой-перекопанной площади Кальвина, совсем рядом с трамвайной остановкой, в непроходимом лабиринте объездных путей, в шуме буровых машин, под ногами у спешащих людей. Она выглядела как безмятежно счастливый зеленый кузнечик, обосновавшийся у самого кратера вулкана. Я обратила на нее внимание лишь благодаря тому, что рядом со мной какой-то мужчина сурового вида вдруг застыл на месте с растерянной улыбкой. Да и другие прохожие останавливались, ахали удивленно, с умилением разглядывали зеленую чудесницу и улыбались.

И чудо заключалось не только в том, что кукурузный росток пророс и вымахал чуть не на полметра из матери-земли, по милости асфальта, уступившего ему крохотную пядь пространства. Но кукурузу эту кто-то по всем правилам окучил, не просто наспех присыпав у основания стебля, как делают в поле, а с заботливостью истого садовода разровнял вокруг углубление, и чаша этого углубления темнела влажной землей после свежей поливки.

Я пытаюсь придумать «биографию» этому кукурузному ростку. Может быть, зернышко нечаянно выпало у какой-нибудь старушки, припасшей корм для голубей? Или его посадили с заранее обдуманным намерением и пестовали с момента прорастания? А может, неизвестного садовода следует искать в той будке, что торчит посреди мостовой, мешая движению, и служит одновременно диспетчерской, складом инструментов и местом для короткого отдыха дорожных рабочих? Кто он, этот садовод, женщина или мужчина? Допустим, это женщина. В город она переселилась из деревни, причем попала сюда недавно. Должно быть, неуютно ей на этой одной из центральных городских площадей, сейчас скорее напоминающей преисподнюю. И женщина нет-нет да и оглянется на взращенную ею кукурузу, полномочную представительницу далекого родного села.

Однако выросшее на асфальте кормовое растение — это еще не самое удивительное чудо. Главное, что хрупкий, ломкий стебель стоит нетронутый и прямой, как струна. И это в сумятице ремонтно-строительных работ, в таком месте, где люди соскакивают с трамвая и сломя голову перебегают — одинаково резво на зеленый и на красный свет!

Я едва решаюсь произнести эти громкие слова, но само существование кукурузного ростка исполнено высокого воспитательного смысла.

В городе, где иной раз забавы ради не щадят даже молодые деревца, безмятежная доверчивость, беззащитность зеленого ростка сдерживает самые дурные порывы. Да-да, это именно так, ведь иначе не красовался бы он на мостовой, услаждая глаз и сердце, не рос бы без всякой видимой пользы.

Без пользы — потому что росток этот не украсил себя пышным султанчиком на макушке и не завязал початков, словно сознавая, что появился на свет лишь в качестве живого примера, в качестве символа.

## ВОДА

Одно ее название, произнесенное вслух, пробуждает жажду, вызывает успокоение, рисует картину зелено-голубого безбрежья, наполняет ностальгией по бездумному существованию на заре человечества.

Вода встречает вступающего в жизнь и обмывает уходящего из жизни. И в промежуток между двумя этими моментами никогда не покидает человека.

А если все же покинет — хоть ненадолго,— это может стоить человеку жизни.

Естественная спутница наших дней... У нас с ней такие же взаимоотношения, как с воздухом: мы замечаем, что она е с т ь, только тогда, когда ее н е т. Когда водопроводный кран отвечает на привычное движение сухим хрипом, когда после долгого, знойного пути мы никак не можем до нее добраться, когда она миражем сверкает в недостижимой дали, когда раскаленный графитно-голубой небосвод плавится над головою, а каждая глубокая трещина земли кажется спуском в ад.

Последнее движение простертых рук, белеющих костьми в пустынных песках, широко разверстый зев палой скотины, высунутые языки осатанело бегущих собак, молящий шелест пропыленных, пожухлых листьев, усеянное ржавым железом пересохшее речное русло, обнажившееся илистое дно колодца — все-все взывает к ней.

Капризная и своевольная, она то казнит нас задержкой, то досаждает непрестанными визитами, не желая распределять себя равномерно.

«Дождь-мать, вода-мать, мать жизни, о, излейся!» — заклинает дождь шаман. «Пашни наши в горе страждут, потонув в воды потоках; /Полегли хлеба и злаки на полях, водой залитых; /Отведи удар жестокий, /Благо это хуже казни, хуже смерти самой лютой!» — ропщет на небеса слагатель песен из «Трансильванского обихода». «Воды!» — молит уми-

---

ЖУЖА РАБ
ИЗ ЛИРИЧЕСКОГО ДНЕВНИКА

рающий или тяжелораненый в любом краю земли. «Послал господь дождя, да нет в нем блага!» — сетует на град хозяин. «Нету краше праздника, чем дождь затяжной: бедняку от трудов роздых»,— в свою очередь ликует батрак.

Словом, много ли воды, мало ли ее — это далеко не безразлично человеку.

А в скольких видах она существует!

Она послушно заполняет собою любые формы, не уступая только в одном: в своей «водопрямости», «водоровности» [1]. Ею, по отношению к ней измеряют на земле все горизонтально лежащее. Стало быть, и вертикальное, отвесное выверяют по ней. Каждый угол. И любое строение на земле.

И она же скромно поблескивает в углублении от конского копыта, протягивая грязную чашу умирающему от жажды. Она стекает по осенним окнам, сиротливо скребется, запертая-запруженная снаружи, и всегда отражается в ней печальное воспоминание о какой-то далекой, давно минувшей осени. Она носит на себе корабли и затягивает их в свою пучину, ее хрустальная колыбель баюкает тела утопленников, она кормит рыб и таит в себе древнейшие сокровища, отбеливает гусиное оперенье в прудах у околицы, неисповедимыми путями блуждает под землей, выпадает туманом и сбивает с пути лошадей и возчиков; она мелет зерно и орошает поля, сказывает сказку о водяном королевиче и пленницей томится в мраморных бассейнах, соленой влагой катится по щекам и обкатывает на своих волнах гальку, весело качает пестрые мячи и глухо плещет о замшелые ступени, сносит дома и подмывает скалы; она — орудие пытки и избавление от муки, она поит, убивает, купает, освежает, облепляет грязью и отмывает дочиста — вода, мать жизни!

Мы же лишь принимаем к сведению ее блистательное существование, мы унижаем ее, превращая в покорную рабыню, мы бросаем в нее мусор, льем без всякой жалости, охлаждая бутылки с пивом, отравляем ядами и угрожаем самому ее существованию.

Не так давно мне опять довелось увидеть загрязненные порты, замусоренные отбросами заливы, облепленные навозными мухами раздутые туши крупных морских рыб.

Мрачные, тяжкие слова с давних пор предрекают воде гибель. Лучше было бы им не верить.

Ведь если вода испортится или иссякнет, покинет нас навеки, то не останется в живых никого, кто мог бы ее оплакать.

## МОЙ НАСТОЯЩИЙ

Поздний вечер, лениво переваливаясь, ползет трамвай, в вагоне всего четверо-пятеро пассажиров. В такой час кажется, что рельсы и те идут зигзагами, а вагон напоминает картонную коробку, которую рывками тащит за собой взбалмошный мальчишка. И мысли под стать движению, такие же вихляющиеся, случайные: то сугубо конкретные, то какие-то несуразные. Куда это мы едем? Ах да, домой. Каждый из нас едет к себе домой.

На остановке в вагон входит мужчина, садится напротив меня. Достает из портфеля вечернюю газету, вынимает из кармана очки, дохнув на стекла, протирает их, затем надевает очки, принимается читать. Я от нечего делать слежу за всеми его манипуляциями.

Это человек явно моего поколения, ну, разве что постарше на год-другой. Судя по его рукам, одежде, очкам, а также по тому, что начинает он с передовицы,— передо мной интеллигент. Лицо с характерными резкими чертами, симпатичное, а ранние морщины — черта, тоже свойственная людям моего поколения. Едва наметившаяся лысина, чуть оттопыренные уши. Но меня это не раздражает, можно привыкнуть.

Можно привыкнуть? Я задумываюсь, поймав себя на этой мысли. Да, собственно говоря, этот человек мог бы быть моим мужем. Точнее: хотя бы и он мог быть моим мужем.

Мне становится неловко: ведь этот незнакомый человек вдруг попал в полную зависимость от моей фантазии. Но игра увлекла меня, я не в силах ее прекратить. Ничего не подозревающий пассажир продолжает читать газету, а я смотрю на его руки. Я вижу, как эти руки — руки двадцатилетнего юноши — неловко сжимают букет цветов. Вижу, как они взволнованно напряжены, когда этот мужчина выводит свое имя рядом с моим в метрической книге. Вижу, как эти руки подбрасывают вверх первенца-сына — нашего с ним сына. Как они заботливо укрывают шалью мои старческие плечи.

Случись все так, как я себе представила, то, возможно, вторую сторону моего существования составляли бы сейчас селекция растений или заболевания дыхательных путей, наверное, я жила бы на проспекте Ракоци или в каком-то из новых районов; сокрушалась бы, что у моей дочки оттопыренные уши; была бы в курсе всех служебных дел и перипетий своего мужа, изучила бы все причуды его начальника, а по воскресеньям принимала у себя в доме его сослуживцев; быть может, мы ездили бы на рыбалку к излучине Дуная, но с таким же успехом мы могли бы исколесить всю Испанию; в магазинах я подбирала бы рубашки сорокового размера и ботинки сорок второго; возможно, в угоду ему я ходила бы сейчас крашенная под брюнетку и, по всей вероятности, не пропускала бы ни одного воскресного матча и даже «болела» вместе с ним.

Он тем временем добрался до странички спорта.

И тут мне приходит на ум старое-престарое слово.

Ведь и он мог бы оказаться для меня н а с т о я щ и м.

Это слово наши бабушки писали и выговаривали с большой буквы. Они неколебимо верили, что Настоящий бывает только один и что он обязательно придет. И того, кто приходил за ними, они наделяли всеми атрибутами Настоящего,—

[1] В венгерском языке понятие «горизонтальный» так и передается как «водоровный» *(прим. перев.)*.

таков был естественный результат полученного ими воспитания. Пожалуй, эта уверенность и помогала им выдержать долгую череду безрадостных лет, наделяла всепрощением и позволяла подвести итог собственной жизни: все так и должно было быть, и как оно там ни было, а все сложилось к лучшему.

Этот Настоящий живет и в прошлом и в будущем. В рассказах наших бабушек и в поисках партнера с помощью компьютеров. В настоящем же он существует лишь в мечтах романтических душ. Заключаются браки по ошибочным телефонным звонкам, по объявлениям в газете, в силу общности профессий, из корыстных побуждений, по расчету и даже по любви. Но вот Настоящего — с большой буквы — современные девушки вряд ли ждут для себя.

Мне очень ярко запомнилось, когда я впервые столкнулась с этим словом и именно в этом его смысле. Глухой осенью, в рано наступившие сумерки я влетела домой, возвратясь из школы танцев. Было мне тогда, должно быть, лет четырнадцать. Сейчас уж и не восстановить в памяти, что меня тогда так взбаламутило — какой-нибудь юный рыцарь с развевающимися в танце волосами или недавно прочитанный сентиментально-слащавый роман,— помню только, что я забилась в угол, обливаясь горючими слезами. На все расспросы озадаченных родителей я, захлебываясь в рыданиях, сбивчиво выкрикивала:

— Да-да, я знаю... вы насильно выдадите меня замуж за какого-нибудь богача... за старика, толстого и плешивого, на жилете у него будет золотая цепочка, и звать его будут Алайошем! А-а-а-ла-айошем! — и продолжала рыдать неутешно.

Теперь-то, задним числом, я понимаю, что родителям, наверное, немалого труда стоило сдержать смех. Выслушав меня, отец самым серьезным тоном заявил:

— Не станем мы тебя выдавать насильно. Вот придет Настоящий, твой суженый, за него и выйдешь. Конечно, если полюбишь.

Жизнь оказалась гораздо сложнее; настоящий вроде бы и приходил не раз, но, вероятнее всего, не попался мне ни разу; то я встречала его тремя меридианами дальше — отцом двоих детей,— и мы, говоря на разных языках, едва понимали друг друга; то на встречном эскалаторе в метро, мне мнилось, на миг мелькнуло его лицо, а вот сейчас, может, он сидит тут, напротив, и чистая случайность, что он не обратится ко мне с вопросом: «Хочешь почитать газету?»

Мужчина смотрит в окно, затем скользит по мне скучающим взглядом, словно мы и вправду едем к себе домой — в наш общий дом.

Он убирает очки, складывает газету, выходит из трамвая, даже не поглядев в мою сторону. А как иначе: он же меня не знает. Странно! Ведь я за четыре трамвайных остановки прожила с ним вместе свою жизнь — одну из миллиона возможных. И подытоживаю ее утешительным резюме: и этот был бы не лучше и не хуже других.

Оставшись одна, я еду дальше в сотрясаемой толчками коробке. Увожу с собою выпавшую мне участь. Мою. Единственную. Настоящую.

## ВОПРЕКИ ЗАКОНУ ФИЗИКИ

Где она, куда девается энергия, затраченная нами в будничных делах за годы и десятилетия жизни? — задает вопрос мне, а вернее, самому себе один мой друг. Он еще не старый мужчина — ему нет и пятидесяти,— статный, молодцеватый; позади у него пустыня засушливых лет с освежающими оазисами на пути, но сейчас ему не до светлых воспоминаний; он сидит у развалин рухнувшего семейного очага и думает; сам он — ничего, он перенесет эту катастрофу, но среди развалин играет, ничего не подозревая, его горячо обожаемый, единственный сынишка. Отец прокручивает в памяти прожитые годы — годы, составленные из минут,— все движения, силу, энергию, вложенные в эти минуты. «Куда она девается, эта энергия?» — снова спрашивает он, уставившись в пространство перед собой.

«Куда девается?» — тем же вопросом задаюсь и я. И поскольку готовый ответ не находится, то я прибегаю к помощи науки; дома, листая энциклопедию, дохожу до определения: «закон сохранения энергии».

«Один из самых универсальных законов природы,— читаю я в энциклопедии,— согласно которому количество энергии в замкнутой системе постоянно; следовательно, энергия не может никуда исчезнуть и не может возникнуть или быть создана из ничего. Отдельные виды энергии могут быть преобразованы один в другой, но общее количество ее при этом не меняется...»

Определение весьма утешительное. Стало быть, энергия, циркулирующая в замкнутой системе нашей жизни, сохраняется и в той или иной форме возвращается к нам. Но когда и как? — я задумываюсь над этими вопросами, и тут взгляд мой натыкается на следующий заголовок: «Преобразование энергии». А вдруг да этот раздел утешит меня еще больше? Ну-ка поглядим.

«...Собирательное название всех тех процессов, в ходе которых один вид энергии переходит в другой...— Прекрасно! Значит, мое предположение верно. Однако почитаем дальше: — Практически преобразование энергии всегда сопровождается потерями (потеря энергии), поскольку в процессе преобразования преобразующий механизм (машина) тоже использует энергию, а также и окружающая среда поглощает определенное количество энергии».

Куда же девается понапрасну затраченная человеческая энергия? На этот вопрос физика не дает да и не может дать ответа.

---

ЖУЖА РАБ
ИЗ ЛИРИЧЕСКОГО ДНЕВНИКА

Во что обращаются многолетние заботы-хлопоты матери, на старости лет покинутой детьми? Бессонные ночи у постели больных ребятишек, от зари до зари нескончаемые труды, чтобы как-то прокормить и образить семью,— из чего же еще слагается работа женщины, обихаживающей семью? Ну, а нервная энергия: непрестанные заботы, тревоги, ответственность... И ведь эти миллиарды крупиц энергии можно раздробить на более мелкие единицы, на крохи, затрачиваемые в час, в минуту: порванные рубахи, протертые штанишки, тазы с замоченным бельем, мучительные попытки выгадать каждый грош, неподъемные сумки с продуктами, а то, глядишь, и муж-выпивоха, домашние дрязги, бесплодные уговоры, слезы по ночам, унизительные примирения под утро, и подрастающие дети — сколько голов, столько и характеров,— и к каждому подбери свой ключик, и покорность, смирение, все более и более гнетущее, а как не потерпеть, когда птенцы скоро вылетят из гнезда, и вот они уж и разлетелись — окончательно и бесповоротно: и хорошо еще, если всеми заброшенная старушка не принимает этого близко к сердцу и нет у нее иных жалоб, кроме той, что силенки тают, побаливает поясница и пенсия невелика, зато дети, слава богу, встали на ноги.

Правда, в процессе преобразования эта женщина подобно преобразующему механизму — машине — тоже потребляла какую-то энергию: она пила и ела, иногда покупала себе кое-что из одежды, изредка бывала в кино, и выпадали ей в жизни и другие радости. Но главное: окружающая среда поглощала энные количества энергии. Что же, выходит, это и есть принцип преобразования энергии? Таким способом и возвращается обратно энергия? Обратно! Но куда?

Старушка живет своей неприметной жизнью, мыкается в одиночку.

Нет, не на все случаи распространяются законы физики!

Ну, а все же, если продолжить наш ход рассуждений ..

Куда уходит прорва энергии, вложенной в бездумную, опрометчивую связь, неудачную любовь, в брачный союз, который так и распался, не принеся счастья?

Ведь все это — не что иное, как энергия: замирание сердца при первом свидании, ласковое прикосновение руки, и поцелуй, и долгий, изматывающий нервы путь до получения квартиры; откладывание по грошу на приобретение мебели, подыскивание подходящего стола или кровати, покупка этих вещей, перевозка из магазина домой (если уж опять дробить энергию на крохи), затем торопливые сборы по утрам, переполненный транспорт, повседневный труд ради близкого человека и сотни километров, исхоженные вдоль крохотной кухоньки во время домашней «третьей» смены, материальные заботы, долгие раздумья, пререкания, затем все более поздние возвращения домой, подозрения, обиды, слезы, остывающий домашний очаг, потом окончательное и бесповоротное решение, что дальше так продолжаться не может,— изобретут ли когда-нибудь такой хитроумный прибор, который сможет учесть все количество затраченной энергии (в том числе и затраченной впустую)?

Во что преобразуются — и преобразуются ли вообще — каждодневные усилия учителей и воспитателей, их изнурительный труд, который порою кажется беспросветным, их доброта и многие часы, отнятые ими у своей личной жизни? Ответ на это могут дать разве что их воспитанники, но опять-таки не физика.

Где и как восполняется энергия, потраченная на долгое топтание в коридорах учреждений, на мучительное, безропотное ожидание, пока тебе поставят печать на нужную бумагу? И разве тот, кто шлепнет наконец-то эту печать, не чувствует, что и на его труд не всегда распространяется закон сохранения энергии?

Куда девается энергия, убитая на беспричинную досаду или на любовь к человеку, недостойному твоего чувства? Где энергия, ушедшая в рабочие дни, потраченные вхолостую, в допущенный производственный брак, в бесплодную борьбу? Может быть, она преобразуется? Но когда и как и во что именно?

Я люблю сама придумывать себе разные спасительные утешения — во множественном числе, потому что одного мало на все случаи жизни. Правда, они по большей части утопичны, эти мои утешения. Но зато все до одного прекрасны.

Вот одно из них: все, что утеряно, растрачено, израсходовано нами, копится где-то в одном хранилище, надо только отыскать это хранилище. И тогда мы вновь обретем лунную дорожку на поверхности Балатона, и куда-то закатившийся в детстве стеклянный шарик — любимую свою игрушку, и первый школьный день, неотделимый от аромата яблок и запаха новенького кожаного портфеля, и ласковый смех бабушки, и робкие слова первой отроческой любви, и давно пережитое зимнее утро, и заячьи следы на голубоватом снежном покрове, и осколок гранаты, разорвавшейся рядом. Там, в одном месте, собраны все наши радости и слезы, утехи, огорчения, увядшие цветы и платья, из которых мы выросли, блаженно-счастливые утра и одинокие вечера; там хранятся все слова, которые мы непременно должны были сказать, но так и не успели; и даже дороги, намеченные, но не пройденные нами, смотаны там в огромный клубок,— все-все можно найти в этом удивительном хранилище. Нужно только искать. А может быть, всю нашу жизнь мы и заняты этими поисками?..

И там же находятся — конечно, как гигантский каравай — все рассыпанные крохи и крошки нашей нервной энергии. Возможно, что в голодные для души годы нашей жизни мы, сами того не сознавая, подкармливаем себя тем хлебом.

В качестве утешения это звучит красиво. Правда, незыблемые законы физики тут ни при чем.

◆

# Антирубрика

*В этом году исполняется 125 лет со дня рождения Б. Шоу. Предлагаем читателям пьесу «Деревенское сватовство», которая была написана в 1933 году, опубликована и поставлена на сцене в 1936 году.*

*Уже в преклонном возрасте Б. Шоу много путешествовал, но работать не переставал даже во время путешествий. В письме приятелю он сообщает о любопытном способе оберегать себя от посторонних:*

*«Я научился безошибочно выбирать из публики какую-либо беззащитную даму, которая только и жаждет подружиться со знаменитостью. Найдя ее, я ставлю свое кресло на палубе рядом с ее креслом и спрашиваю при этом, не будет ли она против, если я вместо беседы поработаю над своей новой пьесой. Она приходит в неописуемый восторг оттого, что на ее долю выпала роль защитницы Джи-Би-Эс, отчаянно машет руками, отгоняя всякого, кто захочет подойти ко мне, и шепчет при этом: «Мистер Шоу работает над новой пьесой». Так я завожу нового друга и обеспечиваю себе полнейший покой на все время путешествия»* [1].

*Шутка шуткой, а может быть, так и была написана маленькая комедия для двух голосов под названием «Деревенское сватовство».*

## БЕРНАРД ШОУ

# ДЕРЕВЕНСКОЕ СВАТОВСТВО

**Маленькая комедия для двух голосов**

*Перевод с английского ГРИГОРИЯ БАБЕНЫШЕВА и ЛЮДМИЛЫ БИНДЕМАН*

### ПЕРВЫЙ РАЗГОВОР

Палуба туристского парохода «Императрица Патагонии». В двух креслах сидят: *А* — бледный господин лет под сорок, с виду литератор, в зеленых очках, с жиденькой черной бородкой, в белом чесучовом тропическом костюме, что-то усердно пишущий, и *Я* — молодая женщина приличной, но не аристократической внешности, скучающая над книгой. Она в купальном костюме и скромно прикрылась не слишком яркой шалью.

Я. Простите, будьте добры сказать, который час?

А *(резко)*. Одиннадцать.

Я. На моих часах половина одиннадцатого.

А. Прошлой ночью часы перевели на полчаса вперед. Мы плывем на восток.

Я. Мне кажется, что, когда путешествуешь, очень интересно переводить стрелки часов!

А. Я рад, что вас так легко заинтересовать. *(Демонстративно принимается писать.)*

Я. Значит, стюард начнет разносить суп через полчаса. Я думала, придется ждать еще час.

А. Я никогда не беру суп. Отрывает от работы.

Я. Почему вы все время работаете? Ведь не для этого отправляются в увеселительную поездку, верно?

А. Работа — мое единственное развлечение.

Я. Ну разве так можно, послушайте! Да на вас смотреть жалко, все сидите и пишете, ничем себя не порадуете, даже ложечкой супа. Вам бы немного встряхнуться, побросать кольца на палубе. Сразу почувствуете себя лучше.

А. Я чувствую себя прекрасно, благодарю вас. И я ненавижу палубные игры, особенно бросание колец. Эти дурацкие кольца нарушают тишину, когда шлепаются на палубу.

Я. Ага, теперь понимаю. Вот почему вы всегда сидите на этом конце палубы. А я-то все думала: почему бы это?

А. За последние две недели вы познакомились с бесценными памятниками древ-

[1] Э. Хьюз, Бернард Шоу. Москва, 1968.

ности в Неаполе, Афинах, Египте и Палестине. Пожалуйста, займите ими свой ум, пока не принесут суп.

Я. Меня никогда не интересовала география. Кстати, где мы сейчас?

А. На Красном море.

Я. Но оно синее.

А. А каким, по-вашему, оно должно быть?

Я. Ну, откуда мне знать, какого цвета море в этих краях? Я всегда думала, что Красное море должно быть красным.

А. Так вот, оно не красное.

Я. А разве Черное море не черное?

А. Оно такого же цвета, как в Маргите.

Я *(горячо)*. Ах, я так рада, что вы знаете Маргит! Нет лучшего места в разгар сезона, правда?

А. Не знаю. Никогда там не был.

Я *(разочарованно)*. О, нужно побывать. Вы могли бы написать книгу о Маргите.

А пожимает плечами, вздыхает и делает вид, что усердно пишет. Пауза.

Я. Интересно, почему они называют это море Красным?

А. Потому что так называли это море их отцы. Почему вы называете Америку Америкой?

Я. Потому что это Америка. Как ее еще назвать?

А. Ах, называйте как угодно, дорогая. Мне нужно написать до второго завтрака пятьсот слов, а я их не напишу, если буду с вами разговаривать.

Я *(сочувственно)*. И правда ужасно, когда не хочешь разговаривать, а приходится. Да, я кое-что вспомнила. Могу рассказать вам такую интересную новость. Мне кажется, мужчина в соседней каюте бьет свою жену.

А. Я его понимаю. Некоторые женщины любого доведут до бешенства.

Я. Так, наверное, и с ним, начинает всегда она.

А. Разумеется.

Я. Ненавижу придир, а вы?

А. Как женщина, вы имеете привилегию прекратить разговор. Пожалуйста, воспользуйтесь ею, не заканчивайте каждую фразу вопросом.

Я. Вы забавный.

А. Я? Забавный? Сейчас меньше чем когда-либо.

Я. Никак вас не пойму. Я довольно хорошо разбираюсь в людях, а вас не разгадаешь.

А. Я здесь не затем, чтобы меня разгадывали. И вам рекомендую не разгадывать людей, а наслаждаться радостями, за которые вы заплатили. Теннис, кольца, крикет, гольф, мяч, бассейн, гимнастический зал — все к вашим услугам.

Я. Я плохо знаю игры, а потом они глупые. Лучше сидеть и разговаривать.

А. Так, ради бога, найдите себе другого собеседника. У меня нет времени для разговоров. Мне нужно отработать проезд.

Я. Что значит — отработать проезд? Ведь вы не моряк.

А. Нет, не моряк. Я с грехом пополам оправдываю поездку на пароходе тем, что пишу книжку для путеводителей серии «Марко Поло». Если не сделаю две тысячи слов в день — я банкрот. А я не смогу их одолеть, если вы будете упорно продолжать разговаривать со мной.

Я. Значит, вы пишете книгу об этой поездке?

А. Пытаюсь. С большим трудом.

Я. Я буду в книге?

А *(угрюмо)*. Будете.

Я. Как интересно! Обо мне никогда не писали в книгах. Вы мне прочтете, что напишете обо мне, да?

А. Когда книжка выйдет, можете читать в свое удовольствие.

Я. Но я хочу, чтобы вы меня описали верно. В конце концов что вы обо мне знаете? Хотите, я расскажу вам всю свою жизнь?

А. Избави бог, нет! Прошу вас, не надо!

Я. А мне все равно, кто ее узнает.

А. Это ясно. Вряд ли вы предложили бы рассказать ее совершенно чужому человеку, если бы вам это не было безразлично и если бы ваша жизнь представляла хоть малейший интерес...

Я. Так я и не считаю вас чужим. Мы путешествуем вместе на одном пароходе, верно? А большинству людей моя жизнь показалась бы настоящим романом. Вы в самом деле не хотите, чтобы я ее рассказала?

А. Нет, уверяю вас, когда мне нужны романы, я придумываю их сам.

Я. Ну, может, вам это и не покажется таким уж увлекательным, но я не могу на себя нарадоваться. Вот и вы, наверное, думаете, что, если я шикарно одета, путешествую в люксе и все такое, значит, я образованная дама. А я вовсе не такая.

А. Ни минуты не думал.

Я. Но откуда вы знаете? Как вы это открыли?

А. Я ничего не открывал. Я знал.

Я. Кто вам сказал?

А. Никто не говорил.

Я. Как же вы узнали?

А *(раздраженно)*. Как я узнаю, что попугай не райская птица?

Я. Они разные.

А. Правильно.

Я. Вот то-то и оно, видите. Ну а за кого вы меня примете, если встретите в вагоне третьего класса?

А. Я вас не замечу.

Я. Ручаюсь, заметите. Может быть, я не красавица, но как зайду в вагон, на меня каждый мужчина взглянет.

А. Я — не каждый. Обыкновенный мужчина думает, что каждая женщина, входящая в вагон, может оказаться той, какая ему нужна. Но он всегда обманывается.

Я. Так и женщины, правда? Будь вы женщиной, знали бы.

А. Я и есть женщина. А вы мужчина, с тем небольшим отличием, которое имеет значение только в особых случаях.

Я. Ах, какие вещи вы говорите! Никогда бы в это не поверила. Я знаю, конечно, у мужчин есть свои слабости, свои настроения. Но все равно в мужчине есть что-то чудесное, чего никогда не жди от женщины. Разве не так?

А. Неопытные мужчины думают: в женщине есть что-то чудесное, чего нет в

мужчине. Отсюда много несчастливых браков.

Я. Вы женаты?

А. Вдовец. А вы?

Я. Ну вот, в первый раз задали мне вопрос. Мы продвигаемся вперед, правда?

А. Нет, моя работа нисколько не продвинулась.

Я. Вы интеллигент, правда?

А. Что вы хотите сказать, называя меня интеллигентом?

Я. Только то, что вы считаете меня идиоткой и, наверно, были плохим мужем.

А. Вы совершенно правы и в том, и в другом.

Я. Я так и думала.

А. А теперь, пожалуйста, позвольте мне продолжить работу.

Я. Сделайте одолжение, я вам не мешаю.

А. Благодарю вас. *(Принимается писать.)*

Пауза.

Я. Какие книги вы мне посоветуете прочесть, чтобы набраться ума?

А *(в бешенстве)*. Стюард!

Я. Ах, не беспокойте сейчас стюарда. Он разносит суп.

А. Я хочу, чтобы он перенес мое кресло в самый дальний угол парохода.

Я. Я всегда говорила, что на том конце прохладнее. Позвольте, я тоже перейду туда?

А. Если вы и дальше станете меня преследовать, я выброшусь за борт. Неужели вы не понимаете, что я хочу остаться один и работать, а ваша болтовня мне мешает?

Я *(сочувственно)*. Как это раздражает, если к вам пристают с разговорами, когда не хочется говорить. Ну, а если вы хотите поговорить, а другой не хочет, тоже плохо, правда?

А. На этом корабле триста или четыреста пассажиров. Разве вы не можете найти среди них человека с такой же неутолимой жаждой к разговорам, как у вас?

Я. Да, но мы все должны стараться быть приятными собеседниками.

А. Не в ущерб другим. Вы сейчас не кажетесь мне приятной женщиной. Вы можете довести меня до безумия.

Я. Мой отец любил говорить, что мужчины и женщины всегда доводят друг друга до безумия.

А. Это звучит литературно. Ваш отец писал?

Я. Нет, но он был письмоносцем.

А. Кем?

Я. Письмоносцем. Сельским письмоносцем.

А. Ха-ха! Ха-ха-ха!

Я. Что в этом смешного?

А. Не знаю. Ха-ха! Письмоносца дочка, губки — кораллы! Дай масла полгоршочка, сыру и сала. Ха-ха!

Я. Что ж, я рада, что позабавила вас. Но думаю, с вашей стороны не очень вежливо смеяться над моим отцом.

А *(опомнившись, корректно)*. Вы правы. Я вел себя грубо. Но хороший смех для меня сокровище. Я чувствую себя другим человеком. Извините меня. Понимаете, вы передали слова вашего отца — почти афоризм,— которые показывают, что он, наверно, гениальный человек.

Я. Да, у него гениальная способность к ходьбе.

А. К чему?

Я. К ходьбе. Еще мальчишкой он завоевал приз Юного Пешехода. А мать моя, представьте, ужасная домоседка. Всегда ворчит, даже если ей приходится выйти в лавочку за покупками. А когда у нас появился телефон, она совсем перестала выходить из дому.

А. Странно. Если она никуда не выходит, а он никогда не сидит дома, в семье должен царить мир. Но его замечание о мужчинах и женщинах, доводящих друг друга до безумия, скорее говорит об обратном.

Я. Так оно и было. Она все жаловалась на одиночество, а он требовал, чтоб она больше двигалась. Когда они не ссорились из-за этого, то ссорились из-за меня. Все прочили мне большое будущее. Мать хотела, чтобы я стала горничной в богатой семье, отец — чтоб я стала оператором телефона. Он говорил, что у богатых семей нет будущего, а у телефона — большое будущее.

А. А вы сами? У вас не было никаких стремлений?

Я. О, мне хотелось чего-нибудь романтичного. Например, быть акробаткой в цирке.

А. Что ж получилось на деле?

Я. Я стала продавщицей и оператором телефона в сельской лавке.

А. Разве продавщицы в сельских лавках и телефонистки...

Я. Операторы.

А. Извините, операторы. Разве они зарабатывают так много, чтобы пускаться в увеселительные кругосветные путешествия?

Я. Нет, но мне достался первый приз на конкурсе, который устроила одна газета. Мать советовала отложить деньги, говорила, что они помогут мне заполучить бережливого мужа. А отец посоветовал промотать все сразу, раз уж подвернулся такой случай. Ты, говорит, всю жизнь будешь сводить концы с концами, а сейчас есть случай пожить четыре месяца так, будто у тебя пять тысяч фунтов годового дохода. Не упускай его, посмотри, на что это похоже. Хватай эту радость, у тебя никто ее не сможет отнять, раз она выпала тебе на долю. Он предлагал путешествовать пешком и останавливаться на ночь в лучших отелях. Но я выбрала морскую прогулку. Тут больше шикарных туалетов, есть на кого посмотреть. А ходить я могу сколько угодно по палубе. Когда кончится плаванье, я вернусь в сельскую лавку без медяка в кармане.

А. Здесь догадались, что вы не леди?

Я. Американцы в этом не разбираются: говорю, будто по телефону, а им это кажется аристократичным. А англичане все равно ни с кем не разговаривают. И многие из них точно такие, как я.

---

АНТИРУБРИКА

А. Ну, а как вам понравилась жизнь на уровне пяти тысяч в год? Стоит так пожить?

Я. Пока это в новинку, да. Когда вы дома, надоедает делать каждый день одно и то же, надоедают те же места, те же лица, вся та же старая карусель. Когда получаешь отпуск, едешь в битком набитом душном вагоне к морю, терпишь усталость и лишения — все, лишь бы набраться новых впечатлений. Чего не сделаешь ради этого. А здесь все беспрестанно меняется, и в конце концов начинаешь понимать, что значит иметь свой угол, что-то постоянное. Я не прочь попасть домой, к своей лавчонке и телефону. Порой такая страшная тоска одолеет. А еще временами кажется, что это глупая трата денег. Я ненавижу зря тратить деньги!

А. Это чрезвычайно привлекательная черта вашего характера. Жена любила бросать на ветер мои деньги. Держитесь своего правила, и вы моментально выйдете замуж.

Я. О, у меня было сколько угодно предложений. Но, знаете, ужасно стать женой бедняка, когда привыкнешь к чистой, приятной работе. Сколько я видела милых, веселых девушек, и все они превратились в старых грязных поденщиц, как вышли замуж.

А. Не будьте белоручкой. Вот у меня чистая работа, а мне часто хочется быть чернорабочим, чтобы поразмять мускулы, укрепить здоровье. У женщин пристрастие к людям в белых воротничках, и они делают своих сыновей клерками, хотя те были бы куда крепче и куда больше зарабатывали, будь они землекопами. Я бы хотел быть землекопом, а не писать путеводители.

Я. Что вам мешает?

А. Нет привычки к физическому труду. Через полчаса такой работы я света бы не взвидел. А землекопы, посади их на мое место, через пять минут объявят забастовку. Я только машина — машина, которая пишет, а землекоп — машина, которая роет.

Я. Мне кажется, мир плохо устроен. А вам?

А. Нужно принимать мир таким, как есть. Это мы плохо устроены.

Я. Вот об этом я и говорю. Ну хорошо, я понимаю, что не должна мешать вам работать.

А. Вы хотите сказать, что стюард, наконец, принесет суп?

Я. Да, уже половина двенадцатого.

Появляется стюард и предлагает суп *Я*, которая поспешно берет его. Потом он подносит тарелку *А*.

А. Нет, благодарю. Я не хочу супа.

Ему никто не мешает. Он целиком занят работой. Она — супом.

## ВТОРОЙ РАЗГОВОР

Сельская лавка (в ней же находится почта) в Уилтшире ясным летним утром. Большая часть прилавка отведена для торговли всякими товарами, но один конец отгорожен для почтовых операций. Стоят два стула для покупателей. Среди выставленных для продажи товаров — имбирное пиво в глиняных бутылках, плитки молочного шоколада, на прилавке всюду расставлены банки со сладостями, засахаренным миндалем; около весов — сыр, масло и хлеб; перед прилавком на полу мешок яблок, на стропилах висят сетки для продуктов.

*Я (ее не видно).* Три-и-и-де-ее-вять. Извините, такого номера нет. Кто-о-о вам нужен? Доктор Байлз? Один пя-я-ять. Соединяю.

Входит *А*. Он в походном костюме, с палкой и рюкзаком, но вместо шорт на нем хорошо скроенные бриджи. Не видя никого, кто мог бы его обслужить, он громко стучит палкой по прилавку. Появляется *Я*.

А. Дайте плитку молочного шоколада...

Я. Благодарю вас.

А *(продолжает)*. ...пару твердых яблок...

Я. Благодарю вас. *(Она выходит из-за прилавка, чтобы достать яблоки из мешка.)*

А *(продолжает)*. ...четверть фунта сыра чеддер...

Я. Благодарю вас.

А. Не перебивайте. Сможете выразить благодарность за покупки, когда я кончу. Четверть фунта вашего лучшего масла, маленькую булку хлеба и на два пенни засахаренного миндаля.

Я. Еще что-нибудь?

А. Нет, спасибо.

Я. Благодарю вас. *(Она возвращается за прилавок, чтобы взвесить масло и сыр.)*

Он садится и смотрит, как она ловко, не торопясь, делает свое дело.

А. У вас есть корзинки?

Я. У нас есть все. Не лучше ли вам взять сетку? Она удобнее и почти не занимает места, когда пустая.

А. Что это такое — сетка? Покажите.

Я *(выходит и снимает сетку)*. Это самая дешевая. Или вы хотите получше, на молнии?

А. Конечно нет. Мне пришлось бы возиться с ней, открывать и закрывать, а потом еще тревожиться, откроется ли она, не получая взамен никаких удобств.

Я. Это на вас похоже. Вы ни капельки не изменились.

А. Что вы хотите сказать? Я и двух минут не пробыл в этой лавке. Почему я должен за это время измениться?

Я. Извините. Мне не следовало этого говорить. Вы возьмете сетку?

А. Да.

Я. Благодарю вас. Положить в нее остальные покупки?

А. Конечно. Зачем же, по-вашему, я ее купил? У вас есть снятое молоко?

Я. Извините, мы его не держим.

А. А имбирное пиво?

Я. Да, очень хорошее, местного производства.

А. Засуньте бутылку в сетку.

Я. Благодарю вас.

А. Сколько раз за день вы говорите «благодарю вас»?

Я. Зависит от числа покупок.

А. Не говорите мне больше, пожалуйста. Это мне действует на нервы.

Я. Сначала и мне действовало на нервы. Но я привыкла.

А. У вас есть путеводитель по этому поселку?

Я. К сожалению, нет. В церкви есть листок, его написал викарий. За него полагается опустить в кружку два пенса. Извините, у нас шоколад за два пенса, шесть пенсов и шиллинг. Какой вы хотите?

А. Жалок человек, не знающий радости. Возьму за шиллинг.

Я. Благодарю вас.

А. Довольно!

Я. Извините, ничего не могу поделать. Говорю машинально, как если бы вы нажали кнопку.

Звонит телефон.

А. Вот кто-то нажал кнопку.

Я *(исчезает за перегородкой, где почта).* Какой номер? Уайтхолл о-о-один два о-о-один два. Я вам позвоню. Уайтхолл один два один два. Да. *(Возвращается.)* Это из полиции.

А. Вам незачем сообщать мне это. Преступник не я.

Я. О, это не преступник. Какой-то человек, про которого передавали по радио, что он исчез. Вы знаете, как это бывает. Не возвращался домой с первого января. В последний раз его видели на палубе «Императрицы Патагонии», он сидел в кресле и беседовал с какой-то женщиной. Страдает потерей памяти.

А. Это поразительно...

Опять звонит телефон.

Я. Извините. *(Исчезает.)* Соединяю с Уайтхоллом. *(Возвращается.)*

А. Какое странное совпадение! Верьте мне или нет, но в январе я сидел на палубе парохода, который назывался «Императрица Патагонии», а разговаривал с женщиной, вернее, она со мной разговаривала. До чего же болтлива была эта женщина!

Я. И вы страдаете потерей памяти?

А. Конечно нет. Я никогда ничего не забываю.

Я. Значит, это не вы, не так ли?

А. Ну вот! Не так ли? Эта женщина всегда заканчивала фразы словами «да?» «не верно ли?», «не так ли?». Приходилось отвечать ей из простой вежливости. Берегитесь, как бы это не вошло у вас в привычку, не то вас когда-нибудь убьют.

Я. Да, бывают такие женщины. И знаете, чаще всего у них карие глаза.

Актриса называет цвет своих глаз.

Вы не заметили, какие у нее глаза?

А. Нет, я никогда не замечаю подобные вещи. Я не детектив. Характер людей — вот что мне запоминается. Я не скажу вам, какого цвета у нее волосы или какой формы нос, но могу сказать, что она была чертовски надоедлива. Сколько с меня за все это?

Я. Сетка шесть пенсов, шоколад — шиллинг шесть пенсов, имбирное пиво...

А. Избавьте меня от деталей. Десять шиллингов хватит?

Я. О да, конечно. Разве можно так небрежно относиться к деньгам?

А *(протягивает бумажку).* Нельзя ли без наставлений? Вот возьмите и дайте сдачу.

Я. Минуточку. Восемнадцать пенсов и четыре за имбирное пиво, это будет шиллинг и десять пенсов, не так ли?

А. Разве я спорю?

Я. Сыр три пенса, два и пенни; масло шесть пенсов; два и семь пенсов; яблоки мы продаем на фунты. Может, возьмете фунт?

А. А сколько их в фунте?

Я. Три.

А. Я не съем более двух зараз. Возьмите с меня за фунт и съешьте лишнее яблоко сами.

Я. Ну хорошо, пусть будет три пенса за два; значит, два шиллинга десять пенсов, верно?

А. Не знаю.

Я. Хлеб два пенса и полпенни. Три шиллинга и полпенни. Может, у вас найдется полпенни, а то придется дать вам сдачу медяками?

А. Терпеть не могу полпенни, всегда их выбрасываю. Хотя постойте! Нашлась монетка. Вот она.

Я. Благодарю вас. *(Отсчитывает сдачу монету за монетой.)* Три, четыре, пять, семь и шесть, десять. Благодарю вас.

А *(кладет в карман сдачу, но продолжает сидеть, удобно расположившись на стуле).* Вам не кажется, что довольно скучно сидеть весь день напролет в этой сельской лавке и повторять «благодарю вас»?

Я. Да все равно, где бы вы ни были, вы день напролет заняты одним и тем же. Единственный способ позабыть про это — поселиться в одном месте и держаться одной работы. Тогда не приходится думать. Вот так люди здесь и живут, и очень долго живут — восьмидесятилетние тут не считаются стариками. Моему деду в августе стукнет сто два. Он никогда не ломал голову над тем, чем бы ему заняться либо куда поехать. Он просто воображает себе всякую всячину. Только так и можно прожить долго и счастливо.

А. Но если в вашем воображении всего лишь одна деревня, оно довольно-таки бедное. Как вам понравится жить в комнате, где только один стул?

Я. Да если у вас всего одно седалище, на что вам больше стульев? Вон там, в большой гостиной замка, тридцать шесть стульев. Но мадам Сижу не может занять больше одного, правда?

А *(указывая на свободный стул).* Позвольте предложить вам сесть на этот стул, пока мы разговариваем.

Я *(садясь).* Благодарю вас.

А. Надеюсь, я не мешаю вашей работе? Ничто так не выводит из себя, как болтовня, когда хочешь работать.

Я. Разговаривать — это тоже отчасти работа в сельской лавке.

А. Скажите, вы когда-нибудь читаете?

Я. Читала раньше книги о путешествиях и путеводители. Мы собирали книжки из серии «Марко Поло». Я помешалась на

---

путешествиях, только и думала что о былой красе Греции, Рима и прочей чепухе.

А. Чепухе?

Я. Ну, это я, пожалуй, зря. Так вот, я и съездила, наконец, в Рим и Афины. Хорошие города, ничего не скажешь. Да только в их старых частях все наполовину поломано, никак не пойму, чем по красе и величию они отличаются от Челтнема. Я обрадовалась, когда вернулась домой. Но до чего же мне хотелось встретиться с человеком из агентства «Марко Поло», побродить с ним при луне среди развалин, послушать, как он станет их расписывать.

А. Человек из агентства! Человек из молочной! Почтовик! Булочник! Человек из агентства! Этакий неудавшийся поэт! Добывает себе на хлеб, цитируя обрывки стихов, чтобы пробудить влечение к Востоку у мечтательных девушек с телефонной станции.

Я. Операторов.

А. Операторы не мечтают. Девушки! Девушки золотого Запада! Что ж, этот бедняга пробудил в вас влечение к Востоку?

Я. Я знала его по романам и фильмам. Все они про унылых пьяниц, про покорителей сердец и девиц того пошиба, что сходят по ним с ума. Вот я и отправилась в кругосветное путешествие, чтобы наконец посмотреть, как все выглядит на самом деле. Красивые места, что и говорить. Но какая жара! Москиты! Вонь! Поездила — и от того мира, что сама придумала, ничего не осталось! Никуда не хочу из своей деревни.

А. И вас не охватывал трепет там, где поэт сказал: «Стой! Прах империи ты топчешь тут!»[1]?

Я. Это вы о гиде? Он где хочешь найдет поэзию. А ты все время думаешь, сколько ему надо заплатить. Если уж вам по вкусу прах империи и всякие другие штучки в этом роде, повидайтесь с нашим викарием и заведите разговор о каменных плитах, могильниках, курганах. Каждая крупица нашей земли, говорит он, насыщена историей. Так и всюду, я думаю.

А. Вы замужем?

Я. Нет. А что? Хотите жениться?

А. Не спешите. Мы знаем друг друга меньше десяти минут.

Я. А разве, по-вашему, вы будете знать меня лучше, если мы проговорим двадцать лет?

А. Вы абсолютно правы, но я должен это обдумать.

Я. Если бы все обдумывали, никто никогда и не женился бы. Вам придется рискнуть, сколько бы вы ни думали.

А. Вы торопитесь.

Я. Что ж, я миновала возраст, в котором здешние девушки выходят замуж, хотя во всей деревне лучше меня не найдешь. Все потому, что я обдумывала каждое предложение. Вот я теперь и решила дать согласие первому же мало-мальски подходящему мужчине, который попросит моей руки.

А. Так я произвожу на вас впечатление мало-мальски подходящего мужчины?

Я. Ну, думаю, у меня хватит здравого смысла, чтобы держать вас в руках. А вы, как вдовец, знаете, чего можно ждать от женщины. Неопытный мужчина ждет бог знает чего.

А. Откуда вы знаете, что я вдовец?

Я. Вы мне сказали.

А. Я сказал? Когда?

Я. Неважно когда. Сказали. Я уже заметила — у вас плохая память. Но у меня хорошая. Так что это не будет иметь значения.

А. Спокойнее. Спокойнее. Меня еще нельзя привлечь к суду за нарушение обещания.

Я. Не бойтесь. Я не такая. У нас здесь это не принято.

А. Я получу за вами какие-нибудь деньги? Лавка ваша?

Я. Нет, не моя. А деньги, все, какие у меня были, я растранжирила в кругосветном путешествии. Но миссис Уорд слишком стара, чтобы вести дело, без меня она не управится. Если вы купите ей пожизненную ренту, она уступит лавку.

А. Я не знаю, сколько стоит рента.

Я. Вы найдете это в альманахе Уитакера[1].

А. Все это довольно неприятно. Почему-то я всегда был убежден, что если я снова женюсь, то возьму женщину с деньгами.

Я. О, это вам совсем не подходит. Она захочет их тратить, бывать в обществе и путешествовать. Разве вы сможете вынести такую жизнь? Да вы же никогда ни с кем не разговаривали на пароходе, а танцы и игры вас ничуть не занимали. Когда прошел слух, что вы из агентства «Марко Поло» — в чьих руках, так сказать, все наши мечты,— я дала себе слово втянуть вас в разговор. И какого труда это мне стоило!

А. Вы хотите сказать, что мы раньше встречались? Что вы были на пароходе в этом кругосветном путешествии?

Я. Конечно была. Но вы никогда ничего не замечали. Вы всегда читаете или пишете. Мир для вас не существует. Да вы же, в самом деле, ни разу не взглянули на меня. Вы робеете перед незнакомыми, да?

А. Я совершенно уверен, что не разговаривал ни с одной женщиной на этом пароходе. Стоит мне заговорить с женщиной, как она всегда хочет женить меня на себе.

Я. Что ж, вы попали в точку! Как только я вас увидела, я сказала себе: «Вот такой человек годится мне в мужья». Я сказала бы это, даже если бы вы не были из агентства «Марко Поло».

А. Любовь с первого взгляда, так?

Я. Ну нет. Знаете, если я полюблю мужчину, я никогда не выйду за него: от такого брака счастья не жди. Но в вас что-то было, сама не знаю что. Я почувствовала, что полажу с вами в доме, ну а потом уж могу влюбиться в кого угодно, не опасаясь, что окажусь в ду-

[1] Байрон. Паломничество Чайльд Гарольда. Песнь третья. Перевод Г. Шенгели.

[1] Ежегодный справочник общей информации.

раках. Наверно, это потому, что вы тихий и не бегаете за женщинами.

А. Почему вы знаете, что я не бегаю за женщинами?

Я. Ну, если хотите, потому, что вы не бегали за мной. Можете не верить, но мужчины за мной бегают.

А. Почему?

Я. Ах, откуда мне знать? Они сами не знают. Вы не поверите, сколько денег они тратят, покупают ненужные вещи, лишь бы зайти сюда, поглядеть на меня и перекинуться со мной парой слов. Мы имеем на этом не меньше двадцати фунтов прибыли в год.

А *(надевает очки и в первый раз внимательно смотрит на нее).* Я не назвал бы вас хорошенькой.

Я. Пусть не хорошенькая. Но, можно сказать, соблазнительная, вам не кажется?

А *(встревоженно).* Нет, не кажется. Позвольте объяснить. Я литератор и джентльмен. Я привык общаться с дамами своего круга. Это значит, что я привык в разговоре к некоторой вполне понятной сдержанности, которая служит необходимой защитой для обеих сторон. Вы не леди, вы деревенская. Вас кой-чему учили, вероятно, в приходской или сельской школе, и этого хватает, чтобы производить впечатление на неосмотрительных или ненаблюдательных путешественников. Окончательную шлифовку вы прошли на телефонной станции, что дало вам отчетливое произношение: вы можете сказать «три-и-и пя-я-я-ять де-е-евять», не комкая слова. Но вы не научились сдержанности. Вы говорите то, что думаете. Открываете планы, которые воспитанная женщина скрывает. Вы кладете карты на стол, а не держите их там, где дама должна их держать — в рукаве.

Я. Что же в этом плохого?

А. О, ничего плохого. Совсем наоборот. Но я чувствую, что меня подгоняют.

Я. Что вы хотите сказать? Подгоняют?

А. Подгоняют. Тащат. Заводят дальше, чем я собирался идти.

Я. Ну, и это вас куда-то приводит, так?

А. Да. Но куда?

Я. Сюда. Это не секрет. Сюда, в это тихое место, где есть хорошая торговля в сельской лавке, а я буду содержать лавку в порядке и заботиться о вас.

А. Позвольте спросить, насколько весомы слова «заботиться о вас»? Я хочу объясниться. На самом деле, у меня есть небольшая собственность, которую я могу продать и купить ренту для престарелой миссис Уильямс...

Я. Уорд.

А. Думаю, у меня хватит денег, чтобы купить пожизненную ренту и для миссис Уорд, и для миссис Уильямс, поскольку им обеим, наверно, по сто лет. Но скажите, ради бога, зачем мне осложнять сделку женитьбой на вас? Я могу сохранить за вами нынешнюю заработную плату...

Я. Жалованье.

А. Извините, жалованье. Вы остаетесь у меня на прежнем месте продавщицы...

Я. Помощницы.

А. Извините, помощницы. Тогда вы сможете уладить свои брачные дела и предоставите мне уладить свои.

Я. О, я прекрасно улажу свои брачные дела. Можете на меня положиться.

А. Извините, я добавил: «и предоставите мне уладить свои». Могу я на вас положиться в этом?

Я. Хорошо, увидим.

А *(с досадой, твердо).* Нет, вы не увидите.

Я. Ну, а что же?

А. Не знаю что. Не хочу ничего обещать. Увидим.

Я. Вот так: увидим. Значит, договорились?

А. Нет. Вовсе не договорились. Когда полчаса назад я вошел сюда, у меня не было ни малейшей мысли о покупке этой лавки или женитьбе на деревенской девушке и вообще ни о чем том, чем вы забили мне голову. Вы читали басню о пауке и мухе?

Я. Нет. Но я любила песенку «Жимолость и пчела».

А *(решительно).* Всего хорошего. *(Направляется к двери.)*

Я *(идет за ним с сеткой в руке).* Вы забыли покупки.

А *(берет их).* Спасибо.

Я. Благодарю вас *(тянется к нему, чтобы он ее поцеловал).*

А. Нет!!! *(Поспешно уходит.)*

### ТРЕТИЙ РАЗГОВОР

*А* теперь владелец лавки, а *Я* у него служит. Против почтового прилавка стоит стол. *А* сидит за ним и что-то пишет. На нем деревенского покроя брюки из крапчатой шерстяной материи и передник. Он без пиджака и выглядит как самый настоящий лавочник. Через почтовое отделение входит *Я*. У нее очень бодрый и свежий вид.

Я. Здравствуйте, босс.

А. Доброе утро, невольница.

Я. Ну, положим, я еще не бралась за свой подневольный труд, а вы уж полчаса корпите. И над чем же это вы, позвольте спросить, так усердно работаете?

А. Подвожу баланс.

Я. Вовсе вам и не надо этим заниматься. Это делает клерк из Солсбери, когда подсчитывает налог с оборота. В деревне вам не придется возиться с цифрами. Чтобы старая миссис Уорд да стала заниматься таким делом!

А. Когда я купил у миссис Уорд лавку за ренту, я обнаружил, что она в расчетах значительно способнее меня. Ей бы следовало стать ростовщиком.

Я. Она и была ростовщицей. Брала пенни с шиллинга в неделю.

А. Значит, это составило четыреста—пятьсот процентов годовых. Шейлок и тот покраснел бы.

Я. А много ли тут проку, если продаешь в кредит да еще ссужаешь покупателей деньгами, чтоб они тебе платили.

А. Миссис Уорд следовало отправиться в Женеву. Ей вполне по плечу международные финансовые дела.

Я. Ну, в этом-то я не очень смыслю, а вот беспокоиться из-за баланса вам нечего. Это за вас сделает бухгалтер.

---

АНТИРУБРИКА

А *(поднимается и выходит из-за прилавка, гордо размахивая листом с подведенным балансом).* Это не бухгалтерский баланс. Это баланс Робинзона Крузо. Он составил баланс преимуществ и недостатков жизни человека, выброшенного на необитаемый остров. Я выброшен судьбой в деревню в Уилтшир Даунс. Я подвожу сходный баланс. Могу прочесть вам. *(Берет один из стульев для покупателей.)* Вы напомните мне обо всем, что я упустил.

Я. А ну, давайте. *(Берет другой стул.)*

А. Начну с положительных сторон.

Я. Со своих положительных сторон, хотите сказать?

А. Да нет же, с положительных сторон деревенской торговли как образа жизни.

Я. Чудить изволите.

А. Весьма невежливое замечание. С подобным замечанием невольница не должна обращаться к боссу. Нанимая вас своей помощницей, я повысил вам жалованье на том условии, что наши отношения будут соответствовать общепринятым нормам и носить деловой характер, как бы я порой ни забывался.

Я. Очень хорошо. Держите при себе свой баланс, а я займусь телефонным справочником.

А. Ничего подобного. Вы будете делать то, что я вам прикажу. За это я и плачу вам деньги. Извольте сесть.

*(Она подчиняется.)*

Теперь слушайте *(достает свой лист и начинает читать).* Пункт первый: я развиваю свои способности и потому сильно преуспел в развитии наблюдательности и математике.

Я. А покороче нельзя? Что это значит?

А. Это значит, что раньше я просто получал деньги и даже не давал себе труда их пересчитать. Теперь я довольно быстро считаю и произвожу расчеты. Раньше я не различал сортов яиц или масла. Яйцо для меня было просто яйцом, а масло — маслом. Теперь я критически вникаю в самые большие тонкости и даю им оценку в денежном выражении. Я вынужден признать, что лавочник стоит намного выше автора путеводителей «Марко Поло» и что за три месяца в этой лавке я узнал больше, чем за три года в Оксфорде.

Я. Что-то не верится в то, что вы сказали про ученье. Но вот ваши манеры — до чего они изменились!

А. Мои манеры?

Я. Да. Там, на пароходе, из вас, бывало, слова не вытянешь, а если кто ненароком к вам подойдет, вы так и ощетинитесь: боитесь, как бы кто из людей не вашего круга не заговорил с вами запросто, без церемоний. А теперь... До чего приятно услышать от вас: «Доброе утро! Чем могу быть полезен вам сегодня, миссис Барелл?» или: «Видели цветную капусту? Ничуть не пострадала от заморозков! Не угодно ли картошки, мадам? Отличная картошка!»

А. Я категорически отрицаю, что когда-либо в жизни сказал просвещенному покупателю «картошка» вместо «картофель». Конечно, если люди столь невежественны, что не знают, как называется то, что они едят, тогда другое дело...

Я. Но все-таки вы стали обходительнее, верно я говорю?

А. Не знаю. Но я утратил искренность и бескорыстие.

Я. Будто вы раньше искренностью отличались. Все время людей сторонились. Ну а теперь, вы, что называется, свойский парень.

А. Мир стал миром покупателей. Дайте-ка я это запишу. *(Пишет на обороте листа с балансом: «Вежливость не восторжествует повсеместно, пока каждый не станет покупателем у каждого другого человека».)*

Я. А вы все-таки не настоящий лавочник, босс. У вас только и заботы чтоб записать что-нибудь умное.

А. А почему бы и нет? Говорите поумнее и побольше, вот вы и премьер-министр. Запишите это — и вы Шекспир.

Я. Вам то ни к чему становиться премьер-министром или Шекспиром. Вам нужно зарабатывать на жизнь.

А. Разве я не зарабатываю? Я не стал бедней с тех пор, как купил эту лавку.

Я. Но если вы расходуете все, что получаете, вы же ничего не можете скопить.

А. Терпеть не могу копить. Это озлобляет людей. Как говорится, «отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его» [1].

Я. Ну, а как же вы собираетесь прожить эти многие дни без хлеба?

А. Не знаю. Проживу как-нибудь. Хватит вопросов, продолжим подведение баланса.

Я. Так я о вас же пекусь.

А *(вставая, гневно).* Это самая оскорбительная вольность, какую может позволить себе человек. Какое вам до этого дело?

Я *(встает, глядя ему в лицо).* Если вы сами о себе не думаете, за вас должен думать кто-то другой. Это касается меня не меньше, чем вас.

А. Ну, разумеется! Чья это лавка? Я хочу сказать — кому она принадлежит?

Я. Я зарабатываю на жизнь в этой лавке. Если вы погорите, что будет со мной?

А. Если уж о том пошла речь, что будет со мной? Вы можете найти другую работу, но я очень сомневаюсь, что кто-нибудь даст работу мне. *(Более спокойным тоном.)* Почему бы вам не довольствоваться тем, что эта лавка может вполне прокормить двоих? *(Садится.)*

Я. А если троих?

А. Зачем делать предположение? Совершенно ясно, что этого не случится.

Я. Вовсе не ясно. Женитесь на ком-нибудь, вот нас и трое. А если еще дети пойдут?

А. Выход прост — я не женюсь.

Я. Откуда вам знать?

А. А вам?

Я. Я знаю. Вы уже были женаты и второй раз женитесь. Попадетесь на крючок. Таких и ловят.

А. Если я попадусь на крючок, этой женщине придется нести ответственность за

[1] Екклесиаст, гл. XI, ст. 1.

последствия. Ей придется помогать мне в лавке. А вас я уволю.

Я. Да ну вас, надоели. Так или иначе, вы поняли, к чему я клоню. *(Садится с убитым видом.)*

А. Не понял.

Я. Жена обходится дешевле, чем работница. Не говоря уж о том, что вам не придется вести холостяцкую жизнь.

А. От работницы, если она вас не устраивает, можно и избавиться. От жены не избавишься.

Я. Если б все так думали, люди вовсе б не женились.

А. Совершенно верно.

Я. В жизни приходится рисковать.

А. Я рискнул, но удачно отделался.

Я. Здесь у вас это не пройдет. Холостяков у нас не любят.

А. Но и без лавочки они обойтись не могут, да и без почты тоже. Пока они у меня в руках, мое стратегическое положение незыблемо.

Я. Знаете, мне не хотелось об этом говорить, но люди уже начинают распускать слухи.

А. Начинают? А разве они когда-нибудь кончали?

Я. Никакого толку нет с вами разговаривать.

А. Ни малейшего.

Я. Ну ладно, предупреждаю вас: через месяц я ухожу. *(Встает.)*

А. Через месяц?

Я. Да, через месяц.

А. Уходите лишь потому, что я не собираюсь жениться на какой-нибудь смехотворной деревенской девице или неграмотной вдове, с которой слова нельзя сказать.

Я. Жены не для того, чтобы с ними разговаривать. Разговоры оставьте для гостей. Со мной вот вы наговорились вдоволь.

А. Увольте меня от ваших разговоров.

Я. Хорошо. Через месяц беру расчет.

А. Хватит об этом. Все это вздор. На что вам жаловаться? Вы здесь вполне обеспечены. Я намеренно плачу вам на десять фунтов в год больше, чем вы получали бы в другом месте.

Я. Почему?

А. Что значит ваше «почему»?

Я. Почему вы мне платите на десять фунтов в год больше? Могли бы нанять и другую.

А. Одному богу известно.

Я *(в ярости)*. Да я сегодня же возьму расчет, сию же минуту! Можете удержать из моего жалованья! Сами не знаете, что вам нужно! Вы черствый человек. Ничего удивительного, что ваша жена померла. Наверно, умом тронулась?

А. Да. Я один из тех невезучих мужчин, кто не вытянул счастливый билет в лотерее брака.

Я *(с раскаянием)*. Я ведь не знала, откуда мне было знать. Просто пошутила. *(Садится.)* Ни за что на свете не стала бы такое говорить, если б знала.

А. Пустое, я понимаю, что вы не умышленно. К тому же я сделал неразумное замечание и обидел вас. Поверьте, я этого не хотел. Мне следовало серьезно вам объяснить, что я назначил вам на десять фунтов выше обычной платы, потому что ценю ваши услуги и готов всячески стимулировать ваше постоянное пребывание здесь.

Я. Да чтобы я за лишних десять фунтов оставалась здесь всю жизнь — не вдовой, не мужней женой!

А. Почему же? Вы можете выйти замуж, если пожелаете.

Я. За кого же?

А. Да за любого!

Я. Значит, мне подходит любой, а вам так в целой деревне нет подходящей пары?

А. Не надо сердиться.

Я. А это уж как мне понравится. Если б вы знали, что у меня чуть было не сорвалась с языка пара лишних словечек, вы бы поняли, что женщине в жизни нужна не только работа да жалованье.

А. Это мне отлично известно. Всех нас, когда мы молоды, влечет одно и то же.

Я. Что же, позвольте вас спросить?

А. Беспокойная жизнь, приключения, лишения, заботы, разочарования, сомнения, страдания, опасность и смерть.

Я. Благодарю покорно. Меня это не влечет. Мне нужен муж и все, что из этого следует.

А. Ну что ж, это то же самое. Замужество — деревенская форма все тех же эмоций.

Я. Почему бы вам не смотреть на жизнь повеселее?

А. Я научился не ждать от жизни слишком многого. В этом секрет истинного веселья, и я всегда получаю от жизни приятные сюрпризы вместо удручающих разочарований.

Я. Ваша вторая женитьба может оказаться приятным сюрпризом.

А. Что вы разумеете под моей второй женитьбой? Я был женат один раз.

Я. Послушайте, давайте напрямик. Разве найдется в этой деревне мужчина, который пришелся бы мне по нраву теперь, когда я привыкла к вам?

А. Моя дорогая, все мужчины одинаковы.

Я. Хотите сказать, что для меня и разницы нет? Все равно за кого идти замуж?

А. Боюсь, что эта разница незначительна.

Я. А ведь женщины тоже все одинаковы.

А *(подозрительно)*. Куда вы клоните?

Я. Если вообще не имеет значения, кого брать в мужья или в жены, то не все ли равно, за кого пойду я или на ком вы поженитесь.

А. Женитесь, а не поженитесь.

Я. Да говорите попросту, вы ж не по телефону объясняетесь. А я хочу сказать: раз мне все равно, значит, и вам все равно.

А. Так вы, следовательно, признаете, что это не имеет никакого значения?

Я. И не думаю. Ложь все это.

А. О!

Я. И нечего охать. Для меня мужчины совсем не одинаковы. Есть мужчины, казалось бы, всем хороши, а я им дотронуться до себя не позволю. А вас, как на пароходе увидела, так и сказала себе: «Я бы с ним поладила».

А. Ничего подобного. Вы только что утверждали, что сказали нечто прямо

---

АНТИРУБРИКА

противоположное. А на самом деле вы, наверное, произнесли что-нибудь восторженное. Я — натура довольно слабая и привлекаю женщин энергичных, таких, как вы.

Я. Когда вы косились на меня — а вы косились на всех женщин, несмотря на свою хваленую сдержанность,— неужели вы ни разу не сказали себе: «Я бы с ней поладил»?

А. Нет. Я сказал: «Черт подери эту женщину! Не перестает болтать, мешает работать».

Я. Поверьте: мы будто друг для друга созданы. Может, вам это пока не ясно, но мне-то ясно: тут что-то есть, в простых делах я не ошибаюсь. Вот не верю, чтобы вы купили эту лавку и отказались от благородных занятий, если б меня тут не было.

А. Да, теперь, когда вы об этом заговорили, я понял, что так оно и есть: вы — одна из прелестей приобретенной мною недвижимости.

Я. Я могла бы стать одной из прелестей семейной жизни, как вы думаете?

А. Осторожнее! Вы можете получить то, чего добиваетесь, легче, чем думаете. Около пяти процентов рода человеческого состоит из самоуверенных, деспотичных стяжателей вроде вас. Они одержимы какой-нибудь страстью, которую должны удовлетворить во что бы то ни стало. Остальные позволяют им поступать, как им заблагорассудится. У них либо нет ни силы, ни смелости сопротивляться, либо все это кажется им сущим пустяком по сравнению со звездным небом или человеческой судьбой. Я не чета этим властным людям. За меня не стоит выходить замуж. Меня могла бы женить на себе любая, стоило бы ей хоть чуточку постараться.

Я. Вот этого-то я и боюсь. Если б я на месяц выпустила вас из виду, то в конце месяца вы бы женились на другой. Я не хочу рисковать. А по натуре я не властная и себялюбцев, людей чванливых и властных, люблю не больше вашего. Но вы должны быть моим и будете — и все тут.

А. Так я уже и так ваш хозяин. Вы от меня не зависите и можете уйти, если недовольны.

Я. Какое уж там довольство, если я не могу завладеть вами. Я работаю на вас, как невольница, вот уж почти месяц, а будь я вашей женой, мне пришлось бы работать еще больше, но порой мне так хочется обнять вас, чтобы вы принадлежали мне, только мне. Когда это случится, у вас будут мысли приятнее тех — о звездном небе, как вы говорите... Тогда вы поймете, что нужно не только рассуждать об умных вещах, но и о чувствах помнить.

А. Чувства? Да знаете ли вы, о чем говорите? Оглядитесь. В этой комнате есть все для удовлетворения чувств: яблоки, лук, уксус, перец, горчица, мягкие кашне и грелки. Мои глаза радует старая церковь и рыночная площадь. Они создавались еще в те дни, когда искусство легко и свободно творили руки средневековых мастеров. Мои уши наполняют дивные звуки — от воркования голубки и жужжания пчел до музыки Бетховена и Элгара, которую доносит радио. Мой нос может упиваться запахом свежей лаванды, здесь ее целый мешок, или дорогого одеколона, когда он не чует, как пахнет сухая земля, смоченная дождем. Мои чувства пресыщены всякого рода удовольствиями. Но когда я по горло сыт луком и уксусом, когда средневековая архитектура мне претит и я скорей умру, чем гляну еще на один собор, когда мое единственное желание — отдохнуть от впечатлений, а не набираться новых, на что мне чувства, если звездное небо — это всего лишь бессмысленное скопление каменных громад и сгустков газа, если рок не уготовил человеку, этому вредному и жалкому существу, ничего, кроме смерти и небытия?

Я. В деревне об этом не беспокоятся.

А. Нет, беспокоятся. Самый ходкий товар тут — «Альманах старого Мура» [1], затем «Книга судьбы Наполеона». Старая миссис Уорд никогда бы не продала мне свою лавку, если бы не верила, что конец света будет седьмого августа будущего года.

Я. Я в такую ерунду не верю. Какое это имеет отношение ко мне и к вам?

А. Вы неопытны. Вы ничего не знаете. Вы одурачены глупыми словами «чувственность», «чувственное восприятие» и прочей болтовней материалистов. Я не материалист, я — поэт, я знаю, что не найду удовлетворения чувств в ваших объятиях. А что касается просто физических ощущений, то и близость, которую вы предвкушаете, вы не найдете ни интересной, ни пристойной.

Я. О, не говорите так. Нельзя позволить себе так думать об этом.

А. Позволяйте себе думать обо всем. Надо знать все, как оно есть на самом деле, а не по чужим разговорам. И все слова об удовлетворении чувств — лишь невинный девический лепет. Мы уйдем от мира чувств очень далеко. Мы зажжем друг для друга светильник в святая святых храма мироздания, и завеса станет прозрачной. Каменные громады, бесцельно блуждающие по вселенной, зажгутся в небесах ликующими звездами. Наше скучное деревенское существование обретет один-единственный смысл. Пусть несказанная радость продлится не дольше, чем вспышка молнии, озаряющая все вокруг темной ночью, и не успеете вы очнуться от ослепления, все снова померкнет. Но вы увидите это своими глазами и отныне будете думать о том, что видели, а не бросать на ветер модные словечки, которые выдумали зачахшие старые девы, ходящие во тьме. Все — ради волшебного мгновения, когда мы почувствуем, что должны раскрыть друг другу объятия. Когда оно наступит, мир чувств исчезнет и для нас не будет ничего смешного, неудобного, нечистого. Нам откроются врата рая.

[1] Ежегодный астрологический журнал.

Я. Ну что ж, я рада, что у вас такие хорошие намерения, я никогда не хотела быть только игрушкой для мужчины. Но вам не следует ждать слишком уж многого.

А. Нет, я буду ждать многого, куда больше, чем вы думаете, несмотря на безграничную женскую наглость. Да разве великие люди женились бы когда-нибудь, если б ничтожества женского пола, которые поймали их на крючок, осознали всю гнусность своей самонадеянности? Полагаю, все они думали, что облагородят, воспитают, сделают настоящих джентльменов из своих мужей. Интересно, кем вы собираетесь сделать меня?

Я. Ну, я уже сделала из вас приличного лавочника, верно? Но не думайте, будто я не знаю вам цены. Мне нужен необыкновенный муж, а не простой деревенский парень — такого любая найдет. Я буду гордиться вами. Все-таки я вас заарканила, диву даюсь своему нахальству.

А. Я тоже.

Я. Но я вовсе не такая, правда. Не понимаю, что это на меня нашло. Все будет хорошо, не бойтесь. Я не могу сказать об этом так красиво, как вы, но все будет хорошо. Я вам обещаю.

А. Отлично. Сходите к пастору и договоритесь о заключении брака. Скажите его жене, что у нас сегодня прекрасные артишоки. Она любит артишоки.

Я. Вы чувствуете себя счастливым?

А. Я не знаю, что я чувствую. Идите и делайте, как вам говорят. Не задавайте дурацких вопросов.

Телефонный звонок. Она поспешно снимает трубку.

Я. Какой номер? Ах, заказ... Благодарю вас. Да, нам утром завезли отличные артишоки. Благодарю вас, их тотчас же отправят. Я хочу еще кое-что сказать, вы слышите? Извините, что задерживаю вас, но могла бы я поговорить с пастором? Да, это особый разговор. Речь идет о браке, по буквам: Б — бахвальство, Р — рок, А — авантюра, К — конец. Кто вступает в брак? Ах, имена... Ну, конечно. Это...

ЗАНАВЕС

◆

**ДЖОН ДЖОНИК.**
**США.**

**Без слов**

# К нашим иллюстрациям

## ЯН БАУХ

Творчество старейшего современного чешского художника Яна Бауха оригинально и самобытно.

Вся его жизнь тесно связана с Прагой. Здесь он родился в 1898 году, учился в Художественно-промышленной школе и в Академии изобразительных искусств, с 1946 по 1958 год преподавал в Высшей школе народных промыслов. Здесь же, в 1977 году, Ян Баух был удостоен почетного звания Народного художника Чехословакии. Поэтому в картинах мастера постоянно присутствует Прага, которую он изображает то в виде грандиозной панорамы, то показывает отдельные укромные уголки родного города. Так возникает большой цикл картин «Прага». И каждое из этих полотен по-разному рисует облик древнего города.

В картине «Прага» (1954) художник делится со зрителем своими впечатлениями от раннего весеннего утра над городом. Облака полыхают розоватыми отблесками, гулкое синее небо отражается в весенних водах, сочной зеленью покрылись склоны холмов, то тут, то там мелькают красные и белые стены древних соборов. В этой картине ясно виден метод художника: стремление к отображению окружающей действительности с помощью буйного цвета и динамичной формы, несущих главную смысловую нагрузку.

В 1927 году художник побывал во Франции, в 1930-м — в Италии, в 1956-м — в Голландии. Путешествие в Грецию в 1957 году заметно повлияло на творчество Бауха последующих лет. Тема «античность и современность» становится одной из главных в его живописи и скульптуре. Широко известен цикл картин «Возвращение Одиссея», написанный по мотивам поэмы Гомера.

«Одиссей привлекает меня,— говорит сам художник,— своей тягой к неизведанному, беспокойством, любовью к родине».

Тему «Одиссеи» художник решает интересно и ярко. Его образы отличает стихийность, грубоватая «корявость», «драматизм» формы, отсутствие повествовательности и шаблонной «красивости», мажорность настроения — другими словами, народное понимание античности, стремление передать атмосферу древней легендарности, цельность гомеровского эпоса.

Так, в картине «Дорога Одиссея» (1970) находят выражение древние представления о морской стихии как об одушевленном существе. Образы прекрасных сирен — символ вечной женственности — являются в воображении Одиссея, который предстает здесь как творческая личность, поэт. Пение сирен передано цветом, то широко растекающимися нежными сиреневыми аккордами, то сгущающимися в звучные красные, желтые, синие вспышки, сплетающиеся в единый мелодичный поток.

Подобная цветовая символика находит дальнейшее развитие в серии своеобразных портретов, созданных художником.

В «Моцарте» (1957) беспокойные, смятенные формы, зигзагообразные, ломаные линии, пламенеющий фон — все адекватно, средствами изобразительного искусства воссоздает момент творческого экстаза, переживаемого гениальным музыкантом.

В полотне «Вийон» (1970) образ великого французского поэта XV века построен на резких диссонансах, так соответствующих личности и поэзии Франсуа Вийона. Темная бездна, в которой томится поэт, и его ярко освещенное лицо, он как бы бросает дерзкий вызов: «Я нищ, и я кичусь своим добром: я ночью бодр, а сплю я только днем, в тюрьме мне хорошо, на воле худо; меня отчаянье вперед ведет; я всеми понят, изгнан отовсюду» [1]. Золотисто-желтые цветовые блики символизируют здесь идею рассвета, вырывающего из ночной тьмы «первого поэта французского Возрождения».

Тема творческого вдохновения проявляется также в картине «Клоун» (1976), входящей в большой цикл живописных полотен «Артисты цирка», над которым художник работает с начала 70-х годов. «Клоун» предельно декоративен, фантастичен, нереален, потому что таков «магический» мир цирка, так несхожий с обыденным.

Серия «Артисты цирка» обнаруживает еще одну сторону искусства Бауха — незаурядный талант монументалиста, художника широкого диапазона, смелых дерзаний

[1] Перевод И. Эренбурга.

**Л. ДЬЯКОВ**

# Наши гости

## *Хосе Агустин Гойтисоло*

### ИСПАНИЯ

Семья Гойтисоло — одна из самых «литературных» в современной Испании. Во многих странах мира, в том числе и у нас, знают книги Хуана Гойтисоло, положившие начало испанскому «объективному» роману 50-х годов, и книги его брата Луиса, пришедшего в литературу в следующее десятилетие. И как невозможно представить себе испанскую послевоенную прозу без этих двух имен, так же трудно представить поэзию этих лет без их старшего брата — Хосе Агустина Гойтисоло.

Он принадлежит к поколению, вступившему в литературу в мрачные 50-е годы. В творчестве тех, кого критика обычно объединяет термином «новая испанская поэзия», ведущими были политические и социальные темы Горечь и боль за судьбы страны, народа, своих сверстников, вера в обреченность франкизма определяют и лицо поэзии Хосе Агустина Гойтисоло. «Что-то все-таки происходит» — так называется программное стихотворение поэта, давшее название целому сборнику (1968 г.). Оно обращено к изверившимся и усталым людям, которым франкизм казался незыблемым.

Знакомо имя Хосе Агустина Гойтисоло и советским читателям Его стихи входили в сборники современной испанской поэзии, публиковались на страницах «Иностранной литературы» [1] Поэт не раз бывал в нашей стране На сей раз Хосе Агустин Гойтисоло привез в Москву две новые книги. В одну из них вошли стихи — как старые, так и еще не публиковавшиеся,— положенные на музыку Пако Ибаньесом Вторая книга, «Поступь охотника»,— итог двадцатилетних раздумий.

*— Много раз переделывавшиеся и переписывавшиеся стихи, вошедшие в книгу, в значительной степени являются результатом записок и набросков, сделанных в те годы, когда мое увлечение охотой только начиналось.*

В мировой литературе, рассказывает Хосе Агустино Гойтисоло, немало страниц посвящено охоте — одному из самых древних занятий человека на всем протяжении его истории. Охотой увлекались и о ней писали Гомер, Овидий, Платон, Руссо, из испанцев — Гальдос, Ортега-и-Гассет, Делибес.

*— В фольклоре, литературе всех цивилизаций образ охотника встречается так часто именно потому что он воспринимается как воплощение свободы и независимости. Охотники древности, по уровню развития ближе стоявшие к животному миру, чем к человеку были гораздо свободнее, чем мы. Поэтому когда сегодняшний горожанин отправляется на охоту он оказывается в положении, смутно напоминающем его далеких предков его напряжение спадает, он начинает чувствовать себя свободным не говоря уже о том что он попадает в гораздо более естественную и приятную обстановку чем та, что окружает его ежедневно. И человек на время забывает о желаниях, которым не дано осуществиться, перестает быть усталым горожани-*

[1] См «ИЛ» 1975, № 11.

*ном, связанным с выматывающей работой, с обществом, которое, искусственно навязывая ему все новые и новые потребности, заставляет добиваться все больших и больших материальных благ.*

*Я убежден, и я сам не раз испытывал это чувство, что когда горожанин отправляется в лес или в горы с ружьем, патронташем и собакой, главное, что он жаждет обрести,— это настоящее, подлинное чувство свободы на несколько дней или хотя бы часов. Более того, на охоте к людям приходит радостное чувство — они теряют ощущение частной собственности, что в наши дни немалое достижение... Они ведут себя как настоящие кочевники, не ведающие, что такое чужая земля. Подстреленные куропатки, как и найденные в лесу ягоды, принадлежат только тому, кто их добыл. Точно так же ничьими были песни и народные поговорки, которые я слышал и записывал. Это были вольные напевы, у них не было хозяина, и если они мне нравились — я брал их себе без малейшего стеснения. Затем я их обрабатывал или просто вставлял как готовые строчки в свои стихи, которые, собственно, и родились благодаря народным песням.*

В книге «Поступь охотника» немало лирических зарисовок жизни старинных испанских деревушек, в которые забредал поэт: босоногие ребятишки, журавль на колокольне — предвестник весны, встречи и споры с другими охотниками. Слово «pasos», входящее в название сборника, может быть переведено и как «путь сквозь тернии» — в этом случае встает другой, философский смысл книги, рассказывающей о мучительных внутренних поисках поэта.

Гойтисоло исходил земли Бадахоса и Толедо, Эстремадуры, окрестности Авилы и Саламанки. Он бывал на сельских праздниках, слушал песни, вслушивался в речь крестьян.

*— Меня привлекало разнообразие их говоров, богатство идиоматических оборотов и, кроме того, нескончаемое количество названий и определений, которые постоянно были у них в ходу. Несмотря на явные различия в языке, на котором изъяснялись крестьяне соседних сел, не говоря уже о районах, их испанский язык скоро стал мне близок и понятен. Меня интересовало, что было общим в их речи, привлекала возможность глубже узнать язык, на котором я думаю, на котором собираюсь писать. Мне казалось, что лучший путь для этого — впитать слова и выражения, которые потоком обрушивались на меня, когда я разговаривал с крестьянами, слушал их песни... Мысль учиться у них пришла мне в голову, когда я осознал, что их песни напоминают старинные романсеро и то лучшее, что есть в испанской современной поэзии. С тех пор охота уже не была единственной причиной, по которой я зачастил в Эстремадуру или Ламанчу: с детства я мечтал стать писателем, а здесь было чему поучиться.*

Стихия народного языка живет на страницах последней книги Хосе Агустина Гойтисоло. Глубина и простота, строгая ясность стиля «Поступи охотника» заставляют вспомнить «Поля Кастилии» Антонио Мачадо, которого, кстати, Гойтисоло среди своих учителей называет на первом месте.

В жизни Хосе Агустина Гойтисоло поэзия соперничает с архитектурой, которой отдано двадцать лет напряженного труда. Испытывая на себе все недостатки большого современного города, Гойтисоло ценит в архитектуре «возможность проектировать и создавать новые здания и целые кварталы, способные изменить лицо города». Горячий поклонник советского архитектора Татлина, сторонник гуманистического направления в архитектуре, он стремился сделать все, чтобы людям было удобно и уютно, чтобы каждое из зданий, в работе над которыми он принимал участие, было неповторимо, отражало национальный колорит и органически вписывалось в единое целое. Так, в Алжире он старался сохранить стиль арабской касбы, в Чили при правительстве Народного единства строил дома на месте трущоб. Особенно гордится Гойтисоло своим участием в планировке одного из кварталов Барселоны в 1974 году. В этом оригинальном микрорайоне все дома состоят из блоков, различающихся между собой по цвету и высоте; кроме того, здания соединены переходами, расположенными на различных уровнях. Люди, живущие там, превосходно ориентировались благодаря разнообразию цветовых и архитектурных комбинаций составных частей здания, а человеку, скрывавшемуся от преследования франкистских властей, затеряться в этом районе было совсем не сложно, практически эти дома были вне контроля полиции.

Рассказывая все это, Хосе Агустин Гойтисоло подчеркивает, что его увлечение архитектурой глубинными корнями связано с поэзией. «Ведь слово такой же строительный материал, как дерево или бетон». Не случайно один из сборников поэта назывался «Архитектурная мастерская» (1977).

*— Появление этой темы в моем творчестве объясняется в первую очередь тем, что меня всегда привлекали места, служащие укрытием человеку: пещера, укромный уголок, комната, дом, улица, станция метро, город в целом и то, как чувствует себя там человек.*

Человек в центре поэтического мира Хосе Агустина Гойтисоло. Поэтому с некоторой тревогой наблюдает он за экспериментами, которыми увлекаются сейчас многие молодые испанские поэты, за экспериментами, ведущими нередко к разрушению целостного мировосприятия.

*— Только тот художник, кто может порвать написанное, чтобы сделать еще лучше. Но экспериментальная литература хороша лишь тогда, когда художник владеет материалом и знает, во имя чего он экспериментирует.*

**Н. МАТЯШ**

Фото Ю. ЛУНЬКОВА

◆

# Среди книг

## Издано в СССР

### ПО СУЩЕСТВУ И БЕЗ УПРОЩЕНИЙ

**Д. Затонский. В наше время. Книга о зарубежных литературах XX века. Москва, «Советский писатель», 1979.**

Может быть, стоило уточнить подзаголовок книги. Она, строго говоря, не о зарубежных литературах, она о романе XX века, об этом главном, «сквозном» герое критических работ Д. Затонского. Еще начиная с монографии «Век XX», вышедшей два десятилетия назад. И по сю пору. Уточнить — не значит ограничить рамки осуществленного анализа, приуменьшить значение выводов. Пространство романа безмерно. На этом пространстве развертываются «в наше время» все центральные художественные коллизии. Для полноты характеристики наверняка нужны бы и поэзия, и драматургия. Но есть свой смысл в подобной концентрации внимания на большой повествовательной форме. И свой выигрыш. Рельефнее проступают процессы. А уж о том, чтобы они не выглядели периферийными, позаботился сам роман. Потому что движение романа — это и есть движение литературы.

Кто-нибудь из читателей Д. Затонского, возможно, посетует, что огромный этот мир освоен им довольно выборочно: и в первом разделе, где «общим планом» рассмотрены некоторые ответственные категории — реализм, модернизм, художественный прогресс, и во второй части, где «крупный план» приближает к нам больших современных прозаиков, материал привлечен по преимуществу немецкоязычный. И Фолкнер кажется здесь чужестранцем на дружеском пиру земляков.

В другой книге Д. Затонского «Искусство романа и XX век» (1973) фон был шире, многолюднее и, кроме того, охватывал европейскую историю жанра чуть не на всем ее протяжении. Так ведь там и задача была другая, и другой адрес. «Искусство романа» — исследование, обращенное прежде всего к специалистам; в книге «В наше время» критик, пишущий для всех, кто следит за переводной прозой, стремится глубже понять ее сегодняшние явления и уловить в их пестроте какие-то общие тенденции и черты.

Та часть литературного материка, которая особенно обжита Д. Затонским,— это географический центр Европы (в частности, Австрия и Швейцария, во многом его стараниями переставшие у нас теперь восприниматься как художественная провинция). Имена Томаса Манна, Рота, Фриша, Музиля, Гессе, Бахман, Вальзера, Германа Канта скажут сами за себя, а ведь еще предстоит открывать Додерера, Броха...

Впрочем, насколько богат этот материал, видно уже и сейчас. Напомню лишь о некоторых публикациях «Иностранной литературы»: о «Степном волке» Гессе, о романе Фриша «Назову себя Гантенбайн». И той, и другой книге Д. Затонский, разумеется, посвящает подробные разборы. Таких разборов вообще очень много в его работе — именно разборов, а не комментированных пересказов содержания, даже если речь идет о произведении, у нас пока не издававшемся, скажем, о ранних романах Рота или о «Половине игры» Вальзера. Здесь, кажется, читатель был бы благодарен и просто за информацию. Но критику важно почувствовать тот «нерв», которым определяется необщность — и целостность — каждого художественного мира. После статей Д. Затонского по-новому и глубже воспринимается знакомое: и «Марш Радецкого», и «По ту сторону любви».

Явления «общего плана», большие и сложные проблемы литературной жизни века откроются перед читателем этой книги в своей конкретной значимости для творчества каждого серьезного художника — и это, наверное, самое существенное. Метод, литературное направление, эстетический идеал — как часто все эти первостепенные понятия остаются в глазах читателя-неспециалиста чистой абстракцией. А ведь без понимания их неизбежно обедненным оказывается прочтение любой действительно незаурядной книги.

Мы часто говорим о дистанции между литературоведением и критикой, с тревогой отмечаем, что существует зазор между критикой и живым читательским ощущением литературы. И, как правило, возла-

таем вину на читателя, которому недосуг хотя бы просмотреть вступительную статью или комментарий в критическом отделе журнала. Но, может быть, виновата — хотя бы отчасти — и критика?

Как бы то ни было, зазор несомненен — и в самом деле тревожен. Исключительно остра потребность в таких критических работах, где разговор ведется по существу и без упрощений — разговор с читателем, а не с коллегами по литературоведческому ремеслу. Книга Д. Затонского — одна из пока еще нечастых книг, где в полной мере учтен характер живых читательских интересов и запросов, размышлений и споров, вызываемых переводимыми произведениями. И где постоянно чувствуется уважение к читателю, выражающееся в том, что автор с ним беседует о сложном, не делая никаких уступок популяризаторского свойства. Думаю, что работа Д. Затонского находится на магистрали сегодняшних исканий нашей критики и в этом смысле. Быть может, даже прежде всего в этом.

Однажды на встрече с библиотекарями прислали такую записку (привожу по памяти): «Скажите, пожалуйста, что такое «Кентавр» Апдайка — пародия? Почему писатель, вместо того чтобы просто показать нам Америку, пересказывает древние легенды? Почему он не хочет писать о жизни, как писали Драйзер, Джек Лондон и другие?» Каждый из нас, кому приводилось вступать в контакт с аудиторией не только через печать, но и через крохотный проход между трибуной и передним рядом стульев в рабочем клубе или красном уголке студенческого общежития, наверняка припомнит вопросы подобного рода. Отчего они возникают? А оттого, что еще со школы затвердело в памяти: реализм — правда жизни, или же житейское правдоподобие, узнаваемость картины, словно бы это одно и то же.

В критике этот взгляд давно отвергнут (Д. Затонским, заметим, — одним из первых). Но все-таки суждения насчет художественной многогранности современного реализма часто еще остаются декларацией, чем-то вроде ни к чему не обязывающих фраз. И, словно улавливая неуверенность критики, когда речь идет о вещах с непростым изобразительным рядом, читательская среда подчас еще очень настороженно встречает такие книги. Вроде бы и чувствует их глубину, а вместе с тем опасается, что есть в них какой-то модернистский изыск, какая-то ущербность, раз уж столь явно не годятся для них привычные характеристики реализма.

В теории все, кажется, понятно: литература меняется с ходом времени, странно было бы ожидать на исходе столетия тех же в точности форм, что господствовали в его начале. А на практике по-другому. Сколько недоумений поначалу породили и «Гантенбайн», и «Сто лет одиночества», хотя философская емкость этих (да и многих других) книг редко у кого вызывала сомнения. И, наоборот, как часто чрезмерный, явно незаслуженный энтузиазм сопутствует книгам в общем-то достаточно заурядным — по той причине, что они более или менее соответствуют давно устоявшимся канонам жизненной достоверности и социальной глубины.

Критерий социальности искусства — решающий для Д. Затонского, как и для каждого советского критика. Весь вопрос в том, чтобы видеть многоликость воплощений этого идейного и эстетического качества в сегодняшней литературе, отличая подлинность от мнимости не по формальным, а по содержательным признакам. Трудное это умение всегда отличает работы Д. Затонского, и дело здесь не в некоем стихийном даре, даже, пожалуй, не столько в профессиональном мастерстве, сколько в последовательности и выверенности критической позиции. Я бы охарактеризовал ее как доверие к современному искусству и убежденность в неисчерпаемых возможностях реализма.

Скажут: но ведь для критики это вещи само собой разумеющиеся. Ничуть не бывало. Сомнения в том, что XX век знаменует прогресс и в художественной культуре, зародились, кажется, вместе с самим столетием. И сегодня то и дело приходится слышать, будто движение идет по нисходящей линии и утрат куда больше, чем завоеваний. И живое творчество якобы вытесняется холодным умствованием. И недостижимой мечтой стала художественная целостность, тот настоящий мир под переплетом, который умели создавать старые мастера — Бальзак, Толстой.

Для Д. Затонского великий опыт этих мастеров непреходяще актуален — искания современников он тоже сверяет по такому камертону. Но вовсе не с целью доказать, что XX век не дотянул до этих вершин и, значит, в литературе представлял собой только более или менее очевидный упадок. Наоборот, движение было не попятным, а поступательным.

Когда сожалеют о творческом уровне нашего столетия, не выдвинувшего своего Бальзака, как бы молчаливо предполагается, что сегодняшний художник имеет дело с той же действительностью, которая проходит перед читателем «Человеческой комедии», словно бы с той поры над миром не пронеслось столько исторических гроз, столько великих потрясений, глубочайшим образом изменивших всю окружающую нас реальность. Разве не должен был этот переворот сказаться не только на тематике, но на всем художественном мышлении современной литературы? И правомерно ли упрекать сегодняшнего художника за то, что он «пишет не так, как писали Драйзер, Джек Лондон и другие»? А ведь всякий, кто следит за спорами в нашей критике последнего времени, знает, что упрек, с наивной прямотой выраженный читателем, приславшим записку, в другой, разумеется, формулировке повторяется и в работах профессиональных литературоведов — по смыслу оставаясь тем же самым.

Книга Д. Затонского активно участвует в этих спорах, отстаивая понимание реализма как художественной системы, менее всего напоминающей окаменевший свод канонов, враждебной всякому консерватизму, всякой аморфности творческих принципов. Суть реалистического искусства неизменна: его интересуют отражения истории в человеке, его влечет не описание,

а обобщение жизни, воспринятой прежде всего в ее социальном содержании. А формы, в которых может и должна решаться такая задача,—и бесчисленны, и подвижны.

Жизненное правдоподобие, конечно, и сегодня играет в реалистической литературе одну из важнейших ролей, но ничуть не менее органичны для этой литературы и художественная условность, миф, поток сознания, монтаж разновременных событий. Как и формы повествования, выявившиеся уже в наши дни. Например, подробно исследованная Д. Затонским «д'артезовская форма» (по заглавию романа западногерманского писателя Г. Э. Носсака «Дело д'Артеза»). Она основывается на имитации документа, фрагментарности сюжета, как пишет Д. Затонский, на объективном наблюдении, восполняющем издержки лирического исповедания и внутреннего монолога, в котором несколько размыты контуры реальности. С такой формой — в разных ее воплощениях — мы сталкиваемся и в «Черном принце» Мердок, и в «Винтерспельте» Андерша, и в «Загадке Прометея» Мештерхази.

Случалось, что такие формы — тот же поток сознания, к примеру,— первоначально осваивались литературой нереалистической: Джойсом, Прустом и другими виднейшими художниками модернизма. Отношение реалистического искусства к их опыту — сложная проблема. Она много раз возникает в книге Д. Затонского. И важно, что решается без предвзятости, довольно обычной в подобных случаях.

Модернизм творчески бесперспективен, потому что болезненные явления буржуазной жизни он истолковывает как вечные законы бытия, отказываясь от исторической конкретности и тем самым от социальности. Но есть разные виды модернизма и разные этапы его движения: в свой ранний период — 10—20-е годы — он доносил невымышленный трагизм действительности западного мира, потрясенного жестоким общественным кризисом, и тогда наиболее талантливые из его приверженцев создали ценности, с которыми не может не считаться современное искусство.

Другое дело, что ничто из этого опыта не перенимается механически,— реализм не усваивает, а переосмысляет художественные принципы, подчас впервые опробованные экспериментальными школами начала века. В литературе реализма такие находки служат принципиально другим целям, помогая глубже постигать ход истории и мир личности, неотделимой от истории. А поэтому меняется и сама позаимствованная форма, как это, скажем, произошло с потоком сознания в романах Вулфа, одно время бывшего прилежным учеником Джойса.

Начиная книгу, Д. Затонский пишет о множестве неочевидных «связей и взаимопроникновений», в целостности своей образующих картину современной литературы. Понимание таких связей настоятельно требуется и от серьезного читателя зарубежной прозы, с каждым годом предстоящей перед нами все более сложным и многомерным единством. Работа Д. Затонского служит для этого надежным подспорьем.

**А. ЗВЕРЕВ**

## *Издано за рубежом*

### ТЮТЧЕВ ПО-БОЛГАРСКИ

**Ф. И. Тютчев. Стихотворения. Перевел Григор Ленков. «Народна култура». София, 1979.**

Далеко не все читатели замечают, что в заглавии знаменитого стихотворения Федора Тютчева стоит восклицательный знак: «Silentium!» Нечто категоричное, властное, императивное: «Молчание!» Это, конечно, не «Молчать!». Но все же достаточно определенно:

Молчи, скрывайся и таи
И чувства и мечты свои.

Написанное предположительно в 1830 году, это стихотворение вошло в золотой фонд русской лирики. Оно, в свою очередь, образовало целую плеяду стихотворений на родственную тему. К этой плеяде следует отнести и стихотворение («Из Микеланджело»):

Молчи, прошу, не смей меня будить.
О, в этот век преступный и постыдный
Не жить, не чувствовать удел завидный...
Отрадно спать, отрадней камнем быть.

Созданное через четверть века после «Silentium!», стихотворение начинается с того же сакраментального «Молчи».

И это говорил поэт, который был так красноречив, имел такую магическую власть над словом — письменным и устным.

Известный своим острословием, он в стихах («Silentium!») утверждал: «Мысль изреченная есть ложь». Однако же, сколько такой, изреченной Тютчевым «лжи» при ближайшем рассмотрении оказывалось истиной. Такова чудесная диалектика творчества.

Как сердцу высказать себя?
Другому как понять тебя?
Поймет ли он, чем ты живешь?

Три серьезнейших вопроса подряд. Они встают перед каждым достойным автором. По существу, речь идет о необычайной трудности установления контакта между говорящим и слушающим, автором и читателем. Два сердца ждут понимания: в одном зародился образ, другое должно воспринять его, принять его. Связь осуществляется через слово. Слово — если оно точно, метко, удачно — проводник лирического тепла от одного сердца к другому. Слово — если оно неточно, неверно, смутно — изолятор для этого лирического тепла. Так встает вопрос о мастерстве как о высоком умении налаживать контакт между поэтом и читателем, делать слово проводником обра-

зов и идей. Одно сердце, желающее «высказать себя», должно добиться, чтобы другое сердце смогло «понять тебя». Мастерство поэта, собственно, и есть способ установления (через слово) связи пишущего с читающим.

Поэзия Тютчева в ее лучших достижениях служит образцом такого осуществленного понимания двух сердец, образцом проникновения в духовную жизнь человека.

О работе Тютчева над лирическими стихотворениями писалось очень мало. Исследователи обычно ссылались на недостаток материалов. Историки и теоретики литературы в той или иной мере и степени довольствовались версией о легкости тютчевского творчества и незаинтересованности самого поэта не только в судьбе первоначальных набросков, но и в судьбе окончательных, идущих в печать вариантов.

Как рождалась версия?

Тютчев бросает рукопись на пол. Дочь случайно обнаруживает ценнейший листок. Обнаружив, дарит читателю.

О том, как было написано стихотворение «Слезы людские, о слезы людские...», рассказывает биограф Тютчева И. С. Аксаков. В осенний дождливый вечер 1849 года, вернувшись домой на извозчичьих дрожках, совершенно промокший, поэт сказал дочери: «Я сочинил несколько стихов». И Тютчев, произнесший эту фразу по-французски, продиктовал ей один из шедевров русской лирики:

Слезы людские, о слезы людские,
Льетесь вы ранней и поздней порой...
Льетесь безвестные, льетесь незримые,
Неистощимые, неисчислимые,—
Льетесь, как льются струи дождевые
В осень глухую, порою ночной.

Очевидно, стихи пришли к поэту в дороге, во время дождя. Они сложились как экспромт, сразу, выразились как цельная картина-настроение, законченная мысль.

По всей вероятности, дорога благоприятствовала поэзии. 22 августа 1857 года коляска Тютчева едет из Овстуга. Поэт наблюдает плавный переход из лета в осень. В руках у него листок с перечнем почтовых станций и подсчетом дорожных расходов. На листке почерком, прыгающим от толчков коляски, записано стихотворение:

Есть в осени первоначальной
Короткая, но дивная пора —
Весь день стоит как бы хрустальный
И лучезарны вечера...

По дороге из Овстуга в Москву будет еще написано стихотворение «Смотри, как роща зеленеет...».

Поэт дорожит настроением, тем состоянием расположенности к труду, к творчеству, тем мгновением, которое принесло ему видение, пусть и смутное, тех или иных образов. Он стремится закрепить в слове это видение. Его желание — увидеть целое, определить архитектонику лирической миниатюры. Это тончайший психологический процесс, о котором поэт не счел возможным поведать нам. Читатель обретал готовое стихотворение. И версия о легкости его появления шла из десятилетия в десятилетие.

В отличие от Пушкина, у Тютчева не было уверенности, что он пробуждал своей лирой «чувства добрые» и «памятник себе воздвиг нерукотворный». О своей поэзии он говорил: «пустозвонное безделье» или «бумагомаранье». Ему было недосуг сделать поправки в содержании своего сборника, шедшего в набор, он вернул это содержание без поправок и добавлений.

По свидетельству И. С. Аксакова, ему было неприятно походить на какого-нибудь надменного рифмача, дорожащего каждою своею строкою, каждым словом. Тютчеву несвойственна была поза и осанка маститого автора.

Скупые свидетельства современников Тютчева мало помогут нашей теме. Скорее поможет сам поэт, его поэзия. Именно поэт и его поэзия позволят по-иному взглянуть на человека, больше всего на свете любившего «отечество и поэзию». Стихотворством он пренебрегал, поэзию ценил высоко.

Для каждого, кто задумает (дерзкий замысел!) перевести Тютчева на другой язык, во весь рост встанет эта проблема: стихотворство отличить от поэзии. Пример Тютчева особо показателен. Он оставил нам всего один том стихов, но поэтическая весомость его велика: фетовское определение остается в силе: «Эта книжка небольшая томов премногих тяжелей».

Мне приходилось знакомиться с переложениями Тютчева на другие языки. С годами их становится все больше и больше. Но вот болгарские друзья прислали мне подарок, который хочется сразу же назвать «нечаянной радостью». Издательство «Народна култура» выпустило «Стихотворения» Ф. И. Тютчева в переводах Григора Ленкова. В книге опубликованы стихи Тютчева по-русски и переводы этих стихов, сделанные Григором Ленковым. Я пишу «сделанные», но чувствую, насколько неточно выражает это слово суть дела. Это не делание, а творчество, вдохновенное, страстное воспроизведение оригинала в стихии болгарской речи. Книге предпослана основательная и любовно написанная статья Благи Димитровой. Завершается книга двумя эссе переводчика: «Ф. И. Тютчев» и «Любовные прозрения Тютчева», справочным аппаратом, подготовленным Цветой Ленковой. Ей же принадлежит биографический очерк «Григор Крыстанов Ленков». В конце книги дан перечень его поэтических переводов, указания на его работу редактора и составителя отдельных книг и антологий. Книга очень удачно оформлена рисунками Ясена Васева.

Все это я перечисляю для того, чтобы выразить чувство признательности всем, кто подготовил эту книгу, глубокое и серьезное свидетельство болгаро-русских культурных связей.

Пишущему об искусстве перевода нельзя быть голословным. Нужны примеры, что подтвердили бы характеристику, которая дается переводчику.

В стихотворении «Mal'aria» эквивалентность лексики, мелодики стиха и мысли поражает:

Как ведать, может быть, и есть
в природе звуки,
Благоухания, цвета и голоса,
Предвестники для нас последнего часа
И усладители последней нашей муки.

Достаточно сложная, глубокая мысль!

У Ленкова:

Кой то знае, може би природита си има
благоухания и багри, звук и глас,
вещаещи за нас последния ни час,
услаждащи мига на скръб неутешима.

Переводчик снял неловкость авторского искусственного ударения «часá», он сумел в перечислении (звуки, благоухания, цвета, голоса) уместить все слагаемые оригинала.

Такой же равнозначностью (а не тождественностью текстов) отмечены «Silentium!», особенно первая строфа и известный афоризм из второй строфы.

У Тютчева:

Мысль изреченная есть ложь.

У Ленкова:

Лъжа е мисълта на глас.

«Сон на море» отличается музыкальностью стиха, тонкой передачей морской стихии. Четырехстопный амфибрахий с мужской рифмой труден для иноязычного воспроизведения. Но ленковские адекваты (лексические, образные, ритмические) ослепительны. Как это возможно? — все время спрашиваешь себя, читая перевод. Как это ему удалось? Даже такую подробность, как усечение начального безударного слова в третьей строке, Ленков передал. Внимание к оригиналу не только огромное, но и трогательное.

«Пошли, господь, свою отраду...» — пример тонко переданной интонации, русская мелодика органично звучит по-болгарски:

Прати, о господи, отрада
на омя, пойти в зноен ден
върви край ниската ограда
подобно просяк изнурен.

Такими же, точно найденными, образными, ритмическими, словарными соответствиями поражают переводы стихотворений «О, как убийственно мы любим...», «Две силы есть — две роковые силы...», «Я встретил вас — и все былое...», «Последняя любовь» и других.

Вчитываясь в переводы Григора Ленкова, я испытывал радость особую. Моего любимого поэта болгары читают в исключительно верных, передающих дух подлинника, ярких переводах. Через перевод я снова постигаю Тютчева и неожиданно получаю дополнительные краски. Так перевод, если он не копия, а творческое воспроизведение, дает читателю, даже хорошо знающему оригинал, новые краски, освежает старое, уже сложившееся восприятие.

Книга переводов Григора Ленкова относится к очень немногочисленной категории таких книг.

Григор Ленков — воспитанник филологического факультета Софийского университета. Он систематически, серьезно изучал русский, чешский, словацкий, французский языки. Вместе с тем он занимался и английским, чтобы перевести «Чайльд Гарольда» Байрона. Он свободно владел иностранными языками, что давало ему возможность черпать поэзию из первоисточника. Он долго, чутко вслушивался в музыку поэтических произведений, улавливая неповторимое звучание каждого из них.

К чему ни притрагивалась его рука, все звучало на болгарском как в оригинале — полногласно и полновесно. Под пером Григора Ленкова наполнялись жизнью жемчужины мировой лирики. Эти переложения сделаны с любовью и знанием, со вкусом и со страстью. «Органическая ненависть к любой фальши — это была доминанта его стиля жизненного поведения и творчества»,— верно замечает Блага Димитрова, автор предисловия к книге.

В этом предисловии дан привлекательный портрет гениально одаренного поэта-переводчика, которого сама природа создала для того, чтобы на болгарском были воспроизведены шедевры иноязычной поэзии. Статья Благи Димитровой дышит любовью к личности и делу Григора Ленкова и — одновременно — пронизана скорбью по безвременно ушедшему мастеру.

Автор предисловия отмечает, что возможности артистических перевоплощений Григора Ленкова необозримы: от классической ясности, гармонии и совершенства пушкинской лирики до современного, философского, хаотичного, склонного к алогичному и парадоксальному мышлению Владимира Голана. От музыкальной стройности и страстности лермонтовских поэм до современного, ищущего новые возможности, формы и измерения стиха Мирослава Флориана и других современных поэтов. От французской пышности и блеска красноречия в строфах Виктора Гюго и Теофиля Готье до точности и едкого лаконизма Генриха Гейне. От восточной мудрости и нежной акварельности вьетнамских классических поэтов до острой злободневности и яркой звукописи молодых советских авторов. От жаркого жизнелюбия древнеегипетской лирики до философских прозрений Тютчева. Какой огромный диапазон культурных, творческих, переводческих интересов! Какая могучая палитра изобразительных средств, которыми располагал этот уникальный переводчик!

Говоря о Ленкове, нельзя не сказать о его переводе пушкинского «Евгения Онегина». «Евгений Онегин» на болгарском звучит как монолит, как языковой и стиховой сплав, полученный «при высоком градусе вдохновения», как верно сказано в предисловии.

При чтении болгарского Тютчева понимаешь: этот поэт-переводчик проник в хаотические, противоборствующие, накаленные миры русского лирика.

Зрительные и звуковые образы переданы не только в соответствии со строками оригинала, но и верно в соответствии с личностью и миропониманием поэта. Здесь, в постижении тютчевского подтекста, Григор Ленков предстает перед нами не только переводчиком, но и исследователем. Знание тютчевского текста (и подтекста) и постижение тютчевской поэтической магии переводчик сочетает естественно и легко. Мастерство заставляет нас забывать об усилиях, пошедших на его достижение.

**ЛЕВ ОЗЕРОВ**

## СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ АВСТРАЛИЙСКИЙ ПИСАТЕЛЬ

**Trevor Shearston. Something in the Blood. Brisbane, University of Queensland Press, 1979.**
**Тревор Шиерстон. Что-то в крови. Сборник рассказов. 1979.**

Школьный учитель по профессии, Тревор Шиерстон провел на островах Океании семь лет незадолго до того, как эти земли получили независимость и оформились в государство Папуа Новая Гвинея. Именно в этих краях немногим более ста лет назад подолгу жил и работал выдающийся ученый-антрополог и этнограф из России Николай Николаевич Миклухо-Маклай. Благородная деятельность «тамо-руса», как называли ученого туземцы, получила самую точную характеристику Льва Николаевича Толстого в письме, ему адресованном: «...растрогало меня и приводит в восхищение в Вашей деятельности то, что Вы первый, несомненно, опытом доказали, что человек везде человек, то есть доброе, общительное существо, в общение с которым можно и должно входить только добром и истиной, а не пушками и водкой».

Миклухо-Маклаю не удалось защитить население островов Океании от насильственной колонизаций, проводившейся, по образному выражению великого русского писателя, «пушками и водкой». За прошедшее столетие здесь распоряжались голландские, немецкие, английские и австралийские хозяева. После второй мировой войны колонией Папуа и подопечной территорией Новая Гвинея управляла Австралия — вплоть до обретения независимости государством Папуа Новая Гвинея 16 сентября 1975 года.

«На основе собственного опыта могу сказать,— пишет Тревор Шиерстон,— что австралийцы очень мало знают и еще меньшее значение придают тому, что совершалось от их имени на протяжении последнего столетия в Папуа Новой Гвинее».

Австралийский капитал произвольно распоряжался полезными ископаемыми, сельскохозяйственным сырьем, продуктами и практически бесплатной рабочей силой. Австралийская администрация почти ничего не сделала для улучшения жизненных условий местного населения: в основной массе оно оставалось неграмотным, вело примитивное натуральное хозяйство, используя орудия каменного века,— и это в середине нынешнего столетия! С непокорными жестоко расправлялись.

Сюжеты рассказов Шиерстона подсказаны самой жизнью. Один из его персонажей — австралиец — заявляет: «Знаете, ребята, есть что-то такое у нас в крови, что делает правителями нас, а не их...» В этих словах — попытка белых оправдать свое поведение в отношении аборигенов Океании.

А вот что говорит о белых хозяевах старый абориген в рассказе «Аригато» (по-японски «спасибо».— А. М.): «Австралийцы были здесь перед войной. Для них мы были все равно что свиньи. Когда японцы напали, австралийцы убежали, отдав без боя плантации, которые они называли своими...»

Несколько лет назад на одном из островов Океании плантатор-австралиец, вдовец, владелец огромной плантации и великолепного дома, попал в больницу в результате сильнейшего сердечного приступа («Покидая Молли»). Врачи посоветовали ему оставить дела и уйти на покой. Выйдя из больницы, он продал плантацию вместе с домом, готовую продукцию и сельскохозяйственные машины. Но прежде чем покинуть остров, он поджег свой бывший, уже проданный дом — чтобы никому не доставался.

Это напоминает уход французских завоевателей из Западной Африки после второй мировой войны: они тоже жгли и ломали все подряд, лишь бы их «добро» не досталось африканцам, которых европейские колонизаторы эксплуатировали на протяжении многих десятилетий. И хотя описанный Шиерстоном случай произошел далеко от африканских берегов, почерк колонизаторов везде одинаков.

В пятнадцати рассказах сборника перед читателем раскрывается реальная жизнь островов Океании под управлением белой администрации. Полиция устраивает облаву на подростка-папуаса только за то, что он посмел прикоснуться к белой девушке. На подростка надевают наручники, его ждет суд и тюремное заключение («Парнишка»). Отчаявшаяся молодая женщина бросается в реку, привязав к себе веревкой ребенка («Утопленники»). Белые, пользуясь своим привилегированным положением, превращают местных девушек в наложниц («Девственница»).

Безнаказанность колонизаторов — главная тема рассказа «Конец дороги». Десятки жителей джунглей согнаны на строительство дороги между деревнями. Полиция охотится за теми, кто скрывается. Горят дома непокорных. Пойманных отправляют в тюрьму — в наручниках, связанных попарно. На стройке люди гибнут из-за отсутствия техники безопасности. В течение двух месяцев они работают, не получая никакого вознаграждения. Когда аборигены начинают роптать, белый надсмотрщик Эджелл ударом лопаты убивает их прораба Напомбере. Однако с точки зрения закона белых Эджелл невиновен.

Рассказы Шиерстона разнообразны по тематике, различны и их художественные достоинства. Одни из них бесхитростны, как живые зарисовки с натуры, другие привлекают тщательно продуманным сюжетом, колоритными образами. Они — свидетельства писателя-австралийца, решившего напомнить своим соотечественникам об их ответственности за последствия белой колонизации островов Океании.

Книгу рассказов Шиерстона мне подарил молодой, энергичный редактор издательства «Юниверсити оф Куинсленд пресс» во время посещения Брисбена. «Уверен, что вы найдете в ней много интересного»,— сказал он. Редактор не ошибся. Свидетельства Тревора Шиерстона не могут оставить равнодушным ни одного честного человека.

**А. МЕЛЬНИКОВ**

◆

# Из месяца в месяц

## БОЛГАРИЯ

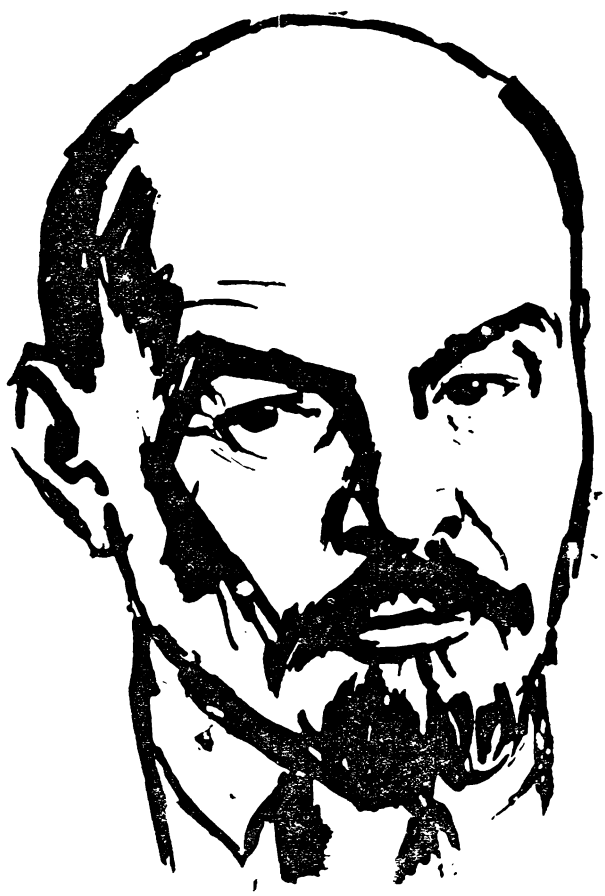
### ЛЕНИНСКАЯ ТЕМА В ЖИВОПИСИ И НА ТЕАТРАЛЬНОЙ СЦЕНЕ

Культурная жизнь в Болгарии проходит под знаком осуществления долгосрочной культурной программы, в которой каждый год посвящается личности одного из великих гениев человечества. Прошлый год был посвящен Владимиру Ильичу Ленину, 110-й годовщине со дня его рождения. Событием в культурной жизни страны стала выставка «Ленин и наша эпоха», включавшая 450 картин известных художников Европы, Азии, Африки и Латинской Америки, в том числе таких мастеров, как П. Пикассо, К. Кольвиц, Ф. Мазерель, Р. Гуттузо, Петров-Водкин, Бродский, Юон и многие другие.

Большое впечатление, отмечает газета «Работническо дело», произвел болгарский раздел выставки, в котором было представлено более ста работ лучших художников Болгарии, начиная с Владимира Дмитрова-Мастера, Ивана Фунева, Илии Бешкова и кончая молодыми художниками.

Это первая в своем роде выставка, подчеркивает газета, на которой собраны произведения стольких художников, вдохновленных ленинскими идеями, идеями революции.

Большой интерес вызвали и Ленинские театральные дни, в которых помимо болгарских театров приняли участие гости из Москвы — Театр имени Ленинского комсомола, показавший спектакль по пьесе М. Шатрова «Революционный этюд» («Синие кони на красной траве»).



На снимке: портрет В. И. Ленина работы Бориса Ангелушева.

*(Журнал «Септември»)*

В столице были показаны лучшие спектакли театров страны по пьесам советских драматургов. Среди них: «Варвары» и «Васса Железнова» М. Горького, «Бег» и «Дни Турбиных» М. Булгакова, «Человек с ружьем» и «Аристократы» Н. Погодина, «Баня» В. Маяковского, «Сорок первый» Б. Лавренева, «Синие кони на красной траве» М. Шатрова, «На Молдаванке музыка играет» О. Сосина.

Ленинские театральные дни, пишет еженедельник «Народна култура», доказали еще раз плодотворность обращения к советской драматургии, не только к классике, но и к произведениям современных авторов, что позволило раскрыть

главную тему современного искусства — тему связи человека с действительностью, его ответственности за будущее, его участия в революционном процессе.

Основным достижением этих театральных праздников, как отмечает еженедельник «Народна култура», является создание болгарскими артистами В. Попилиевым и В. Смирновым убедительного и волнующего образа В. И. Ленина.

## ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

### ПОСЛЕ ДОЛГОГО МОЛЧАНИЯ

Англо-американская критика широко обсуждает новый роман известного английского прозаика и литературоведа Энгуса Уилсона «Удивить мир». После романа «Словно по волшебству» (1973), получившего весьма сдержанный прием как на родине писателя, так и за ее пределами, Энгус Уилсон надолго замолчал. Как он сам заметил в одном интервью, «у меня не было сил приняться за новое произведение».

Новый роман, пишет в рецензии на него в журнале «Лиснер» Маргарет Дрэббл, несколько нетипичен для Энгуса Уилсона. В романах, принесших ему славу: «Англосаксонские позы» (1956), «Средний возраст миссис Элиот» (1959), «Старики в зоопарке» (1961), — действие происходит в хорошо известной писателю среде среднего класса. В новом произведении события разворачиваются среди людей, принадлежащих к высшему обществу, в фамильном, родовом особняке.

В романе рассказывается история двух братьев — Пирса и Тома Моссонов. Уже в детстве мальчики отличались друг от друга, а с возрастом разница стала еще отчетливее. Пирс — фантазер, натура творческая. Он становится известным режиссером, который способен не только руководить постановкой спектакля, но и направлять судьбы окружающих его людей. Совсем иной Том. Во всем и всегда он любит порядок. Он становится юристом.

В интервью, которое Энгус Уилсон дал представителю журнала «Букс энд букмен» Р. Хейману, он сказал: «Мой основной импульс к творчеству — это попытка выразить себя в слове. То же происходит и в моем последнем романе. Два главных моих персонажа — это две стороны моего Я. Одна часть верит во всеобъемлющую власть воображения, другая — отмечает распад и разруху окружающего мира и страстно жаждет порядка, добиться которого можно лишь практическими мерами».

В другом интервью представителю журнала «Лиснер» Э. Уилсон сказал: «Я хотел создать роман о природе искусства и об опасной природе нашей цивилизации. В конце книги моим героям угрожают террористы. Ежедневно и в нашей внешне мирной жизни я наблюдаю насилие и разрушение. Должен заметить, что я усматриваю нечто общее между деятельностью террористов и хэппенингами, которые получили широкое распространение в современном, особенно массовом, искусстве. Я отрицаю хэппенинги и верю лишь в продуманное, выношенное искусство, имеющее в качестве стержня социальные и нравственные критерии».

Отвечая на вопрос Р. Хеймана, кого он считает своими учителями, Э. Уилсон сказал: «Безусловно, я очень многим обязан Диккенсу, и критики, пишущие обо мне, даже не понимают, сколь много я заимствовал у этого великого и до конца не оцененного потомками писателя. Мое стремление создать широкую панораму жизни, нарисовать разными красками социальную комедию — от Диккенса, он же научил меня прерывать повествование и не бояться отвлечь читателя отступлением. У него я учился лиризму. Он, а уже потом Достоевский научили меня изображать детскую психологию. Наконец, Диккенс был первым романистом, который использовал принцип монтажа в своих романах».

## ВЕНГРИЯ

### РЕДАКТОР ОБ АВТОРЕ

В венгерской печати сейчас много говорят о талантливом молодом писателе Яноше Шебеоке и его романе «Змееборец». Недав-

---

На студии «Мафильм» закончилась работа над новой кинолентой режиссера Ласло Лугошши «Спасибо, живем хорошо» (автор сценария — Иштван Кардош), повествующей о судьбе девушки, приехавшей из провинции работать в Будапешт и попавшей в коллектив одного из крупнейших венгерских заводов. Фильм, по свидетельству журнала «Фильм, синхаз, мюжика», поднимает вопросы отношения современной молодежи к таким понятиям, как призвание, чувство и долг, этика поведения.

На снимке: кадр из фильма «Спасибо, живем хорошо». В заглавных ролях — актеры Иожеф Мадарас и Юлия Ньяко.

*(Журнал «Фильм, синхаз, мюжика»)*

но на страницах книжного обозрения «Кёньвилаг» редактор его первой книги Аранка Угрин рассказала: «В конце 1977 года ко мне попала одна рукопись, автора ее я тогда не знала, но в досье я нашла его биографические данные и удивилась — там значилось, что автор 1958 года рождения! Это вызвало у меня недоверие. Однако после прочтения первых страниц я подумала, что в написание года рождения просто вкралась ошибка, настолько самобытная, отшлифованная, зрелая проза лежала передо мной. В конце рукописи стояла дата: 1976 год. Тогда я лихорадочно стала собирать сведения об авторе. Выяснилось, что ошибки нет — Янош Шебеок действительно родился в 1958 году. Первое его стихотворение было опубликовано в 1967 году. В 1975 году о Шебеоке писал на страницах еженедельника «Элет эш иродалом» поэт Андраш Мезеи. В 1976 году в журнале «Мозговилаг» вышла его повесть «А что скажут по этому поводу взрослые?». Эта была проба сил писателя в прозе. Повесть свидетельствовала о том, что автор ее хорошо знает действительность, удивительно тонко раскрывает внутренний мир людей, хорошо владеет композицией».

По единодушному мнению венгерской критики, новый роман Шебеока «Змееборец» — своеобразное произведение, обладающее большими художественными достоинствами. Под заголовком «Литературное событие» на него опубликована рецензия в газете «Непсабадшаг», в которой отмечается, что роман Яноша Шебеока заслуживает пристального внимания, ибо он свидетельствует, что родился писатель большого таланта.

## ВЕНЕСУЭЛА

### РОМАНЫ ШОЛОХОВА В ВЕНЕСУЭЛЕ

В Каракасе, сообщает венесуэльская газета «Трибуна популар», поступила в продажу книга М. А. Шолохова «Они сражались за Родину».

Венесуэльские читатели, пишет Умберто Орсини в рецензии на новое издание, хорошо знакомы с творчеством Михаила Шолохова. В разные годы венесуэльцы могли познакомиться с его книгами «Поднятая целина», «Тихий Дон», «Судьба человека», видеть экранизации его произведений. И вот теперь — встреча с книгой о войне советского народа с фашизмом, романом «Они сражались за Родину».

Для Шолохова, отмечает венесуэльский критик, тема войны — тема глубоко личная. «Роман Шолохова — через судьбы простых людей — дает картину событий огромного общественного и исторического значения. Благодаря таким книгам мы, латиноамериканцы, реальней представляем себе, какой дорогой ценой советский народ победил фашизм», — отмечает «Трибуна популар».

Творчество Михаила Шолохова, пишет Умберто Орсини, признано во всем мире. Роман «Они сражались за Родину» еще раз дает нам возможность оценить могучую силу таланта этого выдающегося романиста, создавшего впечатляющие и в высшей степени достоверные картины самых переломных моментов в жизни Советского государства.

## ВЬЕТНАМ

### 50 ЛЕТ В ИСКУССТВЕ

В Ханойском музее изобразительных искусств открылась персональная выставка известного вьетнамского художника Чан Ван Кана, имя которого хорошо известно многим любителям живописи. Произведения его часто публикуются в газетах и журналах, в художественных альбомах и искусствоведческих монографиях. На выставке представлено более 160 работ Чан Ван Кана, отметившего недавно свое 70-летие. Выставленные картины, акварели, лаковые панно написаны в разные годы и охватывают почти полувековой период истории вьетнамского народа. Главная тема произведений Чан Ван Кана — трудовые будни, героическая борьба вьетнамского народа.

На снимке: репродукция с картины Чан Ван Кана «Сестра Тхюи».

*(Газета «Куан дой ням зан»)*

Перед посетителями выставки открылся богатый мир красок родной природы, которую Чан Ван Кан воспевает с необыкновенной теплотой. На одной из картин изображена маленькая деревенька на Центральном плато, выросшая после освобождения южной части страны, она как бы символизирует новую жизнь, пришедшую в те районы, которые подверглись разрушениям американских агрессоров. Это произведение вселяет глубокую веру в торжество и всепобеждающую силу жизни.

На картине «У истока» предстает перед глазами зрителей пронизанный солнечными лучами пейзаж Пакбо — местности в северной части страны. Здесь в годы войны Вьетнама против французских колонизаторов находился Центральный Комитет партии. В тени могучего дерева, за каменной плитой, заменявшей письменный стол, любил работать Хо Ши Мин. Он изображен в момент напряженной творческой работы.

Радостное впечатление производят картины мирного труда: работа на рисовых полях, ремонт разрушенного моста, высадка рисовой рассады, сбор урожая, строительство дороги. С теплотой изображает художник вьетнамских женщин — и в труде, и дома.

Не оставляют равнодушными и портретные работы

Чан Ван Кана. Особым успехом у посетителей выставки пользовался портрет шахтера, изображенного в минуты отдыха после трудового дня. Лиризм и приподнятость отличают портреты молодых современников.

Более полувека работает в изобразительном искусстве Чан Ван Кан, и все эти годы он тесно связан своим творчеством с жизнью, борьбой и созидательным трудом своего народа.

## ГДР

### БЕЗ СКИДКИ НА ВОЗРАСТ

Первая книга Уве Канта «Школьный праздник» появилась в 1969 году и сразу завоевала читательскую аудиторию. (Об Уве Канте см. «ИЛ», 1971, № 9.) Теперь его имя называют среди имен самых известных писателей, пишущих для детей и юношества. Недавно вышла его новая книга «Путешествие из Нойкукова в Новосибирск», герой которой — подросток Юрген Рогге,— вместо того чтобы ехать с родителями отдыхать, пускается на маленьком велосипеде в путешествие, мечтая попасть в Новосибирск. До Новосибирска он, естественно, не добирается, но по своей стране ездит довольно долго, знакомится с жизнью и с разными людьми, много узнает и многое начинает понимать.

Рассказывая корреспонденту газеты «Нойес Дойчланд» об этой книге, Уве Кант сказал:

— Юрген Рогге — примерный ученик, на него возлагают большие надежды. Ему прочат разные пути в жизни, и каждый из близких диктует подростку свое. Но Юргену хочется самому определить свое будущее, он ищет самостоятельности. Путешествие во время каникул помогает ему в этом. Он возвращается домой повзрослевшим... Я никогда не разделял проблем на «взрослые» и «детские». Дети и подростки живут той же жизнью, что и взрослые, их волнует то же, что волнует нас. В своих книгах я поставил себе задачу: всегда писать серьезно, не делая скидок на возраст...

— Однако, несмотря на серьезность того, о чем вы пишете, тон ваших книг всегда веселый, жизнерадостный, их читаешь с улыбкой...

— Мне кажется, что этот тон — единственно правильный, когда рассчитываешь на юного читателя. Дети и подростки любят смеяться, они хорошо реагируют на шутки, на юмор, они любят читать о необыкновенных, фантастических явлениях. И если им не скучно читать книгу, писатель может многого добиться. Внушить понятия морали, нравственности, подействовать на разум и чувства гораздо легче, говоря с ними именно таким языком, а не дидактическим, поучающим...

— А какие задачи, по вашему мнению, стоят перед детской литературой?

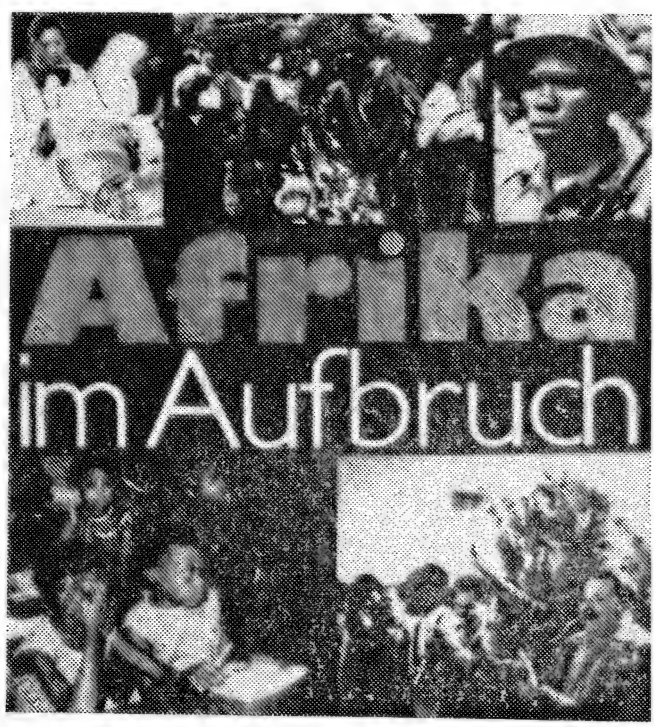
— Мне кажется, что литература должна расширять круг тем. Сейчас у нас много приключенческих книг, которые имеют большой успех, хотя качество их не всегда высокое. Надо добиваться того, чтобы «неприключенческая» литература, то есть литература, поднимающая важные, «взрослые» вопросы, была интересной и увлекательной. Думаю, что это — основная задача писателей, пишущих для детей и юношества.

### «АФРИКА ПРОБУЖДАЕТСЯ»

Под таким названием в издательстве «Брокгауз» вышла красочно оформленная книга. «Этот том как бы приглашает в путешествие по всем странам Африки, он рассказывает о жизни народов, их хозяйстве, культуре», — пишет газета «Берлинер цайтунг». В книге много документальных материалов, около 150 фотографий. Большое внимание уделено взаимоотношениям Германской Демократической Республики с африканскими странами, поездкам правительственных делегаций в Ливию, Анголу, Мозамбик, Замбию и Эфиопию, приведены тексты договоров, речей и деклараций.

Широко представлена экзотическая флора и фауна Африки, ее своеобразный быт, рассказано о целом

На снимке: обложка книги «Африка пробуждается».



ряде моментов из истории африканского континента.

Отмечая большую заслугу художественного редактора Ганса-Юргена Зиттауэра, рецензент газеты «Берлинер цайтунг» называет эту книгу «ценным изданием для всех, кто интересуется Африкой».

## Индия

### ПРЕМИЯ НЕРУ

В Дели состоялось очередное вручение премий, носящих имя великого сына Индии, группе индийских литераторов и деятелей культуры, творческим коллективам.

Премия Неру присуждена известному писателю-коммунисту, пишущему на языке малаялам, бывшему главному министру южноиндийского штата Керала Челату Ачуте Менону; писателю и литературному критику, переводчику произведений А. С. Пушкина на ассамский язык Наваканту Баруа. Премии была удостоена и Национальная театральная школа, которая славится и как центр подготовки актерских и режиссерских кадров, и как один из лучших театральных коллективов страны. Школу возглавляет талантливый режиссер Б. Карант, много сделавший для популяризации в Индии классической русской драматургии.

В числе других лауреатов можно назвать крупного поэта урду Вамика Джонцури, молодого переводчика Маяковского на гуджератский язык Судхира Десаи, бихарского писателя Мадхукара Сингха, автора биографии Максима Горького.

Детям премия Неру присуждается в виде путевки в «Артек». Ее получают победители конкурса детского рисунка, темой которого в этом году стала Московская Олимпиада. Лучшим был признан рисунок 13-летнего Викаса Баджпаи из Дели.

Министр финансов Индии Р. Венкатараман, председательствовавший на торжественной церемонии вручения премий, заявил в своем выступлении: «Дружба между Индией и Советским Союзом переживет века, ибо она покоится на прочном фундаменте сходства взглядов на мировые проблемы. Индия и СССР выступают за мир, который необходим всем народам и прежде всего народам развивающихся стран. Идентичность подхода к этой наиболее жизненно важной теме нашего времени делает индийско-советскую дружбу серьезнейшим фактором мира не только в азиатском регионе, но и на всей земле».

## Ирландия

### ШОН О'ФАОЛЕЙН И ДЖУЛИЯ О'ФАОЛЕЙН

В последние месяцы внимание ирландских и английских критиков привлекли романы Шона О'Фаолейна и его дочери — Джулии О'Фаолейн.

Старейший ирландский писатель, недавно отметивший свое восьмидесятилетие, «патриарх ирландского рассказа», как его называют многие критики, Шон О'Фаолейн выступил в неожиданном для него жанре антиромана, сообщает рецензент «Таймс литерари сапплмент» П. Льюис. Роман «И снова?» представляет, по замечанию критика, «смесь позднего Набокова и позднего Джойса». От Набокова, продолжает рецензент, у О'Фаолейна — усложненная, изощренная игра в слова, местами заставляющая вспомнить формалистические эксперименты Джойса в «Поминках по Финнегану». Как и у Джойса в «Улиссе» и в «Поминках», роман переполнен многочисленными аллюзиями: из «Гамлета», «Макбета», из стихотворений Теннисона, Уайльда, Йитса, Стендаля, Бальзака и многих других. Период, изображенный в романе, — 1965 — 2130 годы; повествование ведется от лица героя, который во многом, как полагает рецензент, напоминает самого О'Фаолейна. Время в романе исчисляется в обратном порядке: в начале повествования герой — пожилой человек, но затем, по воле всесильных богов, которые выбрали этого человека в качестве подопытной свинки, когда решили поближе познакомиться с тем, что же такое человеческие существа, он превращается в мужчину средних лет, затем в юношу, затем ребенка, и, наконец, в 2130 году герой исчезает в материнской утробе.

Рецензент полагает, что новое произведение Шона О'Фаолейна по природе своей пародийно, причем пародия направлена как на классические образцы прозы, например на жанр семейного романа, так и на модернистскую прозу, которую писатель, судя по тональности его собственной книги, считает бесперспективной.

В интервью, которое Шон О'Фаолейн дал своей дочери-писательнице Джулии О'Фаолейн, для журнала «Лондон мэгэзин» в связи с выходом романа и своим восьмидесятилетием, он сказал: «Мой роман — притча. Жизнь моего героя — это жизнь писателя. Ведь художник в своем творчестве всегда проделывает именно такой путь — назад, к истокам. Человек похож на море, точнее, на его волны, которые в своем беге бесконечно обновляются».

Отвечая на вопрос, какие факторы оказали особенно большое влияние на формирование его личности, Шон О'Фаолейн сказал: «Я, как и многие мои сверстники, возлагал тогда, в начале века, большие надежды на победу Пасхального восстания 1916 года. Когда же наши надежды были потоплены в крови, я уехал из Ирландии и вернулся лишь в 1933 году. Приехав, я начал издавать журнал «Колокол», который должен был походить на знаменитый герценовский журнал не только своим названием, но и задачами. Мой «Колокол» должен был разбудить простых ирландцев, заставить их трезво взглянуть на себя, на политическое состояние страны. Призыв к пробуждению политического самосознания нации звучал на страницах «Колокола» столь определенно, что в маленьких городах этот журнал продавался из-под прилавка».

«Ирландцы — люди слож-

ные,— сказал в интервью Шон О'Фаолейн,— крайне противоречивые. Они видят мир через призму метафоры, что нередко ведет к тому, что истинное восприятие действительности затемняется». В своем журнале О'Фаолейн проповедовал реалистическое искусство, ставящее важные, актуальные для страны вопросы. Журнал закрылся в 1946 году, но понимание задач искусства писатель перенес в свои произведения и статьи.

Новый роман Джулии О'Фаолейн называется «Это страна не для молодых». Уже в заглавии, которое представляет собой строчку из стихотворения Йитса, обозначено весьма критическое отношение писательницы к происходящему в Ирландии.

Положив в основу романа историю трех поколений женщин в одной семье, охватив период времени с 1921 по 1970 год, Джулия О'Фаолейн, пишет рецензент «Таймс литерари сапплмент» П. Крейг, рисует трагические условия, в которых чаще всего формируется личность молодых ирландцев. Хотя детство старшей героини протекало в 20-е годы, а младшей проходит сегодня, мало что изменилось, считает Джулия О'Фаолейн, в духовно-политическом климате Ирландии. Ирландцы, как и прежде, враждуют, причиняют друг другу нравственные и физические увечья, они в 80-е годы столь же полны религиозных предрассудков, как и в начале века. «Смерть в нашей стране, — горько заметила в интервью писательница, — это национальный спорт». Джулия О'Фаолейн, пишет рецензент, показывает объективные причины, заставляющие молодежь бежать из страны. Критик дает высокую оценку новому роману писательницы.

## ИТАЛИЯ

### ПУБЛИЧНАЯ СТИРКА

«Будто какая-то колдовская сила приговорила меня блуждать по лабиринту Центрального вокзала, из которого нет выхода», — пишет в газете «Унита» молодой режиссер Джузеппе Бертолуччи. Вот уже два фильма — «Пропавшие вещи» и «Грязное белье» — снял он на миланском вокзале. Свой путь в кинематографе он начал под руководством старшего брата Бернардо Бертолуччи, создателя таких широко известных лент, как «Конформист», «Двадцатый век» и другие. Первые же самостоятельные шаги младшего брата показали, что в итальянском кино появился яркий и весьма самобытный мастер.

Премьера его нового фильма «Грязное белье» состоялась в одном из римских кинотеатров на празднике молодых коммунистов. На экране воспроизводится мир отверженных, тех, кто оказался за бортом буржуазной цивилизации. Это постоянные обитатели вокзала, живущие, как пишет газета «Унита», в вагонах, в отхожих местах, в залах ожидания, в подземных переходах, в смраде и вони, в плаче, тоске, в тревоге.

Необычен жанр фильма Бертолуччи. «Это не документальный фильм, не расследование, это не традиционное кино»,— пишет один из рецензентов. Это своеобразный толковый словарь жизни «дна». Построенная в форме монологов, диалогов, своеобразных коротеньких диспутов действительных обитателей миланского вокзала, кинокартина воссоздает широкую панораму жизни этого «узкого мирка», дает острый социально - идеологический анализ многих язв современной жизни.

В эпизодах фильма, как в статьях толкового словаря, различные явления даются в алфавитном порядке от A (AIba — рассвет) до V (Violenza — насилие). Все термины трактуются — иногда иронично, иногда лирично, всегда глубоко драматично — сквозь призму самого образа жизни обитателей итальянского «дна». Так, «Радостью» здесь является бутылка вина, «Запросы, потребности» извлекаются из мусорного ящика. Тема «Одиночества» раскрывается в бреду алкоголика... «Насилие» предстает перед нами в образе сбежавшей из дому девушки, которая по четыре раза в день колется наркотиками. «Смерть» (Morte) и «Рождение» (Nascita) следуют друг за другом (по алфавиту). Первое — надежда старика на «вечный сон», второе — рассказ о матери-одиночке.

«Случай», «Торговля», «Тело», «Бог», «Сила», «Труд», «Жалость», «Удовольствие», «Мечта» — та-

На снимке: кадр из фильма «Грязное белье».

*(Газета «Унита»)*

кова некоторая часть слов, представленных в экранном словаре. Но это голоса (в итальянском языке «слово» и «голос» иногда омонимы) не только героев, но и создателей фильма.

«Может быть, у кого-нибудь фильм вызовет раздражение,— пишет рецензент «Униты»,—но в нем изображен кусочек действительного мира, мира противоречивого и кошмарного, который существует рядом с нами, хотя и носит отличное от нашего белье, «грязное белье». Зритель становится свидетелем публичной стирки этого белья, «стирки» человеческих пороков и язв социальной жизни, которую устроил Джузеппе Бертолуччи, вселяя надежду на лучшее для героев фильма.

В январе этого года «Театр на Воли» отметил «малый юбилей» — свое пятилетие. В его репертуаре пьесы отечественных и зарубежных драматургов. Большим успехом пользовался спектакль Александра Гельмана «Протокол одного заседания», а спектакль «Когда разум спит» испанского драматурга Антонио Буэро Вальехо, в котором роль Гойи с огромным успехом сыграл Тадеуш Ломницкий, был отмечен премией Конрада Свинарского. Новая работа Тадеуша Ломницкого в драме Юлиуша Словацкого «Фантазий», где он исполняет главную роль, получила очень высокую оценку прессы. Как отмечает в журнале «Театр» Божена Франковска, «такого проникновенного исполнения этой роли польская сцена доселе не видела».

На снимке: Тадеуш Ломницкий в главной роли в спектакле «Фантазий».

*(Журнал «Театр»)*

## ПОЛЬША

### СНОВА ВСТРЕЧА С НАЛКОВСКОЙ

В издательстве «Чительник» вышел третий том «Дневников» Зофьи Налковской. В нем описываются события с 1918 по 1929 год.

Лауреат Государственной премии, автор многих книг, Зофья Налковская сыграла видную роль в развитии польской литературы. На русский язык были переведены такие произведения писательницы, как «Роман Терезы Геннерт», «Граница» (оба романа были впоследствии экранизированы. См. «ИЛ» № 3, 1978) и знаменитые «Медальоны» — о беспредельности человеческих страданий в гитлеровских лагерях в годы оккупации (Налковская участвовала в работе Главной комиссии по расследованию гитлеровских преступлений в Польше и присутствовала на допросах обвиняемых, их жертв и свидетелей).

В третьем томе «Дневников», как отмечает рецензент «Жице Варшавы», перед читателем проходит целая галерея известных представителей литературного мира описываемых лет, обрисованных выпукло и выразительно. Интересны размышления писательницы о политических и общественных событиях, происходивших между двумя войнами.

«Налковская очень четко определяет свою идейную позицию, свое отношение к переменам, происходившим в Польше в те годы. Ее суждения об этом,— отмечает рецензент,— являются самым главным достоинством третьего тома «Дневников».

## США

### ПОЭТИЧЕСКИЙ ЭПОС РЕВОЛЮЦИИ

В миннеаполисском издательстве «Марксист эдьюкейшнл пресс» вышла поэтическая антология «Никарагуа в революции: говорят поэты», в которой собраны стихи латиноамериканских и испанских поэтов, посвященные борьбе народа Никарагуа за свободу и социальную справедливость. В антологию включены произведения таких всемирно известных испаноязычных поэтов, как Пабло Неруда, Рафаэль Альберти, Эрнесто Кардеталь. По словам обозревателя газеты «Дейли уорлд» Фреда Уайтхеда, «этот сборник представляет собой своеобразную поэтическую историю Никарагуа, великой борьбы никарагуанского народа. Перед нами воистину коллективный эпос... не собрание отдельных стихотворений, но, так сказать, поэтический коллаж, в котором один голос передает эстафету другим голосам. Так создается единое повествование».

Чтобы читатель воспринимал этот «лирический эпос» как нечто целостное, редакторы предпослали в качестве введения краткий обзор истории страны, особо выделив наиболее важные даты, связанные с национально-освободительным движением в Никарагуа, никарагуанскую революцию, гражданскую войну, которую никарагуанские патриоты во главе с генералом Аугусто Сандино объявили диктаторскому режиму. Мужественному борцу за национальную независимость, предательски убитому агентами Сомосы, посвящены помещен-

ные в антологии отрывки из «Национальной песни» Э. Карденаля и лирическая миниатюра П. Неруды «Сандино».

Как отмечает Ф. Уайтхед, эта книга поможет воочию представить себе весь долгий и тяжкий путь, который прошли никарагуанские патриоты к своей победе.

## ФРАНЦИЯ

### ЗАВЕРШЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЭПОПЕИ

Новый роман Бернара Клавеля «Мари — добрая душа» (изд-во Робера Лаффона) — последний том его исторической эпопеи «Столпы неба» (1-й том — «Волчья пора», 1976 г., 2-й — «Свет озера», 1977 г., 3-й — «Воительница» 1979 г.)

Действие романа происходит во второй половине XVII века. Жители Франш-Конте (впоследствии этот край был превращен в провинцию Восточной Франции), бежавшие от войны, чумы и нищеты в Швейцарию и основавшие там общину, где они жили благополучно и счастливо, узнав о заключении мира, возвращаются на свою разоренную землю. Среди них — персонажи предшествующих томов: Мари, ее брат Пьер, Бизонтен—добродетельный пьемонтский кузнец. Они восстанавливают деревню, от которой остались только руины и пепел. Однако им не суждена спокойная и счастливая жизнь. Бизонтен снова уходит странствовать — на этот раз его влечет Новый Свет. Мари остается в одиночестве, обреченная на бесплодное ожидание. Воительница Ортанс, «бургундская Жанна д'Арк», становится жертвой злобы, клеветы и предательства. Осужденная на сожжение, она погибает на костре. Ее казнью завершается роман «Мари — добрая душа».

По мнению Андре Вюрмсера, высказанному в «Юманите», Бернар Клавель в своей исторической эпопее глубоко народен. Обличая слепой фанатизм, глупость, предрассудки, невежество, жестокость, несправедливый социальный строй, Клавель воплощает в исторических романах цикла «Столпы неба» доброту, сострадание, любовь к простым людям, уважение к труду.

◆

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
**Н. Т. ФЕДОРЕНКО**

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
**О. С. ВАСИЛЬЕВ** (зам. главного редактора), **Л. А. ГВИШИАНИ, Ю. В. ДАШКЕВИЧ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, И. Ф. ЗОРИНА, Т. П. КАРПОВА, Е. Ф. КНИПОВИЧ, А. А. КОСОРУКОВ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, Е. В. СТОЯНОВСКАЯ, М. Г. ФЕДОРОВ** (отв. секретарь), **К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ, Л. З. ЭЙДЛИН.**

Художественный редактор **Л. Б. Филиппова.** Технический редактор **Л. Д. Фарафонтова.**

Адрес редакции: 109017, Москва, Ж-17, Пятницкая ул., д. 41, телефон 233-51-47.

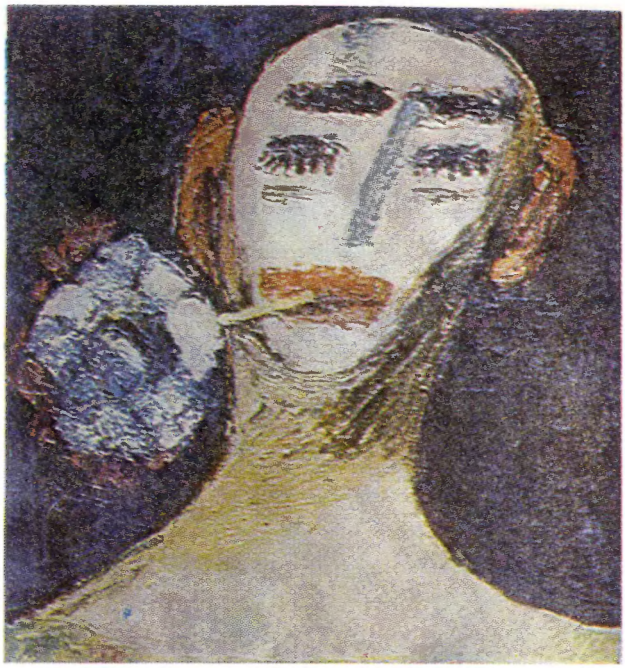
Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

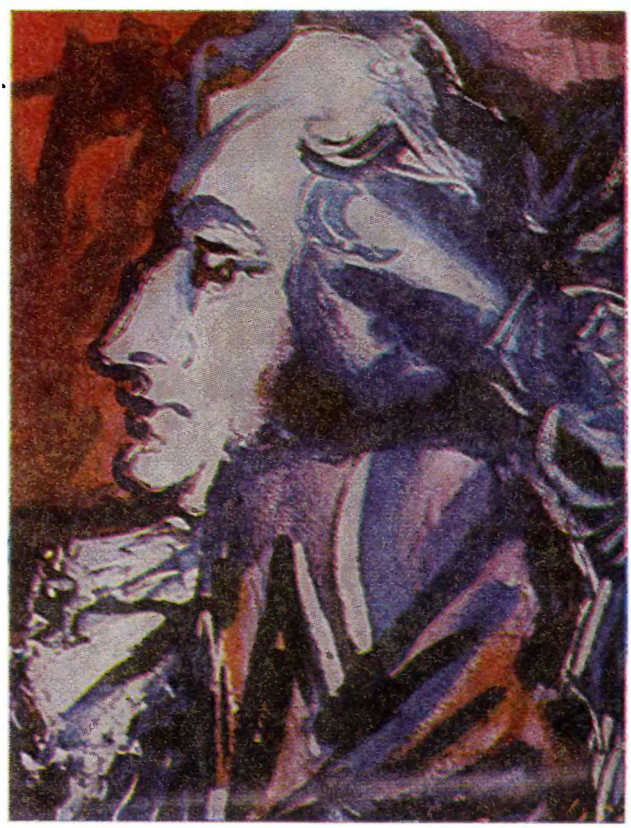
Сдано в набор 03.02.81. Подписано в печать 16.03.81. А 04585, формат 70×108¹/₁₆. Печать высокая, 17 п. л. (23,8) усл. п. л., уч.-изд. л. 29,58.

Тираж 525.000 экз. (1-й завод: 1 — 400.000 экз.) Зак. 493.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.



**Клоун**



**Моцарт**

Цена 80 коп.

ИНДЕКС 70394